

А.

Нуне

После,
запятой

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

После запятой



А. НУНЕ

После запятой

РОМАН

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

МОСКВА · 2001

Художник *Д. Черногаев*

Нуне А.

После запятой. Роман. Предисловие А. Битова. —
М.: Новое литературное обозрение, 2001. — 576 с.

Самое завораживающее в этой книге — задача, которую поставил перед собой автор: разгадать тайну смерти. Узнать, что ожидает каждого из нас за тем пределом, что обозначен прекращением дыхания и сердцебиения. Нужно обладать отвагой дебютанта, чтобы отважиться на постижение этой самой мучительной тайны. Талантливый автор романа «После запятой» — дебютант. И его смелость неопытного — читатель сам убедится — оправдывает себя. Пусть на многие вопросы ответы так и не найдены — зато читатель общается к тайне бьющей вокруг нас живой жизни.

ISBN 5-86793-139-0

© А. Нуне, 2001

© Предисловие. А. Битов, 2001

© Художественное оформление.

«Новое литературное обозрение», 2001

Остановись, мгновение

Жизнь лишь взмах ресниц мгновенный.

Руставели

Величие замысла может выручить.

Бродский

В конце предложения ставится точка

Правило

Это книга об этом. О самом невысказанном, о самом умолченном, о самом закрытом, о самом запрещенном, о самом потайном, о самом тайном, о самом засекреченном, о самом запечатанном... Не о том, о чем вы подумали. Не о сексе, не о КГБ. Этого нынче полно. Это — разрешено. Эта книга о все еще неразрешенном... Вы раскрыли роман о смерти — можете тут же закрыть, если тема вам безразлична. Если «мы не умрем», как говаривал Солженицын.

Начинают сразу или никогда. Первый удар по попе символичен. Следующим будет уже последний вздох. С еще большей неведомостью впереди.

Текст явление того же порядка. Он открывается первым словом и заканчивается последним. Все слова в нем будут связаны, как последнее с первым, как рождение со смертью. Каждое слово с каждым, как

день с днем, глава с главой, как минута с минутой, как предложение с предложением, как секунда с секундой, как слово со словом. Не только последовательностью, но и связью. Всего со всем, то есть всего с каждым, каждого со всем. Текст по природе мгновенен. Как замысел.

Это ясно, положим, в лирике. Написать такое толстое мгновение, как роман, представляется невозможным. Но и «Война и мир» — мгновение, как «Илиада». В XX веке это стало очевидно. Модернизм пробовал это доказать: Пруст описывал жизнь вспять как одну книгу; Джойс сводил жизнь в «Улиссе» в один день, равный «Одиссее».

Начинается такая амбиция с малого. С юношеских стихов. Человек растет, преувеличивая задачу («Преувеличивал старичок», — выскажется о себе Толстой в старости): пишет рассказы («Севастопольские...», «Дублинцы»...), поэмы и повести, собрания сочинений, потом помирает или погибает, не вытерпев, не дописав «Мертвые души», оставляя потомкам преувеличивать едва им начатое. Гений — божество, а не звание. Дар — не собственность, а поДАРоку, тяжелый подарок, непосильный человеку. То, что стоит за плечами автора, хоть Шекспира, хоть Пушкина, настолько же больше их имени, насколько имя станет больше человека, его носившего.

Подлинный текст и есть пресловутое остановленное мгновение. То есть счастье.

Счастье от слова «Сейчас».

Без амбиции писателя нет, каким бы скромным он ни прикидывался. Настоящий писатель отличается лишь тем, что амбиция эта заключена не в нем самом, а в его замысле. Текст никогда не начинается с начала — он начинается с первого слова. Первым словом, в случае законченности текста, является его название (поэтому так любят менять его редакторы и

издатели). А текст, как уже сказано, может начаться любым словом, но тогда predetermined, каким словом он кончится, только узнать это дано будет, лишь дописав/дочитав роман. Как и про последнее ваше мгновение будет ясно лишь с последним вздохом. Роман может быть начат и с запятой, с одной лишь загадки, что было до нее, одного лишь любопытства, что последует после. Запятая стоит между жизнью и смертью, а не зияющая, чернеющая точка могилы — вот первая и самая великая по нескромности амбиция романа «После запятой».

Нескромная, потому что этого по-прежнему никто не знает, несмотря на Данте или «Смерть Ивана Ильича», Даниила Андреева или «Книгу мертвых».

Потому что Творец запер нашу жизнь на эту Тайну, чтоб мы несмотря ни на что жили, разгадывая ее, каждый день, каждый час, каждое мгновение, в котором они, жизнь и смерть, сходятся и расходятся, спуют вместе, как шпулька в швейной машинке, так гипнотизирующая ребенка могуществом бабушки, которая должна помереть раньше мамы... Спует шпулька мгновения, рождая непрерывный шов от прошлого к будущему с проколом настоящего, создавая текст всей, всего лишь одной, жизни. Нескромна амбиция этого романа (по-видимому, принадлежащего женщине) и потому, что молодой автор взялся за задачу, за которую не возьмется автор умеющий. Автор Сапиенс (Sapiens) возник, минуя стадию Автора Хабилитис (Habilitis), минуя написание стихов и рассказиков. Не верю я и в то, что подозрительная А. Нуне — художница подобно ее героине. Не знаю даже, на каком это языке написано (хотя совковый опыт автора наличествует). Это могло бы быть и переводом (с молдавского или латышского).

Верю лишь в то, что автор молод (по крайней мере, как автор), иначе не сохранить это детское

желание попричастствовать на собственных похоронах до такой степени, чтобы достичь полноты романа.

По-видимому, только с таким правом первой ночи (речи), правом молодости и можно с подобной задачей справиться. Каждый человек, впрочем, имеет это право первой смерти.

Автор справился с этим правом, исполнив свой первый текст сразу большим, начав с запятой и кончив на полслове, набухав все, что у него есть, между.

Не то что бы об этом не писали. Писали и пишут. Особенно в России. Но все больше о Страшном Суде («Плач по красной суке» Инги Петкевич, «Страшный Суд» Виктора Ерофеева), — но в них ни слова о самой смерти, лишь о возмездии. Видимо, на советском опыте понятие суда как—то ближе.

«После запятой» — о самой смерти.

Разгадать Смерть — вот амбиция живого. Богоборчество.

Вес взят и зафиксирован. Это рекорд, в котором важнее факт, чем чистота техники.

Пусть кривятся знатоки, пощупывая свои художочные мускулы, и аплодирует публика/читатель, удовлетворенный демонстрацией человеческих возможностей.

7 октября 2000, Готланд

А. Битов

А. НУНЕ

После запятой

РОМАН

,собственное бессилие и привело меня в чувство. Но вело оно какими-то окольными путями, натываясь на стены и расшибаясь о наглухо запертые двери. Да и чувство оказалось сложным, или было сразу несколько чувств. Негодование, явно, — по отношению к ним. Еще жалость и отвращение к этому, то есть к ней. А бессилие — это тоже чувство? Или я теперь ничего не помню? Да, пожалуй, это чувство, и очень сильное. Ужасно неприятно смотреть, как они до нее дотрагиваются. Какое они имеют право так к ней прикасаться! А я ничего не могу сделать. Но и она сама не сопротивляется! Даже когда они бросили ее, как бездушный куль, на стол, такой голый и холодный, и начали раздевать. И главное, взгляды, которые на нее бросают. Пусть бы в них отражалось хотя бы то, что я к ней испытываю. Это, пожалуй, было б возмутительно. Зато их равнодушие

просто невыносимо. Так на человека не смотрят. Знали б они, что я их вижу, пытались бы придать себе более приличный вид? Наверняка. Но друг перед другом им не стыдно. А меня они почему-то не замечают. И мне не удастся ни заорать, ни ударить. Что-то здесь не то. Может, я во сне? И почему меня это так волнует? Есть в ней что-то беспокоящее. Когда-то все это уже было. Во всяком случае, я ее уже когда-то видела. И должна вроде бы неплохо знать. Вот эту родинку у нее на ноге... Но где? И как я здесь очутилась? Тоже не удастся вспомнить. Надо понять, что происходит. Я явно не в себе! Не в себе... То есть как? Вот и каламбурчик получился. Дешевый. Жаль, некому оценить. Так то, что на столе, я? Да, это, очевидно, мои ноги. Но я всегда видела немного с другого ракурса. Откуда же я смотрю? Спокойно. Подумай без паники и разберешься. Жужжит рядом, сейчас поймаю. Ну да, до этого бессилия было другое бессилие. То есть нет, вначале было белое пространство. Оно было такое полное, завершенное, и такое пустое — в нем настолько ничего не было, что долго так продолжаться не могло. Рано или поздно оно должно было определиться как совершенство. Которое не способно само по себе существовать, потому что всегда вызывает — от этого никуда не денешься — состояние блаженства. А это уж совсем недолго тянется — ведь за ним, или внутри него? или вокруг него? — возникает я. Я испытываю блаженство. Тут и началось самое мучительное. Я — это белое пространство? Если я, то что пространство? Если пространство, то где я? Что я? Где оно, когда я? И беспокойство постепенно нарастало, пока не превратилось в тревожный гул, который сжег белое пространство и разбил меня вдребезги. Может, удалось бы удержать это потрясающее безмолвие, если б не начавшиеся мысли, не

знаю, но вернуть его было выше сил. Если быть взорванным противостоит совершенству, то и ощущения при этом соответствующие. Это тоже не могло долго тянуться. И пришлось собирать себя по кусочку. Тяжкое занятие, особенно когда не помнишь, кто ты, а кусочки микроскопические, как пыль. И нельзя ошибиться ни в одной ячейке. Атом к атому. И если что неправильно — все разрушается, и приступай к работе сначала. Это хуже, чем больно. Правда, чем больший участок удастся собрать, тем быстрее вспоминаешь остальное и легче достраивать. А под конец оставшиеся кусочки сами, без моего участия, разом взлетели и прочно установились на своих местах. В жизни такого не испытывала! Значит, я — умерла?.. Смешно, вот почему я возмущаюсь, что она не сопротивляется, хотя ясно, что это невозможно, у нее почти ничего не осталось от головы. И столько крови. Если я и вправду умерла, то кто же будет стирать всю эту одежду? Наверное, ее выбросят. И туда же кинули кулон из розового камня, который он мне подарил. Не затерялось бы. Я так и не успела узнать, как этот камень называется. И что, теперь и не смогу узнать никогда? Не верю, так не должно быть! Они ее совсем раздели. Какая я стала худая в последнее время. Давно не смотрела на себя со стороны.

Ведь сейчас не первый раз. И раньше мне случилось смотреть на себя со стороны. Помню, лет в десять я поймала взгляд мальчика, которому нравилась, хотя и сидела к нему спиной и довольно далеко. Я вдруг с его места увидела себя, поправила юбку, некрасиво задравшуюся сзади, несколько раз поменяла позу, пока не убедилась, что оттуда я теперь смотрюсь в лучшем виде, и только тогда вернулась к себе, при этом так и не оглянувшись. И даже не сразу удивилась тому, что мне

удалось проделать. А еще раньше, лет в пять, я и не подумала, что произошло что-то необычное, когда увидела себя стоящей на пляже в красивом белом платье в горошек с белыми кружевными оборками и, минут пять полюбовавшись сверху, умилилась: какая славная маленькая девочка!

А года в два я как-то проснулась от дневного сна и вдруг вспомнила, что бабушка уже несколько раз укоряла меня, что я во сне сбрасываю одеяло и ей вечно приходится проверять, не раскрылась ли я. Решив подыграть, я начала быстро стаскивать одеяло с кровати, чтобы ко времени очередной проверки успеть прикинуться спящей. Одеяло оказалось на редкость тяжелым, и, только основательно повозившись, я легла обратно, удивленная, что мне удастся справиться с ним, когда я сплю. А бабушка все не шла, и я вдруг увидела крохотное существо среди неправдоподобно огромной мебели. Я даже не догадалась, что это — я, и заснула от холода и одиночества. Проснулась уже укрытая. А когда бабушка пришла, я спросила лукаво: что, я и сегодня раскрылась, чтобы потом расхохотаться и сказать, что на этот раз я нарочно? А она мне говорит: нет, сегодня ты у меня молодец, спокойно спала. В два года спросила? А что, я прекрасно помню. Я же рано начала говорить. Они даже на магнитофонную ленту записали, когда я в год и два месяца рассказывала сказку, дословно копируя взрослых. Со всеми их интонациями. Так что я спросила, и она ответила. Это был первый раз, когда я не знала, как быть, не понимала, как же теперь жить дальше. Но мне всегда удавалось жить. Может, попробовать и сейчас? Ведь было еще много происшествий, когда я выходила из себя. Потом никогда не составляло труда вернуться. Ну да! И жить с этим лицом? Только не это! Я даже не смогу на себя смотреть.

Вспомнила. Желтый свет, меня ослепили. Я как раз собиралась свернуть на боковую улицу, только развернула руль и не могла сориентироваться, с какой стороны та машина. Желтый свет оставался в глазах, я больше ничего не видела. Меня подбросило, и лязг металла. Что там дальше было? Не помню. Может, и к лучшему. Наверное, было очень больно. Пока я тут мечтаю, эти вроде собрались удалиться. Я что, тут одна останусь? Проскочить за ними, пока дверь не закрыли? Все, не успела. Хотя куда я сейчас пойду? Хорошо, что накрыли простыней, а то смотреть тошно. С головой накрыли. Значит, впрямь умерла. Навсегда? Недаром это слово меня пугало. Произнесешь его вслух раза два, с закрытыми глазами, все вокруг исчезает, наплывают черные душные волны, окутывают с головы до ног, подхватывают и уносят в бездну. Стоп. Не думай о страшном. Успеешь еще. Нашла время и место. Тебе тут всю ночь торчать. И на простыню не смотри. Самое жуткое было бы посмотреться в зеркало. Сдохнешь от страха. Теперь уже до конца. Откуда они это знают, если никогда не умирали? Почему они завешивают зеркала при покойнике? Интересно, что я увидела бы? Все, думаю о другом. Сейчас подумаю. О чем-нибудь приятном. Сейчас. Если я умерла, почему никто за мной не приходит? Ангел какой-нибудь или дьявол на худой конец. Все ж лучше, чем ничего. И где обещанные туннели? Я с радостью улетела бы куда-нибудь. Что, мне самой теперь думать, что дальше делать? Просто вынуждена сама что-то делать. Стоило самозабвенно выстраивать себя по крошке, чтобы получить в награду собственный труп. Лучше бы я там осталась, где не было ничего.

Теперь понятно, что значили слова: каждый умирает в одиночку. Со смертью приходится справляться

прямо как с жизнью. Никакого отдыха. Вот так теряешь последние иллюзии. Я совсем не такой представляла смерть. У меня же был опыт. Вот когда я, например, тонула. Сколько мне было тогда — четырнадцать? Купалась в озере и заплывала далеко, не умея нормально плавать. И на обратном пути, решив, что пора встать на ноги, не ощутила дна. От усталости и страха не удавалось плыть дальше. Сил едва хватало, чтобы удержаться на плаву. А на помощь позвать их уже не было. Наконец на меня обратил внимание какой-то человек с берега. Он привстал, вопросительно глядя в мою сторону, — расстояние было совсем небольшое от берега, но шел отвесный склон, — и в ответ я смогла выдавить только вежливую улыбку. Она его успокоила на довольно долгий срок, пока он не ощутил странности происходящего. После того, как и на его крик: тебе помочь? — я отреагировала все той же улыбкой, он все-таки бросился в воду. Я расслабилась и сразу пошла на дно. Настроившись на боль и страх, приятно удивилась, оказавшись в мерцающем царстве. Оно неуловимо отличалось от моего нынешнего белого пространства. Я стала одним из вспыхивающих огоньков и так увлеклась загадочным танцем с ними, что, когда далеко, на другом конце Вселенной, возникло легкое покалывание, до меня с трудом дошло, что меня ташат за волосы. Вот когда я негодовала! И никакой благодарности. Я тогда подумала, что этот переливающийся белыми искрами покой и есть смерть. Было что держать про запас. Но потом уверенность, что смерть именно такая, со временем пропала. Я просто перестала думать об этом, иначе не раз могла прибегнуть к этому выходу.

Был еще случай — я тогда страстно хотела умереть, но сама не решалась ничего предпринять. В результате

в тяжелом состоянии попала в больницу, на “скорой помощи”. Дней десять меня активно лечили, но без толку. Моя палата находилась напротив дежурного пункта медсестер, и в промежутках бредовых провалов я с гордостью ловила: бедная девочка, — не жилец. А какая молодая еще! Что это — ко мне, не вызывало сомнений, мои сопалатницы успели оповестить меня, что я единственная трудная больная на всем этаже. В ожидании смерти приходилось довольствоваться забытьем, благо оно становилось затяжным. В очередной раз я вышла из него оттого, что кто-то назвал вслух мое имя. Мужской голос, страшно знакомый, справлялся обо мне у медсестры, и я принялась мучительно вспоминать, кому он принадлежит. Сестра, недавно сделавшая мне укол, заявила, что я сплю, и вообще не в состоянии ходить, и в нашем отделении посещения запрещены. Голос продолжал настаивать, переходя на умоляющие интонации, и медсестра сдалась, заявив, что исключение делает лишь потому, что по режиму больницы настало время прогулки и в отделении никого нет. Действительно, палата была пустая, одна я не ходила на прогулку. Спустя время медсестра осторожно просунула голову в дверь и сообщила, убедившись, что я бодрствую: «Там тебя какой-то мужчина спрашивает. Я попросила подождать на лестничной площадке, тут нельзя. Сможешь дойти? Или сказать, чтоб уходил?» — «Какой мужчина?» — «Откуда я знаю? — рассердилась она. — Ну, что ему сказать?» Любопытство пересилило апатию — слишком голос был близким, но не получалось определить владельца. Я кивнула, что пойду, и, отвергая помощь, по стеночке двинулась к концу коридора. Распахнув дверь на лестницу, я увидела своего дедушку. Слишком давно с ним не встречалась, немудрено, что не включила его в список возможных обла-

дателей голоса. Я настолько ему обрадовалась, что невесть откуда появились силы, и я приготовилась изобразить надлежащую сценку: приятная родственная встреча. Но он с таким пониманием спросил: «Плохо тебе?», что, отбросив все напускное, я с облегчением ответила: «Да, очень». — «Хочешь, пойдем отсюда?» — «Куда?» — «К нам. Там тебе будет лучше». Лучше, чем у бабушки, мне нигде не бывало. «Как там бабушка?» — «Хорошо. Ждет тебя. Ну как, пойдем?» Бедный, проделал ради меня такой долгий путь, в его-то годы! А я думала, что меня больше никто не любит. Как я могла забыть о них? Надо было сразу ехать к ним, а не мечтать о смерти. «А как же лечение?» — не совсем уверенно откликнулась я. Теперь, когда стало ясно, что у меня есть они, не очень хотелось умирать. С той же убеждающей добротой в голосе дедушка ответил: «Ну что тебе дало это лечение? Видишь, они тебя никак не могут вылечить. Зачем мучиться зря дальше? С бабушкой тебе сразу станет хорошо. Правда, она просила не забирать тебя раньше времени, но я вижу, что тебе тут несладко». Начав спускаться за ним по лестнице, я спохватилась было: «Надо сказать медсестре, что я ухожу». — «Зачем? Начнется волокита, уговоры. Решила уходить, так пойдем». Я стала спускаться, глядя под ноги, и вдруг нечаянно поймала его взгляд из-за плеча. Очень нехороший — так смотрят на ребенка, когда, протягивая ему ложку с горьким лекарством, приговаривают: «Пей, деточка, очень вкусно, я сам пробовал». И я вспомнила, что он умер. «Так ты меня туда зовешь?» — «Да, а что тут такого? Тебе же очень плохо, а там будет хорошо, можешь мне поверить». — «Нет, я туда не пойду, я уже передумала», — сказала я нерешительно, боясь обидеть. — «Как знаешь. Я же не ташу тебя туда насильно. Здесь ты уже измучилась. Решай сама». На

меня неизвестно откуда накатила ярость. Если б он сказал мне правду сначала, я могла и согласиться, откуда я знаю. Но терпеть не могу, когда меня обманывают, даже если на пользу. «Нет!» — крикнула я, забыв о приличиях, и пулей взлетела по лестнице, не попрощавшись. Единственно странное во всей этой истории было то, что коридор нашего отделения оказался вдруг небывало длинным. Я мчалась по нему изо всех сил целую вечность, а он все тянулся и тянулся. Прошло лет сто, пока я не увидела вдаль сидящую за столом сестру. Я перешла на тихий ход, чтобы не напугать ее, хотя сердце готово было выскочить из горла. Почти переигрывая в тяжелобольную, я доплелась до своей палаты. Прикрыв дверь, рухнула на койку и накрылась с головой, не раздеваясь. Сердце продолжало бешено стучать, и колотил озноб; наверно, это агония, подумала я и провалилась куда-то. В момент пробуждения сознания я все вспомнила и была уверена, что очнусь там, то есть здесь, но оказалась там. Сестра пришла мерить мне температуру, которая, как выяснилось, со своих птичьих высот упала до человеческой. С этой минуты дело пошло на поправку, как пишут в романах. Я тогда не решилась спросить у той сестры о своем посетителе. И только при выписке, набравшись духу, поинтересовалась, помнит ли, как ко мне в самом начале болезни приходил пожилой мужчина, и получила ответ, которого заранее страшилась: «Откуда я всех упомяну, к кому кто ходит?!» Но, прочитав отчаяние в моих глазах, она более сердечно поинтересовалась: «Какой-какой, говоришь?» Я описала. «Да, припоминаю. Ты тогда еще лежачей была, но я не могла его пустить в палату, инфекция всюду ходит. Меня бы с работы сняли». И вдруг, тревожно: «А кто он такой? Что он тебе сделал?» — «Ничего-ничего! Это

все-таки люблю! Пойду курить на кухню, утром расскажу, если вспомню. Надо будет оставить на кухне какой-нибудь знак, чтобы потом легче было вспомнить. Невыброшенный окурок посреди стола, например. Он спросит: «А это ты зачем оставила?» — и я расскажу.

Ох, слава Богу, вот и ты! — Ты не спишь? Мне сон такой мерзкий приснился! Слышишь? Почему мы на кухне? Я заснула за столом? Что ты так странно смотришь и не отвечаешь? А где я? Я себя не вижу. Где мои руки? Но ты смотришь ведь на меня! Как мне удалось так высоко забраться? На чем я стою, не пойму...

О, черт, снова я здесь! Т-т-тт-только не сквернословь, в твоём положении не пристало. Но видела я его взаправду или только показалось? Знала бы, что так ненадолго видимся, присмотрелась бы повнимательней, уже соскучилась. Когда теперь увижу тебя, удастся ли сохранить способность видеть? И покурить нельзя. Но и то хорошо, что не до конца умерла. Впрочем, в этом я почти никогда не сомневалась. Я сейчас должна уметь передвигаться невидимкой — скажи еще, что ты об этом не мечтала. Знать бы только — как? Ладно, потом разберемся. Может, встречусь еще с какой душой — так ведь я теперь называюсь? — пообщаемся, — не я же одна сегодня умерла. Думается, вместе мы сообразим, как быть. Своего Вергилия я вряд ли заслужила. А у тебя был такой усталый вид. На самом деле это было или нет, я все равно чувствую, что ты обо мне думаешь сейчас. Во всяком случае, меня эта мысль греет. Холодно-новато лежать на голом кафеле без одежды. Даже стены и пол из сплошного кафеля. Надо додуматься, чтобы оставить человека одного среди этой каменной бездушности. Я вспомнила? или представила? — но очень живо, — когда я рождалась, был этот же кафель.

Меня положили на него после всего, что мне пришлось пройти. Я была вся в крови, как недавно, и меня оттирали такой же колючей мокрой губкой. Я относилась к своему уютному существованию, как к должному, пока не появилась первая угроза. Это было чудовищно. Ни с того ни с сего, без малейшего повода с моей стороны, доброжелательный, казалось бы, мир вдруг взбунтовался. Тогда я впервые почувствовала, что я и мир — это не одно и то же. Вначале на меня просто стало давить со всех сторон, и я в панике старалась сохранить равновесие. Потом меня завертело в необъяснимом бешенстве, больно сжимало со всех сторон, крутило и рвало, где-то раздавались страшные крики — не мои, — но я знала, что это такое, они тоже раздирали меня, все ополчилось против, пока тупые боли не заслонила одна острая. Она была мною, она была всюду — по всей коже, в ушах, в глазах, в легких, в животе — называя, я узнавала и обретала. Тогда боль в ушах и в животе превратилась в мой собственный вопль, в коже — в покусывание холодной губки, а в глазах — в этот тяжелый желтый свет — почему он меня преследует? Кто-то грубо держал меня за ноги на весу. И я ужасалась, как бы не уронили. Я понимала, что происходит, куда потом все это делось? Я тогда знала и то, что понимание скоро исчезнет, и не только оттого, что начали появляться предвестники потери сознания — все эти шумы и туманы. И я поспешила напоследок выкинуть шутку, как теперь — и тогда — мне ясно, вполне в моем духе. Хоть мне было неуютно и неприятно в новом теле в новом измерении, я собралась с силами и обвела всех присутствующих пристальным взглядом. Потом взглянула на маму — я знала, что это она меня родила — потому что она единственная лежала и еще почему-то, не помню, — и подмигнула ей одним

глазом. На большее у меня не было возможностей. Мама мне потом рассказывала об этом, еще она говорила, что все после моей выходки расхохотались, а врач заявила: «Ну, эта точно будет академиком», но мне уже было не до них, я не запомнила. Меня снова положили орать на кафедру и занялись мамой. С каждым новым криком я теряла последние остатки сознания, я чувствовала это, но не могла остановиться. Вопли вырывались и уносили меня с собой. Я растворялась, растворялась, растворялась... Опять эти не мои ужасные крики. Не прислушивайся к ним, там нехорошо. Не могу, они меня вытягивают к себе. Что это? Мама! Ее привели сюда. Но я теперь в другом помещении. Неужели я могла заснуть, раз не заметила, как меня сюда перевели? Как она плачет! Господи, только этого не хватало! Куда бы спрятаться? Я спала, мне снилась какая-то бесцветная масса — не знаю даже, как ее назвать — труха и то рядом с ней выглядела бы алмазными россыпями. Она была однородна, неподвижна и бесконечна. Иначе говоря, она была Вселенной, единственно возможной и существующей. Соответственно, я была единицей, включенной в нее и составляющей ее. Но очевидно, не до конца. Веками согласно наблюдая эту застылость, раз в тысячелетие я с надеждой вскидывалась, поймав боковым зрением начавшееся где-то движение, не наученная предыдущими обманами. Тут же готовно раздавался за кадром монотонный смех, звучащий не от склонности, а по обязанности. По моим подсчетам, это продолжалось лет примерно десять тысяч с лишним, пока мамин плач не вытащил меня оттуда. Но почему она так надрывается, мне совсем не так плохо. Но ей не объяснить. Не будь такой трусливой крысой, сделай что-нибудь! А что я могу? Сможешь, если захочешь и не будешь бояться. Ну вот, ее увели. А ты и рада! Нет,

я не этому радуюсь. Она сказала им, что похороны послезавтра. Придут все знакомые, будет очень торжественно. Не спору, меня это бодрит. Почему бы нет, такое событие — не каждый день. Все-таки хоронят раз в жизни. Пока я застряла там, тут, оказывается, прошел всего один день. Интересно, кто придет? И я на всех посмотрю. А дальше что? Тело закопают, а я куда денусь? Так и буду невидимкой мотаться по земле? Это развлекает, только если ненадолго. Очень надо миллион лет наблюдать, как без меня живут. Я недооценивала свое тело. Совсем не ценила! Куда я без него? В нем я могла все делать! Ну, допустим, не все. Но оно придавало мне форму, отделяло от мира, по нему меня узнавали. А теперь я что — слилась с миром? Что-то ничего не пойму. Я-то осталось! Само по себе. Что я тогда есть? Зачем жить, когда умирать? Ладно, ты не в переходном возрасте. Раньше надо было думать. Еще спроси, есть ли любовь? что такое настоящая дружба? Какие еще вопросы ты не успела выяснить? Помню, тогда меня поражало, что люди могут жить, зная, что умрут, — едят, пьют, смеются, читают, ссорятся, рожают ни в чем не повинных детей, и, зная, на что их обрекли, смотрят на них голубым глазом.

Дошло до того, что вместо лиц и тел моих собеседников на меня скалились их черепа и скелеты. Я никого не могла всерьез воспринимать. Когда же это кончилось? Однажды ночью. Я очередной раз не могла заснуть, вся в рыданиях из-за отчаянной жалости к людям. И тут впервые додумалась поинтересоваться, неужели нет выхода. Что-то во мне поспешило заверить, что нет, предчувствуя мой ответ. Но честность и жалость победили. Есть, просто никто раньше не решался. Устроив дотошную самопроверку на искренность — согласна ли *на это* при условии, что даже

самая последняя ябеда и самый вредный хулиган — ты представь, представь их лица — и что никто никогда не узнает, и не вспомнит, потому что условие такое, чтобы сразу все без исключений и чтоб никто не знал. После болезненных колебаний я все же получила твердое «да» и, собрав все мужество, начала призывать Бога, чтобы Он забрал окончательно и бесповоротно мою жизнь в обмен на бессмертие каждого с этой минуты... Небеса не разверзлись, гром не грянул. Может, Он видит, что я не совсем искренна? Господи, я решила в здравом уме. Предвижу все последствия. Согласна принять. Опять ничего. Может, мне не хватает страстности? Нужно напрячься. Не совсем так: я сказала страстности, а не злости. Примирение наступило вдруг... Я решила, что догадалась, почему моя жертва отклоняется. Ничего ведь не бывает просто так — на меня возложена миссия. Я должна вырасти и придумать средство от смерти. Конечно, будут еще жертвы, надо торопиться. Только бы мама и папа дожили. Черепа мне больше не виделись. Однако смерть не так уж страшна, как казалось. Но очень уж она реальна. Я ожидала больше тайны. Есть ли вообще где-нибудь тайна? Я чувствую, что есть, но очень неуловима... Вечно ускользает, стоит подойти к ней вплотную. Как в жизни, когда, бывало, проходишь дождливыми сумерками незнакомым двором, и вдруг из раскрытого занавешенного окна на втором этаже вырывается музыка, смех и осколки света... Тебя озаряет воспоминание, что там живут сказочные красивые существа с неземными треволнениями и радостями. А не потасканный муж, толстая жена и сопливые дети — как торопится подсказать опыт, преданно глядя в глаза и заискивающе поводя большими пушистыми ушами.. Тогда попадаешь неожиданно в щель, с одной стороны которой такой мир, а с другой — та-

кой. И возможность выбора. В этой щели она выступает на первый план, заполняя собой все пустоты. Если не поддаться привычке — нелегко решиться обмануть детское доверие этого дымчатого создания и изменить ему с легкомысленным неслучившимся, — то шагнешь в нужном направлении и получишь лучший мир.

Как разорвано наше сознание — не умерла бы, то и не вспомнила эти решающие минуты. Отдав предпочтение чему-то одному, тут же забываешь об этом, не замечая, что совершил магическое действие. И самоуверенно продолжаешь дорогу. А они, всполошенные тобой, бегут, толкаясь, вдогонку. И стараются настоять каждый на своем. Опыт обиженно мозолит глаза бесформенными серыми фигурами, расползающимися вокруг с авоськами и портфелями, или назойливо подсовывает через каждый шаг *примелькавшуюся до одури* трещину на асфальте. А неслучившееся загибается в хохоте и нетерпеливо подпрыгивает, привлекая к блеснувшей в луже под фонарем скомканной фольге, которая при рассмотрении оборачивается непонятной штуквиной, или распахивая якобы ветром никакое теткинo пальто, мелькает неуместным пестрым фартуком или разбойничьи пугает нетолпленным выражением лица встречного.

Взять последние пять лет моей жизни — окружающие люди с каждым разом делались загадочней и привлекательней, потому что все эти годы, не колеблясь, шла по пути предательства — но в простоте душевной мнила, что живу в неизменном мире. Теперь я понимаю, что мир — это всего лишь описание, на которое ты способен... В нем есть все, но он тебе соответствует, ничего не своего ты не извлечешь. Как там было сказано? — каждому воздастся по вере его... Кто-то заходит. Одежду принесли. Так ты в это верила? А то нет.

Слава Богу, родных не пустили, сами одевают. Как трогательно, мама выбрала тряпки не по своему вкусу, а по моему. Вечные наши споры, последняя ее уступка. Было б чем, я бы заплакала. Не дергайся так, это они хлопнули дверью, уходя. Звуки способны возвращать лучше всего остального. Раньше так действовали еще запахи и прикосновения... А сейчас скрежет закрывшейся двери помог мне снова оказаться в этой комнате. Зачем они обили эту дверь металлом? Можно подумывать, у кого-нибудь способно возникнуть желание проникнуть сюда без разрешения. Я бы ни за что в жизни не решилась попасть сюда по своей воле.

Но где я была до этого? Меня так захватило это зрелище, что я даже не могла думать. Я наблюдала, как они меня одевали, и заметила вдруг, что по бокам прибавилось еще несколько изображений. В центре было то, что изначально, — лежала я, и две пожилые женщины в белых халатах — одна справа, другая слева — меня одевали. По сторонам от этого — на других экранах? — сюжет повторялся, но с недоказуемыми изменениями во мне и в них. Чем дальше от центра по обе стороны, тем перемены были отчетливей, тем меньше я на себя походила. На некоторых я уже явно была нечеловеческим существом. Они тоже, но мы были разной породы. Когда я была птеродактилем, одна из них была чем-то вроде динозавра, а вторая *экзотическим* цветущим кустом; когда я была голубым треугольником, одна из них была стальным кубом, а вторая желтой волнистой линией. Они меня не во всех сценах одевали, но расстояния между нами сохранялись. Варианты плодились до бесконечности. Я уже не могла все ухватить разом и, если на каком-нибудь сосредоточивалась, тут же оказывалась внутри... Когда мне надоело смотреть, я обнаружила, что потеряла начало и

не знаю, куда возвращаться. Я не могла вспомнить, в каком из них я стартовала... Но важно было почему-то вернуться именно сюда. Самый большой ужас внушала возможность ошибки. Меня не прельщали даже те расклады, при которых я была живая. Но мне повезло, что они вовремя подали звук. Может, для этого и сделаны эти покрытия на дверях? Кто-то очень умный додумался и понял, что никому невозможно объяснить, молча изготовил, и все. А так вероятность попасть не в свою вероятность была очень вероятной... Я сейчас даже могу прочитать целую лекцию о теории вероятностных отражений пространств. Не надо, я очень устала. А я не тебе, я кому-нибудь другому хочу — удивительно, все пространства существовали одновременно и отдельно так же четко, как теперь вот это.

С кем бы поговорить, Господи! Я знаю с кем, только не знаю как. Неужели я теперь не смогу ни с кем даже поговорить?

Неужели ты теперь все время будешь только смотреть на меня с таким испугом, как недавно на кухне, и не услышишь ничего из того, что я скажу?! Что было у нас с тобой, я так и не поняла. Почему все произошло так, а не иначе? И могло ли быть по-другому? Эта вариантная вероятность измучила меня еще при жизни. Не в таком виде, как сейчас, но все-таки не давала покою. Сейчас я хотя бы твердо знала, что есть во всех этих равноправных реальностях одна, не то чтобы единственно настоящая и моя — все они были такие, — а самая правильная, что ли? Та, куда я должна вернуться. Иначе произойдет что-то страшное. Точно так же, как я знала, что мы с тобой должны были встретиться. Уверенность в этом была такая же, как будто я что-то знала, как сейчас я смутно помнила, и могла только сказать: не то, и это — не то. А что — то, не могла

указать, хотя оно тоже было перед глазами, *не могла*, пока не оказалась внутри. Но тут меня спас счастливый случай. Не уйди они вовремя, не хлопни дверью, где бы я сейчас была? Ведь немислимо было перебирать все эти возможности и пробовать на вкус, чтобы почувствовать требуемую. Могла ведь и пресытиться на полдороге и, махнув рукой, выбрать первое попавшееся под руку.

С тобой у меня было точно так же. Я что-то приблизительно чувствовала, но не могла нащупать верную подпорку. Тем более что уже с детства сны упорно не давали мне забыть, как должно будет все происходить. Наше «какдолжновсебыть» существовало еще до *нашей встречи*. В снах, когда я обнаруживала себя идущей с кем-то рядом. Переполненная любовью, выплескивающейся через край и заливающей все вокруг, — воздух от насыщенности влажно обволакивал при движении, я не шла, а плыла. Краем глаза я ловила смытые контуры моего спутника — источника этой перемены в атмосфере, но боялась обернуться. Спешить уже было некуда. И значит, можно было еще немного оттянуть время перед началом, чтобы упиться по капле этой исцеляющей точностью. Но я каждый раз перебирала, и, поскольку моя оболочка не расплывалась настолько, чтобы я могла вместить все, меня выбрасывало на поверхность, и я просыпалась от невыносимости счастья. Но я нисколько не расстраивалась. Я знала — это есть и ждет меня, и я тоже могу подождать. Только жалела, что не посмотрела ему в лицо — вдруг встречу и пройду мимо. Но, конечно, узнала, как только тебя увидела. И ты узнал. Дважды. Что я — это я и что я — такая-то, ты уже слышал обо мне, но еще не видел. И ведь место было настолько людное, что если б кто и назначил там свидание знакомому, и то б не

разглядел. А ты был так уверен в своей правоте, что неуклонно направился ко мне, и я, задохнувшись, расточительно отвернулась — пусть на этот раз пройдет мимо, и так слишком хорошо. И усиленно притворялась, что это — не я, выстраивая вокруг себя барьеры из всего, что попадалось: картонок, стен стоящих рядом домов, пыльных завихрений ветра, нарочно ссутуленной спины с надписями «это другая», «совершенно неинтересная особа», «неудобно к ней подходить», «опасно, вдруг нагрубит». Но ты спокойно перешагнул, оставив без внимания мои ухищрения, как будто их и не было, и над ухом у меня раздалось: вы — такая-то?

Это одно из моих любимых воспоминаний, я часто его просматриваю. Я иду через оживленную площадь, кругом крики, машины, дети, приезжие, цыгане, воробьи, и вдруг нечаянно вижу тебя и узнаю. Ты потом говорил, что следил в это время за передвижениями разорванного пластикового пакета, погоняемого ветром, пока тот не заземлился прямо у моих ног. Тогда ты поднял глаза и тоже узнал. На моей пленке это не записалось, я прокручиваю ее дальше. Незаметно все посторонние звуки и изображения исчезают, ты начинаешь приближаться, вначале маленькая фигура в отдалении, затем вдруг глаза крупным планом — неумелая работа оператора, — снова фигура полностью, камера медленно наезжает, опять глаза на весь снимок. Стоп. Перемотка, еще раз. Снова глаза и наложение кадров, за ними — ты целиком, со всеми подробностями. Приятно смотреть, никакая неопытность не смогла испортить, потому что мы сами тогда не сфальшивили. Ты тоже так почувствовал. Не случайно это была единственная совместная история, которую ты мне не раз пересказывал, неизменно прибавляя: «У тебя тогда юбка развевалась на ветру». Я-

то прекрасно помню, что была в брюках. Первые несколько раз я пыталась тебя поправить, ты отвечал: не может быть, но не важно, — и в следующем воспоминании юбка снова фигурировала в качестве одного из основных моментов. Я решила не обращать внимания, и правда, не важно, но, как-то прокручивая пленку — я стою, ты медленно приближаешься во внезапной тишине — если не считать музыкального сопровождения, на втором плане — неясный фон, даже собаки размазались, создав вместе с асфальтом и прохожими зыбкую декорацию, — я одеревенело разворачиваюсь на твой голос, и юбка то плотно прилипает от ветра, то пышно раздувается. Но не важно.

Главное, что потом нам почти никогда больше не удавалось соответствовать. Я потом никому не решилась рассказать о том, как мы познакомились, и, если меня спрашивали об этом, я в панике начинала придумывать историю, всегда новую — забывала, что говорила в предыдущий раз. Это и понятно — правде бы никто не поверил. В лучшем случае меня бы подняли на смех. Хотя что тут такого, если подумать. Когда ты не отклоняешься от должествующего, внешне это выглядит как чудо. Позже ты повторял, что подошел только потому, что *ветер указал тебе на меня. Не то чтобы я покупалась на подобные заявления, но видно было, что ты не создаешь всей романтичности этой фразы, иначе не произнес бы ее вслух. Скорее ты делал упор на мистическую ее сторону...* Да и я оказалась там в тот миг потому, что шла не думая, куда ноги приведут, что тоже очень редко бывает со мной. Нас обоих туда привело, и мы допустили остальное. А после редко удавалось приблизиться к абсолюту. Наверное, мы сопротивлялись, сами того не ведая.

Казалось, уж мы ли не были осторожны? Ты, во всяком случае. Я-то поначалу лезла напролом, не желая расставаться. Ты проявил мудрость не по годам, не допуская излишеств. Глядя на тебя, я стала осторожней. Перестала поддаваться желаниям, высчитывала последовательность каждого телефонного звонка, продолжительность каждой встречи. Увлечшись, постепенно перешла на все более жесткий самоконтроль. Я следила за каждым своим жестом, словом, улыбкой, инквизиторски выверяла впечатление, производимое на тебя. В своем усердии я незаметно для нас переместилась в тебя, продолжая отдавать необходимые распоряжения оставленной оболочке. Даже расставаясь, я тебя не покидала. Когда по моим подсчетам наступало время расставания, я отправляла погулять ходящую куклу — мечта моего детства, — вложив ей в опустевшую голову самовоспроизводящуюся запись примерно следующего содержания: «При переходе улицы посмотри сначала налево, потом направо, переходи на зеленый свет, не забудь поесть, повторяю: не забудь поесть, для этого ты должна зайти в магазин, нет, для похода в гости ты невменяема, магазин рядом с домом, дорогу ты знаешь, деньги во внутреннем кармане пальто, можешь взять такси, если не в состоянии войти в метро, не забудь выспаться. Лучше в магазин, если поехала на такси, на кафе не хватит денег, повторяю, при переходе улицы...» Сама же оставалась в тебе, следя за развитием событий внутри и снаружи, чтобы вычислить оптимальное время для ее возвращения и подсказать ей дальнейший ход действий. Странно, что никогда раньше об этом не задумывалась, и только сейчас стала видеть, что тогда происходило. Что там она делала, когда уходила от тебя, я совершенно не помню, меня тогда с ней не было. С кем она встречалась, где проводила время, чем занима-

лась — целый год жизни выпал — вне тебя ее не было. Подозреваю, что она праздно шаталась по округности от твоего дома, если я забывала дать ей конкретное поручение. Зато я прекрасно помню все твои мысли по ее поводу или имеющие отношение к ней. Я их не внушала себе, нет, помню, мы подумали: какое у нее неприятно широкое лицо вблизи, — и я, отделившись, прошипела: «Быстро отодвинься на полметра!» и, вернувшись в тебя, застала над абстрактными размышлениями о твоей математике. На время отвлекшись, я предалась своей обиде — я про твое лицо никогда не думала так отстраненно — и упустила довольно длительный промежуток. Так что пришлось определять по наитию, с какого места продолжать — того, где я тебя оставила, или ты успел продвинуться в новых мыслях обо мне. Весь этот бред в редкие минуты заглядывания внутрь себя я оправдывала своими неземными чувствами и успокаивалась. На деле же это был страх — раз ты счел, что нельзя злоупотреблять, значит, была опасность. Боязнь лишиться тебя повела меня по ложному пути. Но, как известно, все дороги ведут в Рим, не только ложные, но и мнимые. Не надо было никуда идти, любовь спокойно пребывала рядом. Но простому смертному не так-то легко поймать жар-птицу, если он не родился дурачком или сыном Бога. Ему придется пройти до конца, сносив семь пар железных сапог, стерев семь железных посохов и перегрызая и переварив семь железных хлебов. Или своими высокими, почти нелюдскими добродетелями снискать расположение доброй феи, чтобы она для преодоления времени-пространства даровала ему ковер-самолет, огнедышащего коня или скороходы. Все равно неминуемо предстоит сразиться насмерть с Драконом, охраняющим вход, или, поспорив на собственную голову, решить три загадки —

кто во что горазд. А то и потихоньку скармливать сам знаешь какое мясо кровожадной птице-Рух, чтобы довезла, не выронив на лету. Пока не пойдешь туда, не знаю куда, чтобы добыть то, не знаю что, не поймешь, что оттого и слез с печи, на которой провел сорок сороков без забот, что оно само пришло к тебе и разбухло. Не знаю, чем я в детстве слушала сказки, если тогда этого не поняла. Всего-то и надо было — идти, не сворачивая, любым путем, на который вышел.

Временами мне это удавалось. Находясь в тебе, я полностью с тобой сливалась, и мы могли часами вдохновляться научными идеями и математическими формулами или восхищаться в мое отсутствие хорошенькой женщиной — пока я не одергивала себя — отдергивала от тебя, напоминая сурово, чьи интересы я здесь призвана блюсти. И тут же, пока наши мысли не совсем разъединились, старалась направить внимание в верное русло, прорывая канал и подводя течение к ее поехавшему чулку, глупому высказыванию, грязным ногтям — но не обкусанным — такие тебя иногда трогали, — или вульгарным манерам, а если особенно повезет, к выглядывающему из туфли подследнику — ты с детства не переносил такое зрелище. Одновременно обособившейся от тебя частью посылала себе сигнал тревоги, призывая вернуться немедленно. Остававшаяся в тебе половинка меня не могла уже охватить тебя целиком из-за своей неполноты. Воссоединяясь с ней, и я застревала в нише, куда она соскользнула уже по привычке. Не замечая, что этот уголок в себе ты не особенно ценил, редко используя его для недолгого отдыха, я принималась за его дальнейшее освоение и благоустройство. Раскладывала знакомые уже вещи по полочкам для порядка — за время моего отсутствия они снова разметались — вот твой детский матросский ко-

стюмчик, вот твой сдувшийся от времени двухцветный резиновый мяч, вот твой старый ботинок — коричневый, с отклеившейся подошвой — не знаю, зачем ты его хранишь, ну ладно — вот, привет, твоя любимая книжка про путешествия, вот твоя первая любовь, смотрит через заваленный немывтыми тарелками стол в ночное окно, опершись на ладонь, устало не поправляет выбившуюся на глаза прядь, вот твой первый игрушечный пистолет, нет, второй — первый был деревянным, вот твои «Три мушкетера» — они в другом издании, чем мои, но ничего, мы их поставим рядом. Это тоже был выход — приручив местность, соединить его население с моим, водящимся на этом уровне, — вот моя любимая кукла, правда, не ходящая, но зато моргающая — ей соседский мальчишка назло мне выковырял один глаз, и я предпочитаю на нее не смотреть, но не в силах выбросить, вот мой плюшевый мишка, подаренный мне на зубок, он тогда был с меня ростом, есть фотография; вот мое первое нарядное платье, мама не помнит, куда оно задевалось, но оно осталось здесь, вот моя первая любовь — пардон, кого это ты имеешь в виду? — а что, мало ли было увлечений, можно создать собирательный образ для поддержки справедливости и равновесия. И пойти дальше, и так по всем уровням. Рядом с твоими формулами мы бы расположили мои картины — тогда я прекратила их писать, но те, что были, ведь нравились тебе? Выбрав этот занудный путь, надо было пройти его быстрее, и, уж во всяком случае, не отвлекаться. А я своими отстранениями, отступлениями, возвращениями создала непроходимый лабиринт, в котором потерялась сама и запутала тебя. И при этом затянула весь процесс при твоей аллергии к захватническим движениям. И еще ты замечал то, чего я совсем не учитывала, — вместо себя я

при встречах подсовывала тебе пустоту. Из всего этого уже нельзя было выбраться иначе, как выйдя совсем. Что ты и попытался сделать. Лабиринт так прочно обвил нас своими ответвлениями и обложил тупиками, что для освобождения тебе пришлось применить взрывную силу. Но ее ударной волной нас самих разбросало в разные стороны. Сотрясение произошло в минуту, когда я снова находилась в тебе, в одном из отделений, но не в привычном, а новом. Это был явный прогресс. Я уже и с ним начала свыкаться. Я как раз заканчивала натягивать бельевую веревку. Один ее конец я уже прикрепила к твоим лыжам, стоящим в углу, а другой — как раз завязывала узлом на моем торшере — я видела его раньше, когда мы гостили у родственников с ночевкой в другом городе. Он стоял в изголовье доставшейся мне кровати — с белоснежным абажуром, в разводах из мелких салатových цветочков. Я была маленькая и подумала, что очень шикарно было бы иметь такой. Читать под ним вечерами в постели должно быть очень уютно. Мои родители не разделяли моих вкусов. Впрочем, когда у меня появилась своя квартира, я тоже не удосужилась купить такой. По-моему, твои лыжи были того же происхождения. Ну что мне стоило не заикливаться на этой комнате и быстрее перейти к остальным. Может, тогда ничего бы не произошло. Тем более что с содержимым одних комнат я была весьма приблизительно знакома, о других же только догадывалась. А оставшиеся отпугивали своей мрачностью. Да и добраться к ним было не так-то легко. Иногда я обнаруживала себя поднимающейся или спускающейся по лестнице, которая становилась чем дальше, тем круче. И я с тоской уже предвидела финал — вот он, обвал, через который приходилось перелезть, стараясь не смотреть внутрь, в темноту, пачкая и разрывая одежду,

обдирая в кровь руки и рискуя обломать кости. Если же мне удавалось сесть в лифт, и тогда ничего утешительного не предвещалось — он с такой скоростью проезжал мимо нужного этажа, что я уже готовилась расплющиться об крышу или шмякнуться в подвал. Но всегда каким-то чудом выбиралась из него и покорно признавала, что мне надлежит проделать путь через те же лестничные провалы, разве что теперь их расстояние увеличится в несколько раз. Для полной правды надо отметить, что иногда не встречалось почти никаких препятствий, но тогда я так увлекалась восхождением или спуском — а может, меня тянула какая-то сила, — что я непременно проскакивала мимо своей двери. Но когда наконец добиралась до нужного места, начиналось самое тягостное. Это всегда было моей слабой стороной — способность к обживанию почти на нуле. Когда я получила свою однокомнатную квартиру, съехав от родителей, мне понадобилось месяца три-четыре, чтобы уверенно ступать на всю поверхность пола. До этого я пользовалась исключительно двумя тонкими тропинками: одна пролегла от прихожей мимо ванны к кухонному столу, оттуда разветвлялась рогаткой к раковине с газовой плитой и к холодильнику, а вторая вела в комнате к дивану и, слабо протоптанная, загибалась к шкафу с одеждой. Пока я не поместила у окна свой мольберт и не начала писать, все вынужденные отклонения от тропок делались быстрыми скачками.

А ведь и сейчас торчу на одном месте, как приклеенная. Ну и правильно, не надо смотреть ни на что, пока люди не придут. А когда они придут? Сколько времени я уже здесь нахожусь? Окна зашторены, не поймешь, какое время суток. А может, я просто не вижу, что там за ними? Или я уже в другом мире, и там, за

ними, ничего нет? О, полная луна! И снег ее отражает, усиливает ее влияние. То-то я такая тревожная сегодня. Опять ты застыла на луну! Знаешь, что тебе это вредно. *Не заснешь потом.* Двор какой-то незнакомый. Где я? Ах да, я же умерла! То есть как это? Я тебя предупреждала, не надо об этом. Продолжай рассказывать себе истории. Подожди, а как же я увидела луну? Может, мне показалось? Нет, вот она. Но как я ее вижу, не могу понять. То ли я продвигаюсь сквозь занавески, то ли вижу через них. Как я это делаю? Вот сейчас я вижу занавески, а сейчас луну. Впрочем, это не занавески, а просто стекла покрыты бежеватой матовой краской. Угораздило же умереть в полнолуние. Прошу тебя, не надо на эту тему. Продержись еще немного, скоро утро. Ты начала вспоминать довольно интересные вещи. На чем я остановилась? Ах да, как меня отбросило взрывом. Мне тогда было тяжелее, чем даже сейчас. Определенно тяжелее. Теперь мне, по крайней мере, не надо ни о чем заботиться — рыть могилу, покупать венки — прекрати немедленно, — а тогда надо было продолжать жить. Встречаться с людьми, делать дела. А мне даже пройтись по улице было больно, такой незащищенной я себя чувствовала. Я привыкла жить с ним, в нем, а без него стала как с ободранной кожей. Я не понимала, где нахожусь. Я знала, что видеться с ним сейчас невозможно, нас слишком далеко друг от друга разбросало. Недаром пути наши не пересекались, хоть мы и продолжали жить в одном городе и ходить в одни и те же заведения и одни и те же гости. Зато я тогда начала снова писать картины. Если бы не они, от меня сейчас ничего бы не осталось. Квартира и одежда не считается. Машину уже, наверное, не восстановить. Выбросят на свалку. Но я не могу вспомнить, как я тогда жила. Сплошной туман вместо воспоминаний. Было больно.

Я лежала целыми днями лицом к стене, с закрытыми глазами. Потом я вдруг поняла, что можно рисовать не только то, что видишь глазами, но и то, что видишь, закрыв глаза. Это было неожиданное открытие, как будто кто-то мне раньше запрещал. Но было очень трудно удержать образ — не то что срисовывать с натуры. Стоило мне начать всматриваться в картинки, как они тут же расплзались, перетекая в другие. Поэтому в памяти оставались только наброски. Да и то если новый образ не затмевал старый красотой или неожиданностью. Бывало, что и чудовищностью. А потом и цвета сложно было воспроизвести. Иногда, сколько бы я ни перемешивала краски, не получался нужный оттенок. А без него и вся картина теряла смысл. Что в одном цвете впечатляет, в другом кажется мазней... Я тогда поняла, что сочетания оттенков могут нести такие откровения, какие ни из одного учебника не почерпнешь. Да и с формой тоже были свои сложности. Труднее всего было удержаться и не добавить вместо утерянной детали что-нибудь свое. Сколько бы ни казалось, что так будет интересней, результат был один — испорченная работа. То, что являлось мне и держалось мгновение, было богаче и глубже всего, что я могла придумать после долгих размышлений и прикидок. Это было видно, когда картина удавалась. Если вглядываться, в ней появлялись все новые и новые планы, до которых мне самой ввек бы не додуматься. Это при том, что я ставила себе весьма скромные задачи. На чистые, пронзительные линии, которые удались Рафаэлю, особенно в его Мадонне, я и не замахивалась. Знала, что не потяну. Не протяну. Меня еще хватало, чтобы уловить их, но воспроизвести было не по силам. Они захватывали меня, завязывали в узел, вытягивали меня саму в одну линию. Но вместо того, чтобы обтянуть этой линией

бесплотные контуры, я бессильно свисала и болталась на ветру. Я уже поняла, что писать надо всем телом, но мое тогда еще было недостаточно гибко, чтобы охватить все великолепии. И недостаточно тонко, чтобы послушно облекать, не выпячивая свои привычные уклады. И недостаточно мягко, чтобы не ломаться. Мне что-то надо было делать с телом. Однажды мне приснилось, что я родила ребенка. Это было самое красивое из всего, что я когда-нибудь видела. У него были точно такие же глаза, как у него, но в них карий цвет был самого незамутненного оттенка. Такие густые, бархатно-шоколадные изнутри, но ясные на поверхности. Казалось, что у этого цвета нет конца, такой он был глубокий и распахнутый. Может, такие глаза были у первого человека. Или у него, когда он только родился. Может, еще у кого-нибудь. Наверное, про такой цвет говорят, что в нем можно утонуть. Значит, и другие видели такое. Но у моего ребенка глаза были еще и сами излучающие, их бездонность не засасывала. Насчет цвета не буду спорить, но вряд ли еще у кого-либо человека были такие любовь и доверие во взгляде. Невозможно представить. Очарование было не только в глазах, а во всем облике. Лобик, носик, ручки, ножки — словами не скажешь — мой младенец был сама гармония. Я и сейчас его вижу. Я знаю, что он где-то есть, только бы узнать — где? А вдруг теперь удастся... но лучше об этом не думать, а то сглазишь. Но он реальнее многих моих знакомых, почти всех. Вот если бы мне удалось его нарисовать... Хотя я, конечно, знаю, что передать обаяние ребенка еще никому не удавалось. Даже Леонардо великому после стольких эскизов пришлось признать себя побежденным. Только намеками, только косвенно, только через. Никогда прямо. Эту непостижимость детских черт еще никто не выразил. Разве

иногда сквозь более зрелые лица она выглядывает, как обещанная утрата... Как у некоторых Ангелов Возрождения, как у Мадонны в отрочестве. И еще лица стариков способны отражать ее отблеск — они снова приблизились к ней, но с другой стороны. Но портретами я тогда перестала увлекаться. Мне стало интересней писать то, чего другие не видели. Или сговорились не замечать, — подозревала порой. Потому что многие вещи, бывшие на виду, хором обходились молчанием, а другие предметы по непонятным причинам пользовались горячей любовью, — их постоянно обсуждали, описывали в книгах, их писали художники. Нас даже учили рисовать по ним, хотя многие из них, тот же пейзаж, например, были сложнее для исполнения, чем некоторые вещи из тех, на которые налагался запрет. Но не все, к счастью, ему следовали, иначе я сочла бы, что сошла с ума. Вот хотя бы Гойя — не побоялся рисовать табу. Порой и у меня получалось. Каждая удавшаяся вещь наполняла меня, делая менее опустошенной. И, напирая изнутри, расширяла до самой себя. Я становилась полной и целой — наполнялась собой и соединялась с собой. Я начала многое видеть из того, что раньше не попадало в поле зрения. И точек, из которых я видела, стало намного больше. Я расширилась настолько, что мне удалось покрыть необъятное расстояние, бывшее между нами. Потому что тогда он вдруг появился сам. Пришел и позвонил в дверь. Как раз через несколько часов — время, необходимое для выяснения моего нового адреса, изменившегося за полтора года — после того, как я наконец отпустила его. Поняв, что могу жить без него. Не переставая любить. Его внезапный приход подтвердил мое тогдашнее убеждение, сложившееся за время нашей разлуки, — никто никому ничего не должен, как бы ни хотелось всем

думать наоборот. Если это понять, ни на кого уже не будешь в претензии и временами будешь получать нечаянную радость. Честный подарок — не выманенный и не купленный. Но заслуженный. Несправедливых подарков не бывает. Как не бывает и случайных разочарований. Это все равно, что выйти в дождь без зонтика и жаловаться, что не смог дойти сухим до метро. Или биться головой о каменную ограду и на все заявления, что ворота в двух метрах слева, упрямо твердить: а я хочу именно здесь пройти, но почему мне больно и почему не получается? Но смотря что пересилит — можно научиться и сквозь стенки проходить, было бы желание, — но тогда вряд ли будет так же важно оказаться за этой оградой, как прежде. Захочется чего-то другого. Ты умнеешь прямо на глазах. Да, одиночество мне на пользу, я могу смотреть на все со стороны, не включаясь. Но не такой же ценой! Пусть бы меня в тюрьму посадили, в одиночку, я согласна на это. Я бы тогда все поняла и начала бы правильно жить. Ну, как бы не так — ты тогда всю энергию употребила бы на *устройство побега*. Что же мне теперь делать? Ладно, замнем. Значит, говоришь, когда он вернулся, все пошло по-другому? Еще бы, я тогда стала уже ученой. Просто ты стала взрослей. И самостоятельной. Все это время ты сторонилась других людей и поэтому научилась обходиться без них. Для твоего существования уже не требовалось подтверждения со стороны. И подпорки тоже. Но и наблюдательность у тебя возросла после того, как ты перестала воспринимать других как часть себя. Да, я тогда сделала великое открытие, может, самое большое в моей жизни: все люди — разные. До этого я была убеждена, что все похожи на меня и отличаются только по принципу «больше-меньше». Например, глупее-умнее, добрее-злее. Но было

потрясением основ, когда я поняла, что другие могут обладать качествами, которых у меня отродясь не было, поэтому мне нечем их понять. У меня не было такого места, органа, которым я сумела бы ощутить их по параллели. Но и у меня могло быть что-то отсутствующее у другого. Я так до конца не продумала свое открытие, поэтому сейчас смутно представляю, что же я там поняла. Нужно было с кем-нибудь проговорить его, чтобы самой стало ясно. С ним я тоже это не обсудила, как-то не было все времени. Наверное, начини я ему все объяснять, нужно было бы пользоваться геометрическими фигурами. Все, что не описывается математическим языком, ему скучнее слушать. Когда я заговаривала о чувствах, он сразу менял тему. В лучшем случае сердился: «Что ты все выдумываешь?» — хоть какая-то реакция. Может, у него было что-то, чего я не имела, поэтому и сейчас не могу понять его отношения к этому. Но думаю, свое открытие я бы смогла ему объяснить. Я бы сказала: давай возьмем квадрат и обозначим его X , а круг обозначим Y . Тогда, если они приблизительно равны по площади, то все зависит от того, что во что вписывается. Если круг в квадрат, тогда X полностью понимает Y , а для Y остаются загадочные уголки в X . Если наоборот, то — загадочные сегменты. И тогда важно знать, с какой части своего я они будут друг с другом общаться. Это только кажется, что мы обращаемся к другим из одного места, или что в беседе бывает задействована вся площадь я. Если квадрат будет разговаривать с вписанным в него кругом из общего центра, то они заживут душа в душу, а если из отстраненного угла, то Y решит, что X хочет показаться острее, чем он есть на самом деле. Если наоборот, круг описан, то X решит что Y прикидывается и строит из себя крутого. Я не рассматриваю ситуации, когда пло-

щадь одной фигуры намного больше другой. Тут и говорить не о чем. Но и то только в том случае, если они лежат в одной плоскости... Ну а если это пространственные фигуры, то тем сложнее область их соприкосновения, чем они объемнее. Зато и взаимопонимание глубокое, а не поверхностное. Правда, если им не удалось вписаться — или не захотели — тогда придется держать дистанцию, чтобы случайно не покорезить друг друга выступами. Но эта дистанция тоже сложная штука... С одной стороны, она должна способствовать технике безопасности, с другой — не удлиняться настолько, чтобы взаимное притяжение ослабло. И при этом надо постоянно следить, какой стороной повернут к тебе сам объект. Когда круглой или гладкой — подходи как хочешь близко, если ты сам не представляешь угрозы, когда зазубринами — отскакивай. Есть еще возможность стать комплиментарным ему, как ключ замку. Если уверен, что не согнешься от этого. Меня лично не хватило ни на один из этих трех способов. Сил было мало. И не только это. Мне начало казаться, что мы с ним поменялись ролями против моего желания, я была за Принца, он — за Спящую Красавицу. Ладно б только это! Но он еще и нарушил правила игры и не проснулся после поцелуя. Не только после первого, но и после второго, третьего, сотого он все продолжал спать. Как будто интересно целоваться со спящим. Я возмущалась, потому что я бы его разбудила, не сомневаюсь, но он с самого начала не спал! Сперва притворялся, чтобы посмотреть, что будет дальше, потом понравилось — он ничего не делает, а его целуют, а потом привык и решил так остаться, а то вдруг откроет глаза и что-то не то увидит. Так и смотрел в щелочку сквозь ресницы, быстро зажмуриваясь, когда я приближалась. То есть у нас опять все не складывалось. Вот тогда я и

стала задумываться о вероятностях. Я не обвиняю тебя. Просто тогда я тебя не понимала. Хотя я уже сделала открытие, что все люди разные, эта тема закрывалась сама собой, как только дело касалось моих близких. И еще: насколько я очертя голову кинулась в наши отношения, настолько ты надеялся, что это не всерьез. Чем очевидней для тебя становилось, что это не понарошку, тем отчаянней ты надеялся. И принимался доказывать на деле. В первую очередь себе самому. После каждой чрезмерной, с твоей тогдашней точки зрения, вспышки любви ко мне — из места, откуда ты смотрел, они казались неоправданными и преувеличенными кем? — ты бросался к другим женщинам, чтобы утвердиться, что для тебя нет разницы. И приходил к доказательству от противоположного, как вы выражаетесь в своей математике. Но ты не восклицал радостно: что и требовалось подтвердить, как после своих научных изысканий, — тебе становилось не по себе. С моей же позиции твое поведение выглядело как точный слепок с моего, если бы я не любила. При этом я чувствовала, что ты меня любишь, да еще как. То есть чувствовала одно, а видела другое. Как тут не растеряться. Но я не думала, что, будь на твоём месте другой, мне могло бы быть лучше. Мне нужен был именно ты, это было ясно. При встречах с другими людьми у меня не возникало ощущения, что где-то внутри меня, примерно между сердцем и желудком, захватив большую часть души, кто-то вырезал кусок. И я настолько свыклась с этим, что не замечала нитья. Понадобилось время, чтобы я, отбросив в сторону все свое скудоумие, поняла — при встречах с тобой я испытываю не радость, а просто утихает боль, ставшая хронической, — оперированное место являло точный слепок с тебя, вместе с твоими помятыми костюмами и папирской в руке ты идеально заполнял

вакуум. Частично его заполнить невозможно. Поэтому я ни к кому и не кидалась. В отличие от тебя, мне не требовалось съесть яблоко, чтобы познать, что оно гнилое. Что ты — да, я — да, но, может, время-место были не те? Я примеривала разные возможности, которые могли способствовать нашему полному совпадению. Наверное, встретиться мы чуть раньше, когда ты никого еще не любил до меня, ты бы сразу поверил в нашу любовь. Но потом я подумала, что у тебя стали бы возникать всякие искушения, исследовательская жилка в тебе так развита. Ты бы стал оправдываться — почему я решил, что она — единственная, — это надо еще проверить. И карусель бы закружилась по новой. Самым привлекательным мне казался вариант, когда б ты был намного старше меня. У тебя был бы тогда большой опыт несовпадений и разочарований, увидев меня, ты бы сразу понял — вот то, чего мне не хватало, что я напрасно искал всю жизнь. Но — ты был бы к тому времени наверняка женат, дети, то-сё. Вряд ли б нам тогда удалось встретиться так, чтобы не пройти мимо. Ведь узнаешь только то, что ожидаешь увидеть. Или если бы ты был моим сыном. Вот бы я тебя любила-лелеяла! Ты был бы полностью моим. Я бы тебя купала, читала бы книжки на ночь, отвечала бы на все вопросы. Мы бы совсем не расставались, потому что ты бы этого не хотел и цеплялся за мою юбку, я бы на секунду притворилась, что хочу уйти, чтобы увидеть, как ты это делаешь, а потом бы, конечно, осталась. И так было бы всегда. До определенного момента, пока ты не повзрослеешь. Тогда другие женщины стали бы важней меня. Ты бы, бросив меня, ушел к ним. *Да и мне бы, наверное, не очень понравилось, если бы за меня все время цеплялись.* Вот если бы я была твоей дочкой, ты бы никуда от меня не делся, сколько бы у

тебя ни было женщин. Они были бы одно, приходили бы — уходили, а я совсем другое. Меня бы ты всегда любил. Правда, только до известного предела. А меня это тоже не устраивало. Да и вообще не устраивало, как ты относился к женщинам, ко мне ли, к другим ли. У тебя откуда-то было представление, что женщины — это забава, а друзья — это серьезно, и ты примеривал к нему свою жизнь, кроил свои поступки, подгонял их по этому образцу. Женщин можно было бросать, но потерять друга! Как можно? Была бы я твоим самым близким другом, проверенным и надежным, ты не стал бы искать другого. Были бы бабы, сегодня одна, завтра — другая, а когда они б тебе надоедали, мы бы снова встречались и выпивали. Ты бы мне все рассказывал, про баб тоже, и я бы не ревновал, потому что они все — второстепенное, от меня у тебя не было секретов, а с ними ты изворачиваешься, придумываешь, чтоб не лезли в душу. Но тогда нам нельзя было бы все равно целоваться по-настоящему и все такое прочее. Мне-то все равно, то есть не все равно, а хотелось бы, но ты бы не смог. Мне пришлось бы украдкой к тебе прикасаться, не больше двух-трех дружеских объятий в день, и ты бы задумался. Все-таки ты очень консервативен. Куда ни кинь, лучше того, что было, быть не могло. Или не там я искала пути улучшения. Как в детстве, когда я вознамерилась понять, что такое бесконечность, и придумала принцип, по которому за точку отсчета бралась я сама. Если поверить, что я вся состою из атомов, невидимых глазу, а сама при этом живу на планете, которая вместе с себе подобными может быть таким же набором атомов, то вся Вселенная — всего лишь крохотная клетка с молекулами из планет в теле какого-то гигантского человека. И Он может рассмотреть ее в самых общих

чертах, если изобретет мощный микроскоп. А сам Он является обитателем атома в клетке еще большего сверхчеловека и так далее. Тогда каждая моя клетка — необъятные миры для маленьких человечков, а они в свою очередь, и так далее. Тогда получалось, что, обстригая себе волосы, состригая ногти или поранив коленку, я рушила целые галактики с их надеждами, любовями, войнами, страданиями и прогрессами. И кто-то так же запросто, не задумываясь, может состричь нас. Ну и что, что мы так долго живем и еще ничего не случилось. Если Он такой большой, то то, что для нас тысячи лет, для него одна секунда. У него еще ногти не выросли. В таком случае выходило, что я преступница. Но, с другой стороны, ногти для того и растут, чтоб их стричь. Так было задумано, значит, и крушения тоже входили в планы. Или же моя теория подходила только для объяснения бесконечности, а для всего остального требовались другие возможностные допущения. Как это я все понимала только через свое тело. А если б оно у меня было другое, я бы по-другому все понимала, что ли? Кажется, я увидела, как надо было рассматривать наши отношения. И вообще все, что происходило. Человеческие судьбы — это, как пейзаж. Который может меняться только в пределах данности. И от выбора ракурса — но тогда меняется не суть происходящего, а всего лишь угол зрения. Допустим, что я была бы деревом — первое, что бросается в глаза в пейзаже. А ты — рекой. Тогда я опускаю всякие рассуждения на тему: в каких климатических условиях дерево могло вырасти, а в каких было бы другим деревом или вообще не выросло. Если бы я росла на утесе горячем, а ты бы протекал на севере диком, то ты мне мог бы только сниться. А так я выросло там, где выросло, и той породы, какой получилось. И расстояние

между нами — свершившийся факт. Оно такое, какое есть. Муравью покажется очень большим, человеку — так себе, пролетающей птице — ничтожным, а из самолета решат, что мы — одно и то же. Из проплывающих по тебе лодок подумают, что я недосыгаемо, потому что над берегом крутой обрыв. Одним покажется, что мы вечность рядом, а другие могли видеть тебя, когда меня еще не было. А потом меня срубят, или в меня ударит молния, или я завяну — вспомнила, где я! — подожди, давай пока про дерево — ну что ж, а ты все будешь протекать. А рядом с тобой вырастет другое дерево. Нет, это мне не подходит. Хорошо, тогда я буду скала. Значит, все рассуждения о расстоянии остаются в силе, а время — все обозримое прошлое и будущее. Да, красиво получается. Тому, кто сидел бы справа спиной ко мне, было бы ясно, что ты бесконечно от меня убегаешь, а тому, кто слева, — что ты вечно мчишься ко мне. С большой высоты определили бы, что ты неподвижен. Я была бы частью тебя, или ты — частью меня. Нет, вместе бы мы были пейзажем. О котором не рассуждают, почему, да как, да зачем, а любят им и принимают. Господи, сколько я ошибок сделала! Зачем было столько суеты? Почему я не могла просто радоваться ему и всему, что у меня было? Я же не скала, у которой прорва времени впереди. На что я изводила свое время? А могла бы наполнить всем, чем пожелаю.

Уже светает. Кажется, это сегодня. Господи, почему я жила так неправильно? Почему я так бессовестно вела себя с людьми? Ф-фф, про родителей без содрогания и не вспомнить. Что они сейчас должны переживать! Это ужасно. Сколько сил они на меня потратили. И ни одного слова благодарности от меня за всю жизнь. А сейчас? — небось вдрызг сломалась совсем новая машина, которую они мне подарили на день рождения.

Могли ведь потратить все эти деньги на себя, и никто бы их не обвинил. Нет, всю жизнь я им доставляла одни неприятности, и сейчас еще вот это. Шутка ли, потерять единственного ребенка. Бедные! За что же им такое? Ничего хорошего они от меня не видели за всю мою сознательную жизнь. А умерла я как бездарно! Другому надо было бы еще постараться, чтобы так глупо все кончилось. Ну вот ни с кем, ни с кем — кого ни возьми, я не поставила красивой точки в отношениях. Со всеми все как-то недосказано, недоделано, недочувствовано. Висит рваными лохмотьями. А с тобой какую пошлую последнюю встречу устроила! Откуда ж мне было знать, что она последняя. Господи. Если ко мне сейчас никто не придет на похороны, я не удивлюсь. Господи! Ведь никому ничего особо хорошего, такого, чтоб запомнилось, я не сделала. Ни одному человеку! Но и ничего особо плохого тоже. Нашла чем хвастаться! Есть ли хоть одна заповедь, которую ты бы не нарушила? Пожалуй, что нет. Я ведь и убивала. И не кого-нибудь, а нашего ребенка, даже еще и не родившегося. Господи, ну почему это все так долго тянется, когда же меня заберут? Когда я хоть куда-нибудь денусь? Не хочу тут торчать и вспоминать свою жизнь. На что я надеялась? Я думала, что не так скоро все это кончится. Я думала, что у меня еще куча времени, я же столько раз собиралась делать добрые дела, и не для галочки, а от всей души. Я думала, что успею, не сегодня, так завтра, сказать всем, кому я благодарна, как я им благодарна, или как-то выразить. Почему я всегда это откладывала на потом, как будто есть что-то важнее? Почему выразить свое неудовольствие я всегда успевала? Как я могла всерьез на кого-то злиться и обижаться, когда есть смерть? Как я могла хоть от кого-то что-то хотеть? Когда единственное, что было дей-

ствительно в моей власти, — это самой что-то делать? Какой был смысл в моей жизни, если все так бестолково тянулось и кончилось? Во что я превратила свое существование, когда все было в моих руках? Когда можно было жить да радоваться. В жизни столько поводов для радости! Почему же я с таким тоскливым упорством выискивала причины для огорчений, когда в моих силах было пройти мимо них, не коснувшись. Как я этого тогда не понимала? Почему я превратила любовь — яркий праздник, чистосердечный дар — в угрюмую работу? Господи, почему я не радовалась жизни? Если бы знать заранее хотя бы за день, что это произойдет, я бы успела для каждого найти слово, чтобы высказать любовь. И родителям, и друзьям, и просто людям, с которыми всего один-два раза встречалась, но получила от них массу тепла. Господи, бывают же такие! И с ним. Если бы я знала, что то — наша последняя встреча, разве стала бы я делать ее такой безобразной? Да я бы даже расстраиваться не стала, а тогда сама себя загнала в такую трубу, что жить расхотелось. А все и выеденного яйца не стоило.

— Ну да? А как он с тобой обошелся? — А что он такого особенного сделал? — У него же ночевала какая-то женщина! — Он же сказал, что этого не было. — Вот именно. Ты-то сама знаешь, что было, значит, он сказал тебе неправду, то есть дважды предал. — Господи, какие высокие слова. Откуда же это я знаю, что была? — Ладно, хоть сама себе не ври. Ты же своими глазами видела, как аккуратно у него застелена кровать. Ты же прекрасно знаешь, что если бы он ждал с визитом саму королеву Англии, и то не смог бы сам привести ее в такой порядок. — Он сказал мне, что ее застелила женщина, которая помогает ему по хозяйству. — И ты хочешь уверить меня, что поверила ему?

Почему же ты тогда раскрыла было рот, чтобы с присущей тебе святой невинностью заметить, что не знала, что эта почтенная дама пристрастилась к таким дорогим сигаретам, да так крепко, что за время уборки выкурила целых две пачки и почему-то не выбросила коробки, а потом промолчала? Уж ты-то знаешь, что они оба с домработницей предпочитают папиросы! Почему ты не спросила? — А потому, что он мог мне ответить, что вечером его навестил неожиданно друг, которого он сто лет не видел и которого я не знаю, потому что он живет в другом городе, и уехал, оставив ему свои сигареты, — и опять это ничего не изменило бы. И потому, что я вспомнила сон, который мне накануне приснился, — такой странный, помнишь? — как я ехала в метро и читала какой-то захватывающий детектив, содержания не помню. Потом очутилась в каком-то незнакомом офисе — оказалось, что я туда ехала. По какому-то делу, к какому-то человеку — его не было на месте, и я села дожидаться в приемной, где кроме меня был уже один посетитель. Пожилой военный, кажется полковник. Солидный такой. В ожидании я принялась дочитывать свой детектив, а время все тянулось, и я собиралась уже уйти, но оттягивала — дело было вроде очень важное. И тут зазвенел телефон — оказалось, он стоит рядом, на журнальном столике. Полковник никак не реагировал, предоставив решать мне все самой. Когда телефон возобновил свои трели по второму заходу, я все-таки сняла трубку. Выяснилось, что это звонит как бы хозяин офиса, которого я, по идее, до этого никогда не встречала. Он начал говорить очень длинный текст, суть которого сводилась к тому, что он извиняется за опоздание и просит его дождаться — он скоро будет. Я засела снова со своей книгой, которая уже приближалась к концу. Сюжет меня

сильно увлек, жаль, что совсем не помню, в чем там было дело. В каком-то месте мне показалось, что только что прочитанный текст мне очень хорошо знаком. Вроде я его уже где-то слышала. Тут до меня дошло, что это слово в слово тот самый монолог, который мне только что выдали по телефону. Целых полторы страницы полного совпадения. Мне это показалось забавным, и я поделилась с полковником, но он флегматично пожал плечами, не разделив моего удивления. Я вчиталась снова, и получалось вот что — человек, говоривший по телефону, и был убийцей, а разговор был его основным алиби, потому что именно в это время и происходило убийство, и он должен был заручиться свидетелями. Я забыла упомянуть, что в конце телефонного разговора он попросил и полковника к телефону и ему тоже сказал пару слов. Он нас уверял, что находится в другом конце города и срочно выезжает, а убийство должно было произойти в подвале того же здания, где мы находились. Девушка, ответившая на его звонок, по описаниям в точности соответствовала мне. Там фигурировал и человек в форме, который тоже должен был подтвердить показания. Естественно, в описании приемной тоже не была упущена ни одна деталь. Вплоть до цвета телефона и названий газет на столике. Я срочно дочитала до конца — все завершилось тем, что сыщик, как водится, привел все улики, из которых логически и однозначно выводилось, что убийца — говоривший по телефону и убивать он начал сразу по завершении разговора. И еще убитый был нашим общим с полковником отдаленным знакомым, сделавшим нам обоим когда-то мелкую пакость. Если бы не гениальный сыщик — а такие бывают чаще в книгах, — неизвестно, кто бы проходил по подозрению в преступлении. В любом случае соучастие нам могли

пришить запросто. Да и как можно спокойно сидеть, когда в помещении под тобой убивают человека. Я заметалась в панике по комнате, соображая, как бы предотвратить злодеяние. Даже полковника немножко проняло. Тут дверь распахнулась, и в комнату вошел убийца (по описанию). И убитый (по описанию) — я его действительно где-то видела. Они рассмеялись над моей растерянностью, затем убитый заявил, что они вдвоем с убийцей — авторы этой книги, и доказательство тому — что он живой, и еще он может, исходя из тех же фактов, что и сыщик — потому что он сам писал за сыщика, — столь же убедительно доказать, что подозреваемый в убийстве никак не мог его совершить. И он это сделал. Опираясь исключительно теми же исходными данными, что и при доказательстве убийства. В его рассуждениях не было ни одного слабого звена, мне нечего было возразить, хотя в книге обвинения были столь же убедительны. Но у них был главный козырь на руках — невредимый убитый. Такой непонятный сон. Раньше ничего подобного мне не снилось. Весь страшно интеллектуальный, состоящий из сплошных рассуждений. Даже совпадение мое с героиней было обстоятельно пояснено. Вполне приемлемо, к сожалению. Но как-то хитро. Они заявили, что давно так развлекаются, я не первая. Что это у них увлечение такое, вроде умственной гимнастики — они придумывают сюжет, или, точнее, набор фактов, из которых неопровержимо можно вывести несомненность вины, но, подходя по-другому, из них же состроить оправдание, исключая возможность преступления. А потом выбирают читателя, уличенного в частой покупке детективных романов — я и правда в последнее время только их и читаю, ничто больше не лезет, — чтобы иметь искушенного, опытного ценителя, когда придет

время разыгрывать основной трюк, и дописывают, опираясь на его внешность, образ основного подозреваемого и главного свидетеля обвинения в одном лице. И подстраивают так, чтобы выбранный персонаж сразу после получения книги — якобы они следят у магазинов или подсовывают через знакомых — вот откуда мне его лицо известно, а я гадаю — оказался на месте главного действия. Обычно они выбирают офис — в него легче всего заманить любого. И затем устраивают спектакль с единственным зрителем, который до поры до времени и не подозревает, что он главный актер. И все потому, что он — истинный знаток, все остальные читатели будут думать, что убийство произошло, и только ему дано увидеть обе стороны медали сразу. Эта неприкрытая лесть меня снова насторожила — я чувствовала, что они темнят, а в чем, собственно, дело, не улавливала. Не могла я принять медаль, которую они мне подсовывали, за чистую монету. Если все действительно было так, то их энергии можно было бы найти гораздо более достойное применение. Хотя о вкусах не спорят. В любом случае они меня так ошеломили, что докапываться, как же было на самом деле, я уже не стремилась.

Что-то я устала. Что я хотела сказать? Да, вот эту историю я и вспомнила тогда, с ним. Все улики в пользу измены были налицо. Их было значительно больше, чем пустые пачки из-под дорогих и слишком для него слабых сигарет, ни один уважающий себя мужчина такие не закурит — прямо скажем — исключительно женских сигарет, — или умело прибранная квартира — начнем с того, что его помощница никогда не приходит убираться в такой ранний час, при том, что тогда он работал над диссертацией и не выносил постороннего присутствия. Но всему бы он нашел объяснение — в уме ему

не откажешь. Осадок все равно никуда бы не делся. И в конце концов, раз тебе говорят неправду, значит, ты это заслужил. И никак иначе. Значит, ты чего-то не можешь понять и тебе по-другому не истолковать. О, как это все глупо и ненужно. Я больше не могу... Лучше я буду вспоминать людей, которые были добры ко мне. Только что их лица промелькнули передо мной. Вспомним всех поименно. Ведь только что я о них думала, а сейчас в мои воспоминания настойчиво лезет этот человек. Я совсем забыла про него. В каком же городе это было? В каком-то среднеевропейском, с *мощными* камнями старинными мостовыми. Я шла по очень шумной торговой улице, на которой были трамвайные пути и надземное метро рядом, и катила за собой сумку на колесиках. Эти сумки созданы для современных асфальтовых покрытий и неприятно скрипят и подпрыгивают в таких городках. И вдруг этот человек стал кричать. Это было так странно для Западной Европы, что я даже остановилась. Оказалось, что крик относился ко мне, а повысил он голос, чтоб перекрыть дребезжание трамвая и грохот электрички. Я напряженно вслушивалась, что же такое важное он пытается мне сообщить. И он, догадавшись, что я иностранка, перешел на английский. Оказалось, что его возмущал шум, который я производила своей сумкой.

Что это? Кто это? Где я? А! Это что же, уже пришли? Как скоро! Я еще не готова. Что это сейчас было со мной? Вроде спала — не спала. Такое ощущение, что когда я сама с собой не разговариваю, то перестаю быть собранной в одном месте, кажется, я сейчас была размазана по стенкам. И только когда пришли люди, я опять сконцентрировалась. Или я с помощью вопросов себя соединила? Соскребла снова в одну кучу. Но почему в свой смертный час я должна вспоминать имен-

но этого несчастного? Которого при жизни никогда не вспоминала. Что за напасть? Что это они делают? Какой ужас! Почему они мне купили желтый гроб? Это такая пошлость! Какая ты неблагодарная. Может, другого не было. И то хорошо, что я в белом свитере. Если бы мама из двух моих любимых выбрала зеленый, представляю, как бы сейчас все смотрелось. Хотя что это я — ведь зеленый был на мне, когда я разбилась. Теперь он непоправимо испорчен. Косметикой всякой мажут, надо же! А что, теперь стал вполне приличный вид. Неужели не все было потеряно? Я сама смогла бы привести в порядок, если бы... Нет, ну румяна — это уже слишком! Но так — очень даже ничего... Жалко, что волос не видно, все бинтами обвязали. Вот этот подтек надо бы погуще запудрить, они что, не видят? Как им сказать? Уф, сами дошли. Ну что ж, красавицей не назовешь, но на люди пустить можно. Что-то сильно изменилось в лице. Черты вроде бы те же. Спокойствие, что ли, появилось какое-то. Неподвижность. Безмятежность, вот. Нет игры, нет больше переменчивости. От этого, кажется, даже выигрываешь. Раньше, когда смотрелась в зеркало, даже если не строила гримасы, лицо постоянно менялось. Иногда тени пробежали, иногда все гасло изнутри, я казалась тогда старше и грубее, иногда нос заострялся, глаза становились больше или меньше. Иногда лицо вытягивалось, иногда опухало, и все за считанные секунды. И с другими людьми было так же. Я могла договориться о встрече с малознакомым человеком, а потом холодно пройти мимо, настолько я его не узнавала. Некоторые обижались. Вначале я думала — это оттого, что разные люди бывают максимально заполнены собой в разном возрасте, в какие-то определенные годы — у одних в детстве, у других в юности или в старости. Возраст у каж-

дого может быть своим, но это бывает только однажды, если было в детстве или юности, то с возрастом теряется. Но потом, при писании портретов, когда стала внимательней присматриваться, заметила, что все зависит от состояния человека. Иногда черты лица совсем размазаны, иногда слишком резко обведены. А иногда как будто выполнены на одном дыхании и как бы мерцают изнутри... Тогда человек красивый, все пропорции гармоничны, ничего нельзя добавить или убрать. Господи, они бинты перематывают, не буду смотреть. Правильно ругается эта женщина — о чем раньше думали, менять, когда грим уже нанесен. Когда это они успели мне волосы обкорнать, я и не заметила. А с лицом все же теперь отлично. Какое-то оно законченное. И какой-то странный загиб в уголках губ. Когда прямо смотришь на... чуть не сказала — нее, то такое просто умиrotворенное выражение. А как посмотришь немного сбоку — с позиции гримеров, например, — видишь безмятежную широкую улыбку. А сейчас опять прямо смотрю — никакой улыбки. Хотя если подольше присмотреться — уголки вроде опять дрогнули. Как будто она насмехается надо мной. У живых такое редко получается. Не говоря уже о том, что носы у них постоянно меняются, то курносые, то распухают картошкой, то слишком явно выделяются на фоне всего лица. И это еще ничего. С подбородком еще больше проблем. Он почти никому не удается, весь какой-то необязательный, перетекающий из одной несформированности в другую. А если с ним справились, то почти неизбежно контуры головы бывают слабо очерчены ломкими штрихами. Только соберут одно — все остальное, выпущенное из-под контроля, рвется по швам. Только улыбки, если удаются, сразу отливаются в раз и навсегда застывшую форму. А здесь наоборот — все оп-

ределилось, и только улыбка порхает неуловимо. Почти как у Джоконды Леонардо, но более впечатляюще. Человек такого не сделает. В детстве я думала, что можно сделать себе лицо. Достаточно выбрать желаемую форму, например, лба, — образцом может послужить репродукция, взятая из альбома. Из каждого портрета выбиралась только какая-либо деталь, выдержавшая самую строгую критику — ухо там или разрез глаз, — полностью ни одно лицо не устраивало. Дальше надо было сосредоточиться на выбранном, представляя, что мой нос, например, принимает те же очертания, что и образец с картины. Я думала, что если не сдаваться в своем упорстве, то результат будет на лице. В этом была доля истины, но я, вследствие неразумности, упускала из виду, что нельзя работать над частью, не имея в виду целого. В итоге лицо у меня стало гораздо более асимметричным и не таким милостивым, как обещало быть в детстве. И все потому, что ни одно лицо на портретах не соответствовало моему внутреннему идеалу, чтобы я могла воскликнуть — это именно то, что я хочу, от начала и до конца. Конечно, правильной было бы в этом случае строить свой идеал, но мое восприятие было еще не настолько окрепшим, чтобы обходиться без внешних подпорок. Все, что я умела, — отличить среди богатства предложений то это или не то, и не то отвергнуть. Какое же то я выразить еще была не в силах и приближалась к нему, отбрасывая несоответствия. Я вообще долго не могла словами объяснить, что такое красота.

А еще больше занимал основной вопрос, который всех изводит в этом возрасте, — кого назвать самым-самым. В данном случае — красивым. Подсказку я нашла в «Королеве Марго». Оказывается, у нее в детстве были совсем белокурые волосы, очень красивые, в юно-

сти они превратились в роскошно-золотистые, а в зрелые годы стали блестяще-каштановыми. Всегда было красиво, но по-разному. И все время вились, в младенчестве локонами, а потом — мягкой волной. У меня же как были каштановые, так и остались, только оттенок стал рыжеватым после долгих усилий воли. И еще я добилась годам к шестнадцати, что они у меня тоже закудрявились. И сразу в моду вошли гладкие. Но я больше не стала ничего менять — столько сил было потрачено. Да и так мне больше нравилось. А благодаря королеве Марго я поняла, что самая-самая красивая — это когда ты не просто сейчас красивая, в эту минуту. Такая минута бывает у каждой. У кого-то это действительно минута, у кого-то — десять минут, у кого-то — два года. Но мало кто бывает на высоте в любом возрасте: в младенчестве — пухлым розовым карапузом с ямочками, потом — жизнерадостной девочкой с колечками волос, подпрыгивающими все время от непоседливости, затем изящной девушкой с грациозными движениями, не пропадающими даже во время сна, и наконец — царственной женщиной, повергающей всех в трепет. И это еще не все. Она должна родить разных детей, и чтоб каждый был исключительно хорош в своей особой манере — от мужественного богатыря блондина до жгучей томной брюнетки.

Опомнись, куда тебя заносит? Ты что, забыла, где находишься? Можешь ты хоть в эти минуты отнестись ответственно? Что ты прячешь голову, как страус? Слышишь, снаружи уже плачут. Готовься лучше к тому, что тебя скоро вынесут. Мне очень жаль. Я уже привыкла к этому месту. Вот эта облупившаяся краска на стене, на которую я все время смотрела, пока думала. Мне ее будет не доставать. Напоминает профиль Не-

фертити. Не ново, — придумай что-нибудь еще. Я же не виновата, что все трещины и выбоины имеют свойство вырисовывать ее или карту Африки... Для меня, по крайней мере... Брови-то зачем расчесывать? Странные люди, это уже излишне. Я все, конечно, понимаю, профессиональная честь обязывает и все такое, но никто же не обратит сейчас внимания на эти мелочи. И вряд ли кто-то поблагодарит — я не могу, остальным будет не до этого. Надо поизлучать из себя благодарность, может, они почувствуют... Все, выносят. Не впадай в панику. Соберись. Если ты сейчас потеряешь сознание, неизвестно, где потом очнешься. Можешь ведь тогда ничего не понять и испугаться. Так что не распускайся. Постарайся смотреть на все со стороны, теперь это легче сделать. Притворись, что это не с тобой происходит. Сколько их собралось! Господи, кого тут только нет. А это кто такие? Да, мы же учились вместе. Я и забыла про их существование. Откуда они всплыли... Господи, неужели это все правда, а не снится мне? Вот родители... За что мне такое, почему я должна все это видеть? А он где? Вон стоит. Особняком как-то. Бедный. А вот и моя компания. Жмутся друг к другу, растерянные такие. И у всех глаза зареваны. И с цветами все. Как они могли? Предатели! Значит, они поверили и приняли настолько, что рыдали все эти дни. И даже докатились до того, что цветы купили недругнувшей рукой. Взяли и поставили последнюю точку. Как будто так и надо. Как будто ничего другого они не ожидали. Нет чтобы сопротивляться! Ну, не горячись. Видишь, они так страдают. А он цветы не принес. Молодец. При его-то равнодушии к мнению окружающих. Значит, правда не смог. Все равно и у него глаза на мокром месте. Он тоже поверил. А куда они денутся? Ты сама уже все приняла. Но так не должно быть!

Смотри, они увидели это и заплакали. Я опередила это. Только сейчас принесли. А на меня никто не смотрит. Меня не видно. Я и так знаю. А где я на самом деле? Кажется, что сразу всюду, во всей комнате. Это оттого, что сейчас нет чувства спины...

Я могу видеть спокойно и вперед, и назад, одинаково и вверх, и вниз, и вправо, и влево. Откуда же я вижу? Значит, я где-то в одном месте, с которого смотрю? Да, я могу приближаться и удаляться. Стоит только захотеть. Или обратить внимание. Нарастает. Что это? А, это всего лишь звуки рыданий. Что-то они странное при этом выделяют. Как будто они все стали чем-то одним. Или как будто из них выкачали все признаки различия, каждый из них стал одинаковой моделькой целого, в которое они соединяются. Они синхронны в движениях. Они как будто поочередно копируют последовательность движений, которую им навязывает их более великий оригинал. Они повторяют его движения в миниатюре, но в то же время слитностью своих действий позволяют осуществиться единому движению в крупном масштабе, которое они воспроизводят. Что это они делают? Забыла, что ли? Это называется — прощаться с телом. Да, конечно, понимаю. Никогда раньше не приходилось наблюдать. Забавно, они как бы пишут музыку своими телами. Нет, держат ритм и исполняют мелодию, которая не ими написана. Каким-то шутником, безусловно обладающим вкусом, но несколько лишенным фантазии. Как он завладел ими! Никто не уклоняется от задаваемых манипуляций. Раз — подошел, не выходя из ритма, развернулся, наклонился, выдержал паузу, развернулся обратно, продолжил движение, два — подошел, развернулся, наклонился, еще больше склонился, приложил-ся, выпрямился, пауза в три четверти, развернулся, по-

шел, три — подошел, развернулся, скрестил руки на груди, склонил голову, пауза с четвертью, опустил руки, выпрямил голову, развернулся, пошел. Раз, два, раз-два-три, раз, раз, три, два, два, два, три, раз-раз, три-два-три. Неподвижны только родители и он. Мама сидит у изголовья, иногда что-то поправляет, папа стоит в ногах. Он так и остался стоять в своем углу. Но и они участвуют, не участвуя. Вместе они образовали стойкий островок в форме равнобедренного треугольника, который служит стержнем, вокруг которого все вертится. Основу карусели, которая тоже крутится, но не меняет формы. Этим движением они что-то делают со мной, не нарочно, я понимаю. Но они как будто выстраивают меня в каком-то порядке. Мне это не нравится. Но они не виноваты, они сейчас собой не владеют. И плач их тоже не подчиняется им. Живет по своим собственным законам. Он то обрушивается на них со всего размаха, то утихает, делается более протяжным или пробивается через них порывами, сильными, но короткими. Они только исполняют его. Он и меня то поглощает, то выносит на гребне, то вертит в водовороте. Я как будто пьяная. Что? Они. Как? Уф. Что-то мелькало, мелькало. Мелькает. Как будто я резко перемещаюсь и в то же время неподвижна. Как это может быть? Что они теперь проделывают?

Это уже не они. Они сейчас ни при чем. Сидят себе тихо. Мы просто едем. В автобусе, кажется. Смотри на город. Может быть, последний раз видишь. Не могу, дай мне собраться. Хорошо, что они так тягостно молчат. Эта тяжесть спрессовывает меня, не дает расползтись. В ней так спокойно. Если бы они не прерывали ее своими рыданиями, не продырявливали. Она бы всех нас окутала, успокоила. Я же чувствую, что они насилуют себя, чтобы зарыдать. Они накачивают себя,

чтобы потом звуком прорвать пелену, объявшаую нас. Им кажется, что тишина, их охватившая, нечестна по отношению ко мне. Не понимают, что сейчас это единственное, что нас объединяет. Я чувствую, если бы у них хватило отважности предаться этому, я смогла бы с ними говорить. Они смогли бы меня услышать. Но так тоже ничего. Как в колыбели. Раскачиваешься мерно, потом звук — остановка, немного резкая, потом опять плавность. Совсем остановились. Уже приехали? Только приспособишься к чему-нибудь, сразу все меняется. Но хотя бы сейчас могу все нормально воспринимать, нет больше этой свистопляски. Сколько автобусов! Я думала, этот один. И еще многие на своих машинах приехали. Вон его машина. Где же сам? Не видать, куда делся. А, вот он. Помогает этот ящик нести. Забавно, они с отцом стали плечом к плечу. При моей жизни такого не случалось. Отец же не мог ему простить, что мы никак не поженимся, думал, это его вина. А сейчас прямо как два голубка рядом. А сзади держат — ну, конечно, кто же еще — мои самые лучшие друзья-мужчины. Друг детства — интересно, я не только другим его так представляю, но и про себя всегда так зову, если подумать — он мой самый старинный друг, мы втроем росли чуть ли не с младенчества — а она где? — я их раздельно уже не представляю — вон, бредет сзади, хорошо, что они поженились, держит маму под руки. И мой белобрысый одноклассник. Мы с ним почему-то редко виделись, хотя каждая встреча была большой радостью для обоих. Он такой надежный. Я всегда знала, что могу опереться на него в трудную минуту. Поразительно, что при нашей последней встрече — дней десять прошло, что ли? — я на его традиционные заверения в любви и дружбе впервые не отделалась хмыканьем или рито-

рическим — да? — а членораздельно ответила, что такие чувства всегда взаимны. И он неожиданно без своего обычного юмора пристально посмотрел мне в глаза и ответил — да, я знаю. Неужели мы тогда предчувствовали, что мой конец близок? Хоть с ним сумела проститься. Но это его заслуга. Он всегда был безукоризнен. Любая наша встреча, стань она последней, и ему не в чем было бы упрекнуть себя. В отличие от меня.

И все же как, однако, беспрекословно уступили нести именно этим четверым. Как само собой разумеющееся. Вроде и разговора никакого не было. Они каждый, не сговариваясь, подошли и молча взяли со своей стороны... А маму под другую руку взяла та моя подруга. Мы с ней позже ведь познакомились, уже в художественном училище — как сейчас дико звучит это словосочетание, — но так друг на друга похожи. То есть и ростом, и фигурой — лица, конечно, разные, — и голоса у нас всегда путали по телефону. Как-то они правильно все сгруппировались. Но хоть они сейчас и вместе, парами, тройками, не так как там, когда прощались, но там они были слиты в целое, а сейчас все как-то врозь, поодиночке. Каждый наедине с собой. Какие они все беззащитные... Особенно мужчины. На женщин тоже это обрушилось неожиданно-негаданно, но они кажутся достойными противниками. Сражаются тяжело, но умело. Как будто обучены. Как будто не в первый раз. Как будто неожиданно, но гаданно. А мужчины кажутся безоружными. Рушатся на глазах. Сложили руки — хоть сейчас в плен бери. Но как они плачут — все вместе, одинаково. Я этого не хотела, Господи! Неужели я когда-то могла мечтать, чтобы кто-либо плакал на моих похоронах? Это так ужасно. Врагу не пожелаешь. Как я их всех люблю. И не могу утешить. Как-то все очень серьезно складыва-

ется. Они такой основательностью страдания перекрывают мне все пути к отступлению. Теперь я не могу встать оттуда и с кокетливой улыбкой заявить: я пошутила, теперь отдыхаем.

И мне некуда деться от своей вины перед ними. Совсем некуда. Снег кругом лежит. Наверно, тяжело было копать, земля мерзлая. Вот еще и совсем незнакомым людям я задала работу... Хорошо, что только это туда положат, а мне не надо будет залезать. Хотя могла бы и присоединиться. Я чувствую, что смогла бы, стоит только захотеть. Может, рискнуть? Тогда не надо будет смотреть, как они убиваются. Да нет, повременю еще немного. Туда забраться никогда не будет поздно. А на них можно и не смотреть, если так неприятно. Есть еще масса других объектов для внимания. Кто-то уронил красную гвоздику на снег. Как это банально. И все равно, как откровение, как в первый раз. Если задуматься, то странно, что первые похороны, на которых я присутствую, оказались моими собственными. Вон там еще группа людей. Наверно, кого-то еще хоронят. Может, я его разгляжу? Что-то даже мне не удастся его разглядеть. Может, он совсем не смог вынести этого зрелища и куда-нибудь смылся? Мужественный человек. Мне страшно от них далеко отходить. Но неужели на всем кладбище я одна такая? Только живых вижу. Кажется, дошли — все вдруг остановились. А, вот яма. Теперь я всегда буду здесь лежать. Мне как-то все равно где. Здесь так здесь. Не лучше и не хуже других мест. Все равно это — не я. Не совсем я. Сняли крышку снова. Господи, как я сейчас на виду! Все на меня смотрит — и небо смотрит, и все люди смотрят, и снег смотрит, и эти птицы смотрят. Меня поставили — нет, подставили — на всеобщее обозрение. Весь мир стал глазами — миллионом глаз, — взи-

рающих на меня со всех сторон. Так неприкрыто я лежу. И так неприкрыто все на меня смотрит. Ох, как они вовремя заплакали на этот раз. Сейчас их плач заслоняет меня, оберегает, а не разрывает на части, как там. Да, они меня загородили. Сразу легче стало. За их плачем можно спрятаться от всего. Плач стоит сплошной стеной — я где-то слышала — вот о чем это было. Ее ничем не пробить, хотя я и слышу удары ветра, но куда там — она устоит. Хотя это что-то посильнее, чем ветер — тараном, что ли, бьют каким-то, все сотрясается. Еще немного — и вся постройка рухнет. Чем же они ударяют? Не ударяют, а стучат, теперь понятно все. Гвозди забивают — вот что за посторонние звуки примешались к рыданиям и раздергали меня. Гроб заколачивают. Наконец-то. Странно, этот звук действует на них сильнее, чем на меня, а ведь я стала такой чувствительной последнее время. Они вздрагивают так, будто это в них вбивают. Кто это такой? — распоряжается всеми, в первый раз вижу. Ему одному здесь по себе. По-моему, мы все же незнакомы. Слава Богу, опустили благополучно. Только сейчас поняла — все время я боялась, что сорвется. Кажется, одним только моим напряжением удалось удержать. И не только моим — иначе эти слабые канаты не выдержали бы. Вот был бы ужас... Землю, говорит, бросайте, а они беспрекословно слушаются. Без него все бы здесь растерялись. У него что, работа такая, или он для души старается? Они не понимают, что не землю сейчас в меня кидают, а меня от себя отрывают. Мое тело. В виде земли. И отшвыривают. Мало того что в ящик упаковали, им нужно еще и этим жестом завершить действие. Что ж, наверное, так и надо. Так им легче порвать связь между нами. Это я ощущаю смысл их поступка, им самим так не кажется. Самые близкие

бросают в первую очередь. Это для того задумано, чтобы последующие завалили их комья массой своих и не дали вырваться обратно — если бы они опомнились. Ловко рабочие холмик накидали своими лопатами, в одно мгновение. Теперь утрамбовывают. Все. Так быстро, мастера своего дела. Бедная мама... Зачем они цветы обламывают, перед тем как положить? Тоже так принято? Не знала. Испортили цветы окончательно. Были такие красивые. Положили бы так, целиком, а то какое-то побоище устроили. Кашу из цветов. За всю жизнь мне их столько не дарили. Да еще посреди зимы. Что с мамой-то делать? Совсем она расслабилась, а ни на кого опираться не хочет. Всех отталкивает. Ей так долго не выдержать. Вот, хорошо хоть к этому дереву теперь прислонилась — какая-то поддержка. От людей не хочет ее.

Как она дрожит. Давно я не обнимала ее. Пусть прижмется покрепче. Вот так. Я перетяну на себя часть ее горя. Я когда-то так делала. Надо только самой расслабиться, освободить в себе побольше места, а ту часть, которой касаешься другого, сделать похожей на воронку, безостановочно перекачивающую неперевариваемую обузу. А если она слишком твердая и не поддается давлению, надо вначале через прикосновение, наоборот, выпустить из себя нечто, растворяющее или раздробляющее эту глыбу. Тогда она, правда, делается больше по объему, и другой человек начинает ощущать себя переполненным сверх меры, но только в первую минуту... Дальше начинается вытягивание. Вот и сейчас получилось. Началось. Кажется, что мы обе полностью хлынули в точку соприкосновения, и она вся ширится, разбухает, выходит за свои пределы и начинает жить своей отдельной жизнью. И хоть она придвинулась ко мне вплотную, расстояние между нами пульсирует, и когда

оно раздвигается, становится понятно, что оно состоит из живой массы, если и не мыслящей, и может даже не ощущающей, но безусловно размножающейся. Она кишит между нашими телами. И даже различима на глаз, а не только в ощущениях. Но, Боже, это — моя кожа? Какая она стала чудовищная! Что это со мной? Я заболела! Постой — я умерла, все время забываю об этом. Я уже разлагаюсь? Но боли я не чувствую. Просто ощущение одеревенелости. Но меня же закопали. Я что, забралась к себе сквозь землю? Как я туда провалилась, что-то я не уловила этого момента. Последнее, что помню — мама... Вот же она! Я ее вижу. И люди кругом стоят, что-то говорят. Звуки какие-то издают. Зачем? Что происходит? Ей стало вроде бы легче. Тело у нее теперь не такое напряженное. Чем же я недовольна? Да, моя кожа. Что с ней? Боже, я, кажется, понимаю. Этого не может быть! Но это так. Это не... Это кора. Я — в дереве. Нет, я — дерево. Что-то знакомое. Уже было. Совсем недавно. То ли мне это снилось, то ли вправду было. Не вспомню. Наверное, кажется. Так бывает. Что-то происходит впервые, а ты уверен, что уже испытывал это. У людей так. Почему я продолжаю думать, как человек? Потому. Что. Я. Что? Что. Я? Я. Я. Да. Я. От них. Я. Тут. Стою. Они. Появляются. Мельтешат. Как. Они. Суетливы. Да... Приходят. Прислоняются. Истерли. Меня. В этом. Месте. Совсем. Неприятные. Издают. Звуки. Частоты. Какие... Забираются. В меня. Не спросив. Одни. Наглые. Другие. Исчезают. Снова. Появляются. Те же. Другие. Все равно. Мне. Все. Равно. Я остаюсь. Остаюсь. Я — вечно... Они — преходящи. Появляются. Неожиданно. Длятся миг. Машут. Руками. Пищат. Потом. Пропадают. Бесследно. Немногие. Очень немногие. Обладают. Свойством. Вновь возникать... Из небытия. Я их. Запоми-

наю. Их мало. Они самые тихие... Объявившись снова. Они. Становятся. Как я. Стоят. Неподвижно. Беззвучно. Почти как я. Но. Ни у кого. Из них. Нет. Моей. Стойкости... Они уходят снова. Одни навсегда. Не нужно. Никого. Не жаль. Жаль... Что это значит? Не помню. Слово. Слово? Не понимаю. Не симулируй! Ты можешь думать и на другой скорости, чем дерево. Не могу. Можешь! Ну и что? — не хочу. Если будешь потакать себе — еще немного, и оно тебя поглотит. Ты застынешь надолго. Прекрасно. Ты разучишься думать. Замечательно. Я отдохну. Мне нравится. Быть деревом. Ты потеряешь время! Время? Что это такое? Пойми — быть деревом — это не то, что тебе нужно. Ты уже достаточно отдохнула. Если ты сейчас застрянешь, потом тебе все равно придется выбираться. Ты не сможешь задержаться навсегда. Почему? Потому что ты изначально не была деревом. У этого дерева своя душа, она вертится на других оборотах, чем твоя, но именно поэтому способна зачаровать тебя. На время. Потом тебе придется удалиться, так или иначе. Это не твоя обитель. До того как ты сюда вселилась, тут спала душа другого человека. Ей не удалось в свое время самой выбраться. Ты своим вторжением поневоле потревожила ее. Сама того не замечая. Ее вышвырнуло из дерева, и пробуждение ее было изматывающим. И ей продолжать путь с прерванного места. Так что если ты надеешься таким способом избежать боли, то обольщаешься. Откуда ты все это знаешь? Откуда? — не могу объяснить. Просто вижу. Как ты раньше видела, что трава зеленая, а небо голубое. Почему же я этого не вижу? Тоже видишь, просто не можешь пока осознать. Ты — это я. То есть я — это ты. Решайся же. Они сейчас уйдут, и у тебя больше не будет стимула выбираться. А как мне это сделать? Сперва перестань думать

об этом. Как только начинаешь думать, сразу все умения теряешь. Сосредоточься просто на том, что ты уже за пределами дерева. Не получается. Легко сказать — просто на том. Отвлекись пока на что-нибудь другое. У меня сейчас необычайная ясность мысли, кажется, я могу узнать доподлинно обо всем, о чем пожелаю. Узнать не только разумом, но и всеми способами познания. Оказывается, есть еще много других способов, не требующих ни малейшего усилия, — достаточно только захотеть. Раньше такое было невысказано. И невозможно было представить. Потому что это не из области мысленных представлений. Как можно чем-то объять что-то, не входящее даже в одну с ним сферу? Если бы мне кто сказал, что существует такой способ восприятия, я бы не поняла и не поверила. Я понимаю, что все это мне дается благодаря тебе. Тебя прежде со мной не было? Я всегда была, ты — всего лишь часть меня. В каком-то смысле я была задолго до тебя. Тебе пока не удастся объять это сообщение полностью. Не думай, что ты сейчас всемогуща. Тебе еще многое трудно усвоить. Хотя кое-что уже стало доходить...

Да, я удивительно четко различаю вещи, которые были за пределами моего познания. Много я воспринимала сквозь густой туман. Иногда я понимала это, а временами думала, что вижу истинные очертания вещей. Обычно я двигалась в потемках, а то и в крошечной тьме. Теперь, например, смешно такое понятие, как обман. Он просто не существует без нашего попустительства. Он становится возможным только из-за нашего желания его. От нашей слабости, не дающей взвалить на себя все таким, как оно есть. И еще от нашей близорукости — если бы мы видели все отчетливо, правда не отпугивала бы кажущейся грозностью, а привлекала бы своей благородной уникально-

стью. Я могу сейчас рассматривать всю свою жизнь целиком и в то же время в каждой ее мельчайшей подробности. Можно сейчас близко и со всех сторон рассмотреть каждую деталь, даже если еще при жизни начисто о ней забыла сразу при ее происшествии или вообще ее не заметила, когда она происходила. Сколько интересного можно обнаружить, если открыл способность оглядывать жизнь таким образом. Не нужно больше копошиться и барахтаться вслепую, тыкаясь носом, а то и со всего размаху ударяясь лбом то в один фрагмент, то в другой и тужась определить его место и значимость для общей картины. Теперь можно любоваться законченностью и монолитностью всей сложно выполненной мозаики, а можно и по отдельности оценить филигранную точность соединения всех ее фрагментов, которые раньше назывались случайностью, а сейчас выявили единственность и непреложность своего местонахождения. Это относится не только к моей жизни, но и ко всем людям, с которыми мне доводилось общаться. Я вспоминаю ясно все забытые разговоры, я их вижу так же, как и разговоры, которые я искаженно запомнила, зашторенная своими оценками, желаниями, ожиданиями и подозрениями. Теперь я понимаю, ощущаю, вижу, вспоминаю — Господи, как это назвать? — знаю, что мне конкретно говорилось, что при этом говорящий хотел выразить, какие цели он преследовал и какие мотивы им двигали. Интересные вещи все же выясняются. Выходит, в большинстве случаев все было проще, чем я представляла. Или было сложнее, но по-другому, чем мне виделось. Многое дурное я сама спровоцировала, тогда я этого не понимала. Но сколько мне, оказывается, пакостей было сделано, которых я не смогла оценить, и поэтому они отскочили, не оставив следа. Значит,

все, что меня задело, я сама схватила, заметив. А сколько я боли причинила другим! Иногда сама того желая, не возражаю — штука я была еще та, но чаще и не намереваясь, влекомая добрыми побуждениями. Но тогда я не виновата? Это смотря кто судит и откуда. Если ты сама судишь, зная, почему так поступила и при этом никакого реального вреда не причинила, то — нет. Есть еще просто поступок твой сам по себе, и каждый желающий волен истолковывать его в меру своих способностей и потребностей. И есть еще человек, на которого было направлено твое действие и который воспринял его в неблагоприятном свете. Почему? — вот в чем вопрос. Потому же, что и ты обижалась почему зря на людей, как я сейчас вижу, оттого что думала о них хуже, чем они есть, и исходя из этого неверно оценивала их поведение или была не способна их понять — их намерения были слишком возвышенны для тебя. Или чувствовала истинную подоплеку их действий, хотя они искренне обманывались на этот счет. Я уж не беру те случаи, когда обидеться входило в твои интересы, хотя при этом ты честно старалась испытать как можно более правдоподобную боль. Да, но при этом сколько еще настоящих колкостей, завуалированных и не очень, было выпущено в мой адрес. Вот что они имели в виду, когда так говорили! А ведь тогда я не увидела, что это колкости, и поэтому они, не востребованные, прошли сквозь меня и без препятствий вернулись бумерангом к хозяевам. Отравив их ядом, который предназначался мне. Жаль, что я была настолько глупа, чтобы не понять истинный смысл их слов, — я бы им ответила. Ты не видишь разве, что только оттого, что они для тебя реально не существовали, эти удары, — они не достигли цели. Так что не расстраивайся. Получается, что, если

бы я не растопыривало свои ветви, а сложило бы их обтекаемо, — огорчениям не за что было бы уцепиться и повиснуть. Но я выросло такое, это не от меня зависит. Надо иметь безукоризненную форму, чтобы неприятности проносились мимо. То же относится и к обманам. Если в тебе нет магнита, их притягивающего, они к тебе не пристанут. *И страхи, страхи — чем они сильнее, тем скорей случается то, чего боишься. Извини за несколько канцелярский язык. — Наконец-то! Надеюсь. Что тебе удалось выговориться до конца. А косноязычность твоя простительна, все-таки ощущения пока не совсем сформированы. — Но ты понимаешь, о чем я? — Не совсем. — Отчего же? — Хотя бы оттого, что мне чужды эти чувства. — Тогда, быть может, ты — мой Ангел-хранитель, который явился после смерти? Наверное, только Ангелам неизвестен страх. — Не говори, пожалуйста, пошлостей. Я тебе уже сказала, что мы — одно. — Почему же тогда эти чувства тебе незнакомы? В свое время я очень тесно с ними сталкивалась. — Потому же, что и твои недавние изречения явились для тебя новостью, хотя я и пыталась их тебе и раньше втолковать. Я вкладывала гораздо больше, чем ты смогла извлечь. Но раньше ты почти ничего не усваивала. — Когда раньше? — Тогда, когда ты еще имела возможность действовать. Но ты ее практически полностью упустила. — Разве мы тогда общались? — Да. Но не мы, а я пыталась до тебя достучаться. Почти всегда с нулевым успехом. Мне приходилось тебя за уши вытаскивать из твоих мелких страстишек и переживаний, но ты окуналась в них обратно, почти ничего не усвоив. Когда я тебя поднимала повыше, чтобы ты смогла увидеть, что кроме привычных тебе нравится — не нравится, полезно — не полезно, хочу — не хочу, существуют и другие*

способы контакта с миром, то ты прекрасно все понимала, но, возвращаясь, почти ничего с собой не уносила. — Почему? — Потому что ты не устанавливала связи между этими двумя уровнями. Когда ты была со мной наравне, тебе казалось, что ты уже все знаешь и теперь начнешь жить по-другому. Нужно было каким-то образом эти знания застолбить, закодировать чем-то, чтобы потом, спустившись, можно было по этим знакам опознать и расшифровать свой опыт. А ты вместо этого наслаждалась знанием и думала, что теперь оно навсегда твое, а потом, странствуя обратно в прежнее состояние, ты опять принималась за сравнение между собой своих страхов, страданий, страстей и страданий. Возвращалась в засиженную нору вместо того, чтобы продвигаться вперед. Когда ты мучилась на предмет всяких там несоответствий происходящего твоим ожиданиям, мне раз двадцать приходилось встряхивать тебя, чтоб до тебя дошло, что все, воспринимаемое тобой как обман, предательство, несправедливость, на деле — необходимое орудие производства для шлифовки твоих, деликатно выражаясь, шероховатостей. Что ты должна не сопротивляться, а, наоборот, принимать как дар, как помощь в работе, которую, по большому счету, ты сама должна была проделать. А ты тратила время, отпущенное на это, на свои завихрения, да еще, вместо того чтобы сотрудничать, тормозила процесс. Ведь тебе оставалось только довести начатую полировку до блеска, чтобы удары не увечили тебя, а соскальзывали, отражаясь, как в зеркале. Каждый раз мне казалось, что теперь-то уж мои старания увенчаются успехом, но ты погружалась обратно в свой маразм, девственно-первозданная. Ты, кстати, тогда принимала ванну. И я сообразила остановить наш взгляд на мыльной пене, на пузырьке, ко-

торый находился от тебя на расстоянии тупо расслабленного взгляда, так что, вернувшись, ты не могла его не заметить. Я увязала его с достигнутым тобой уровнем понимания, и потом, когда ты снова низко пала, он вытянул тебя, и ты сделала скачок в своем развитии. — Да, я помню, о чем ты говоришь. Почему же сейчас я лучше тебя слышу? Ведь тогда я не думала, что это ты мне передаешь знания, мне казалось, что я сама до всего дохожу. — Перегородка между нами стала тоньше. Но и ты сейчас сможешь сделать вещь, мне недоступную. Ты можешь спуститься до той нашей части, которая сейчас слилась с деревом, и через нее ощутить мир. Многие из ее переживаний ты неточно почувствуешь, многое сама не сможешь доходчиво объяснить, но осознанное взаимодействие возможно.

— Да, действительно, я чувствую, как оно развивалось. Вначале у него были очень простые, но приятные ощущения. Оно мало что могло различать, кругом была как бы серая плотная вата, потом стали прорываться более сложные переживания — яркий солнечный луч, порыв ветра, летящий снег — все это не называлось, а было дано как приемлемое изменение. Потом стали появляться голосащие люди — оказывается, это кладбище недавно образовалось — если соотнести его представления о времени с моим привычным — всего каких-нибудь пятьдесят лет. Еще я понимаю, что оно не очень их дифференцировало из окружения — они появлялись, выводя его на время из равновесия, а потом начисто забывались до следующего раза. Первое сильное потрясение наступило, когда в него переместилась чья-то человеческая душа. Оно тогда было в панике от непривычного сумбура и хаоса, соучастником которых его заставили стать, но не могло дать отчета в

происходящем. Только со временем, благодаря наше-ствиям, оно научилось у них зачаткам более тонкого различения предметов и способности или свойству да-вать всему названия. Сейчас оно благодушно воспри-нимает все переселения внутри себя и вообще, попро-сту говоря, ему равным счетом ничего не нужно, оно абсолютно самодостаточно. — Что ж, замечательное достижение, оно доступно только дебилу или божеству. Но ты не покупайся на это, я думаю, в нашем случае мы имеем скорее первый вариант. — А по-моему, все является божеством, а какие лица оно при этом прини-мает — несущественно. — Ты права, только не думай, что ты сможешь воспользоваться плодами чужого со-вершенства. Оставшись в нем, ты привнесешь свою собственную сумятицу и будешь с этим жить дальше. Лучше наберись мужества идти предначертанным пу-тем, чтобы прийти к тому же самой. — Здорово, как ты все понимаешь и можешь объяснить! А выше тебя есть кто-нибудь или ты предел моего совершенствова-ния? — Прислушайся, что-то изменилось! — Да, но это не в мыслях, а в ощущениях перемена. Что-то бок за-холодило. А, это она отодвинулась. Они уходят! Когда это они кончили речи говорить, я задумалась о чем-то и упустила момент.

Как забавно снова оказаться без тела. Состояние самое легкомысленное. И легкочувственное. Как будто я — воздушный шарик, и меня ведут на ниточке. Я не делаю никаких усилий, чтобы перемещаться вслед за ними... Кажется, что я вишу в воздухе, а они, передвига-ясь, каким-то образом плавно смещают с места и меня. Все мое участие в этой процедуре состоит в том, что я не сопротивляюсь. Снег пошел. Им же, наверное, ужасно холодно, они столько времени простояли на морозе, произнося речи. И зачем это нужно было! Несчастные.

Я большую часть их речей пропустила мимо ушей. — Тебе пора бы отучиться от накатанных словесных оборотов. И этот твой махровый эгоизм — люди стояли, мерзли, говорили — нет чтобы из благодарности хоть в последний раз быть человеком и выслушать их до конца, а не прикалываться к какой-то ерунде. — Вот уж нет. Никогда не терпела, чтобы вокруг ломали дешевую комедию, а на этот раз тем более не буду ее участником. Зачем они столько лишнего наговорили про мои несуществующие заслуги — чтоб мне стыдно стало, что ли? По-моему, у меня и существующих достаточно, чтобы ничего не надо было выдумывать. Меня воротит от преувеличенности их высказываний — оказывается, я и любимая была у них самая, и жить они без меня не смогут теперь — и все это чередовалось с самыми натуральными слезами. Я понимаю, они несколько взвинчены, но зачем же до такого себя накручивать? Что, собственно, катастрофического произошло? По крайней мере, для многих из них? С большинством из присутствующих я виделась в лучшем случае раз в полгода, и мы ограничивались обменом сухой, а иногда и приторно неправдоподобной информацией. Ну не увидимся мы больше — ну и что? — почему они возводят это в ранг вселенской трагедии? Разве это не спектакль? Ну пусть некоторые изображают не для других, а для самих себя — суть от этого не меняется. Я еще понимаю — близкие, и мне тяжело с ними прощаться, а остальные-то что? И потом, я что-то не припомню, чтоб кто-то устраивал публичные рыдания по поводу перехода из одного возраста в другой. А мне лично гораздо больше жаль ту маленькую девочку, которой я когда-то была... Как-то нечаянно я обнаружила, что она исчезла, и по всей видимости, безвозвратно, — как будто ее и не было. Кроме меня, этого никто не заме-

тил, разве что родители. Но если и так, они приняли эту потерю как не заслуживающий размусоливания факт, тем более недостойный скорби. У меня появляется ощущение, что все они живут по негласному, но общеизвестному предписанию, регламентирующему качество и количество надлежащих переживаний во всех случаях жизни. О, вот интересную вещь она сказала! Как будто мысли мои читает. Не зря мы с ней дружили. Примерно то же, что я думала, но немного другими словами. Как она выразилась? — «мы потеряли связь с традицией, и теперь не знаем, как переносить такие вещи. Раньше существовали ритуальные действия, помогающие на тормозах спустить боль от потери. Это происходило автоматически. А сейчас мы не знаем, как это делается. Последние два дня я просто разрываюсь на части». Умные у меня друзья все-таки. В жизни я бы с ней согласилась. *Значит, я пока могу повторять услышанное. Отметим пока что про себя. Вот если бы можно было вести записи! Наука бы оценила. А что у меня вообще изменилось, кроме как отсутствия тела? Скажем прямо, при жизни на его присутствие я не так чтобы часто обращала внимание. А сейчас у меня пошли странные видения происходящего. Это не образы и не мысли, которыми я привыкла думать, а видения закономерностей. Они текут, переходят одно в другое, но вместе составляют законченную картину. Если я сейчас увлекусь, то смогу увидеть всю историю человечества, как она протекала в действительности. Это так просто. А историки все ввали. Даже современники событий. И не всегда нарочно. Просто они не видели всю картину целиком, описывали только одну часть и тут же делали далеко идущие выводы. Да, про традиции она правильно увидела. Они облегчали жизнь. Теперь я поняла — они и есть те предписания, которые*

управляют людьми, регулируя их поведение. В каком-то смысле они очень удобны, освобождают от необходимости думать, сомневаться, выбирать. Очень многих они даже учат вначале проявлению, а затем и постепенному возникновению кое-каких чувств. Но это всего лишь помочи, сооруженные нашими предками для облегчения наших первых шагов и предохранения от падений. Каждый новый предок, обладающий даром изобретательства, совершенствовал по своему разумению их конструкцию. *Если он был в душе художником, то украшал всякими финтифлюшками, в зависимости от вкуса; обладатель морализаторского темперамента придумывал приспособления, затрудняющие возможность далеко убежать и потеряться. Тут же появлялся снобствующий с предписаниями, кому с кем можно водиться в зависимости от совершенства помочей. Вслед за ним ученый производил классификацию. Приспособления усложнялись, затрудняя любой новый шаг. Благодаря этому кое-кто начал понимать, что, научившись самостоятельно ходить, неуместно пользоваться ими. Время от времени обнаруживались смельчаки, делающие самостоятельные шаги. У них, как водится, появлялись последователи и преследователи. Они боролись между собой и побеждали с переменным успехом. Были целые эпохи под флагом самостоятельности каждого обывателя. Они все плохо кончались. И вслед за ними наступали эпохи жестких предписаний, возврата традиций. Они тоже все плохо кончались. И во все эпохи появлялись борцы против существующего строя. История показывает, что они были правы, пока оставались в меньшинстве. Только благодаря им что-то менялось и развивалось. Главное, не стоять на месте. Сколько у них у всех впереди разных возможностей! Как я им*

завидую! Всего-то им и нужно — стряхнуть с себя оцепенение и двинуться. Ведь уже сколько веков знающие люди заверяют — путь в тысячу лье начинается с первого шага, а их мало кто слушает. Дорогу осилит идущий, говорят они, но мало кому есть до этого дело. Вот и мы наконец осилили путь до автобусов.

Куда они сейчас? А я куда? Только хотела подумать, что сейчас согреемся в автобусах, как поняла — мне-то ведь не холодно! Почему-то одни ощущения сохранились, а другие — нет. Я вижу, слышу, переживаю, что еще? — испытываю какие-то новые ощущения, не могу пока дать им названия, — но нет чувства боли, холода, тяжести, я не ощущаю запахов — вот еще что. Раньше меня всегда ведь немного подташнивало от запаха бензина, а сейчас я ехала и, кажется, совсем его не заметила. Но все же нет, что-то я почувствовала. Каким-то образом он давал о себе знать. И сейчас тоже. Он исходит от автобусов в виде непрерывно вращающейся спирали, на вид обычной, металлической, и в то же время это беспорядочно проплывающие конусовидные образования, возникающие одно из другого и сделанные из чего-то непрозрачного, но не тверже воздуха. Как это может быть? Не знаю. Надо быть поосмотрительней — глюки, что ли, уже начались? Глюки — это когда что-то кажется, а я уверена, что это — существует и я вижу на самом деле. Откуда такая уверенность? — это верный признак помешательства — ты же читала соответствующие книги! Мне говорит об этом чувство настоящего — в смысле времени и в смысле качества. Если ему не доверять, значит, оно способно подводить, но в таком случае и вся жизнь мне померещилась, ничего и не было, или было не то, что я себе вообразила. Подожди, не путай меня! Ведь раньше твое чувство настоящего не отлича-

лось от чувства реальности — это было одно и то же. Я хочу сказать, что если ты раньше видела что-то, то не было сомнений в том, что и все остальные видят это таким же образом. Это почему же? — у меня как раз такие сомнения были. Да я вообще временами не была уверена в существовании других, не исключалась и возможность, что все они — плод моего воображения. А временами думалось, то есть подозревалось, что я сама — лишь чья-то прихоть, кому-то захотелось меня придумать для каких-то своих целей, — впрочем, единственная цель по тем временам заслуживающая моего внимания, была — поиграть. Вот как я играла со своей куклой, и она в эти минуты была живая без дураков, а потом я о ней забывала, и она сразу же переставала чувствовать до следующего моего соизволения, вот так и мне вдруг подумалось — наверное, на самом деле моя мама — это большая девочка, а я кукла, она играет мной, и я тогда оживаю, а потом забрасывает меня на время, но я этого не помню, потому что перестаю тогда существовать, и помню только те минуты, когда она мной занимается, и потому мое существование кажется непрерывным. Ну ладно, когда это было! — потом-то ты уразумела, что и ты, и другие одинаково реальны. Ну да, когда меня начали кормить ядом — фантомы при всем желании не могут ощутимо отравить, точно так же и тому, что недействительно, не бывает так больно. Ну ладно, опять ты за свое! Пострадать — пожалуйста, сколько угодно, а вот немножко подумать — увольте, это не про нас. Тогда как именно сейчас от тебя требуется максимальная собранность, каждая минута решающая — шаг в сторону — и от тебя ничего не останется. Вернемся к началу — вот это здание, например, мимо которого мы сейчас проезжаем, — все, посмотревшие в окошко,

единогласно выскажутся в пользу того, независимо от своего настроения и состояния, что это десятиэтажный жилой дом, облицованный желтовато-розовыми кирпичами, прямоугольной формы, стандартной планировки — слова-то какие! — короче, обычный дом в обычном микрорайоне, а не летающая тарелка, к примеру. Вот именно, это хороший пример. Сколько человек видело своими глазами летающую тарелку? — а как она выглядит, знают все и, впервые увидев, так и подумают: а, вот и летающая тарелка, наконец-то и я ее увидел! Небось первый человек, ее увидевший, не пришел в такое воодушевление, он не подумал радостно — вот нечто, похожее на тарелку, летает себе по небу непонятно каким образом, надо рассказать всем, вот удивятся! Он даже не заметил, какой она формы, а был напуган непонятностью происходящего — не дай Бог, люди узнают — засмеют ведь! А скольким до него она попадалась на глаза, но они ее не увидели, потому что не знали о ее существовании и не ожидали ничего подобного. Чтобы разглядеть что-то непривычное, нужно иметь не только желание, но и смелость. *Я бы даже сказала — наглость.* Чтобы перешагнуть систематизированную договоренность людей о том, как выглядит все вокруг. Не то чтобы она очень сильно влияла на окружающее, но на восприятие действует со страшной силой. Как мне удалось лишь незначительно изменить свою внешность с помощью волевых усилий, да и то в сторону искажения гораздо более гармоничного замысла, так и людям, несмотря на мощное давление массового упорства, сдвинуть мир в сторону своих представлений о нем возможно, только изуродовав его. Сколько они ни настаивали на своем, им не удалось даже изменить форму своего пристанища. Как бы ни были они уверены в той или иной гипотезе, Земля не видоизме-

нялась; только рушился до основания один миф, уступая место другому, и только тень от старого продолжала еще некоторое время шмыгать вокруг в поисках более сердобольных существ, таких, как дети, через них обретая свое бывшее могущество с тем, чтобы со временем уступить место новой тени, более жизнеспособной. А может, и менялась форма Земли с каждой новой версией? Конечно же. Когда думали, что она плоская и имеет край, так оно и было, и люди, дошедшие до конца, проваливались в туман и больше не возвращались, так что некому было рассказать остальным, что там — за чертой. Как люди думали, так оно и было, но в то же время все совсем по-другому. Скоро они избавятся от предрассудка, что она круглая, но и это не будет окончательной истиной. К ней им еще идти и идти, но каждая новая остановка будет не менее реальна, чем цель пути, может, и более — остановка ощутима, а истина только предполагаема. Куда это опять меня занесло? Все равно здесь пока ничего не происходит.

Все молчат, придавленные темным сгущением, нависшим над нами. Одни называют его своим горем, другие — страхом; я могу видеть, кто — как, третьи никак не называют, но все чувствуют его давление. Оно очень тяжелое, хоть и бесплотное. Такое свинцовое облако. Если обратить на него внимание, то оно начинает темнеть. Что это? Кажется, под его воздействием из них выдавливается что-то сходное по составу с ним. И оно вбирает это в себя, делаясь еще массивней и еще больше выжимая из них. Это как раз то самое, я поняла, что удерживает меня, иначе я оторвалась бы и улетела, я вязну в этом. То, что выдавливается — или выкачивается? — из них, тут же загустевает и виснет вокруг. Оно их очищает — делает светлее, и, кажется, они становятся прозрачными — я могу видеть

сквозь них, например, стенки автобуса. Сквозь автобус я тоже могу видеть, но он прозрачен по-другому — я просто сознательно его убираю, чтобы видеть за ним, а их можно и не исключать, они не мешают, не заслоняют. Я чувствую, что происходящее сейчас — хорошо, но эта масса не только отделяет от них ненужные наслоения, но и отделяет нас друг от друга. Они сейчас стали такими легкими, почти как я, и без усилия могли бы меня увидеть. Но они даже друг друга не видят — их слишком занимает процесс. Обидно, я бы хотела поделиться с ними своими открытиями, они сейчас могли бы их вместить — вон сколько места внутри них освободилось. Но эта темная завеса заслоняет все, она такая основательная, что и мои новые способности не позволяют удерживать их все время на виду. Они то есть, то их нет, то есть, то — нет. Настолько нет, что я успеваю забыть напрочь об их существовании, пока они снова не проявятся, но уже смутными очертаниями, в скудных тонах. Не сравнить с теми вещами, которые сейчас выделяются на передний план. Они намного занимательней. Какое наслаждение смотреть и больше ничего. Вот в чем смысл всего. Ничего больше не надо. И это невозможно растронжировать. Столько возникает небывалых предметов и деталей — вечности не хватит, чтобы все это разглядеть как следует. Так что надо уже приступить к делу, не откладывая. Вот только бы решить, с чего начать. Все одинаково занимательно. Может, пока не надо, а? Не то ты совсем забудешь, где ты. А главное — кто они. И боюсь, тогда не сможешь вспомнить, кто ты. Ну, я совсем немножко. Только пока мы едем. И я все время буду напоминать себе, кто я, чтобы не забыть. Они же сейчас могли бы запросто присоединиться ко мне, не моя вина, что они предпочитают идти по проторенному пути пережи-

ваний, хотя им достаточно было бы сделать совсем небольшое усилие, чтобы видеть все со мной. Я не собираюсь приносить такую жертву, отказываться от того, что и им доступно, но они не берут. Я буду держаться их, обещаю. Смотреть только на то, что рядом, далеко не пойду. Они ведь тоже заняты собой, а не мной. А самое смешное — они все это тоже видят, только не знают, что видят, и поэтому не видят. Если бы им кто-нибудь сказал. Хотя бы — посмотрите, вы стали прозрачными, они бы тут же сами это поняли. Если бы говорящий был для них авторитетом, конечно. А если бы не был, тогда ему пришлось бы сказать это не один раз. Кто-то мне рассказывал — был какой-то святой, если я ничего не путаю, который сидел на берегу пруда и без конца повторял: «Рыбки, не нужно ссориться, живите мирно!». Все, конечно, над ним смеялись, а он считал, что выполняет свой долг и, если непрерывно повторять эти слова, рыбки когда-нибудь на минутку отвлекутся от своих насущных дел и тогда смогут его услышать. Когда я услышала эту историю, я восприняла ее как метафору. Теперь-то я понимаю, что метафор вообще нет — все происходит на самом деле. Наверное, то, что удалось увидеть только нескольким людям, остальные называют метафорой, а то, что стало доступно восприятию большинства, уже считается реальностью — вот и вся разница. Вот когда импрессионисты заявили, что тени бывают цветными, а не черно-серыми, как все думали, у всех сразу пелена спала с глаз. Все увидели, что это так, и это стало так. И теперь даже те, что ничего не знают об этом заявлении, только родившись, уже видят их цветными и думают, что это одна из данностей, изначально существовавших. Но нужно, чтобы человеку, посилившемуся увидеть что-то новое, хватило еще сил на то, чтобы это

новое обозначить словом, иначе он первый же забудет, что произошло. Не забывай напоминать себе. О чем? — ах да, мы едем в автобусе. Тут сидят мои друзья, я помню, кто я.

Вот о чем говорят — в начале было Слово. Слово — единственная субстанция, имеющая что-то общее как с духом, так и с материей. Только благодаря ему они могут сотрудничать. Так было всегда. Сколько успели сделать те, что были до нас, столько такого, что мы принимаем как должное, берем готовым, как принадлежащее нам по праву рождения. Это право у нас — у них — есть, но надо отдать должное и предшественникам. Голова кружится, стоит представить, как много вещей нужно было назвать кому-то в первый раз. И сколько для этого потребовалось людей, каждый засталбивал свое, и для последующих этот выступ служил то ли ступенькой, чтобы опереться, то ли планкой, которую нужно перепрыгнуть. Иногда это выглядело как торжественно-триумфальное шествие вверх, иногда — как бег с препятствиями. Я теперь вижу, в какой темноте мы сперва жили. То есть буквально — удивительно, до какой степени не существует метафор. Мы раньше видели мир почти что серым — как черно-белое кино. И мы сами были такими — с бесцветными глазами, с серыми волосами, с бурой кожей. Потом однажды он увидел ясно, может, оттого, что боль промыла ему зрение, что кровь, которая неостановимо вытекала из бока раненного на охоте друга, не черная, как земля — так ошибочно предполагали все до сих пор, — а совсем другого цвета, цвета того, что он почувствовал, когда понял, что его друга больше не будет. И еще он понял, что по цвету она роднится с теми бесполезными, непригодными для пищи растениями, что раскиданы на опушке леса, и,

если смотреть на них отсюда, — они как несколько больших пятен крови среди прочей травы, которая тоже не черная, но и не такая, как эта кровь, продолжающая вытекать, хотя его друг уже давно не хрипит. И еще он понял, спустя время, что ничего не понимает — ведь он сыт и не болен, и у него есть своя пещера, и он может справиться с любой женщиной из племени, и вождь им не недоволен, и никто не собирается биться с ним за его пещеру и его женщин, и никто не хочет отправить его туда, куда все уходят, когда перестают быть здесь, — почему же столько лун подряд ему хочется кричать, и из его груди выходят звуки, похожие на те, что издают убиваемые звери? Кончилось все тем, что он стал непригоден даже для охоты и только пытался всем объяснить, какого цвета кровь, — новых друзей ему это не прибавило, наоборот, однажды его, не выдержав более, народ попытался закидать камнями, но, когда он отлежался и приполз обратно через три дня, все смирились с его причудой не желать видеть вещи такими, какие они есть, и с его бесполезностью для общества, некоторые даже кидали ему кое-какие остатки добычи.

А потом появился другой поэт и сказал, что женщина, с которой он живет, не похожа на остальных, ему не нужна больше ни одна другая, но эту он ни с кем делить не будет и готов сразиться за нее с каждым. И хотя он был хлипким, но уже знал, что стоит ему подумать о том, что ее отнимут, он сразу превращается в огромное чудовище, так что остальные мужчины племени уже от одного этого зрелища отступают, а попытки наиболее упорных заканчиваются неудачей — они не выдерживают его натиска, длящегося, когда им давно уже стало скучно биться, как бы они себя ни распалили. И еще он сказал, что у его женщины все особен-

ное, и глаза у нее такого же цвета, как небо, и голос ее звучит, как ручей, и пахнет она, как лесная ягода, и волосы ее похожи на огонь видом и так же обжигают прикосновением. Тогда это звучало как откровение, но потом стало литературой, когда многие, играющие в поэтов, бездумно за ним повторили, а потом общим местом, проскальзывающим в ухо без препятствий, и многие, услышав или прочитав это, называли единственной каждой, что им встречалась. Многие уже основательно обкатали эти понятия и сочетания слов, если бы мне сейчас все это виделось не образами, а словами, — наверняка звучало бы как в низкопробном романе. Слишком обкатанные слова перестают гладко катиться и буксируют, соскальзывая. Уже не осталось ни одной фразы, которую бы не износили до зеркальных шин. Взять любую фразу — хоть о самом начале неистасканных отношений: «Наша встреча не была случайной» — и у слушателя тут же начинаются позывы к рвоте от кружения на одном месте. Нужно или вложить в эту фразу опыт с недюжинным весом, или придать ей шероховатости неуклюжими *выпячиваниями слов*, чтобы она могла двинуться дальше и зазвучала совсем по-другому: «Наша встреча не была случайной». Тогда и не имеющий никакого слуха услышит разницу. Труднее всего первым. Хотя первым приходится быть всегда, когда хочешь что-нибудь сделать. Сколько раз было, когда мне хотелось стать объектом какого-либо действия, а в результате становилась субъектом его, только бы действие само по себе состоялось. Началось с того, что мне захотелось встретить волшебницу. Настоящую. Просто встретить, ничего больше. Чуда, что она есть, было достаточно, чтобы она не совершала никакого чуда. Я выходила на улицу — потому что она могла постесняться прийти в чужую квар-

тиру — это же не Бука какой-нибудь, запросто шныряющий повсюду и чувствующий себя хозяином, — и часами ждала ее на скамейке. Нужен был только какой-то знак, чтобы я ее опознала. Она была уже в курсе, что я ее безропотно жду, — я посылала ей сигналы о своей готовности к встрече и уверенности в ее существовании. И я уже знала, какой знак она мне подаст — проходя мимо, она посмотрит мне в глаза почти без улыбки, мимолетным взглядом и незаметно для всех положит мне в руки совсем крохотную куклу, чем меньше, тем лучше. Этого будет достаточно. Я не нуждаюсь ни в каких более неправдоподобных чудесах. Еще неизвестно, что с ними делать, а куклу можно носить в кармане, и никто ни о чем не догадается. Может, временами она будет оживать — когда я этого захочу. Я буду ее вытаскивать и разговаривать с ней, а потом при первой опасности я ее опять спрячу, и тогда она снова превратится в обычную куклу, чтобы не задохнуться в кармане. Если она все время будет живая, страшно даже представить, чем это может кончиться. Если ее обнаружат, такой поднимется скандал, и меня накажут так, как мне еще и не снилось. Долго прятать мне ее не удастся: во-первых, ее надо будет чем-то кормить, а если я ей устрою домик, мама его обнаружит при первой же уборке, постоянно таскать ее в кармане — тоже не выход: ее может укачать и она начнет плакать в самый неподходящий момент, и потом, куда я ее засуну, когда буду раздеваться для ванны? Так что лучше всего, если она будет оживать по моему желанию. А вдруг она обидится, когда я буду внезапно прекращать игру с ней? И что я тогда ей скажу: засни немедленно? Да нет же, это будет просто: как только я перестану думать о ней, она тут же заснет, а когда снова проснется, то ничего не будет помнить. Ей будет ка-

заться, что мы с ней ничего не прекращали. Она ведь не будет знать, что со мной что-то происходило без ее ведома. Это все равно что включать и выключать телевизор. Она будет думать, что все время живет, потому что как можно помнить время, когда тебя выключили? Этого времени просто нет для тебя. А вдруг со мной тоже кто-то делает такое, а я не знаю? Да нет, ерунда. Кто бы мог это делать? Да хоть мама. А вдруг на самом деле она — маленькая девочка, играющая в меня, куклу? Когда я ей надоедаю, то выключаюсь и ничего не помню. А потом она снова играет со мной в дочки-матери. Что-то мне страшно. Когда они наконец придут с работы? А, но ведь я сейчас живу, хоть она и на работе? А может, она играет так, будто она пошла на работу, — я тоже могу сказать кукле: я пошла на работу, веди себя хорошо, и выйти на минуту из комнаты, а кукла будет думать, что я ушла на весь день, потому что я так сказала. Но раз она в меня играет, значит, она — ребенок, и у нее есть мама, которая на самом деле уходит на работу, и тогда она в меня играет. А может, девочка, которая играет, — это ее мама, а она кукла, которая, когда о ней забывают, засыпает и видит во сне, будто она сама играет с куклой. У меня кружится голова, и вообще все это не может быть правдой, и лучше выйти на улицу и там с кем-нибудь поиграть. Куклы ведь не могут выходить на улицу и там с кем-нибудь играть. Если только их хозяйка этого себе не представляет. Глупости. Живых кукол не бывает. Я сейчас могу оторвать голову любой кукле, и ты увидишь, что внутри у них пусто, они не живые. А если пойдет кровь? Ну вот, смотри! Убедилась? И вообще мне ее не жалко — она с такой глупой мордой. А по ночам она делается страшной. Надо ее закинуть сюда, чтобы больше не видеть. Я ее никогда не любила. Ма-

ленькие куклы лучше — если их не хочешь видеть, то легко можно спрятать, да и по ночам они не страшные. Да и что куклы? Я уже не маленькая. Вот встретить настоящую волшебницу — это да. А кукла мне нужна только как знак, что волшебница меня услышала. Знак, что она есть на самом деле. Нужно только ждать ее в уединенном месте, при посторонних она ко мне не подойдет. Вот то место, которое я в прошлый раз выбрала во дворе, вполне подходит. Все дети играют немного в стороне, а рядом уже тротуар, по которому проходят взрослые, но это еще и двор, на котором нужно сидеть ребенку. И еще на этот раз я постараюсь не отвлекаться ни на что, нужно достаточно упорно ждать, чтобы волшебница появилась. Просто так, к неждущим, или к не очень сильно ждущим она не подходит. Нужно показать, что ты все равно в нее не перестаешь верить, хоть она и не появилась в прошлые разы, ты не сомневаешься, что она есть, и продолжаешь ее ждать с такой силой, чтобы заслужить ее приход. Но нужно почувствовать, когда остановиться. Потому что когда чего-либо слишком сильно хочешь, это никогда не сбывается. Проверено сто раз. И потом, волшебники всегда должны приходить неожиданно. Только на таких условиях они являются. Поэтому нужно суметь очень тонко сбалансировать между ожиданием — балансировать? — это не мое слово — упорным, которое предполагает длительное — почему не мое? — мое слово! — да, но не в этом возрасте, а из какого возраста я сейчас говорю? — подожди, дай додумать: — нужно уметь ждать настолько, чтобы не забывать довольно регулярно, не поддаваясь разочарованиям, приходить на одно и то же место. А на месте каждый раз суметь отвлечься, искренне перед собой начать думать о совершенно другом до такой степени, чтобы приход волшебницы застал тебя

врасплох. Ждать, не ожидая. Собрать всю свою волю к желанию, не только опробованную, но и потенциальную, и даже предполагаемую, и совершенно об этом забыть. Это самое трудное, но, если научиться, уже и волшебница не нужна. Вот и договорилась, — но это сейчас ты так говоришь. Но ведь она так и не пришла, хотя я смогла этому ожиданию научиться! Ну что ж, я только сейчас это осознала. Потому что как только я это поняла, то напрочь об этом забыла. Зато я научилась добиваться желаемого. Навык, приобретенный при ожидании волшебницы, в первый раз дал осечку, но был безотказен во всех других случаях. Я знала, что им нельзя злоупотреблять, но время от времени надо было применять, не столько чтобы получить желаемое — когда знаешь, что можешь, не очень-то и хочется, — сколько чтобы не терять сноровку. Сейчас я понимаю, что весь смысл происходящего был в том, чтобы я научилась. Но тогда встреча волшебницы с маленькой девочкой была настолько проиграна в деталях, настолько приближена к реальности, что для воплощения не хватало уже только самого действия. Поэтому когда я достигла возраста, в котором ждать волшебницу уже неприлично, то есть когда я посмотрела на себя, ожидающую, со стороны, и поняла, что уже не вписываюсь в давно законченную картину, я не захотела выходить из игры. Потому что, кроме меня, картину никто не видел, я была необходима для ее осуществления. Прошло еще какое-то время, в течение которого я раздумывала, не пририсовать ли себя к уже готовой картине в качестве стороннего наблюдателя, пока вдруг случайно не обнаружила, что я по росту и по какому-то неуловимому очарованию вполне сливаюсь с образом волшебницы. Казалось бы, это наблюдение должно было бы окрылить меня и сподвигнуть к немедленному действию,

но, вопреки ожиданию, оно меня несколько шокировало. Мне бы хотелось подтверждения существования волшебницы первоначально задуманным способом. Не то чтобы вынужденный вариант внушал сомнения в ее реальности; когда я увидела со стороны, то поняла, что не избежать этого. Приятней, когда тебе доказывают, чем когда ты сама. Или, уж по крайней мере, вначале увидеть, а потом — стать. Да и ответственность пугала. Почему именно я? Любой бы смог. Допустить это одним мешает страх, другим — недостаток воображения. Или лень. Но прежде чем решиться, хотелось бы найти других, готовых. Не для того, чтобы убедиться в их существовании — я не сомневалась, а чтобы не быть одной. И чтоб обеспечить себе замену в случае чего. Откуда-то я знала, что решившихся — единицы и нам надо друг друга подбодрять. Я еще много чего знала, для самой себя непонятно откуда. Меня это то тревожило, то радовало — когда как. Для спокойствия мне надо было разыскать сообщников, причастных к тайному ордену. Может, они смогли бы мне объяснить непонятные вещи. В разговорах с каждым встречным я начала подавать условные сигналы, напряженно пытаюсь уловить ответный импульс, даже если по каким-то причинам его хотели бы скрыть. Малейший вздрог, даже самое незаметное расширение зрачков, тончайшие изменения тембра голоса — мои чутко настроенные локаторы ничего бы не упустили. Каждый новый отсеивающийся кандидат добавлял мне опыта, скоро мне уже не требовалось бросать пробный камень, чтобы по качеству эха определять глубину неосведомленности. Я уже на глаз научилась определять пропасти, способные беззвучно проглотить все, независимо от веса и объема, и даже не выдать мельчайшей ряби на поверхности. Все вокруг оказались удручающе невинны. Я осталась

заведомо одна. На долгое время, до будущих встреч. А тогда казалось, что навсегда. Да, я не отвлеклась — я прекрасно помню — мы сейчас едем в автобусе.

Я не так уж сильно отвлеклась. Дальше себя я все равно не отходила. А если вдруг? То куда я тогда попаду? Нет, лучше пока так. Когда они все рядом, у меня вроде еще есть границы. Но все они вместе — это еще не одно тело. Теперь не так легко будет прийти в себя, как раньше, — если бы автобус тряхнуло или ногу отсидела. Сейчас не получится. Они хоть и одно целое, но каждый сам по себе. Кто они? Еще недавно это было ясно. И теперь многих мне не так трудно узнать, но они как-то сливаются. А потом выделяются. И меняют форму. Как мне вспомнить их первоначальный облик? Я уже не помню, что было вначале. Когда я вспоминаю себя, все не так кружится, как сейчас. Вспоминай дальше, а там посмотрим. Только надо выбрать какой-то ориентир, чтобы вернуться к ним и уйти вместе с ними. Или держать их всех в поле зрения, вернее будет. Нет, тогда я по ним расползаюсь. Как они быстро меняют форму, когда перестаешь думать, как они выглядят на самом деле. То они сделаны из разных масс, разных, но не бесконечных, не меняющихся в своих пределах. Можно разделить на подгруппы: одни явно шоколадные, другие из мармелада, посыпанные дешевым крупным сахаром, бывают еще из сыра. Или тряпичные. Особенно вот эта. Почему я раньше не видела? Она же тряпичная кукла, и, если ее раздеть, у нее на ногах и животе будут поперечные затяжки от плохо сшитой материи. И ножки будут болтаться. Если опустить на пол, они просто подогнутся и она беззвучно шмякнется. А шоколадные на вкус тоже шоколадные? Я знаю вдруг, что я каким-то образом могу это проверить. Кого выбрать? А вдруг я им поврежу. По-

пробую руку, она и отломится? или утончится? Лучше не надо. Опять они поменяли форму. Растекаются. Руки удлиняются. Теперь это уже не руки. Раньше были хоть мармеладные, но руки. Во что они превращаются? Не хочу смотреть. Вот так лучше. Если не обращать на них пристального внимания, они вновь собираются в привычные для людей формы. Примерно как они привыкли себя видеть. Вот теперь они почти такие. Только бесплотные. Они все из игры света и тени. Вот, один затвердел. Теперь отвлекись, а то как-то подозрительно сгущается, как бы не стал из камня. Но как же мне быть? Может, забраться в кого-то одного, и потом вместе с ним выйти отсюда? Нельзя этого делать! Но я на время! Чтоб не потеряться. Вот в него. Можно попробовать через нос. Он сейчас не туда дышит. Дождись, когда вдохнет. Вот, еще дырочки. Как их много. А, это такие норки. Что в них находится? Кто их вырыл? Странная местность. И растительность необычная. Но так ничего. Я так устала. Нужно пока выбрать одну норку и в ней устроиться. Отдохнуть хочу. Но из чего все сделано? Из желтого желе, и кругом растут рыжеватые металлические столбы... как будто уже тронутые ржавчиной... Но это не важно. Где бы только уснуть. Поспать немного. Вот хоть здесь. Какая разница. Да, но чем я буду спать? Спать нечем. Это я помню. Куда же меня занесло? Фу, теперь я снова здесь. Слава Богу. В какой я странный мир попала. И каким чудом выбралась, совсем не помню обратной дороги. И как туда пришла тоже. Но обратно я точно не шла. А что же? Ну, просто оказалась на месте. Ничего не понимаю. Надо вспомнить, куда я направлялась. А где я сейчас? Может, мне все это снится? Нет, все в порядке. Мы едем в автобусе. Это я знаю. И что дальше было, то есть раньше, я тоже помню. А что было в промежутке?

Может, я хотела отсюда убежать и куда-то попала? Какая-то сонливость ужасная. Трудно собраться с мыслями. Немудрено, уже сколько времени я не спала, совсем. Может, заснуть? Поспать немного. Потом можно будет дальше соображать. Нельзя. Ты потеряешься во сне и уже не найдешь себя. Про них уже и не говорю. Лучше старайся ничего не забывать. Все время думай о том, что было секунду назад. Это будет твоей дорогой назад. Каждая секунда, которую ты заметила, — кирпичик. Если поленишься или забудешь, образуется провал. Ты не сможешь вернуться и потеряешь связь. И никто не сможет подсказать дорогу. Потому что сейчас остались только такие дороги. Про которые знаешь только ты сама. И прокладываешь тоже сама. И все делаешь сама. Чего не сделаешь — того нет. Но и тогда, там, тоже так было. Было и другое тоже — например, дорога до школы — другие ее прокладывали, не я, и все равно можно было ею пользоваться — здесь ничем чужим не попользуешься. Но там тоже было много вещей, которые сам должен сделать. Вот, допустим, хотя бы с этой волшебницей, которую я только что вспоминала... — вспомнила! — я думала о ней, а потом хотела за кого-то зацепиться, а потом пыталась войти вот в него, и, видимо, мне не удалось, я заблудилась в его лице, то есть на лице. Так что это был не другой мир, а наш, обычный, только рассматривала я его с необычных позиций. Нельзя сказать, что я никогда так близко не рассматривала чужое лицо, — очень даже нередко это происходило, но никогда я не забывала о своих собственных размерах, то есть, как только начинала забывать, тут же вспоминала, и поэтому невозможно было потеряться в лице другого... А и тогда можно было бы потеряться где угодно, выручало только воспоминание о своих габаритах, то есть их отноше-

нии к чему-то. Возможно, если тогда можно было внушать себе, что ты больше, чем лес, и поверить, то и ни в каком лесу не потерялся бы. Но тогда можно было завратиться и забыть о всех реальных соотношениях, и не успеть сказать себе, что ты больше чего-то, и раствориться в этом, или что ты меньше чего-то, и не смочь войти туда. Но тогда почему мы называем их реальными соотношениями? То есть кто первый их так назвал, то есть так решил? Или так соизмерил? Адам, что ли? Заодно, называя животных, определил, что больше, что меньше, где право-лево, что можно-нельзя. Потому что навряд ли Бог. То есть Бог, конечно, первый решал, что можно и нельзя, но потом Адам и все остальные, не говоря о Еве, внесли свои истолкования, дополнения и даже изменения. Для справедливости надо отметить, что им для этого был оставлен простор, и если взглянуть, то — необъятный. Просто у Бога гораздо больше фантазии. И совсем нет страха. Наверное, если кто-нибудь из потомков Адама хоть немного позволит себе, пусть даже в незначительной степени, воспринять Его без подпорок, не боясь последствий, первое, что он поймет, — Тот не имел в виду понятие «нельзя» ни в каких случаях. Или если имел, то это совсем не в том смысле, который мы воспринимаем. И вообще как это люди различают слова? Они так похожи друг на друга. Я ведь тоже когда-то их различала. Теперь в это трудно поверить. А как же я сейчас думаю? Разве не словами? А разве я сейчас думаю? Конечно. Не только думаешь, но и вспоминаешь что-то. Вспоминать гораздо легче, чем думать. Когда думаешь, то нужно прокладывать дорогу, чтобы мысль стала твоей, иначе она пройдет сквозь тебя, а когда вспоминаешь, то просто возвращаешься по уже готовой дороге. Кирпичиками для мыслей служат слова, а для воспо-

минаний — действия. Или чувства. Хотя если не было действий, то почти нечего вспоминать. Чувства запоминаешь, если из-за них совершил какие-то действия или если их хотя бы называл сам себе. Но это там, в жизни. Теперь я вижу все и могу вертеть по-всякому и названное, и неназванное. Теперь-то понятно, что ничего и не нужно называть, чтобы это было, потому что даже наши чувства — вне нас. Название помогает их запомнить, но только в том мире, потому что в этом все вспоминаешь и без названий. Там названия иногда мешают, потому что если начинаешь вдруг испытывать то, чего раньше не испытывал сам и твое ближайшее окружение, и не читал об этом, то можешь и неправильно назвать, например, ненависть — любовью или радость — горем. Тогда все уже зависит от того, кто сильнее: ты или это чувство. Если чувство, рано или поздно поймешь, что заблуждался в определении, если ты, то чувство не изменится, а просто отойдет, чтобы уступить место другому, вызванному твоими представлениями. Короче говоря, если ты хочешь испытывать к кому-то не любовь, а наоборот, то ты своего добьешься, единственное, что ты не в силах будешь изменить, — тот факт, что вначале была любовь, если она действительно была. Ты можешь это только искренне отрицать, даже перед самим собой, но потом, когда-нибудь, как я, например, сейчас, ты вдруг увидишь, как на картине, просто, как все было. Это будет возможно, когда исчезнут все чувства, которые ты раньше испытывал, — они тоже, оказывается, ревнивы и заслоняют друг друга. Если их все не прогнать, если оставить хоть одно, все остальные будут стремиться на его место, вытесняя и дерясь, как самцы за право участия в брачном танце. Потому что хоть они живут вне нас, а не внутри, а может, и поэтому, они питаются

нами, а не мы ими, как мы думаем. Мы для них, как аккумуляторы. И чем грубее чувства, тем яростнее они ведут борьбу и чаще побеждают. Недаром многие говорят — я опустошен своими чувствами. Да, а чем тоньше чувства, тем больше сил они нам придают. Но они совсем не борются за нас. Тут же освобождают поле боя под малейшим натиском агрессивных соперников. Наоборот, это мы должны бороться за них. Вот они нас как раз и питают. Странно, может, чувства — это тоже вполне сознательные существа? Надо бы потом присмотреться повнимательнее, сейчас я все вижу другими глазами. Какими другими? Или чьими? Точно не их. Моими другими. И в общем, я теперь понимаю — хорошо, что волшебница тогда так и не показалась. Это был ее лучший подарок мне. Она знала, что делает. Мне пришлось взять все на себя. Я тогда подумала, что уже достаточное время предоставляла шанс кому-то узнать, что он — волшебник, но никто этим не воспользовался. Нужно сделать что-то необычное, чтобы понять, что ты — необычный человек. Сколько волшебников умирало, так и не узнав, кто они на самом деле, потому что даже не пробовали проявить себя. Теперь оставалось найти девочку. Потому что далеко не все девочки верят в волшебников, как это принято думать, и еще меньше в них не верят... У меня этих крохотных кукол уже набралось несколько штук, тем более что я выпрашивала их у каждого, интересующегося, что мне подарить. И тут я почему-то впервые задумалась — откуда берутся волшебники? Естественно, рождаются, как и все. Может, те люди, которые мне подарили этих кукол, и были волшебниками, а я их проморгала? Нет, конечно, волшебники — это те, которые дарят кукол, когда их вслух об этом не просят, и притом совсем незнакомым девочкам.

Она оказалась в четвертом от нашего дворе. Я проверила несколько раз — она сидела все на том же месте и ждала, — но все же немного удивилась, когда я, ничего не сказав, а только мимолетно посмотрев, дала ей куклу. Одно дело, когда чего-то ждешь, другое — когда происходит — всегда оказывается, что ты к этому не готов, — или слишком рано, или слишком поздно. Впрочем бывает только то, о чем никогда не думал и чего не ждал. Но это была именно та девочка, я не ошиблась, потому что никогда больше не видела ее на том же месте. Или где-нибудь еще. Но с этого у меня все и началось. Я себе разрешила брать все на себя, и с тех пор, когда события спорили с моими представлениями о них, я из объекта действия превращалась в субъекта. Потом всегда приходилось самой делать то, что, я надеялась, будет происходить со мной. Кончилось тем, то есть последним был случай, когда я, не дождавшись, заставила себя полюбить так, как я мечтала — без оснований и безрезультатно, — чтоб меня. Ничего в этом необычного нет, странно только, что, открыв общий принцип действия, в каждом отдельном случае приходится его открывать наново. Когда перед моими глазами вставала картина, реальная или пригрезившаяся, у меня не хватало амбиций утверждать, что она теперь навеки со мной и будет пребывать во плоти неизменной, хотя бы в моей памяти. Я уже научилась не доверять памяти, поскольку она необычайно услужлива и может не только менять или даже полностью стирать действительно происшедшее, но и сама рисовать картины, угодные тебе, но не имеющие никакого отношения к действительности. А образы, хранящиеся в памяти, слишком зыбки, они колеблются и меняют очертания от малейшего дуновения изменившегося настроения, они так чутко отзываются на слабейшие изменения в тебе,

что ни секунды не пребывают в неподвижности, как легкие облачка при порывах ветра, если пристально за ними следить, каждую единицу времени слегка уклоняются от первоначальной формы, непрестанно в движении, но, если бросать на них взгляд изредка, кажется, что они все те же.

По своей профессии я быстро поняла, что если не работать над полюбившимся образом сразу же, начав погоню по неостывшим следам, то потом его трудно будет догнать. Может получиться очень неплохая картина, но совершенно другая. А если ты хочешь именно эту, то чем позже ты начал ее воплощать, тем больше тебе придется отринуть шелухи, пока не доберешься до ядрышка, которое вспыхивает, когда ты уже совсем отчаялся, как плод настойчивого желания, само выпадая тебе в руки. Но так же дело обстоит и с любым действием, даже если его составные не ощупать руками и не увидеть глазами, как краски и холст. Та же любовь дается, как мгновенная картинка, которую возможно более или менее приблизительно воплотить в зависимости от умения и средств. А люди почему-то думают, что если это чувство их озарило, то оно останется с ними, если не само, то хотя бы его отсвет... Но даже отсвет не удастся удержать, потому что мы опять сокращаемся до границ своих и чужих представлений о нас, а это так мало, что даже при самых преувеличенных самомнениях — не шире сантиметров пяти от любой части тела, ну разве что от макушки достигает десяти-одиннадцати сантиметров. Но всегда это слишком маленькое по сравнению с отсветом и никогда не находится в его центре, а всегда где-то на окраине и поэтому легко скатывается в сторону. Ни одно большое чувство мы не в состоянии охватить целиком, не только любовь или горе, но и печаль и верность, разве что только

на миг, когда мы почему-либо расширяемся до своих естественных размеров, из-за какого-нибудь толчка, изнутри или снаружи. Иногда бывает, правда, что зародыш какого-то чувства застревает в тебе, как соринка, и, если его не искоренить сразу, оно начинает само расти, распирая тебя изнутри, и это, конечно, очень больно, ты не понимаешь, что происходит, почему тебя как бы разрывает на куски и почему ты не находишь себе места и не можешь успокоиться, и это очень долго — из такой крохи, как человек, дорости до большого чувства — нужна большая эластичность тканей и усиленное питание. А бывает, что сам очнешься и вдруг вспомнишь, что ты испытывал раньше, в тот короткий миг, и увидишь, что ты теперь называешь этим чувством. Тогда начинаешь сам потихоньку раздвигать свои пределы, помещая еще по одному кусочку этого чувства, сколько влезет. Это не так больно, как первый вариант. Почти совсем не больно. Вообще все, что сам сознаешь и делаешь сам, это совсем не больно, а то, что делают с тобой или ты делаешь, не сознавая, всегда трудно перенести. Мне сейчас совсем не больно почему-то. Наверное, потому, что все и вся оставили в покое. Пока что. А с ними все время что-то происходит. Если присмотреться, то далеко не одно и то же — с каждым происходят разные вещи. Я что-то не совсем правильно представляла про чувства — не ко всем оно забралось внутрь. На одних оно действительно давит изнутри, а на других то же самое чувство давит снаружи. Но в общем не то же самое чувство. Здесь их несколько. Но и не так их много — сколько? — раз, это два, три, вот четыре — нет, это то же самое, что и два, — больше нет? нет, — значит, три, — не такое уж и разнообразие, как можно было ожидать. И как-то они странно располагаются в пространстве. Совершен-

но одно и то же чувство умудряется находиться в разных концах автобуса, причем на одного нажимает, а из другого выпирает, и при этом не создается впечатления, что оно разделено на части, хотя между этими двумя сидят люди с другими чувствами, — вон еще, это чувство есть и там, с краю. И при этом не скажешь, что это три одинаковых чувства, — это одно и то же чувство, которое, не разделяясь и не изменяясь, одновременно пребывает в нескольких местах сразу. Правда, они его несколько по-разному воспринимают, только один пустил внутрь, на остальных пока давит — и еще одна странность — чем сильнее они сопротивляются, тем сильнее давит, хотя при этом давит на всех с одинаковой, неменяющейся силой — мне отсюда все хорошо видно. Даже видно, что они не видят, что это одно и то же в разных местах. Но они сейчас ничего не видят из того, что снаружи. Они все до одного погрузились в себя. Даже самые поверхностные, те, у кого их “я” чаще всего находилось в волосах, или в улыбке, или в руках, или в ногах, или где-то еще. Если б я была в обычном состоянии, я бы и то это заметила, потому что никто даже бессознательно не пытается демонстрировать красивые зубы или не выставляет ножку ненароком, то есть места, где раньше чаще всего обитало их “я”. Теперь у них всех “я” переместилось куда-то внутрь. Они именно погрузились в себя, а не подавлены. Когда подавлен, “я”, и без того маленькое, совсем уменьшается, немножко подается внутрь или даже остается на поверхности или на другом слое поглубже, где до этого находилось, все равно немного сдвигается и застывает, как приклеенное, и его невозможно сдвинуть с места. Более или менее проницательные и злые часто этим пользуются — чтоб доконать человека, достаточно раз-

глядеть, в каком месте его “я” осело в подавленном состоянии, и бить по этому месту. Обычно одного меткого удара бывает достаточно. А когда человек погружается в себя, его “я” плавает с довольно большой амплитудой в безбрежных пространствах внутри него. Обычно “я” бывает настолько меньше этих пространств, что одного окрика или встряски бывает достаточно, чтобы вытащить его оттуда. Ужасно крохотные “я” у всех. У меня не больше. Надо же, я и свое “я” могу увидеть. Очень далеко от хотя бы средних размеров. Откуда ты знаешь, какие бывают средние размеры? Ну, знаю. Ни у кого из моих знакомых средних размеров не было. Нет, у нескольких было, но я тогда этого не замечала. Вот у этого замечательный экземплярчик среднего “я”, хоть сейчас на выставку! Столько кругом всяких “я”, и только вот встретила не маленькое. Но оно не из моего автобуса. Я слишком далеко заплыла. Надо же, оно тоже меня заметило — первое среди множества “я”, мимо которых я проскользнула. Может, оно тоже умерло? — нет, оно принадлежит живому человеку. Я его никогда не видела — тогда, при жизни. Но оно явно заметило мое присутствие. Не только оно, но и он, которому оно принадлежит. Наверное, чем больше “я”, тем больше оно замечает всего, кроме себя. А как он встрепнулся! Интересно, что он сейчас видит — меня или что-то другое на моем месте? Ведь я тоже вначале заметила не его, а его “я”. О! он хочет начать со мной общаться. Наконец хоть кто-то живой. Не очень-то у него приятные глаза, лучше здесь не задерживаться. Странно, “я” у него так выделяется, а человек неприятный. Наверное, важно еще, где это “я” находится у него. Оно не такое и большое, чтоб быть с ним одним целым. Небось сидит где-нибудь в печени и выделяет тщеславные секреты. Нуж-

но вернуться в мир “я”, что-то опасно тут находиться. А я так мечтала хоть раз снова поговорить с живым человеком. Но лучше не надо, что-то мне страшно. Хотя не представляю, какой вред он может мне причинить. Раньше самой опасной возможностью при контактах с людьми представлялась их возможность тебя убить. А сейчас кажется, что он в состоянии сотворить нечто гораздо более ужасное. Даже не хочу думать что. В каком интересном пространстве обитают эти “я”. Столько уже между ними кручусь и, как всегда, на обстановку внимание обратила в последнюю очередь. Я уже с ней знакома, ведь я здесь бывала не раз, то есть мое “я” здесь бывало. Какое-то здесь сумеречное освещение, так и хочется включить свет. Кажется, что воздух или атмосфера или чем там они дышат, плотнее, чем сами тени и силуэты, которые здесь шмыгают. Но никто никого не замечает, им всем кажется, что они здесь одни. Невероятная близорукость, хуже, чем там, на поверхности. Даже если встать в упор перед ними, все равно не замечают. Заняты какими-то непонятными траекториями своих движений. Расшевелить, то есть сбить с пути, их может только прямая угроза. Но есть более подвижные “я” и есть совсем почти неподъемные. Есть люди, манипулирующие своим “я” с виртуозностью жонглера. Таких невозможно достать, их “я” непрерывно перемещается, и не знаешь, за что уцепиться. Вот и сейчас — двинулось. Мне надо поспеть за ним. Ни за что нельзя упускать из виду. Почему так тяжело мне следовать за ним? Такое чувство, будто я невесть что преодолеваю. Оно же так легко передвигается. Я не могу, оно уже очень далеко, еще немного — и совсем исчезнет из виду. Ни в коем случае нельзя этого допускать. Как бы ни было трудно, нужно его догнать. Ну, еще усилие. Ну, пожалуй-

ста. Напрягись, иначе ты пропадешь. Все, я больше ничего не вижу. Кругом совершенная пустота. Я даже не помню, за чем нужно было направляться. Оно было очень характерное. Я его давно знала, что-то очень привычное. Я ничего не помню. Кругом ничто на это не похоже. Нет, кругом не пустота, что-то есть, но что это? Знакомо или нет? Такое ощущение, что знакомо, — может, привиделось когда-то во сне? Сейчас я ничего не узнаю. Я что-то вижу, но не могу этого назвать. Вот, вот оно! Вот то, что мне нужно было найти! Уф, какое облегчение! Но что это? Да, теперь я узнаю — это красный цвет. Более того, это не просто красный цвет, это одежда. Куртка. А в куртке человек. Один из тех, кто сидел в автобусе.

Да, теперь я всех узнаю — они все сидели в автобусе, а теперь вышли. А красная куртка была передо мной, я все время думала, что нельзя упускать ее из виду, поэтому и не пропустила момента, когда они все вышли из автобуса. Да, точно, я все время о чем-то думала, но в то же время непрерывно повторяла себе, что сейчас эта красная куртка, то есть даже не она сама, а цвет, который выделялся среди остальных, должен приковать к себе мое внимание, что его нельзя упускать из виду. Да, теперь я все могу различать, а то все виделось какими-то непонятными пятнами — это они все вышли, из машин тоже, и остановились у подъезда. Двор я тоже помню. Значит, они все же решили собраться в родительском доме? Я почему-то думала, что у меня соберутся. Неужели я больше никогда не увижу свою квартиру? Собрались во дворе и стоят. Почему-то не поднимаются, будто чего-то ждут. Причем от меня. И этот вязкий темный сгусток над ними и подо мной. Подо мной? — значит, я могу находиться в каком-то определенном месте? Сейчас — да. Я могу где-то кон-

кретно находиться, потому что есть этот сгусток, он все и определяет. И еще они все так ощущают, что он есть, и я нахожусь сверху, и немножко еще и поэтому он есть и я здесь нахожусь, хотя, если бы они не думали, он бы все равно немножко был и я бы тут находилась. У меня такое чувство, что я должна с ним что-то сделать. Может, мне удастся его сдвинуть? Он нам как-то мешает. Мы как будто к нему приклеены с разных сторон. Надо попробовать передвинуться, хотя сомневаюсь, что мне удастся переместить эту огромную массу. О, оттянулось! Оказывается, не так-то трудно было это сделать. Надо же, как только я увела его немного в сторону, оно распалось, рассыпалось, прямо как будто на твердые части. И кажется, пропало. Никаких следов не осталось, я не успела заметить, куда оно делось. Не могло же раствориться в воздухе. И их как расколдовали, сразу все задвигались, заговорили. А то стояли подавленные. Но над ними опять что-то начинает накапливаться — вроде это темное выходит из них самих под нажимом. А что на них нажимает? Я, что ли? Да нет, это самое темное и нажимает. Странно получается. Оно выходит под давлением, но давит оно же. То есть сначала происходит выдавливание, а потом появляется то, что ему способствовало. Трудно разобраться. Раньше я такие вещи не видела, потому что не допускала, что они возможны. А сейчас я в состоянии все допустить — раз я допустила собственную смерть, то что же еще может быть невозможного. Я, кажется, освобождаюсь от всех предрассудков. Масса на этот раз получается не такая густая и мутная, как прежде. Ну что ж, я и эту сниму. Только и успевай разгребать. Ну ладно, они поработали на меня, теперь, видимо, моя очередь. Ну вот, еще раз. Но их все равно теперь намного лучше видно. Я могу их видеть

всякими разными способами — так, как раньше всегда видела, и еще другим. И еще другим. Да им нет конца, этим способам, стоит надоест одному, тут же появляются несколько других на выбор. Какие странные переплетения они составляют и друг с другом, и с разными другими людьми, которых сейчас здесь нет. То есть физически нет, но для почти каждого из присутствующих есть хотя бы один человек, которого здесь нет, но который для него реальнее и ощутимее, чем все находящиеся вместе взятые. Можно рассматривать не только очертания человеческих отношений, но и всякие соединения мыслей, чувств, идей, какие-то бесконечные хитросплетения, совершенно организованные, упорядоченные в орнаменты, стройно выложенные под диктовку совершенно четкого закона. Невидимые шелкопряды непрерывно выделяют тонкие разноцветные нити идей, составляющих все мыслимые понятия, которые доступны людям и еще столько же пока недоступных, и эти нити, хаотически переплетаясь за время своего долгого пути, достигают людей, которые, строя отношения между собой или лепя картину мира, вытягивают эти нити, развязывая запутанные узелки, чтобы освободить полюбившуюся, и перекидывают их между собой, называя это любовью, ревностью, завистью, добротой, дружбой, ненавистью, заботой, и не замечают, что выполняют роль деталей ткацкого станка и ткуют узоры, хотя и с определенной долей импровизации, но по уже в общих чертах существующему рисунку. И каждый человек непрерывно участвует в этой работе, даже если в мире людей кажется, что он совершенно ничем не занят, нет таких людей, которые бы не думали и не чувствовали, а это и есть те действия, которые приводят в действие механизм станка.

Их стало значительно меньше. Всего небольшая кучка. Наверное, остальные вошли в дом. А эти почему стоят? А, наверное, из деликатности, чтобы не подняться гурьбой, а так медленно, степенно. А может, кто мог сам подняться, те уже поднялись, а остальные ждут своей очереди в лифт, все сразу ведь не могут поместиться. Какая странная вещь — дом! Это ведь тоже идея, спустившаяся и раскачивающаяся паутиной, но вытканной уже не ими, потому что она спустилась в готовом виде, и они ее используют только как форму, чтобы отлить в ней материал, или как скелет, на который наносится основное содержание, да, которое дальше шлифуется согласно форме. Основой, на которой все замешано, склеивающей субстанцией здесь тоже служат человеческие действия, но совсем по-иному, и поэтому их результаты тоже находятся в разных плоскостях. В этой плоскости, в которой лежат дома, а также их картины, книги и даже музыка, это все им яснее видно, а та плоскость, где они прядут и ткут, им не так видна, хотя там краски и музыка не менее забавные и интригующие. Чем дальше я смотрю, тем заметнее, что таких плоскостей много, больше, чем я сейчас смогу ухватить и посчитать. Они пересекаются, не нарушая при этом целостности друг друга, но они не остаются в точно зафиксированном отношении, точки их перекрещений постоянно меняются. Иногда их только две, и тогда все плоскости вместе составляют сферу, а иногда некоторые отпластовываются, как лепестки, и все соединение становится похожим на распускающийся цветок. Я, кажется, опять слишком далеко от них отошла, потому что то, что я сейчас вижу, находится вне времени. То, что я сейчас увидела, происходило не последовательно в каком-то отрезке времени. Передо мной за одно мгновение промелькнули сразу все возможно-

сти расположения этих плоскостей, оттого у меня и возникла иллюзия раскрывающегося цветка. Нужно все-таки подойти к ним поближе. Но как? Ну, о чем ты думала? — о доме, — продолжай думать о том же, но бери ближе фокус. Но как? Внеси перспективу времени. Я забыла, как это делается. Какие там были измерения? — старый — молодой, древний — новый и так далее. Что-то с памятью моей стало... тяжело мне все дается. Да, этот дом — старый. Но не древний. И все же он еще относится к тому времени, когда дома строили с любовью. И основательно. В действие тогда вкладывали много чувства. И пользовались вещами тоже с чувством. Поэтому от многих старых вещей до сих пор исходит тепло. Мой дом не такой. Его построили совсем недавно на окраине, строили на окраине, никем не любимой, строили не для себя, а неизвестно для кого. Многие из строителей, не имея собственного приличного жилья, строили за символическое вознаграждение, строили, не получая от своих действий никакого удовольствия, думая только о том, чтоб поскорее кончить и уйти. И те, что потом поселились, тоже обживали без любви. Кто вообще об этом задумывался, тот относился к своему жилищу как к временному пристанищу, которое покинут при малейшем улучшении возможностей. И все эти нелюбови, осевшие на домах, впитались в них и прочно обосновались, поглощая и размножаясь, и отражаясь вновь на поверхности в виде отрицательных завихрений, которые не в состоянии растопить самый жаркий летний день, они готовы поглотить все солнце целиком, и им будет мало, и, когда ты попадаешь в эти районы новостроек, они начинают и из тебя выкачивать все тепло и любовь, которые в тебе еще остались, это именно похоже на действие, обратное удару в солнечное сплетение, они полностью осво-

бождают все пространство внутри тебя, и в образовавшейся пустоте вестибулярный аппарат начинает раскачиваться, как потерявший равновесие обезумевший маятник. Если посмотреть на весь город сверху, он похож на бушующее море таящейся опасности с маленькими островками стабильности, рассыпанными посередине. Мне повезло, что мое детство прошло на одном из этих островков. Даже когда просто в теле гуляешь по городу, и то чувствуешь почти физическую разницу при пересечении границы. Она ощущается в плотности воздуха, затрудняющей дыхание или позволяющей совсем забыть о нем, давящей, обвязывающей гирями каждый шаг и обкладывающей кожу стылым сальным воздухом вперемешку с копотью, настолько застоявшимся, что через него могут проникнуть только тяжелые эмоции. Ты оказываешься весь наполнен ими, до тошноты, до отравления, пока тебя не вырвет тоской и отчаянием или, если не удастся, то сляжешь больной, выжигая их высокой температурой. Может, про такое говорят — очищаясь огнем? Пока горишь, все такое замедленное, каждое слово тянется часами, назойливо роясь у головы, пока смысл дойдет до тебя, и сам ты то с треском проваливаешься, как схваченное пламенем полено, то тебя выстреливает вверх, как искру, с тем чтобы тут же потухнуть и упасть. И так все время выныриваешь из болезни и вновь проваливаешься в нее, так что в памяти от целой жизни остается только эта борьба с захлестывающей болезнью, это желание остаться на плаву, и кажется, что ты ничем другим никогда и не занимался. И единственное, что тогда связывает с реальностью, за что ты можешь ухватиться, — это клен за окном, точнее, три ветки на фоне розовато-бежевого дома и кусочка чужого окна, перечеркнутые крестом рамы моего, — все, что видно с изголовья моей кровати, если

не отворачиваться к стене и не надыхивать на известку, — это бывает только в самом начале болезни, когда ни на что не хочется смотреть, да и нет сил, а потом, когда выкарабкиваешься, эта картина — единственно стабильная, потому что, когда проваливаешься, все время возникают разные картины, и только постоянство этой притягивает, как маяк, не дающий сбиться с пути к действительности. Раз я уже так долго замечаю клен, значит, дело идет к выздоровлению.

Я, наверное, опять сильно простудилась. У родителей болеть приятнее, чем у себя. По старой памяти люблю болеть на своей детской кровати. В детстве стадией, предвещающей клен, было одеяло. Оно было первым предметом из реального мира, привлекающим после болезни на себя мое внимание. Но внимание выздоравливало раньше восприятия, я долго блуждала по складкам пододеяльника, которые казались мне сияющими горными вершинами и глубокими темными ущельями, пока не понимала, что расстояния не такие огромные, чтобы столько времени их преодолевать. Почему я сейчас лежу без одеяла? Наверное, меня разбудил шум в соседней комнате. Там прямо какая-то пирушка. С чего бы это? И с какой стати они принимают такое количество гостей, когда я лежу больная? Но собственно, моя кровать пуста, и более того, аккуратно застелена. А, понимаю. Когда я попала сюда, моя детская комната сбила меня с толку. Надо бы выйти к ним. Они, кажется, собрались в гостиной. Не очень хочется, но надо. Вот, уже все уселись. И стол сервирован. Кто это постарался? Что это за тип? По-моему, мы все-таки были с ним знакомы при жизни. Но тогда он был слишком неприметным, я его не запомнила. Если бы мне довелось увидеть его на чьих-то похоронах, я бы его, конечно, не забыла так легко. Надо же, весь расцвел, на-

полнился осознанием собственной значимости и незаменимости, приобрел индивидуальность. В общем, конечно, кто бы всем распоряжался, если бы не он. У человека просто талант. И он бы никогда не раскрылся и не ожил, и никто бы о нем не догадался, если бы он умер раньше своих знакомых или если бы ему просто в силу каких-то обстоятельств не посчастливилось попасть на чьи-то похороны. Да, талант, если считать талантом информацию, идущую прямым потоком беспрепятственно к одному, неизвестно почему избравшую его и не желающую идти к другому, может быть, более достойному, во всяком случае, сознательно призывающему ее. Ведь он первый раз находится на похоронах, и он знает в совершенстве последовательность всех действий, которые нужно совершить. И чем больше он делает, тем больше сил у него появляется, и это тоже признак того, что он избран для этой роли, иначе эти действия его бы скоро измотали. Это как когда я страстно хотела петь, казалось, было бы возможно, целыми днями только бы пела и не считала бы это за труд, как некоторые, у которых и голос, и слух, а петь не согласишься. Я бы пела, если бы выходящие из меня звуки хотя бы приблизительно соответствовали тем, которые я подразумевала, тогда пение было бы для меня не работой, а отдыхом, радостью. Или как многие мне говорили — черт побери, мне бы твою технику рисования, я бы рисовал с утра до вечера, и мне бы больше ничего не надо было, не знаю, что ты дурью маешься, какие-то там поиски новых путей — это все чушь собачья, все лень твоя говорит. Какие еще пути, когда ты и так все умеешь рисовать, мне бы твои способности, у меня бы не было недостатка в теме, знай только успевай зарисовывать. А мне как раз и неинтересно было рисовать. То, что я умела рисовать, видели все. В смысле не

то, что умею рисовать, а в смысле — что умею, то есть предметы всякие. А мне хотелось найти средства, чтобы изобразить то, чего не увидишь обычным глазом. Не потому, что этого на самом деле нет, а потому, что глаз ненадтренированный. Люди устроены таким образом, что некоторые вещи, находящиеся совсем рядом с ними, они так — не видят, а на картине видят. Если художник талантливый, он сразу раскрывает большинству глаза, и они начинают больше видеть вокруг, а если очень талантливый, зрители после картины начинают видеть то, чего до этого не было, что художник сам придумал. Так что же такое этот талант? Наверное, это знание чего-то, что другим недоступно. Продолжение. Да, наверное, это еще и склонность. Знания могут напирать на многих, а выражают их каждый по-своему. И это по-своему не выбирается, а дается. Ведь хотела же я стать певицей, а получилось художницей. Ведь и он тоже такой путь выражения себя не выбирал. Да и я даже не подозревала о таком способе до сегодняшнего дня. Главное, догадаться о своем собственном способе, иногда они бывают такие необычные. Талант — это не только постоянный поиск выхода, но и умение в каждую вещь на выходе вложить всего себя, тогда и вещь начинает существовать самостоятельно, и в тебе полностью освобождается место для нового наполнения. Ведь, наверное, у меня еще имелся талант быть волшебницей. Чем больше я что-то делала, с тем большей легкостью и в большем количестве я начинала делать новое.

Наверное, у тебя еще был большой талант актрисы. Уж очень долго тебе удастся прикидываться, будто ничего не происходит, ты занята своими воспоминаниями и ощущениями, и пусть хоть трава не растет — ты ничего не видишь. О видении невидимого рассу-ж-

дать — это мы пожалуйста, а то, что столько народу из-за тебя собралось и почти все плачут, как-то проходит мимо твоего зрения. А что ж они себя так ведут, как будто упрекают меня в чем-то всем своим поведением? В конце концов я же не виновата, что умерла. Или виновата? Не знаю. Во всяком случае, каждый из них потерял только меня одну, я же потеряла их всех вместе. Кому на самом деле больнее? Но неужели нельзя ничего придумать? Ведь не бывает безвыходных ситуаций. Когда я стала волшебницей, я знала, как добиться того, чего я хочу. И еще я всегда знала, стоит ли добиваться того, чего я хочу, волшебным способом, или лучше прибегнуть к более общедоступным средствам. Как же я это делала? В общем, расхожего рецепта на все случаи не было, каждый раз приходилось творчески подходить к задаче, но когда хотелось, решение приходило само собой, оставалось только действовать. Началось, впрочем, было одинаковым. Давненько я этим не занималась, одно время не надо было и вспоминать механизм, я действовала автоматически. Теперь придется начинать все сначала, когда не тренируешься, теряешь все навыки. Значит, вначале мне надо было убедить себя, что то, чего я очень хочу, мне совсем не нужно. Более того, нежелательно. И так убедить, чтоб какой-то частью себя полностью в это поверить, иначе ничего не выйдет. Способы убеждения тоже были разные, на каждый случай свои. Например, привести многочисленные доводы того, какой вред может мне быть от этого желания, какие сложности после его исполнения могут возникнуть и насколько проще будет обойтись без него. Причем повторять себе все это постоянно, чтоб уже одной своей частью начать бояться исполнения. При этом второй частью все время повторять, как заклинание, что этого не может быть, потому

что не может быть. Это было бы слишком прекрасно, этого не могло бы быть, как сказал немецкий романтик после меня. Или до меня, смотря что взять точкой отсчета. А третьей частью надо было приступить к осуществлению. Постепенно выстроить образ осуществленного желания, не упустив ничего, иначе все труды пойдут насмарку, и когда окончательный вариант будет готов, так, что, какой стороной его ни крути, в каком ракурсе ни рассматривай — вид сверху, снизу, в профиль, анфас, объемное изображение или графическое, фотография, или схема, или слепок с натуры — чтоб это выглядело именно как это желание, и ни с чем нельзя было спутать, и тогда можно было вдыхать в него жизнь. Но разделяться на части нужно было безукоризненно, именно чтоб правая рука не ведала, что творит левая, а остальными всеми руками ухватиться и действовать. Такой трехрукий монстр. Может, попробовать? Если напрячься, может получиться. Вот, уже получается. На самом деле это так легко! Наверное, еще и оттого, что я без тела. Стоит о чем-то подумать, как оно возникает. И даже немного раньше, не успеваю додумать, а уже появляется. И поэтому немножко недоделанное. Но ничего, оно тут же исчезает, если я начинаю думать, что я не то хотела. Но не надо так быстро! Возникают какие-то неуклюжие фигурки и тут же застывают, изменить их нельзя. Можно только полностью уничтожить своим недовольством, и сразу же возникают другие, ничем не лучше. Это потому, что они торопятся опередить мои желания. Как бы мне успеть быстрее представить что-нибудь завершенное, прежде чем они схватят начало. Начало всегда незавершенное, не знающее конечного варианта. Они не дают окончательно оформиться представлениям, слишком предупредительные. Но ничего, это даже весело. Я потом как-нибудь при-

норовлюсь быстрее вообразить. Зато стоит мелькнуть у меня какому-либо представлению, даже на самом краешке сознания, как оно тут же воплощается. Вот. Вот! И еще вот! О, как это смешно. О какой ерунде ни подумаю — и вот, пожалуйста. А не понравится — тут же стирается. Я могу делать все, что хочу! Все, что хочу. И оно тут же в готовом виде, в объеме, в цвете и из чего-то невоздушного. И никаких усилий! Мне надо только представить. Как это здорово. Так весело мне еще никогда не было. Такая легкость во всем! Хочется все время смеяться. Господи, да я могу сотворить все, что угодно. Без всяких усилий! Они даже опережают мое желание. Но все-таки это мое желание, а не чье-нибудь еще. В этом нет никаких сомнений. Подумать только, что Бог тяжело работал, когда сотворял мир! Это же так просто! Захочу, сейчас нагроможу целые миры, один на другой. Захочу, полностью восстановлю тот мир, в котором до этого находился. Нашелся или находилась? Да какая разница! Теперь это несущественно. Главное — что я теперь могущественнее Бога! Да кто он такой? Сейчас я воспроизведу его мир целиком и не потрачу на это никаких усилий. Не то что Он. Как же тебе это удастся, если ты даже не помнишь, кто ты? Ну что ж, себя помнить труднее, чем все остальное. Пока живешь, ведь себя не помнишь, а только замечаешь окружение. А если что забуду, так у меня бездна времени впереди. Буду исправлять каждую завитушку на зданиях, каждый листик на дереве, пока не удостоверюсь, что все так и было. Потом обставлю все квартиры так, какими мне довелось их видеть. Уж свой-то город я могу. Да и другие, виденные, тоже. И расположение луны и солнца, да и звезд припомню в точности, чтобы двигались, как полагается. Вот сколько всего я помню. А остальное — дело времени. Для тех, кто

там остался, время все стирает, здесь оно будет работать на меня. А вдруг здесь нет времени? Если оно здесь кончилось? Тогда тем более. Не о чем беспокоиться — это привилегия живущих во времени. А я теперь вне времени. Вот это да! Но вот эти приступы смеха надо сдерживать, они могут унести меня от моих творений. Ха-хахаха! Но я могу вернуться обратно! У меня же нет времени! — Это значит, что нужно торопиться? Или можно совсем не спешить, хахаха-ха-ха! Опять нет, пусть сотрется! Ха-ха ха! Будете так торопиться, всех вас выкину, хахаха! Когда нет времени, в этом столько преимуществ! Уж мои-то построения не обветшают от старости, как Его! Но уж. Но уж. Его-то все уже бывшие обветшалости я повторю, будет над чем потешаться! Да кто Он такой? Я гораздо могущественнее. Надо же было всю жизнь восторгаться невесть кем и не знать, что ты способен на гораздо большее. А ведь это Он вводил нас в заблуждение! Ему так было удобнее. Держать нас за дураков, пока мы не вырвемся изпод его власти. Вот попадись он мне сейчас! Я разделаюсь с ним раз и навсегда. Эй, где ты там? Выходи! Ну, выйди, выйди! Ты ведь где-то здесь? Что, боишься, сволочь? Я рассчитаюсь с тобой и за себя и за всех! Ну что же ты, трус поганый? Как издеваться над бессловесными да беспмятными, которых ты сам же облапошил, так тебе нет равных. Службы тебе отстаивай, фимиамы жги, молитвы возноси, а ты полеживаешь на боку и упиваешься. Да кто ты такой, я спрашиваю? Теперь я знаю — самый последний среди нас больше тебя может. А теперь спрятался, мерзавец, когда пришел час расплаты. Что же ты? Как пакостить, так ты всегда готов, а как тебя раскусили, сразу в кусты? Выходи же, я говорю! Что ты сказал? Мне показалось, что ты что-то сказал? Вот опять. Кто это говорит? Ну? Сколь-

ко может тянуться молчание? Вот подлость — говорить одновременно со мной, чтоб ничего нельзя было разобрать. Ну, что ты молчишь? Я жду! Ну хорошо, говори одновременно, может, на этот раз я разберу, что ты говоришь. Ну, говори так, раз ты иначе не можешь. Ну, скажи еще раз что-нибудь. Не молчи, меня не обманешь, я помню, что кто-то говорил параллельно со мной. Ну, пожалуйста, скажи еще раз что-нибудь. Ну хоть что-нибудь. Не молчи, я тебя очень прошу. Я больше не буду ругаться. Хочешь, давай вместе будем играть. То есть творить. Только не молчи. Это ты смеешься? Наверное, это мое эхо. Нет, не эхо. Я уже давно не смеюсь. А может, и эхо. Оно здесь должно быть с большим запозданием. Конечно, эхо, кому же еще. Ведь, кроме меня, никто не умер. Нет, это кто-то другой. Он, что ли? Это ты, что ли? Ну что ты прячешься? Выходи, пожалуйста. Не дразни меня своим смехом. Если резко обернуться, он тут же прячется за широкую черную ширму. Но заметить можно успеть. Ты нарочно так, да? Ты со мной играешь? Когда играют, так зло не смеются. Не будь таким жестоким, мы же не дети! Мне ничего не рассмотреть, эта ширма все время у меня за спиной. Как ни быстро я поворачиваюсь, ширма успевает оказаться сзади. Такая вечная, неизменная спина. Как это получается? Или это как на детской карусели. Как ни бешено крутится твоя лошадка, коляска не отрывается и не отстает. Но что же ты так смеешься? А перед глазами все время одно и то же. На карусели так не бывает, там все меняется, сначала медленно, а потом мелькает. А тут одно и то же. Хоть и не одно и то же, но так похоже. Это мои творения. Я уже не думаю о них, но они сами возникают, и сами бракуются, и снова появляются, немножко другие, но ничуть не лучше. Вещество, из которого они делаются,

перестало исчезать вместе с ними. Когда творение осознает свою безвкукусность, оно просто сворачивается в бесформенный комок, из которого тут же начинает прорастать новая безвкусица. Я-то представляю все гораздо лучше, почему такая чепуха получается. Ну, еще раз попробуй. Еще раз. Я не трачу усилий, но и ничего дельного не получается. А если приложить усилия? Все равно. И что это за вещество? Что-то очень знакомое, но не могу понять. А если прекратить на время это сумасшествие? Может, смогу тогда что-то получше, да и вспомню, из чего это все делается? Ну, остановись! Что это за вещество? Прекрати же, я ничего не хочу! Прекрати. И этот со своим хохотом за ширмой. Нет, это не Бог. Это что-то очень мелкое. Ну и подавись своим смехом. Да прекратите же! Что за бездарные, грубые изделия! Я такого даже не представляю, это ниже моих представлений. Почему же они без конца появляются? Кто их делает? Вроде я. Но я не могу делать такую гадость. Какая тонкая насмешка! Что ни представишь, получается такое топорное исполнение. Я уже ничего не представляю. Не могу представлять. Они забрили все. Они сильнее моих представлений. Но что же это за вещество? Это мне что-то напоминает. Они уже сами возникают, свертываются в комок и снова появляются из этого комка, слегка видоизмененные. Раньше у них было столько разных красивых цветов. А теперь от частых перемешиваний все стало отвратительно бурым. Но что же это за вещество? Что за вещество это?! Перестань хихикать, сволочь, я тебя все равно не замечаю! Что это за вещество?!

— Да, это все ее детские поделки. Родители сохранили и все ее рисунки, и вот эти фигурки из пластилина. Да, видите, уже тогда чувствовалась рука. Бедный ребенок, бедная девочка! Но вы подсаживайтесь,

пожалуйста, к столу, уже все уселись. — Не плачьте, пожалуйста, мне неловко, что своим дурацким любопытством я вас расстроил. — Да что теперь поделаешь. Вы тут ни при чем. У меня ведь дома тоже есть ее детские рисунки, она их подписывала «дорогой тете с днем рождения или с Новым годом», я их все храню. Но вы садитесь, пожалуйста. — И вы тоже, пожалуйста! — Нет, спасибо, мне еще надо кое-что из кухни принести, сейчас жаркое будет готово. О-о, рисунки — это все, что от нее осталось. О, бедный, бедный ребенок. Почему она, а не я? Я-то свое уже пожила! За что Бог так немилостив? Чем она Ему не угодила? Такая хорошая девочка была! О-оо, вот видите, я уже в прошедшем времени о ней говорю! За что нам такое горе? Бедная ее мать! Бедные родители! Ведь единственный ребенок она у них. Говорила я сестре — роди еще второго, а она ни в какую, слишком много хлопот, говорит. Эту одну бы на ноги поставить. Вот и поставила, прости Господи! Лежит теперь наша девочка в холодной земле. Снегу-то сколько сверху! Господи, и почему все это зимой случилось? Холодно-то ведь ей сейчас там лежать, поди! — Да мне совсем не холодно! Не плачь, пожалуйста! — Ну вы садитесь, садитесь, а я пошла по делам. Вот сюда, пожалуйста, — подвиньтесь немножко, ребята, пусть мальчик тоже сядет. Вы с ней в институте учились, да? — Нет, я ее одноклассник. А, ну хорошо. Хорошие ребята, не забыли нашу девочку. Ну, я пошла, а вы кушайте, кушайте, пожалуйста. Вон, положите еще салату, очень вкусный. Кушайте, кушайте, дети, намерзлись небось на кладбище. — Да, холодно сегодня. Утром морозы ударили. — Вот, выпейте что-нибудь, согрейтесь. — Да, надо бы ее помянуть. Ну что ж, давайте, кто будет разливать? — Ну, давайте я, ко мне ближе всего. Вам налить? — Нет, я это не

пью, мне вон из той бутылки, пожалуйста. — А вам? — Да, вот сюда. — И мне налей. — Кому еще? — У всех уже есть. А вы что будете пить? Вот это или это? — Вон то, пожалуйста. — Подай, пожалуйста, у меня рука не дотянется. Вот, хорошо, спасибо. — А вам что налить? — Да я вообще-то не пью, врачи запретили. — Но сегодня выпить — святое дело. Надо же помянуть. — Да, сегодня, конечно, выпью. Налейте только что-нибудь послабее. Вина, если можно. — Можно, вино еще осталось? — Что? Да, конечно, пейте, если что — вон там бутылки стоят, на журнальном столике. — А, ну хорошо. Передайте кто-нибудь на этот конец еще пару бутылок, а то у нас все уже пустые. — А я что буду пить? Я же хотела к ним вернуться, а в результате оказалась не в той степи. А где же мама? Да, ей дали снотворное и увели в другую комнату спать. Правильно сделали, в общем. Надо же, я ведь и это заметила, хотя находилась в другом месте. Я помню все, что здесь происходило, пока я была в другом месте. Квартира все та же. Только стол раздвинули. Столько народу поместилось. Никогда у нас столько не собиралось, ни на какой праздник. Но не все пришли из тех, что были на кладбище. В лучшем случае, треть. Когда я рядом с ними, я себя лучше помню. Что же будет, когда они разойдутся? Но об этом потом. Проблемы надо решать по мере их поступления — присказка одной из моих подруг, — я все помню. Где? — а, вон сидит. А что это над ней? — новое зеркало повесили? — я раньше не видела. Нет, это не зеркало, это же мой портрет! То есть фотография. Зеркала, как водится, все завешены. Ни одно не упустили. И в ванной тоже завесили? Да, надо же, даже здесь. Интересно, кто этим занимался? Да какая разница. А эту фотографию я помню. Это ты меня сфотографировал, когда в един-

ственный раз мы собрались в совместное путешествие. Это одна из немногих моих фотографий, на которой я улыбаюсь, да еще так широко. Так-то я не люблю позировать, а на случайных снимках и вовсе получаюсь всегда хмурая. Где они ее откопали? Рылись в моих бумагах, что ли? Да уж теперь они — всеобщее достояние. Знать бы заранее, сожгла бы все личные письма. И увеличить успели в натуральную величину, то-то я решила, что это зеркало. И траурной ленточкой обмотали. А где же — ты? Опять давно о тебе не вспоминала. Раньше такого не случалось. Ты уже тоже уселся. И разговариваешь. Но еще не ешь. Интересно, я бы на твоих поминках смогла бы просто так сидеть за столом? Ой, лучше ничего не представлять, ведь представления имеют такую силу, они тут же осуществляются. И чем тоньше план, тем беспрепятственнее. А я ведь сейчас в тонком плане. Но лучше не думать о смысле слов, а то опять он начнет теряться. Раньше, когда обижали, я ведь тоже всегда представляла, как я лежу в гробу, вся такая хорошенькая и безвозвратно ушедшая, а вокруг все сокрушаются — вот именно, все, а не только главный обидчик на этот час — о своей слепоте и недогадливости. А уж вдоволь насладившись зрелищем, я поднималась с одра, открывала глаза, как Спящая Красавица, и всех прощала и сама рыдала под гнетом своей доброты. Что-то я который раз ее уже вспоминаю, хотя моей любимой героиней всегда оставалась Русалочка. Может, просто по ассоциации сейчас. Да, я совсем забыла — я же собиралась явиться им! Надо только не распыляться и сосредоточиться на одном желании, самой стать порывом. И тогда я прорвусь, я уверена. Сейчас сделаю еще одно усилие. Надо только не разбрасываться. У меня такое чувство, что мне удастся. Вот будет им сюрприз! Ну это уж точно! Боюсь,

что никто не оценит юмора, даже мама. Слишком уж далеко они зашли. Возвращаться уже не захотят. Или не смогут. Мое возвращение будет слишком резким. Они сочтут себя оскорбленными в лучших своих чувствах. Никто из них не простит мне этого поступка. Даром что сейчас все искренне убиваются. И оскорбляться будут искренне. До конца жизни мне этого не забудут. Так уж лучше оставить все как есть. Раньше надо было думать, когда я там лежала. Ожить в морге — это еще куда ни шло. Тогда они еще не так далеко зашли в своем горе и еще способны были вернуться, пусть многие и не к радости, а хотя бы к пониманию. Сейчас мне этого никто не простит. Все сочтут себя глубоко оскорбленными в своих чувствах. И до конца моих дней в упор меня не будут видеть. Лучше уж все оставить как есть. Все изменения будут только к худшему. Кошмар, только представить, что они ко мне будут испытывать, если я появлюсь. Это уж точно будет хуже, чем умереть. Наверное, поэтому никто и не сделал этой попытки, хотя лазейка есть, я ее ясно вижу. Но так же ясно вижу, какой ад меня ждет впереди, если я через нее пройду. Самым нежным чувством, которое я буду вызывать потом, станет отвращение. Христос и тот не решился задержаться хоть ненадолго после воскресения, а сразу воспарил. Уж Он-то лучше всех знал, что, если явится в теле после смерти, за ним никто не пойдет, даже через несколько поколений. Никто здесь не настолько безумен, чтобы согласиться с тем, что он видит живьем мертвеца. Тут это несовместимо. А если настолько, то его безумие быстро вытягивает его отсюда туда, где это возможно. Безумные здесь не задерживаются, им не за что зацепиться, очень тут все гладко. А случай с Лазарем не в счет, потому что он не сам прошел через лазейку, а его вытащили. И все его жда-

ли. То есть его возвращение было подготовлено. Весь секрет чуда в том, чтобы его ждали. Все неожиданные чудеса проходят незамеченными. Так что не факт, что, если я сейчас явлюсь, меня хоть кто-нибудь потрудится увидеть. В общем, это не выход. Да еще и тело закопали уже. Ну это, допустим, с трудом, но поправимо. Можно снова оказаться в теле и просто пойти в другое место, где никто не знает, что я умерла, и поэтому все смогут меня беспрепятственно видеть. Но стоит ли? Ты уже забыла, как проблематично там существовать? Никто просто так тебя не воспринимает. Надо каждому новому знакомому подробно объяснять, кто ты, когда и где родилась, чем до сих пор занималась, в качестве алиби привести других знакомых им людей, которые могут подтвердить твои слова, да еще и кое-что добавить за глаза, тогда только тебя примут. Не говоря уже о паспортах, пересечении законных границ и прочем. Тебе все это надо? Можно ведь еще уйти отшельником в пустыню. И думать каждый день, чем бы пропитаться и где найти воду, да еще от всех этих антисанитарных условий ты быстренько что-нибудь схватишь, какую-нибудь заразу — забыла, каково это, когда тело болеет? Но я и не говорю, что мне все это очень уж нравится. Мне давно все порядком поднадоело, а то я вернулась бы в тело при первой же возможности, но Бог меня хранил. Это я уж так, для них, чтобы утешить, больно на них смотреть. Но если им не надо, мне тем более не надо. К тому же я всегда была против жертв. Очень лицемерное слово. Уж если ты что-нибудь сделал, то потому, что осознал необходимость этого, или хотел кому-то помочь, или чего-то для себя добиться. О жертве всегда начинают кричать, когда были какие-то дополнительные мотивы, кроме необходимости поступка, и они не оправдались. А го-

ворят ведь, что Он принес себя в жертву, когда Его распяли, чтобы доказать людям. Ха-ха, небось был рад-радехонек, что наконец отделался. Тогда жертвой была его жизнь здесь. Тоже нет, Он был наполнен радостью от значимости и нужности своей миссии. Тогда жертву принес Тот, что Его сюда послал. Ну уж у Него-то тем более не могло быть никаких побочных мотивов, если Он есть на самом деле. Да что я тут вообще рассуждаю? Может, взять и тоже вознестись и покончить с этой канителью? Да рановато. Ему было куда возноситься, себя я праведником не назову никак, еще, может, куда-нибудь не туда попаду? Буду держаться пока их, с ними все ясно, а там видно будет. Тем более что они заметно оживились, уже не пульсируют между ними гнетущие потоки, переламывающие кости и сбивающие с ног, они излучают очень даже легкие, порхающие вибрации, на них можно резвиться, как жеребенку в поле. Я вначале даже подумала — что это за музыка раздается, но потом поняла, что это звуки их речи. Если не знать, то кажется, что слушаешь оркестр. Симфонический. А и правда, если прислушаться, они исполняют некую мелодию, вполне законченную. Жаль, что я раньше не разбиралась в музыке, сейчас можно было бы определить, кто композитор. Бах? Но, в общем, я не знаток, не берусь судить. Но мелодия красивая, для фортепьяно с оркестром. А может, они импровизируют? Возможно ли это с оркестром? Вряд ли. Они явно исполняют готовое произведение. Не совсем идеально — некоторые фальшивят — говорят не своим голосом. Но у многих открылись заслоны, они говорят ближе к своему голосу, чем обычно. О, есть даже ударные инструменты. И несколько скрипок, от сладких через истеричные к пронзительным. И заунывный контрабас. И флейта включилась! — ну, я знаю, кто это. И виолон-

чель — я же была виолончелью. Но это она — все говорили, что у нас голоса похожи. Вот она, кстати, с ним разговаривает. Никогда не слышала нас в дуэте — когда сам говоришь, ведь не слышишь. А мой ли это голос? Мне трудно судить, приходится верить окружающим на слово. Но вроде тембр действительно похож. И интонация. Ну что ж, перепевы получаются довольно гармоничные, правда, когда они не фальшивят, потому что они чаще остальных срываются со своего голоса на чужой. На такой, что соответствует ситуации, по их мнению. А может, чтобы произвести впечатление. Они нравятся друг другу. Или не нравятся? Впрочем, по модулю это одно и то же. Но надо же, его голос продолжает на меня действовать, совсем как раньше. Я раньше думала, что он действует на мое тело. Как будто я была музыкальным инструментом, застоявшимся без дела, и его голос, наконец, неожиданно касался меня и начинал играть на мне, извлекая ликующую мелодию, настолько точную, словно это был единственный в мире смычок, изготовленный исключительно для этой скрипки непревзойденным мастером, оказавшийся в руках уникального исполнителя. Мелодия лилась и лилась из меня, пока он говорил, — то взлетая вверх, то плавно кружась, опускалась, и я не знаю, как это получалось. Я забывала об этом свойстве его голоса; стоило нам расстаться, даже ненадолго, как начисто забывала, и чем дольше была разлука, тем вероятнее я при встрече, при первых звуках вспоминала опять, вспоминала и радовалась этому, чтобы через десять минут снова забыть — не потому, что это прекращалось, а потому, что начинала думать о другом. Сейчас опять вспомнила, хотя расставание было недолгим, — сколько уже мы не виделись? А сейчас эти ощущения сильнее, потому что у меня нет тела. Значит, его голос дей-

ствовал не на мое тело, как мне казалось? А на что же тогда? Раньше мне казалось, что мое тело вибрирует под звуками его голоса. Но сейчас я тоже сотрясаюсь, да еще как, стоит ему проронить звук, совсем не затяжной, а просто даже кашлянуть. Значит, голос действовал просто на меня. Он играет мной. Теперь я знаю, какие бывают ощущения у листа, сорванного с дерева и уносимого ветром. Только когда порывы ветра внезапно утихают, начинаешь понимать, что до этого тебя кружило в вихре. А потом опять ощущение полета, полета без конца, и вдруг срываешься в пропасть, и бесконечный кошмар падения и когда уже мечтаешь поскорее разбиться, чтобы все прекратилось, тебя снова подхватывает и уносит вверх, чтобы zakружить в бесшабашной круговерти. Ух, я боюсь, что его речь далеко меня заведет. Вот если бы снова научиться различать слова, они послужили бы мне опорой, я ухватилась бы за их смысл. Но я не могу сейчас разглядеть их смысла, я вижу только слова, они стоят за звуками, нет, они тоже двигаются, временами переплетаясь, как две независимые реки, чьи движения подчиняются одним законам притяжения. Потому что обитают они в одном мире и составляют его ландшафт, но совершенно разнородны, я назвала их двумя реками из-за их текучести и плавучести, но они далеки и близки друг другу, как бывают далеки и близки только земля и небо. В том месте, где они соединяются, происходят вспышки разноцветных огней, потому что они взаимовоспламеняемы, и этот мир состоит из непрекращающихся бурных фейерверков такой силы, что только один из них способен воспламенить дотла и возродить из пепла тот мир, если его перенести туда. И единственный путь транспортировки — это человеческий голос, но они у них еще так несовершенны. Почти все великие певцы,

дошедшие до виртуозности, поют пусть и прекрасными, но не своими голосами. Если бы они научились петь тем единственным голосом, который только им дан, они бы тотчас переместились сюда, потому что истинный голос — это дорога с двухсторонним движением, и тогда бы они увидели, каковы истинные Слова, ущемленные отголоски которых долетают до земли и будоражат людей, заставляя ощущать свою неудовлетворенность и усиливая жажду. Они бы увидели, насколько неподражаемо соединение звуков в слово, как соединение атомов во Вселенную, а они научились еще только манипулировать теми и другими, но сами создать еще не в силах, потому что их силы растрачиваются пока на другое. И даже манипулировать теми или другими могут лишь немногие из них, остальные только бездумно пользуются. Значит, еще не пришло время. Время придет и кончится вместе с пространством, когда не останется ни одной человеческой бреши, через которую они могут утекать, но до этого еще так далеко и во времени, и в пространстве. Сейчас таких, которые не пропускают, в их времени и пространстве совсем немного, но они уже соединились в плотину, загораживая собой уничтожающий поток у самых его истоков, но кто-то нашептал, перенес весть об этом, проникшую через все нагромождения в самую гущу жизни, и даже оттуда раздаются напоминания на понятном языке — на семи праведниках держится мир. Если бы я могла, если бы они хоть на минуту меня услышали, я бы им передала сочетания звуков, с помощью которых они могли бы обрести все. Но это бесполезно, они не только не услышат, потому что не думают об этом, но они еще и не смогут воспроизвести правильно эти звуки, потому что у них не натренированы голоса. А вот и слово, с помощью которого я могу вернуться к

ним. Но я увидела его теперь, когда уже поняла, что не хочу возвращаться, может, потому и увидела, что поняла, а до этого мне его не показали бы.

Возвращаться определенно не хочется, хотя и страшит будущее. Но и там оно страшило не меньше, стоило о нем задуматься. А многих людей даже и больше, чем меня сейчас. Удивительно, столько людей боится будущего, и ни одного не пугает его прошлое. Парадоксально все-таки они устроены. Если уж бояться до умопомрачения, то именно своего прошлого, оно-то и чревато последствиями, не говоря о том, что у большинства оно действительно ужасно. Но лишь немногих оно только временами мучит, а остальные большую и худшую его часть благополучно забывают. Худшую из того, что они сами сотворили. Потому что с худшим из того, что над ними сотворили, никто за просто так не расстанется. Как же возможно! — любимая забава — с ней ложатся спать и с ней просыпаются, ее обсасывают со всех сторон и, уже обмусоленную до дыр, беззастенчиво предлагают каждому новому собеседнику, проявляя редкий альтруизм, чтобы он тоже лизнул кусочек от самого вкусного, хотя у него есть собственные затертые и облинялые воспоминания, несравненно более сладкие и липкие. Только они и есть, дорогие, единственно преданные, которые никогда не покинут, ни в какой радости, потому что они еще и бдительны и не дадут никакой радости занять свое предводительское место. Их достает из-под подушки ночной человек и крепко прижимает к груди, чтобы было не так одиноко жить. Их и еще Страх Перед Будущим. Только в редкие минуты они отступают — когда человек охвачен любовью. Тогда они делаются сговорчивыми, зная наперед, что скоро любовь уйдет по капле, увлажняя почву, в которую человек с ее помощью посеял семена, из

которых в скором времени вырастут новые сочные ростки, еще совсем свежие, которые пойдут в пищу тем же обиде и страху перед жизнью, наполняя их новыми соками. Эти ростки — почти единственное, что удастся родить человеку от кратковременного союза с любовью. И он тут же отдает на поедание свои детища верным и неразлучным друзьям, дождавшимся своего часа, и хруст и лязг перемалываемой пищи и работающих челюстей срываются в ночное небо, переплетаясь с криками напуганных младенцев, и мягко поглощаются темнотой, которая потом возвращает их сторицей, чтобы дневной человек мог носить их во всех карманах и за пазухой, чтобы в укромные минуты беспрепятственно достать их и полюбоваться всласть.

Нет, я не хочу туда возвращаться. Но есть же там и много хорошего. Что-то сейчас было, совсем недавно, и мне напомнило, когда в детстве еще бывало, иные пробуждения, когда еще спишь, но уже знаешь, что это сон, и вспоминаешь, что сегодня необычный день, но еще не помнишь, какой — то ли Новый год, то ли день рождения, то ли бабушка сегодня в гости придет, ты и не помнишь всех этих слов, а только чувствуешь, как воздух вокруг празднично натянут в разноцветные стеклянные нити, которые не рвутся, а от малейшего дуновения чувств звенят колокольчиками сюрпризов. Ну да, точно, и сейчас был такой же хрустальный перезвон в воздухе, пока я думала. Что же это было? Воспоминание? — нет. Что-то будет — я чего-то жду? — тоже не то. А, да это же от его голоса, оттого, что я его услышала! Да, я совсем не изменилась, как всегда, звуки его голоса наполнили меня ликованием, именно тем, которое заставляет кристаллизироваться атмосферу в сталактиты, кораллы, дутое стекло и хрустальные подвески. Но хрустальные подвески существуют на самом деле,

они просто свисают с люстры. Все остальное тоже есть на самом деле, разница лишь в том, что подвески они тоже видят, а всю остальную бижутерию вижу и слышу я одна. Откуда тебе знать, что они видят, а что нет? Может, и их-то вообще нет, а все тебе кажется. Да нет, казалось бы другое, не такое прозаичное. На самом деле это меня нет, а они есть. Если кто кому и будет казаться, то скорее я им. И то в случае большой удачи. Чьей? Не знаю. Гул их разговора мешает сосредоточиться. Я не могу все сразу — или слушать позвякивание стекляшек, или их однообразное гудение. Странно, мелодия их голосов кончилась, звуки стали приглушенными. Да и кристаллические нити исчезли. А если снова настроиться на его голос — появятся? Что-то не могу найти. Может, он сейчас молчит? Я не могу разглядеть. Ни их, ни слова. Что-то заслоняет мне зрение. Так-то я их помню, и как они выглядят, и какие бывают слова, но прямо посмотреть не получается. Только если кидать короткие взгляды искоса, украдкой, удастся схватить образ, но он тут же затемняется чем-то. Наверное, потому, что в моем положении взглядов искоса быть не может, они тут же делаются прямыми. Что за навяждение. Слова я вижу, если не смотреть на них совсем. То есть, значит, помню. Да, я знаю, что это означает. Я помню и слова, и их всех. Если на них не смотреть, то я их гораздо лучше вижу. А так они начинают расплываться. То же самое со словами. Я их вижу, каждое в отдельности, и в разных конструкциях, в которых они могут сочетаться. Я могу построить всевозможные комбинации, даже больше, чем могла при жизни. Я могу ощущать их настроение. И цвет. И значение — как для меня, так и вообще. Но я не могу их расшифровать. Я их помню, но не понимаю. Они какие-то слишком тяжелые. Они более плотские, чем

мысли и идеи, с которыми я недавно сталкивалась. Они даже более плотские, чем я. Я не могу сейчас сдвинуть их на места, которые они хотят занимать, и не могу увязать их вместе. Мысленно получается, но это никак не отражается на реальности, здесь они остаются неподвижными. Раньше эта процедура не составляла для меня никаких проблем. Но то было раньше. Как же мне быть? В чем-то я сейчас сильнее, чем раньше, — я могу стать каждым из сказанных ими слов, но как мне понять их содержание? Недавно я же пробовала проникнуть в кого-то из них, но заблудилась у него на лице. Может, снова попробовать? Раньше я это делала как-то по-другому. Я представляла человека, в которого хотела проникнуть, принимала его любимую позу, выражение лица, пыталась повторить улыбку или нахмурить брови, как он, и все угадывала. Даже первые слова, с которыми он меня встретит, пусть даже через несколько дней. Доходило до смешного, я предугадывала совершенно бессмысленные выражения, которыми меня потом приветствовали, но до того, как это потом наступало, мне приходилось саму себя подозревать в ненормальности.

Как тогда, например, когда моя знакомая вернулась, погостив с месяц у родителей, мне все представлялось, как она открывает мне дверь на звонок и говорит: привет и называет уменьшительное женское имя, но не мое, и потом, после моего удивленного взгляда — себя со стороны я тоже видела глазами человека, которого представляла, — спохватывается и говорит: ой, извини, пожалуйста, так звали мою соседку, с которой я там все время общалась. И когда потом все в точности так и произошло, у меня действительно был вид более удивленный, чем того требовали обстоятельства, но не потому, конечно, что она обмолвилась,

а потому, что опять все так совпало, но она-то не могла понять моего чрезмерного удивления и потом еще несколько раз оправдывалась, решив, что сильно меня обидела, совсем как было в моих представлениях. Я еще не то могла. Мне удавалось в своем представлении менять чужие представления обо мне. Делалось все не так уж сложно, только много сил отнимало, поэтому занималась я такими вещами только в особо ответственных случаях. Вначале я становилась этим человеком, на которого хотела повлиять, применяя обычную технику — поза, выражение лица и так далее, и сразу же я понимала, что он обо мне думает. Иногда, но очень редко, оказывалось, что он думает намного лучше, чем даже я надеялась внушить. Но, как правило, сюрпризы бывали противоположными, несколько шокирующими, и, если после них у меня не пропадала окончательно охота иметь что-то общее с этими людьми, я принималась за работу. Временами на это уходило несколько дней или месяцев, редко удавалось добиться результата сразу. Будучи этим человеком, я продолжала думать обо мне в том же ключе, но временами начинала позволять себе легкие сомнения, которые тут же подкреплялись аргументами из прошлого, о которых этот человек совершенно не помнил, пока я снова не подводила картину происшедшего к его глазам. В особо тяжелых случаях приходилось попутно перемещаться в моих уже заведомых доброжелателей и подсказывать им желание поделиться добрым мнением обо мне именно с этим человеком, что тоже им до сих пор не приходило в голову. И так, исподволь, человек подводился к определенному мнению обо мне, я вместе с ним боролась за наше предыдущее представление, но мы постепенно сдавали позиции, сокрушенные напором давления извне. Причем никогда это давление не исходило от меня

непосредственно. Я в эти промежутки времени скромно стушевывалась, исчезая из поля его зрения, пока он наконец сам не разыскивал меня, наполненный новыми чувствами. Это не обязательно были добрые чувства. Бывало, что я начинала борьбу с определенным, пусть и очень хорошим, но слишком сковывающим меня мнением. Порой я просто давала понять, что я совсем не то, что он обо мне думает, пусть даже если он думает, что я ангел во плоти. Да, вот в этом именно и загвоздка. Сейчас я всю эту операцию проверить не смогу — как мне встать в чью-то любимую позу? Но вот она — позы у нас часто бывали схожими, хотя мы к этому совсем не стремились. Но и не сопротивлялись — почему-то это не имело значения для нас. Мы всегда так хорошо понимали друг друга, иногда даже лучше, чем себя, — со стороны виднее. Мы даже всегда знали, кто о чем молчит. И знали, что хотела сказать другая, даже если произнесенные слова полностью противоречили. А теперь она говорит с ним, а я никак не пойму о чем. Они даже пьют вдвоем. Без меня! Они говорят о чем-то взаимно важном. Хот бы понять, о чем. — Как она там? — Ничего, уснула, я дала ей транквилизаторов, теперь она должна бы проспять до завтрашнего утра. — Бедная женщина. — Да, она все эти трое суток не спала почти, на чем только держится. — Вы были рядом эти дни? — Да, старалась — им позвонили утром из больницы, там долго устанавливали личность, она, как всегда, забыла документы дома, и сказали, а я сама узнала только вечером, ее мама мне сообщила, а я уже известила остальных. Ваш телефон я с трудом нашла, у меня ведь его не было. Я даже думала, что родители вам уже тоже позвонили, на всякий случай... — Нет, у них тоже не было моего телефона. — Да, ее мама мне потом

еще сказала, что в ту ночь она не могла заснуть, у нее было дурное предчувствие и она не знала, как его объяснить. — Вы знаете, это, может, будет звучать несколько странно, но она ведь в тот вечер, когда это случилось, ехала ко мне, — да, я знаю, — вот, я ее ждал, начал уже волноваться, нет, никаких таких предчувствий у меня не было, признаться, это, наверное, больше по вашей, женской, части, я просто вначале рассердился, к моему раскаянью, что ее так долго нет, потом начал тревожиться. Но я решил, что она, может, передумала ко мне ехать, ведь мы накануне с ней несколько повздорили. Я очень виноват перед ней, и нет мне оправдания, я это знаю. — Ну что вы, не преувеличивайте. — Нет, я знаю, что говорю, но я не об этом хотел сказать, и вот я все-таки никак не мог заснуть в тот день, хотя и думал, что с ней все в порядке, просто заехала к каким-нибудь друзьям на вечеринку и потому телефон не отвечает. И я сидел на кухне, ни о чем особом таком даже не думал, и вдруг в один момент я очень явственно ощутил ее присутствие. — Да что вы говорите! — Да, не могу даже объяснить как, но в течение нескольких секунд у меня была полная уверенность, что она находится рядом. Я ее, конечно, не видел, но могу даже поклясться, что что-то от нее было у меня на кухне, в очень даже определенном месте, не как обычно, когда она стоит, например, а я в это время сижу. В ту минуту я как раз сидел на своем обычном месте, а как бы несколько над поверхностью, ближе к потолку, чем к полу, она явственно показалась, почти во плоти, и почему-то с испугом смотрела на меня. Вы понимаете, что я хочу сказать? Не могу передать, почему я так уверен. — Да-да, я вас прекрасно понимаю! — Я только не могу понять, что ее испуг обозначал. Может, она увидела что-то страшное, что со мной мо-

жет произойти, и пыталась меня предупредить? Это длилось всего минуту, я не успел от неожиданности ничего предпринять. Но вот скажите, может такое быть или я схожу с ума? Потом я подсчитал, это происходило примерно через три часа после ее гибели. — О, Господи... — Вот тогда я действительно всполошился, нервы совершенно разгулялись, и я не находил себе места, и потом вот вы позвонили. И потом все эти три дня у меня было ощущение, что она со мной разговаривает, особенно по ночам. Я не знаю, мне кажется, что я схожу с ума. — Нет, вы не волнуйтесь, я слышала, что такое бывает, со мной ничего такого не было, вот только тяжесть на сердце, я понимала, что должна произойти или уже произошла какая-то лажа со мной или с кем-то из моих близких, но с ней конкретно я не связывала. Честно говоря, именно с ней я бы в последнюю очередь связала мысли о несчастье, она была такая везучая, я и мысли такой не могла допустить. — Вы считаете, что она была везучая? — Ну конечно, не только я так считаю, это все знали. — А я вот не знал. Значит, все знали? — Если вы полагаете, что это знание могло что-то изменить в ваших отношениях... — То что? — То теперь уже поздно. Простите, я не хотела сказать. Я вспомнила случай, который мне рассказывали мои родители. Несколько лет назад у их соседки умер муж, а она его очень любила и никак не могла смириться с его смертью, и вот... — О Господи-БожеТымой, ну почему, скажите, почему именно она — она ведь была такая молодая, красивая, такая хорошая, такая любимая, я не могу передать, как я ее любил, нет, люблю, не хочу говорить о ней в прошедшем. — Ой, не надо, пожалуйста возьмите себя в руки, ну пожалуйста, нам всем плохо, все очень страдают, видите, вы расстроили опять ее отца, ну, пожалуйста,

сейчас все присоединятся, ну прекратите! Тише, он, кажется, хочет что-то сказать. — Ребят, тише, ее отец хочет что-то сказать. — Тише, тш-ш, потом скажешь, неудобно, давай послушаем. — Говорите, говорите. Тише, пожалуйста. — Дети! Дети мои дорогие! Я хочу сказать вам... Вот вы собрались все тут, все ее друзья. Я рад, что у нее оказалось так много друзей. Ведь правда, она была хорошей девочкой? Я вспоминаю, она была очень упрямым ребенком. Однажды, она была тогда совсем еще крохой, годика три-четыре, она в чем-то провинилась и не хотела сознаваться, и я тогда посадил ее на диван и сказал: будешь сидеть тут, пока не скажешь — папа, прости, я была не права — и больше ничего. Ей надо было только произнести эти слова, и что вы думаете, она так и просидела до позднего вечера на этом диване, даже в туалет не попросилась, лишь бы не говорить этих слов. Ну скажите, разве я многого от нее требовал? Разве я был жесток? Ну что ей стоило сказать — папочка, прости меня, я виновата, и слезть с этого дивана и пойти играть, — так и просидела на нем, пока ее мать не вмешалась, не настояла, что ей пора спать. Так и пошла спать, не сказав этих слов! — Господи, нашел из-за чего переживать, я этого совершенно не помню. — Ну и сейчас все, что случилось, тоже ведь следствие ее упрямства. О родителях она ведь не подумала. Что будет теперь с ее бедной матерью? Но все равно она была хорошей девочкой. Может быть, как некоторые утверждают, она смотрит сейчас на нас с небес и радуется, что вы, ее друзья, собрались здесь, вместе с нами, чтобы помянуть ее. Да-а. Но почему она ездила так неосторожно! Дети, я хочу сказать вам — я потерял своего единственного ребенка, и теперь вы все, ее друзья, мои дети — ведь правда? Вы теперь можете прийти ко мне — гово-

рю вам со всей искренностью, пожалуйста, примите к сведению — если у вас начнутся какие-то сложности, приходите ко мне, как к отцу, просто придите и скажите — отец, вот так и так, помоги! Все, что будет в моих силах и даже сверх того, я для вас сделаю. Вы меня слышите? Не забудьте! Я вам обещаю, я весь извернусь, чтобы помочь каждому из вас, быть хоть чем-то полезным. Пожалуйста, приходите потом тоже, как только у вас возникнет желание. Мы и ее будем вспоминать, мою девочку. Не знаю, как вы, а я не верю во всякие там загробные жизни, к сожалению. Может, от такой веры мне сейчас было бы легче, но я знаю, она будет жива, только когда мы будем о ней помнить. Приходите иногда поговорить о ней. Так вот, дети, я хочу сказать вам, ведь я знаю, не она одна, ведь вы все так ездите, гоняете, как сумасшедшие, я прошу вас, дети, будьте осторожны, постарайтесь ездить внимательнее, чтобы ни с кем это больше не повторилось. Подумайте хотя бы о своих родителях! Вы все такие молодые, такие прекрасные, собрались тут помянуть мою девочку, дай вам всем Бог дожить до глубокой старости и не пережить никогда такого, что мне привелось. Я не могу понять, как это возможно — я жив, а мой ребенок умер и лежит сейчас в земле. Я от всей души желаю вам, чтобы вы были похоронены своими детьми, а не наоборот. Давайте помянем ее. Господи, да что же это такое, одна молодежь на поминках, такие все молодые! Дети мои, я прошу вас, давайте мы все сейчас выпьем, и пусть каждый про себя вспомнит что-нибудь хорошее, что было у вас с ней связано. Я знаю, у каждого из вас должно быть такое воспоминание, ведь, несмотря ни на что, она была доброй, ласковой девочкой. — Да. Да, конечно. — Чокаться нельзя. — Я знаю — Да. — Вспомните, пожалуйста, о

той радости, которую она каждому из вас подарила, хотя бы минутной, не знаю — кому как, но ведь недаром вы все тут собрались, значит, было что-то, что привело вас сейчас сюда. Давайте сейчас все вместе вспомним каждый о своем приятном, с ней связанном, может быть, тогда ей там будет хорошо. Пожалуйста! — Неужели каждому будет что вспомнить? Дай Бог! — знала бы, позаботилась об этом заранее. Какая ты расчетливая! Посмотри, какие все, в отличие от тебя, просветленные сейчас. Даже если ничего такого и не было, они все равно что-то вспоминают.

Но Боже, что они вспоминают! Каждый — очень разное. Я не успеваю слиться с образами, которые у них возникают. А отец-то! И главное, он был искренен. Относился бы он ко мне так при жизни. Мертвых почему-то любят больше, чем живых. Что они со мной делают?! Я превратилась в тысячеглавого, тысячерукого монстра. И ни одна голова не похожа на другую. Уж хотя бы на фотографии посмотрели, тут-то у них есть ориентир. Но что они творят с моими личными качествами, тут уж им Бог судья. Невероятная свобода творчества. Но я хотя бы с гордостью могу заметить, что никто из моих знакомых не лишен фантазии. Только как мне узнать, где я истинная? Я уже сама теряюсь в них. Среди такого обилия меня нет ни одного достаточно самоуверенного, чтобы заявить: я — истинное. Хотя я истинное, насколько мне помнится, отсутствием этого качества не страдало. Вот это я влипла. Как мне теперь найти себя? И еще, не дай Бог, они сейчас начнут делиться воспоминаниями. Будет столько несовпадений. Многие будут шокированы. Ладно те, для которых я была мертва еще при жизни. Когда ничего не было, легче придумывать. И когда человек для тебя лишь образ, которому удалось еще и не примелькаться,

его гораздо легче любить. Но что же остальные? Они запомнили совсем не то, что было на самом деле. А может, это я неправильно запомнила? Некоторые их воспоминания я совсем не помню, но и те, что помню, я помню по-другому. Не могут же столько человек сразу ошибаться. Хотя могут. Во всяком случае, мотивы, которые они мне приписывают, сильно приукрашены. И в ту, и в другую сторону. Э! Что же, они начали плохое вспоминать? Это нечестно! Как они меня измучили! Сейчас, когда я снова приобрела некоторую трезвость восприятия, я отдаю себе отчет в том, что малейшее недоброжелательство или укор, которые я при жизни даже не ощутила бы, сейчас казались мне войной миров. Стоял ужасный грохот, взрывались частицы всех веществ, а меня разрывали и перемалывали тысячи жерновов, и это было бесконечно. Хотя здесь не так уж много времени прошло, может быть, секунды две-три. Удивительная у меня живучесть, после этого ада я сразу сообразила, где нахожусь и что было до этого. Но опять же некому похвастаться. Некому поддержать меня. Они все еще заняты воспоминаниями. Но почему так получается с ними? Они все такие разные... А потом я с одними была одной, а с другими — другой. Не всегда даже по своей воле и желанию. Есть люди, которые все время так или иначе оказывались свидетелями моей хорошеести, а слухи о моих некачественных поступках всегда их миновали, застревая где-то по пути. Но таких было очень мало. Из присутствующих только два, нет, три человека. Можно было бы сказать четыре, если бы вот он совсем недавно не лишился этого иммунитета, и на него хлынула лавина обличающих сведений. А так остальные, еще не заразившиеся, наверное, думают, что я — святая. Почему-то всегда так выходило, что они всегда случайно поспе-

вали как раз к завершению какой-нибудь благочестивой акции с моей стороны, отнюдь не характерной для меня, или непременно случайно знакомились с каким-нибудь человеком, накануне наблюдавшим таковую акцию и бескорыстно взახлеб делившимся с ними, не имея в виду, что мы знакомы. И ни разу они не встретились с людьми, говорившими обо мне плохо. Когда кто-нибудь начинал восхищаться мной, я знала — на днях он познакомится с кем-нибудь из этих трех, причем в разные периоды времени финишировал один из них, пока не передавал эстафету другому. Но я только сейчас подумала — ведь они трое между собой незнакомы. Только сейчас впервые встретились. И очень удачно и вовремя. Недолго осталось, сейчас кто-нибудь из злопыхателей начнет делиться воспоминаниями, ведь они без этого не могут, причем в духе христианского всепрощения, но так, чтоб всем было ясно, какая я была на самом деле. И зачем они сюда пришли? Они всегда притягивали сами все дурное с моей стороны. Когда я была поглупее, я всегда поддавалась им и выдавала такое поведение, какого они жаждали. Потом я все же освободилась от этой зависимости и делала что-то вызывающее, только когда мне этого самой хотелось, а не подчинялась сложившейся структуре взаимоотношений. Что это со мной? Я думаю не теми словами, которыми привыкла думать. По-моему, я думаю то свои мысли, то чьи-то чужие, выхватываемые из воздуха. Что я хотела подумать? Что-то проскочило мимо, я уже забыла. Вообще я опять сильно отупела, как только к ним приблизилась. Приближаясь к ним, я приближаюсь к себе той, какой я была там, с ними. Совсем недавно я все понимала без усилий, свободно видела все мысли, которые только возможны. Но сейчас могу вспомнить только те, которые успела пропустить через себя, но

насколько они были легче и тоньше, пока не достигли меня. А те, которые я не успела подумать, исчезли, не могу даже приблизительно их восстановить. Последнее, что я увидела и собиралась подумать, — это о расположении всех приборов и блюд на столе. Я увидела, что оно имеет какой-то очень глубокий смысл, который люди не понимают, но все равно поддаются его диктату и располагают вещи сообразно его требованиям, кодируя некое послание, и при этом думают, что разложили все таким образом, потому что им захотелось так. Так красивее или так принято. Но какое сообщение зашифровано с помощью этого рисунка, этой криптограммы, я не успела подумать и уже не знаю. Помню только, что что-то очень значительное. Оно все равно действует на них, настраивает на определенный лад, перестраивает их внутренне и налаживает на более общий и строгий уровень, хотя они того или нет, замечают или не очень. Окажусь я еще раз там, где все прозрачно, или я уже упустила свой шанс, вернувшись сюда? Здесь все как-то смутно, тоскливо, неопределенно. Я при жизни уже чувствовала, что к некоторым людям лучше близко не подходить, они как бездонный засасывающий омут с плавающими кое-где обрывками ощущений. Если попасть туда, все силы уходят на то, чтобы удержаться на плаву и уберечься при этом от оглушающего удара по голове какого-нибудь их ощущения. Выбраться оттуда удастся только с большими потерями и ранами. Или еще некоторые бывают окружены серой пеленой чего-то вроде густого тумана, и если оказаться настолько рядом, чтобы попасть в поле его действия, то становишься запеленутым в какую-то вату, которая ничего не пропускает ни внутрь, ни наружу, это небольно, но противно. Но раньше я была защищена от них хотя бы тем, что могла физически

удалиться от них и укоротить поводок, тогда застрявшая в них часть с треском выскакивала или медленно, преодолевая сопротивление, но все же выходила наружу. Теперь полностью в их власти поглотить меня. Страшно. Я не хочу. Хочу обратно, туда, где я только что была, где только мысли и нет желаний. Как бы снова туда попасть? А как я оттуда выбралась? Я влилась в его голос. Какое это было наслаждение! Нет, без желаний тоже плохо.

Надо отметить как-то, что у меня еще сохранилось разделение между плохо и хорошо. Как? — можно просто галочкой, или выделить в скобки, или подчеркнуть, — и сохранить в папке под графой «важное», потом обязательно пригодится. Хотя бы для учета, если эти ощущения потеряются, то не пройдет незамеченным. Нужно собраться и по возможности отслеживать себя, чтобы не потерять нить между собой связующую. Вот главное-то я сейчас и не подумала — оказывается, я и впрямь была тогда у него на кухне! Это надо додумать, может, когда он не так будет занят внешними событиями, нам удастся пообщаться. Я ему расскажу тогда все, что со мной с тех пор происходило. Может, он мне подскажет, как мне дальше быть. Они опять разговаривают. Надо вклиниться в разговор. Еще раз попробуй. Спокойно, расслабься и нырни.

— Да, что-то худо мне. Еще парочка рюмочек, и я буду хорош. Как ее родители на это посмотрят? А, уже все равно. Я, кажется, забыл побриться сегодня. Уже три дня, наверное. Ничего, сейчас уже модно. В старину в знак траура бороду отпускали. В этом что-то есть. Она, кажется, что-то сказала. — Простите, что вы сказали? — я не расслышал. — Да, я говорю, может, положить вам немного того салатика, он очень вкусный. — Нет, не надо. Лучше плесните мне немножко

водочки, мне не дотянуться. Спасибо. Ну, что, давайте мы еще раз ее помянем. — Давайте. — Послушайте, может, мы перейдем, наконец, на «ты»? Это было бы естественней, и я думаю, она была бы довольна. Вы же все-таки ее близкая подруга. — Да, конечно, давай. — Ну что ж, царство ей небесное. Положи мне, пожалуй, этого салата и расскажи мне ту историю, не то я снова расклеюсь. Что там было с твоей соседкой? — Нет, она не моя соседка, а моих родителей, но это несущественно, я просто к тому вопросу, что ты мне задал. — Да, так вы, то есть ты, думаешь, что мне не показалось? Я ведь никогда не задумывался о таких вещах, не знаю, возможно это или нет. — Я тоже не знаю, но вообще всякие такие странные истории рассказывают, я думаю, что вполне возможно. Вот про эту женщину, например, мои родители мне рассказывали, причем они ее лично знают, не то чтобы какая-то история из третьих рук, а некоторые соседи были даже свидетелями, ну короче, когда у нее умер муж, через некоторое время она стала слышать, что кто-то звонит во входную дверь. То есть натурально звонил, и всегда в очень позднее время. Она подходила, спрашивала, кто там, а ей ничего не отвечали, смотрела в глазок, а там пусто. Причем не она одна слышала звонок — у нее и мать и дочь были дома, они тоже слышали. Когда это случилось во второй или третий раз, эта женщина говорит: «Я хочу открыть, я чувствую, что это он». — Да-да, я слушаю, я просто хочу напиться сегодня, чтоб можно было дальше жить. Выпьем? Да, и что дальше? — Ну вот, а мать ее тогда испугалась и не разрешила открывать. Она убеждала, что он ее с собой уведет, что бывали такие дела уже. А эта женщина очень мучилась и все хотела открыть, а ей все не давали. И вот однажды, когда мать ее уехала куда-то там, опять поздно ночью раздался

звонок в дверь. Причем там соседи по лестничной клетке тоже прекрасно его слышали. И она тогда открыла дверь и видит, там ее муж стоит и... — Что, прямо натуральный, какой был при жизни или в виде привидения? — Нет, совсем обычный, как всегда, мне кажется. Подростностей никто не знает, сам понимаешь, никто не выпрашивал из деликатности. Все-таки неудобно. — Да-да, ну и что дальше? — И она вышла к нему и прикрыла дверь за собой, чтоб дочка ничего не видела. И они там довольно долго говорили, и соседи тоже слышали ее голос и думали — с кем она так долго разговаривает в такое позднее время — в принципе, она была порядочной женщиной, ничего такого... — И его голос тоже слышали? — Ну видимо, но смутно. Если бы второй голос тоже был женским, соседи бы не удивились, а тут вроде еще траур носит. Но они говорили, что мужской голос был нечеткий, они не могли понять, знаком он им или нет. — Но она с ним разговаривала? — Да, конечно, с кем же еще? — То есть это предполагается или она сама говорила? — Она потом сказала просто, что это муж приходил, а о чем они разговаривали, так никому и не сказала. — Даа — Дааа. Вот. — Но с тех пор он больше не приходил к ней? — Нет, видимо, они о чем-то там договорились, — Ну, и чего она дальше? — Ничего, живет. — Замуж не вышла во второй раз? — Нет. Да она и не из таких была. Просто живет и все. — Может, они с ним уговорились в тот раз об этом? — Не думаю, она вообще очень замкнутой всегда была, ни с кем так особо не разговаривала. Так только в молодости, может, полюбила, как оно водится, но теперь ей ничего не надо, уговоры ни при чем. Сколько таких уговоров нарушается, даже под страхом смерти, если они кому-то не с руки. — Это-то да, но уговор с покойником — совсем другое дело. — И

покойников обманывают, если очень хочется, никогда такие уговоры ни к чему не приводили, если одна из договаривающихся сторон не была заинтересована. — Но она не заболела после встречи с ним, как ее мать предупреждала? — Да нет вроде, хотя я слышала много таких историй, когда покойники уводили людей, которых очень любили. Или если у кого-то умирал очень любимый человек, то он мог затосковать-затосковать, а потом сам умереть, ну, вроде бы уйти за ним. Но я не думаю... — Чего? — Я не думаю, чтобы она стала приходить за вами — не ее стиль. — А хоть бы и пришла, мне все равно. Пусть бы уж лучше пришла, чем так вот жить после этого. — Да нет, не придет, во всяком случае, не придет, чтобы увести, — это не в ее характере. — Да откуда вы знаете, что в ее характере? Хоть вы ей и подруга, мне-то она была ближе, чем кому бы то ни было! — Может быть, но все же со мной она могла делиться вещами, о которых с вами не говорила. — Не было таких вещей! Хм! Ты что, хочешь сказать, что она от меня что-то скрывала? Впрочем, я это чувствовал. Но теперь-то все равно, скажи мне, что она скрывала? — Ну зачем же так? — Просто не с каждым можно обо всем говорить. То есть я хотела сказать, ни с кем невозможно все обсуждать. Одни темы могут быть общими — в смысле интереса, а другие не вызывают интереса у собеседника. — Не понимаю ваших намеков, меня интересовало все, что ее касалось. Не знаю, что вы там хотите сказать. — Да успокойтесь, пожалуйста, ничего такого я не собираюсь говорить, но у вас ведь тоже есть какие-то темы, которые вам интереснее обсуждать с другом или коллегой, а не с ней? — это ведь естественно. — Ладно, давай выпьем, а то мы сейчас предаемся. — Чему предаемся? — Вот тем самым общим темам. Пусть земля ей будет пухом, — я знаю

только одно — что я ее люблю, а все остальное меня не интересует. И вообще, о чем мы сейчас говорим, если ее — нет. Скажи лучше, ты можешь это понять — как это так: ее — нет? Ты что-нибудь понимаешь? Вот я сказал сейчас избитую фразу, сказал автоматически, но все-таки — какая земля, каким, к черту, пухом? Ее — нет, а? Вот если ты такая умная — ты не подумай, я не в обиду говорю, — объясни мне, как это может быть? Вот как это — ее нет? Почему такая несправедливость, а? Я не хочу в это верить! — Тсс! Не так громко — народ пугается. — Ты мне объясни, как мне дальше с этим жить?! Что я теперь должен делать — вот так взять и жить дальше, а? Как ни в чем не бывало? Я не смогу. Вот скажи, ты веришь, что она умерла? А, что я, в самом деле? Как будто кто-то может мне это объяснить! — Жалко его. Но ее жальче. Он все же жив, а она умерла. О-о! — Ты чего? — Нне-ет, я так. — Извини, я понимаю, что тебе тоже хреново. Не мне одному. Но что делать? Надо будет что-нибудь для ее стариков сделать. Они, наверное, сильно потратились. Похороны, я слышал, сейчас дорого обходятся? Не могла бы передать им от меня деньги, а? Но так, чтобы они не знали, что от меня. Передашь? — Почему чтоб не знали? — Ну так, не хочу. — Это будет жестоко по отношению к ним. — Что жестоко? — Я считаю, что это их привилегия — разориться на похороны единственной дочери. Не надо лишать их ее. Придумай для себя другой способ откупиться. — За что ты меня так ненавидишь? — Извини, пожалуйста, я не хотела быть злой. Это я даже не столько тебе сказала, сколько себе самой. Меня тоже бесит моя беспомощность. И чувство вины, как бы выразиться? — ну да, гложет. Мне кажется, что и я приложила руку к тому, что случилось. — Ну это уж слишком. — Или просто упустила. Сделай я что-

нибудь вовремя, ничего бы не случилось. — Да ты в Бога не веришь! — Ну, как сказать. Вера в Бога не снимает личной ответственности...

Страдает как. Надо же, не ожидала от него, что он способен так страдать. Он мне всегда казался таким холодным. Но все равно лучше бы он свою любовь тогда проявлял, когда ей это было так нужно, а не мучил бы ее. Сколько она от него перенесла. Вот уж никогда не понимала, что она такого в нем нашла. Я не должна так думать. Особенно сейчас. Она бы этого не простила мне. Но все-таки какие мы все глупые. Я тоже. Если бы знать, что так будет. Сколько раз я сама упускала возможность показать ей, что я... Да что там. Кто же мог подумать, что такое случится. Как мало мы друг о друге думаем, все заняты собой. Господи, если бы все вернуть обратно, хотя бы ненадолго, чтоб я успела ей все сказать и выразить. Сейчас уже для нее конкретно я ничего не смогу сделать. Все, что я ни сделаю, я сделаю для себя. Как бы мне искупить вину перед тобой? Если бы ты могла мне как-то сказать или знак какой-то подать, что ли. Надо бы его как-то успокоить. Она бы не вынесла зрелища таких его страданий. Хотя по мне — пусть узнает, каково страдать. Где он был, когда она мучилась из-за него? Но я должна не о себе думать, а о ней. В конце концов, он тоже человек. Главное, она его любит. То есть любила. Но как мне его утешить хоть немножко? Надо к нему притронуться, мужчин всегда успокаивает прикосновение. Только бы преодолеть барьер, чтоб дотронуться не натужно, а по-настоящему, и без злых мыслей в его адрес, иначе не подействует. Я же не судья. В конце концов, раз она его любила, значит, было за что.

— Ну, не надо, пожалуйста, мужайся. — Ах, ты понимаешь, я... — Да, да, понимаю, понимаю, я тоже

это испытываю, ну все, не надо. — Ты должна мне рассказать о ней то, чего я не знаю, ладно? — Хорошо, конечно, все расскажу, хотя ты прав, все равно лучше тебя ее никто не знает, вот сейчас еще немного тут посидим, потом пойдем покурим в коридоре, а то у ее родителей не курят, я обязательно все расскажу, там ничего особенного, понимаешь, так, какие-то отрывочные воспоминания сейчас встают у меня перед глазами, какие-то картинки. Я сейчас вдруг вспомнила, как мы впервые познакомились, это было так смешно. Ты же знаешь, наверное, что мы вместе учились в институте? — Да, конечно. — Но она была на пару курсов младше меня. У них на курсе училась девочка, у которой мама работала на киностудии, и у них там понадобилась массовка для фильма про фашистский концлагерь из молодых девушек, и эта мама договорилась с институтским руководством, чтобы они на один день освободили от занятий студенток, желающих сниматься. Она, конечно, оказалась в их числе. Это надо было видеть, какой она вернулась со съемок! Там режиссер выбрал несколько девушек для первого плана и отослал их в гримерную. Все, естественно, надели тифозные парики, а она вдруг заявила гримерше, что как раз собиралась сходить в парикмахерскую и сделать такую прическу, как на парике, и не могла бы та ее попросту постричь! И что ты думаешь, та согласилась, хотя любую другую послала бы к черту — в конце концов, это лишняя работа, сам понимаешь, в их нагруженной студии, да еще бесплатно. Но ей всегда такие штуки сходили с рук, как я потом неоднократно убеждалась. Более того, все остальные, включая главных героев и режиссера, сидели и ждали, когда ее прическа будет готова. — Это вот таким ежиком, да? — Нет, немножко по-другому, ну знаешь, как отрастают волосы после тифа — такими неров-

ными космами — местами совсем мало, а местами уже космы. Потом весь институт бегал под разными предложениями смотреть на ее прическу, или как бы по делу, или в читальный зал, когда она там сидела. Тогда такие прически были в диковинку, это сейчас они начали входить в моду, и то на улице люди оглядываются. И при этом, как выяснилось, она даже не замечала, что привлекает всеобщее внимание. Когда я ей потом рассказала, что на нее ходили смотреть, она сильно смутилась. — Да, забавно. Вы тогда и познакомились? — Нет, тогда еще нет. Я вот пытаюсь вспомнить, когда же мы познакомились по-настоящему, то есть подружались. Ах да, это случилось, когда она стала ходить в клуб к онанистам! — К кому? — К онанистам — неужели она про них не рассказывала? О Боже мой, что ты так поблбеднел, да не волнуйся, ради Бога, ничего криминального. Просто у нас в институте были мальчики — они были старше меня курсами, как раз они были на пятом, когда она поступила. Я тогда уже с ними дружила — очень милые мальчики, самые умные и тонкие в нашем институте. Они придумали и учредили где-то курсе на третьем Клуб Онанистов. Все было очень солидно, у них были заседания каждую неделю, с протоколированием и прочими делами, как и полагается поклонникам бога Онана. — Онан хоть и библейский персонаж, но все-таки он не был богом. — Они решили возвести его в ранг бога, считая, что заслужил. Ведь ни у одного бога не нашлось столько горячих приверженцев среди человечества, как у него. Был и девиз клуба: «Все в мире есть онанизм». Заседания проходили в специальной такой клубной комнате, увешанной портретами почетных членов клуба. — Что за комната? — Так она принадлежала президенту клуба, он в ней жил, просто комната в общежитии, все там

собирались по вечерам, только во время заседаний посторонних просили ее покинуть. Я помню, как они однажды при мне вырезали из газеты портрет знаменитого дояра из какого-то колхоза, он назывался в статье знатным дояром, что ли, и тоже повесили на стенку. А дояру послали специальное уведомление на адрес колхоза, по-моему, телеграммой, о том, что отныне он является почетным членом Клуба Онанистов. — А что у нее с ними было общего? — Ну как, во-первых, мы все учились в одном институте, а ярких людей у нас, как и везде, было очень мало. Они сразу выделили с их курса ее и еще одного мальчика и одну девочку. У них было такое рыцарское отношение ко всему, что в наши дни редко встречается, они писали стихи — и президент, и остальные члены клуба посвятили ей свои стихи. Да, вспомнила, они называли ее роковой женщиной Клуба Онанистов. — Женщиной? — Ну да, ведь роковых девушек не бывает. Это они как бы предвосхитили. Они обладали даром предугадывать развитие. Так она, может, еще не тянула на роковую женщину, но уж годам к сорока точно могла бы ею стать. Другую девочку с их курса они тоже полюбили и называли коровкой Клуба Онанистов — ну в общем, сейчас она уже ждет четвертого ребенка и, по-моему, не собирается на этом останавливаться. Но главное, что она считает материнство единственным смыслом своей жизни. А тогда, кроме них, никто этого не увидел — девочка как девочка. Но, самое важное, они считали, что очень мало по-настоящему живых людей, что в большинстве своем люди как бы мертвы или спят, и они поставили себе задачу поддерживать людей, которые еще бодрствуют. — Как поддерживать? И как они определяли, кто бодрствует, а кто нет? — Ну, они просто это видели. А поддержать хотели их в этом усилии

не спать. — Но как они это делали? — Ну не знаю, всем своим поведением, неужели она не рассказывала о них? — У нас было много других тем для разговора. — Ну они, например, дарили иногда стихи свои, или цветы, или просто какую-нибудь феньку, просто так, не к случаю. То есть они находили какой-нибудь повод, но свой, не общепринятый — за то, что ты сегодня в таком красивом платье, или даже нет, не так банально — за то, что у тебя сегодня зеленый шарфик, или — у меня сегодня был на редкость везучий день — сегодня целых два раза — такого не бывает, в автобусах, которыми я ехал, устраивали проверку билетов, и оба раза я успевал сойти, прежде чем контролер дойдет до меня. А потом, возвращаясь домой, я увидел знакомого, который исчез, но был мне позарез нужен по делу, а потом перед самым домом, на углу, где обычно ничего не бывает, продавали первые фрезии в году, и, когда я их покупал, я еще не знал, что они для тебя. Все это было наивно и романтично, но многое нам дало все-таки. Нам и вправду удалось остаться живыми, ведь далеко не каждый доживает до своей смерти. И потом, мы же тогда были очень молоденькие, и в нашем кругу считалось, что признаками ума и аристократичности у мужчины служат такая хамоватость, пренебрежение к женщине, отсутствие табуированных тем. Нас это корбило, но мы еще не умели постоять за себя должным образом, боялись нарушить правила игры. Легче было сделать вид, что ты ничего не замечаешь, чем проявить слабость и показать, что ты задета. У нас была такая эксцентричная девушка, на моем курсе, она любила выкинуть что-нибудь эдакое, например, пройтись голый при всем честном народе, неестественно громко разговаривать и смеяться, употребляя нецензурные выражения. Но в душе она была очень ранимая, больше,

чем кого бы я ни знала, и это у нее была такая форма защиты от возможных обид. При этом была и некоторая доля скоморошества, у нее был очень едкий и острый ум, и она могла иногда высказать какое-нибудь замечание, не очень лестное для адресата, чаще всего в лицо, но все списывалось на ее юрочность и легче переваривалось. Еще она обладала очень редким качеством — быть преданной без оглядки. Если она кого-то признавала за своего, то стояла за него горой. Этот человек уже не мог быть признан виноватым ни в чем, если он с кем-то конфликтовал, она безоговорочно становилась на его сторону, даже не вникая в обстоятельства. Обычно люди относятся так только к себе самим. — Только я хотел сказать... — И картины у нее были вызывающие и страшноватые, но талантливые. Помню, одна называлась «Плач моего нерожденного ребенка». И вот был один тип, такой благополучный сыночек высокопоставленного папаши с узкими представлениями, в частности, о том, что разным женщинам можно говорить разные вещи, умозаключения у него строились по чисто внешним признакам — манере одеваться и так далее. Такого ничем не проймешь. Однажды он в присутствии президента сказал что-то очень циничное в адрес этой девушки, не хочу даже вспоминать что, но что-то очень гадкое, и тут президент заметил так спокойно, корректно, но с большой убедительностью что-то вроде того, не помню дословно, что у него возникают сомнения по поводу мужских достоинств человека, способного так отзываться о женщине. Но он сказал намного лучше, так, что даже этого типа проняло и ему стало стыдно. — А из них кто-нибудь есть здесь? — Из кого? — Ну, онанистов этих. — Нет, они, к сожалению, все разъехались по разным концам страны. Мне их часто недостает, я думаю, ей тоже не-

доставало. Хотя вон та девушка... — Которая? — Вон та, в охрового цвета кофте, с короткой стрижкой. — Да? — Они учились с ней на одном курсе. Эта девушка вышла замуж за одного из активных членов клуба, но его сейчас нет, может, позже подъедет. Погода сегодня такая ужасная, не все решились приехать на кладбище. Хотя я уже и холода не чувствовала, у меня, видимо, шок продолжается. — Да, морозы ударили ведь как раз накануне. — Я вот все думаю, что, когда она ехала, дороги уже, наверное, заledenели, она, наверное, не смогла затормозить. — Тут вообще высказывали гипотезу, что, исходя из положения машины и всего прочего, она не могла ничего нарушить. Скорей всего — ведь было уже темно — ее ослепили, она начала тормозить, машина заскользила и врезалась на ходу в стоящий на обочине грузовик, задев и ослепившую машину. — А его так и не нашли? — Нет, он скрылся, идет розыск, но вряд ли чего добьются, свидетелей ведь не было. — Или они молчат. — Да теперь уже все равно. Даже если найдут виновника, ее уже не вернешь. — Все равно, пусть понесет наказание, чтобы впредь неповадно было. — Тебе-то от этого все одно не будет легче. — Мм, не знаю. Пожалуй, нет. Вот если бы я его нашел, то собственными руками... хотя ее, конечно, это не вернет. Я от этой мысли кого угодно готов собственными руками пришить. Так ваши онанисты, получается, женились тоже? — ничто человеческое... — Там тоже была долгая история. Кроме президента, никто из них не был женат, да и президент совершил эту акцию лет за десять до создания клуба, и семья у него была чисто символическая, они жили в другом городе, и он ездил к ним раза два-три в год на пару дней. А муж этой девушки, когда понял, что влюблен, хотя она очень долго отвергала его любовь, и года два это было

абсолютно безнадежно, но с того момента, когда он понял, то написал заявление в свой клуб с просьбой исключить его из членства, потому что с такого-то часа такого-то дня такого-то года он начал считать, что не все в мире есть онанизм. Ну и было заседание, все как полагается, и на общем совете решили, что хоть и прискорбно терять такого члена, но все же человек с подобными взглядами не может состоять в клубе, и его исключили. — М-да... — А мне? — Что? — Я тоже хочу выпить. — Ох, извини, пожалуйста, я задумался. Водки? — Да.

Отвлекся, кажется. А какого хрена я должна его успокаивать? Меня кто утешит? Он-то ей быстро найдет замену, по нему видно. А у меня такой подруги больше не будет. Возраст уже не тот, теперь уже такие отношения не завяжутся. Уже и сил нет на начало, и желания нет. Опять раскрываться полностью, довериться кому-то — нет, не смогу. И столько историй придется рассказать заново, чтобы создать основу отношений. Историй, которые ей не надо было рассказывать, они были вместе с нею прожиты. Уффффуууу! — Ну вот, теперь ты расклеилась. — Я сейчас соберусь. Я подумала и поняла, что такой подруги у меня больше никогда не будет. — И у меня больше не будет такой девушки... — Зато у тебя будут другие девушки, неужели он не понимает разницы? Кто это мне говорил, что почва для настоящей дружбы существует только до двадцати лет, после этого возраста могут быть только хорошие знакомые. А влюбиться можно и в тридцать, и даже в сорок, а бывает, что и позднее. Это она ко мне? Ты что-то сказала? — Ой, солнышко, извини, я помешала вашему разговору, да? — Нет-нет. — Я просто хотела салатику попросить, ты не смогла бы передать тарелочку, а то мне не дотянуться. — Да,

конечно. — А он вкусный, ты уже пробовала? — Да, ничего. — Ой, спасибо, зайчик, извини, что прервала вашу беседу. — Достала она меня, замолчит когда-нибудь или нет? Я никогда не могла понять, чего это она с ней общается, чем эта ее притягивает. Это же очевидно, что она совершенно не нашего круга, и поговорить с ней не о чем, и очень много в ней подлого бабского. Она из серии тех женщин, которые любят сказать: ой, дорогая, какие у тебя длинные ноги, и, дождавшись, когда ты спросишь: разве? — Спасибо, — с ехидной улыбкой продолжают: да, конечно, ты, наверное, носишь сорок третий размер обуви? Да если б только одна эта, ведь столько всяких не пойми кого тут собралось. Вокруг меня никогда ничего подобного не было. Если бы не она, если бы не это событие, я бы никогда сама по себе не могла оказаться в подобном окружении. У нее всегда была необъяснимая тяга ко всяким плебейским бабенкам. Я и минуты с ними не выдерживала. До сих пор не разберусь, чем же они ее привлекали. Наверное, в ней тоже все-таки есть такая струнка, которая на них отзывается, мне лично интересно говорить только с умными мужиками, таких женщин, чтоб были кайфовые, со своим приколом, очень мало. Вот она была такая. Да, я уже думаю «была», как быстро к этому привыкаешь. Конечно, я на нее обижена, потому что смерть — это тоже твой выбор, что бы там ни считали, тоже — нашла время уйти, когда мне так хреново во всем. Могла бы не только о себе думать. Если уж не бояться говорить себе правду, это ведь она с ним счеты сводила. Это он ее довел до такого поступка. Скорей всего, это было подсознательное решение, вряд ли она совершила все в трезвом уме и твердой памяти, но это явно из-за него. Других причин я не вижу. Интересно, он отдает себе хотя бы маленький отчет в

том, что это он во всем виноват? Сомневаюсь я что-то. И соки из нее он высасывал как бы походя, проголодался — поел, пошел дальше. Он же не вникал, каково ей все это. И она еще, дурочка, его жалела. Сколько раз я ей говорила — пожалей однажды себя, хотя бы для разнообразия. Устроила бы ему один раз настоящий бемц — сразу бы все расставилось по своим местам. Я не должна так думать, но от правды не убежишь. Даже если она так ужасна. Это он ее убил. Прости, Господи. Ну, может, не убил, но подвел к этому. Я не только на него зла, я, может, в большей степени на нее злюсь. Как будто, кроме него, в жизни нет больше других ценностей. Потерпела бы немного и точно встретила бы свое счастье. Что они явно не были созданы друг для друга, это и слону понятно. И тоже — к нему явилась, а ко мне — нет, даже ни разу не приснилась за все эти три ночи, хоть я плохо спала и все время думала о ней. Все были какие-то кошмары, а она не показывалась. Где она сейчас, хотелось бы знать, существует в каком-либо виде и в каком? Меня не оставляет ощущение, что все-таки она не перестала существовать, не может быть, чтобы совсем исчезла. Такое чувство, что она где-то здесь рядом находится. Ух, аж передернуло всю, как будто током ударило. Лучше об этом не думать, недаром же это запретная тема, и лучше туда не забираться, сразу такой ужас охватывает. Но при этом у меня довольно приподнятое состояние. Боюсь назвать это своим именем, но так похоже на чувство радости, хотя я так переживаю из-за нее. Что это? — неужели пресловутое «хорошо, что не я»? Я пытаюсь быть честной перед собой. Безусловно, хорошо, что не я, не буду от себя скрывать, но плохо, что она. Даже при смерти врага я не стала бы радоваться, я не так чудовищна. Но что же тогда это? Что-то ведь очень

значительное произошло. Очень торжественное. И нет у меня ощущения, что ей плохо. Надо будет пойти ей свечку поставить обязательно. Родители не устроили ей отпевания. Я пойду в церковь, если все это правда, свечка должна ей помочь. И что там еще за ритуал имеется? — отпевание надо заказать или отходную молитву? Кажется, молитву за упокой души. Я должна это для нее сделать, хоть и не люблю всю эту церковную лицемерную атмосферу, и странно, что эта мысль у меня вообще возникла, но тогда значит, что обязательно надо. Если не я, то кто же? И заодно попрошу у нее помощи. Раз уж все равно она уже там, наверняка она теперь знает все будущее, и ей сейчас оттуда все виднее. Как бы не забыть, когда она мне приснится, нужно спросить, как мне быть с этим моим, почему у нас отношения не складываются? Пусть она скажет мне, что мне сделать, чтобы он больше не выпендривался. Гад все же такой, за эти дни ни разу не позвонил. Интересно, он знает, что со мной случилось? Нет, наверное, не такой уж он отъявленный негодяй, чтоб узнать, что погибла лучшая подруга, и даже тогда не позвонить. Даже с посторонними людьми так не поступают. Хотя он на все способен. Я уже любой пакости от него жду. И за что я его так полюбила? Надо будет спросить у его друга, знал ли он, если нет, тогда друг передаст точно. Я даже не спрошу, а просто скажу, что случилось, тогда он сам проговорится, были они в курсе или нет. Скорей всего, нет. Пусть тогда он увидит, какое горе было у меня, и я даже тогда не сочла нужным позвонить и попросить утешения. Пусть знает, что я могу в одиночку справиться с таким ужасным горем, пусть убедится окончательно, какая я гордая и сильная, не то что эти двуличные бабенки, с которыми он привык иметь дело. Господи, сколько мне выпало за

последнее время, ведь я могу и не выдержать! Еще и она ко всему прибавила. А он, надеюсь, почувствует, что ведь это я могла оказаться на ее месте, вот тогда бы он понял, что наделал. — Ну что, налить тебе еще?

О, это ты опять! Как меня все это заворожило, что я опять о тебе забыла. Но, оказывается, я и о себе забыла. Хотя это не аргумент, о себе при жизни я помнила реже, чем о тебе. Я же почти никогда не осознавала себя! Как странно. Пока не появился ты, других я осознавала еще меньше, чем себя. В каком тумане прошло все то, что называется жизнью. Как какой-то бредовый сон. Господи, чем я была занята все время? Но даже когда ты появился, сон не кончился. Только на миг я проснулась, чтобы погрузиться в другой сон. Кажется, я только сейчас понимаю, насколько на все смотрела сквозь призму тебя. Каждое событие и намерение преломлялось в тебе на спектры, и что-нибудь бесцветное, пройдя через тебя, приобретало все мыслимое богатство цветенья, многое из серого вообще не отражалось, а черное начинало фосфоресцировать неземными смыслами и переливаться антрацитовыми гранями, из пугающего превращаясь в манящее, становясь вызовом. А что-нибудь яркое могло распасться на вызывающие зевоту составляющие. А она хоть и думает о тебе, но совсем по-другому, не так, как я привыкла. Но она тоже не смотрит прямо, а пользуется каким-то своим, чуждым мне прибором. Теперь мне что же, нужно учиться им? Мне же казалось, что мы с ней все так одинаково видим. А она и тебя видит совсем другими глазами, я бы в такого, каким она видит, не влюбилась. Господи, конечно, другими, все глаза другие, моими уже никто не увидит. Даже я все уже вижу не своими глазами, а чужими или еще чем-то вижу, но это уже не глаза, конечно, и все мне теперь поэтому видно по-

другому. Мне лично ее точка зрения не нравится, мне в ней не по себе, а вот та точка зрения, которая мне открылась сейчас, — ничего так, даже интересно, хотя это уже и не точка зрения, наверное, а кругозор, что ли? Я опять заговариваюсь. Мне совершенно не по себе, это точно. Трудно опять привыкать к телесным ощущениям, насколько было легче без них. И как только бедные люди живут. Кажется, поняла, в чем дело, — это была резь в желудке. От нее и было ощущение дискомфорта. Я еще и потому не могла долго сообразить, в чем дело, что у меня ее никогда не было, не с чем было соотносить. Или у меня она тоже была? Уже ничего не помню. Нет, точно не было. И еще она об этом не думает словами, а то бы я услышала, то есть прочитала, или не знаю, как я там все воспринимаю.

Опять ты за свою рефлексю, а тем более чужую, принялась. Даже сейчас не могу угомониться. Вечно эта рефлексия мешала мне жить, а тем более сейчас в ней есть что-то неприличное, воровское. А может, это опять не я, это она думает? Как мне разобраться? Нет, сейчас уже точно я думаю. Это очень просто — когда я в ком-то или в чем-то другом, у меня не возникает вопроса, я это или не я. Но теперь я опять не воспринимаю разговора. Опять придется забраться к ней. — А если потом будет больно выходить из этого? Из чего из этого? — Ну, из нее, ты прекрасно понимаешь, что я хотела сказать, не корчи из себя наставницу, мне и так несладко. — Это все оттого, что ты неверно поступаешь. Не соответствуешь тому, как надо. Смотри, до чего ты ее довела, она сидит в прострации. — Да, вижу, ее тогда аж передернуло. — Это было, когда ты из нее наконец выбралась. — А она тоже слышала все, что я чувствовала? — Конечно. — Но она ничего по этому поводу не думала, насколько я могу быть в курсе. — Ей

было не до этого, она была в шоке, чего не скажешь о тебе. Ты, кажется, вполне уже освоилась. — Но теперь я не могу уловить, о чем она думает, я уже слишком со стороны. Смотри, когда она передала соль, у нее даже руки не дрожали, как ни в чем не бывало, то есть как ни в чем не бывала. Я хочу сказать, как никого в ней не бывало. — А она уже ничего не помнит. Чтобы помнить, нужно знать, что происходило. А чтобы знать, нужно отдавать себе отчет в происходящем, то есть осознавать. А она ничего не осознала, считай, что ничего и не было. — Но я тоже ничего не осознавала. — Ты в более выгодном положении. А потом у тебя есть я, в случае чего всегда приду на помощь. — А у нее нет тебя? — то есть своего тебя? — Есть, но она и это не осознает, значит, нет. — А ты и до этого смотрела на нее — на нас — со стороны? — Я всегда смотрю со стороны. — И что, она теперь никогда не вспомнит об этом? — Ей, в отличие от тебя, предстоит еще долгая жизнь... — Да, я тоже это вижу. — Так что у нее еще будет много шансов вспомнить, если она, конечно, ими воспользуется. — А если нет? — Что ты так распереживалась из-за ерунды, я не пойму, опять тебя не в то русло заводит. Не волнуйся, могу тебя утешить — она это вспомнит в любом случае, когда окажется в твоей ситуации. — Я лично ничего такого не вспомнила. — У тебя и не было ничего такого. Сейчас важны другие вещи. Я вижу, тебя опять притягивает их разговор, и ты уже знаешь, что как только начнешь прислушиваться, то опять сольешься с кем-нибудь. Я бы вообще советовала тебе уйти поскорей отсюда, но понимаю, что у тебя пока нет сил. — А они появятся? — Да, когда ты разрешишь проблемы, которые тебя связывают. — А что мне теперь делать? — Слушай разговор. Главное — сейчас ты должна противостоять желанию попасть в

него. — Да, я это и сама знаю. Мне страшно услышать, что он обо мне и вообще думает. Вдруг все это тоже окажется не так, как я себе представляла. — Может оказаться намного лучше, чем ты представляла, не в этом дело, — ты слишком привыкла в нем жить — ты сама это увидела, когда пересматривала свою жизнь, и ты не захочешь из него уходить, ты слишком к нему привязана. Тебе еще предстоит порвать все свои связи с людьми, и в первую очередь — с ним. — Зачем? Я понимаю, мне нельзя в нем жить, я это понимаю, уверяю тебя, понимаю, хотя могла бы возразить — ведь раньше я уживалась в нем? — но не буду, потому что понимаю, о чем ты говоришь, но зачем же рвать? Мы будем любить друг друга и после смерти — такое бывает, я знаю! — Ладно, ты потом поймешь. Чтобы понять, надо быть готовым к этому. — Может, я уже готова? — Раз спрашиваешь, значит — нет? — Безусловно! — я знаю одно — я никогда не буду готова этого понять! — Слушай лучше разговор. Слушай, слушай. Ты разве еще не поняла, что они все сейчас только для тебя говорят? — Вот еще, они все уверены, что меня совсем больше нет! — Прислушайся, как они говорят! — неужели ты не чувствуешь? Они подавлены, устали, у них нет сил говорить, но посмотри, как они преодолевают себя. Ты должна быть благодарна им за усилие — это их дань тебе. Слышишь, с какой несвойственной им торжественностью они говорят о любых пустяках? И как преувеличенно громко — словно рассчитывают быть услышанными кем-то помимо их собеседника, кем-то, кто, быть может, находится в соседней комнате? — или наблюдает из зрительного зала. Ты забыла, что так нарочито громко люди говорят только для третьего. Когда хотят быть услышанными им и при этом скрыть, что знают о его присутствии. — Но

они же не знают, что я здесь! — Просто не отдают себе отчета. Что-то в них знает и это что-то заставляет их говорить таким образом. Это их способ прощания с тобой. Поэтому ты должна внимательно выслушать каждого, что бы он ни говорил и как бы ты к нему не относились. И пока он говорит, ты должна со всей проникновенностью, на которую только способна, попрощаться с ним — это и называется разорвать связи. Именно в эти минуты процедура будет наименее болезненной. — Ну, посмотрим, у меня впереди теперь уйма времени, всегда успеется. — У тебя больше нет времени. — Как это так? Я так понимаю, у меня впереди теперь вечность. — Тебе так казалось и при жизни, теперь ты понимаешь, как ты была не права. — Да, у меня его оказалось слишком мало. — Его всегда бывает достаточно. — Не поняла. — Оно дается в достаточном количестве, если им правильно пользоваться. Если же им разбрасываться, как это делала ты и как делает большинство людей, то никакого времени не хватит. — Но теперь-то? — разве я сейчас оказалась не в вечности? — Оказаться ты сейчас можешь в самых непредсказуемых местах, а время уже кончилось, вместе с дыханием оно появляется и исчезает. Поэтому пока ты здесь, сумей попрощаться. Ты еще не понимаешь, насколько все серьезно. Времени нет, но есть понятия — не успеть и пропустить. — Я думала, что они существуют в связи с временем. — Нет, теперь они существуют только в связи с личностью. И чтобы она не исчезла совсем или не оказалась не в том месте, важна последовательность шагов в нужном направлении. Вернуться и исправить ты уже не сможешь, как могла в большинстве случаев, когда было время. Здесь не бывает черновиков и набросков, что-то делается или не делается раз и навсегда. Ты упустила время, еще когда оно было, и здесь

тем более оно не придет тебе на помощь. Или ты начинаешь действовать, или рассыпаешься в прах. — Довольно банально звучит. — У тебя нет времени на умствования, они тоже привилегия времени. Пойми, у тебя больше нет времени. — Что же у меня есть? — У тебя остался путь. С которого ты уже достаточно сбилась. — То есть я уже не там окажусь? — Зависит, что для тебя там. — Я не хочу в прах. — Можешь и не совсем в прах. Выбери первый попавшийся предмет, который приглянется, и никаких тебе больше усилий, будешь прозябать в нем полусонно. — Какой предмет, о чем ты? — Ну, самый долговечный предмет из находящихся в этой комнате — столовые приборы. Выбери любой, и тебе больше не надо действовать. — Но чем же мне действовать? У меня больше ничего не осталось. — У тебя осталась ты. Действуют всегда собой. Все остальное — не действие. — Не знаю, на что решиться. Как ты считаешь, я уже отстала от пути? А вдруг я окажусь в месте, худшем, чем прах? — Прах — это ничто. Ничто лучше, чем ад. — Я знаю, что рай мне так и так не светит. Я наверняка попаду в ад. — Беспокоиться, когда ты беспомощен, — это и есть настоящий ад. Если это твой выбор, то ты на верном пути. Сделай еще усилие в этом направлении, и уже никакая сила тебя оттуда не вытащит. — Я выбираю эту вилку! АА-ааа!

— Простите, я вас испачкал, боюсь? — Ничего страшного, главное, чтобы она была не в масле. — В масле? — нет, я, кажется закусывал пока только солеными огурцами. — Ну, это чепуха, и следа не останется. Я сейчас только просушу салфеткой. Ну вот и все. — Да, что-то у меня руки трясутся. — Да, ничего. Говорят, что это такая примета. — Какая? — Ну, насчет вилки я не уверена, но говорят, что когда падает

нож, надо ждать в гости мужчину, а когда ложка — женщину. — Да, а когда вилка — выходит, гермафродита или сатира с трезубцем. — Ха-хаха, ну у вас и фантазия. Простите, но я слышала ваш разговор с соседкой слева, это очень интересно, о чем вы говорили. — А о чем мы говорили? — Ну, о той женщине, к которой приходил умерший муж. — Ах да. — Дело в том, что у меня не праздный интерес. Я сама недавно нечто подобное пережила. — Что вы говорите! — Да, я, в общем, еще никому не рассказывала, слишком все было личным для меня, но сейчас мне бы хотелось с кем-нибудь поделиться этим. Тем более, я знаю, что вы были с ней... у вас были с ней ... ну понятно, и вам, может, это даст какую-то зацепку, покажет путь, что ли... Но вы как-то странно реагируете, если вам неприятно, я не буду ничего говорить. — Извините, но мне как-то не по себе от всех этих мистических историй, можно сказать, уже крыша едет. Вот у меня сейчас создалось впечатление, что вилка сама вырвалась из моих рук, причем с какой-то нече... невилочной силой. Эдак скоро тарелки начнут летать по комнате, вампиры из углов выглядывать... — Извините за прямоту, но вы много пьете и совсем не закусываете, как я успела заметить. — То есть вы хотите сказать, что мне следует ждать не привидений, а зеленых крокодильчиков? — Я сама против всякой мистики, я и в Бога не верю, и то, что я недавно пережила, не имеет к мистике никакого отношения. — У вас тоже муж умер? — Нет, слава Богу! У меня его уже нет, но он совершенно живой. — ? — Он теперь женат на другой женщине, и тьфу-тьфу-тьфу, с ним все в порядке. У меня недавно умерла мама. Она была очень уже старая и давно болела, и у нас с ней были довольно натянутые, я бы даже сказала, очень прохладные отношения, и я никогда не думала,

что буду так тяжело переживать ее смерть. Но так случилось, что за год до смерти она приснилась мне, такая умиротворенная, какой я ее никогда не видела, и созерцание ее такой доставило мне во сне большую радость, я весь сон смотрела на нее и радовалась, и только в минуту пробуждения перед моими глазами стала надпись печатными буквами, готическим шрифтом: «А ведь она умрет в этом году». Я проснулась и попыталась отогнать этот образ от себя, я знаю, что мысли притягивают события, но никак не могла забыть. А когда она все-таки умерла... — От чего? — От рака. — М-да. — Она очень мучилась, у нее были ужасные боли, это тянулось целый год, и когда она умерла, мне приснилось, что я пришла к ней домой и вдруг вижу, что у нее дома ужасная грязь — незаправленные постели, невымытые тарелки, мусор кругом, какие-то лужи грязной воды в ванной, — а надо сказать, что она при жизни была чрезвычайно аккуратной женщиной, даже слишком, и меня все это удивило, и я принялась за уборку, но только я приступила к работе, как мама гневно мне сказала, что меня никто об этом не просил и чтоб я все оставила так, как есть. Я взглянула на нее и увидела, что она счастлива. И я успокоилась и проснулась с ощущением, что ей там хорошо. Знаете, меня теперь посещает порой крамольная мысль о том, что вся ее страсть к порядку была надуманной, она себя постоянно держала под жестким контролем, а тут разрешила себе быть такой, как ей хочется. Для меня это было настоящим откровением. До этого сна я очень мучилась от чувства вины, что у нас никогда не было теплых отношений, она сама, конечно, была виновата, она на меня очень давила в детстве и была вообще очень сухой, прохладной женщиной и, знаете, такой чистоплотной, что доходило до болезненности. Она как начи-

нала с утра что-то там скрести, мыть, натирать, так до самого вечера не останавливалась. А в этом сне я увидела, что ей все это было несвойственно от природы, что она делала ежедневно героические усилия над собой, а в действительности ей хотелось жить совсем по-другому. Может, если б она дала себе волю, то и вообще была бы добрее. Она в этом сне вроде дала мне знак, что ей хорошо там, где она находится. Хотя я, конечно, не верю, что есть тот свет, но ей, я теперь знаю, наконец стало легко. Вы можете смеяться надо мной... — Ну что вы! — Но я почему-то уверена, что она где-то находится, не знаю, в каком виде, и ей наконец-то стало легко существовать, она сняла с себя бесконечные вето, которые сама и наложила. Не знаю, понятно ли я изъясняюсь. — Мне кажется, я понимаю, что вы хотите сказать. У меня нет никаких теорий об этой стороне жизни, поскольку я никогда не задумывался, ну, скажем так, серьезно, но, если говорить о каких-то взглядах, я был стихийным материалистом, хотя я и идеалист по большому счету, но тут я предполагаю, скорее, разделяю точку зрения о том, что «пока мы есть, смерти нет, а когда пришла смерть, то нас уже нет». Мне бы хотелось, я бы рад думать по-другому, но у меня пока нет оснований. — Я вас понимаю, я тоже так думала и думаю еще, но тем не менее сейчас я убеждена, что мама где-то есть и что ей там хорошо. Не потому, что она моя мама, поймите меня правильно, я еще раз повторяю, что при жизни у нас, к сожалению, сложились очень натянутые отношения, мне почти никогда не хотелось ее видеть, потому что она всегда давила на меня, считала меня своей вещью и часто хотела просто сломать, мы стали совершенно чужими людьми, но я не знаю, как мне обосновать свою уверенность, мне самой эти мысли кажутся дикими, но это так.

— О, как там мама? Теперь я о ней забыла так основательно. — Ну, еще бы, ты и себя-то не помнишь, куда уж там остальных. — Его-то я помню все время. — Это тебе так только кажется. Ты его чаще вспоминаешь, может, и чаще, чем себя, но вспоминаешь ты не его, а его как палочку-выручалочку, чтобы ухватиться за что-то плотное и не погрузиться. — Куда? — Туда, куда тебе следовало бы погрузиться уже давным-давно, чтобы наконец найти себя. Тогда бы ты и себя помнила, и других бы ощущала без всяких усилий одновременно. — Но сейчас я вспомнила про маму. Мне все же хочется посмотреть, как она. Но ее нет в комнате. — Так иди к ней! — Как?! А, вот она. Удивительно, что я так сразу ее нашла. Ее положили — или она сама улеглась? — в мою кровать. Если бы я пошла ее искать, я вначале заглянула бы в их спальню. Темно здесь как. И душно. И болит. Почему я подумала, что темно? Совсем даже нет — уже рассветает. А, наверное, была ночь, а теперь утро. Это же наша дача! Я и забыла, что мы снова сюда приехали. Ну конечно, ведь опять лето! Я что-то хотела сделать, когда мы сюда приедем. Всю зиму хотела, но что? Что-то во дворе... Мой мячик. Когда мы уезжали прошлым летом, он закатился за перекладину, я не смогла его вытащить почему-то. А ну-ка? — да, он еще там. Сейчас попробую его достать. Совсем не испортился, только немного полинял. Еще бы, в такой грязи пролежал, бедняга. Не обижайся на меня, я тогда хотела тебя выручить, но у меня ничего не получилось. У меня не было времени, они меня торопили с отъездом. Помнишь, как они кричали: «Брось возиться, мы и так опаздываем»? Но я все время вспоминала тебя. Сейчас помою тебя, а заодно и руки, под краном, и мы снова поиграем. Надо проверить, так же хорошо у меня получается игра в

лягушку, или я уже немножко разучилась, как в прошлый раз. Но тогда я еще была маленькой... ох, забрызгала ноги грязью, я забыла, что из этого крана вода выливается с такой силой. Прошлым летом я научилась вовремя отскакивать... Мама будет ругаться. Вон она вышла из дому. Почему всегда так — стоит мне что-нибудь натворить, и она тут же появляется! Сейчас начнется. Почему она так долго молчит? Странно — она улыбается. Не замечает заляпанных носков? Тогда можно немного поиграть. Ой, что это с моим мячиком? Какой он стал огромный! Он, кажется, увеличивается. Я не смогу его скоро удержать. Это уже не мячик. Это что-то другое. Но такое же круглое. Но по-другому. А, понятно, я теперь внутри моего мяча. Ой, он, кажется, лопнул! И все так загорается, и вспыхивает, и сыплется. Сверху. Из купола! — а, тогда мы в цирке! Вот почему мне так весело. Это иллюминация. Какие красивые огоньки! Наконец я попала в тот самый цирк, в который хотела. А то мама всегда вела меня не туда. Вначале, когда мы приходили, я всегда думала, что на этот раз пришли туда. Но потом, после антракта, когда мы уже опаздывали, потому что я долго ем мороженое, не могу, как другие нормальные дети, все делать как положено, мы проходили мимо еще открытых дверей, из которых уже виднелось представление. Мне хотелось туда, в эту дверь, но мама вела мимо, говорила, что это не наша, но тут же появлялась следующая дверь, за которой было еще интересней, я рвалась туда, а мне говорили, что с такими капризами мы находимся в цирке в последний раз. Наша дверь всегда оказывалась самой дальней, и пока мы до нее доходили, мы миновали множество дверей, за которыми происходило — такое! Но мама говорила, что наши места ближе всего из другой двери. Она говорила, что везде, из каждой двери,

видно одно и то же представление, но я-то видела, что везде разное, и гораздо интереснее того, которое я потом была вынуждена смотреть. А где сейчас мама? Вот же, сидит рядом. Я помню, что я ее искала. Но не раньше, а потом. Что же я хотела? Я хотела к маме.

Что-то она сегодня вялая. Положила голову мне на колени, не хочет играть. Уж не заболела ли? Нет, лоб не горячий. Почему же у меня так тяжело на душе? Что-то мне тревожно. И хорошо, надо тревожиться. Ее так легко сглазить, я поняла это чуть ли не с самого ее рождения. Если не окутать ее постоянным волнением, как одеялом, не запеленать тревогой, с ней сразу что-нибудь случается, заболевает или попадает в какую-то историю. И еще очень полезно детей гладить, ласка тоже защищает детей, как та старушка мне сказала в скверике, я теперь не забываю. Какие у нее мягкие волосики. И опять меня захлестывает эта животная нежность, я и забыла это чувство. Давно я не гладила ее по голове, с тех пор, как она перестала быть маленькой. Потом она уже не давалась. Как хорошо, что она снова ребенок. Я не думала, что успела так по ней соскучиться. Но почему я ее так страстно ласкаю? Как будто не своего ребенка. Как будто давно ее не видела. Как будто тайком. Не нужно об этом думать. Как будто я перед ней в чем-то виновата! Нельзя... Как будто в последний раз! Ах, зачем я об этом подумала! Сейчас я все вспомню. Как же я могу гладить ее по голове, ведь она у нее разбита! Какой ужас! И она не такая теперь маленькая. Она же выросла. О, зачем я вспомнила, ведь было так хорошо! Она уходит... Как быстро! Мы не успели как следует побыть вместе. Но она удаляется, как будто в воронку засасывает. Этого уже не остановить. Подожди! Доченька! Вернись еще хотя бы на минутку! Слышишь

меня? Я больше не буду! Доо-оченька! Как она на меня укоризненно посмотрела! Ах, есть за что... Мама! Не укоризненно! Мама, я здесь! Я по-прежнему здесь! Ну почему ты меня больше не видишь? Тебе мешают твой страх и твои мысли, мама, я вижу. Они заслоняют меня дымкой. Перестань думать, мама! И перестань плакать, не то у тебя не будет сил меня видеть. Мама, ну перестань же, я здесь, мне тоже одиноко. И страшно. Не только тебе. Ма-ма! Она не хочет меня больше видеть! Ей легче плакать. Ну да, для этого нужно немалое мужество. Не будь такой злой, неизвестно, кому тяжелее. Но что же мне делать? Мне так страшно. Она так плачет! Нет, не от этого. Не только. Здесь так темно! Нет, не то. Я не вижу выхода! Опять не то. Я сама боюсь нечто увидеть. Теперь верно. — Здесь кто-то есть еще, кроме нас двоих. Но этого не может быть! Вон там, в углу. Ребенок. Как она сюда попала? Она мне кого-то напоминает. Где я ее уже видела? Это ведь она на меня смотрит. Я вижу себя ее глазами — вот я стою, вся в белом. Странно, у меня никогда не было такого наряда. Но это я, безусловно. Значит, и мама может меня видеть. Надо сделать еще попытку. Подойду к ней поближе. Нет, не получается. Она слишком предается своему горю. И это горе такое материальное. Но все мысли, которые во мне возникают, явно не мои. Так и так все мысли никому не принадлежат, их можно выразить, можно присвоить, но нельзя родить, ты убедилась недавно, что они самостоятельные сущности, появившиеся, возможно, раньше нас, но уж наверняка раньше людей. Я хотела сказать, что не я сама до них дохожу, а кто-то сознательно мне их передает. Я могу объять много мыслей сейчас. Здесь я безмерна. Настолько, насколько решишь себе позволить. Хотелось бы знать, были ли такие,

которые позволили себе увидеть все? И не только увидеть. Если да, представляю, через какие узкие отверстия им пришлось пройти, чтобы настолько расшириться. Это неправильное определение, не подходит к земной логике. Зато уживается в местной. Или пусть — насколько невесомыми, легкомысленными им надо было стать, чтобы проникнуть сквозь незаметные трещины тех твердокаменных скал, которые они для себя выбирали. Или — какие же несокрушимые, цельные преграды перед ними вставали, что им, решившим не сворачивать с пути, приходилось стать до такой степени прозрачными, чтобы пропустить их через себя и не разбиться. Прозрачней чистого стекла бывает только горный воздух. Я не забралась так высоко, иначе я бы уже не видела их. Что-то меня здесь держит. Мама? Этот сероватый поток, который из нее выходит, эта эманация, выделяемая ею. Она разрастается, принимая форму, образуя щупальцевидные отростки, которые, ощупывая все в пределах досягаемости, могут собирать информацию, недоступную другим органам человеческого восприятия. Они проникают дальше интуиции — самого дальновидного человеческого прибора. Пока эти эманации продолжают высвобождаться из тела, они в состоянии поддерживать обратную связь. Направь она этот поток на меня, ей было бы очень просто меня увидеть. Но она пустила его на свои переживания. То есть переживания, кажется, сами вытягивают его на себя и поглощают. Получается, что мы служим пищей для переживаний, а не наоборот, как люди думают. Они как будто такие черные бездонные пятна, то есть сгустки. Я помню, что сгустки не могли быть бесконечными. Тем не менее сейчас это так. Все так просто. Их ровно столько, сколько человек может из себя выдавить в данный момент. И если они

не попадают в добычу к переживаниям тут же, то на какое-то время остаются связанными со своим индуктором. Если он вдруг догадается, что ими можно пользоваться — они прирастут к нему и станут постоянной проводящей сетью. Если же нет, они отпадают, превращаясь в готы, ждущие благоприятных условий. Но что-то мешает мне спокойно продвигаться по этой извилистой тропинке, проложенной лазутчиками-мыслями. Форма, в которую я сейчас уложилась, тоже была дана мне в готовом виде, но мое состояние полностью в нее укладывается. Она является одним из немногих известных сосудов, в которых можно содержать подобные состояния. Но что же меня на этот раз отвлекает? Опять какое-то беспокойное свербление. Что-то меня тащит обратно. Покориться? Ну ладно, вряд ли там есть какая-то опасность. А, это меня тянули мысли о девочке. Но что это за ребенок? Как она сюда забрела? На такие сборища чужих детей не водят и не оставляют их без присмотра. Она кого-то мне напоминает. Может, это дочка одного из моих друзей, но я ее еще ни разу не видела? Но кого же? Больше всего она напоминает мне меня. А вдруг она могла бы быть моей дочкой? О, Боже! А ну-ка: двадцать четыре минус пять... Нет, не получается. Даже минус четыре не получается, рановато. Господи, да это же я! Она вышла из маминого сна! Или я вышла из нее, а сон продолжается. Все, что от меня требуется, — это стать снова ею. Где же мама? Больше всего мне хочется уткнуться ей в колени и забыть обо всем. Мама всегда находит выход из любого положения.

Девочка моя маленькая, что-то ей взгрустнулось. Пора бы уже ее подстричь, ужасно лохматая, не любит причесываться. Но длинные волосы ей так идут. Так она обычный ребенок, длинные волосы очень ее

красят, особенно если их распустить. Они у нее пока еще светлые, но с годами, наверное, потемнеют. Говорят, чем чаще стрижешь волосы у детей, тем больше они темнеют. Не знаю, правда ли это. Но почему я ее так жадно ласкаю, ласкаю и не могу утолиться? Почему меня так душит жалость? С ней ведь все в порядке, я вижу. Да, сейчас все в порядке, но... я не должна об этом думать. Вот ее головка, и я могу ласкать ее, сколько вздумается. Мне ведь никто не может запретить. Да, но... Нет! Но... ее голова сейчас разбита. Как же так! О, я не должна была об этом думать. Зачем я это сделала! Вот уже не чувствую ее тепла, а такое живое было ощущение, как будто она на самом деле здесь была. Я могла растянуть его, если бы... Вот и ее очертания расплываются. Я так и знала. Я это знала! Подожди, дочка! Не уходи еще, прошу тебя! О, это я во всем виновата!

Господи, как она опять плачет. Это я во всем виновата, не надо было приходиться к ней в комнату. Теперь ее сон с моим исчезновением в конце будет бесконечно повторяться. Но я же здесь, я никуда не делась. Я могу стать любой собой, стоит ей захотеть, ведь у меня нет тела. Достаточно ее желания, я знаю, чтобы у меня появилась любая форма, хоть опять пятилетней девочки. Но она уже начала думать — она больше не может видеть. Лучше мне уйти, чтобы она успокоилась. Она же чувствует мое присутствие. Ты просто хочешь смыться, чтоб не смотреть на ее страдания. Нет, я уйду, чтобы не волновать ее. Мама! Мама! нет, напрасно, она меня не видит. Странно, я вроде вижу себя. Вот руки, такие немножко просвечивающие, но это определенно мои руки, очертания те же, какие я привыкла всегда видеть. Но я вижу их не из себя, как было раньше, а со стороны. Это мама на меня смотрит, наверное. Нет,

она сейчас совсем отвернулась от меня и глаза закрыла. Надо же, я вижу, что у нее глаза закрыты, хотя она лежит спиной ко мне! Господи, эта девочка все еще здесь! Она присутствует в этой комнате совершенно независимо от меня или от мамы. Она дичится, сжалась в комочек в уголке. Ее напугала обстановка? Или она тоже из царства теней? Нет, она явно живая — ей удастся вытворять такое с моим обликом, что под силу только живым. Она меня вытягивает то в длину, то в ширину, а одежда и прическа просто в постоянном движении, никак не устоятся. Значит, то, что я видела до этого, была не я, а ее представления. Ведь сейчас я вижу себя ее глазами? Точно, оттого и ракурс такой, как если бы смотреть из ее угла, а я бы, или, скорее то, что она видит, стояло бы рядом с этим шкафом. Но шкаф-то как раз она и не видит. Она ничего больше не видит, кроме меня, даже маму. А с чего я заключила, что девушка, которую она видит, — это я? Я нахожусь сейчас рядом с ней, а смотрит она совсем в другую сторону. Хотя нет, я вполне узнаваема. Это довольно беглые наброски, но сходство схвачено верно. Потрясающе для пятилетней девочки. Вырастешь — будешь художницей. С каким восхищением и обожанием она смотрит. Вот она опять остановилась на облике в белых одеждах, он мне тоже больше всего импонирует. Это она повторяется или я вернулась в то мгновение? Но как она смотрит! На меня ни один мужчина еще так не смотрел. А если попытаться соединиться с этим образом, то что будет? Что ты делаешь, остановись! Тебе нельзя брать на руки и целовать живого ребенка! Но как же я это сделала? Я ведь ее обнимала и целовала? У меня осталось ощущение детского тела на руках. А она довольно тяжелая для своего возраста! О да, это уже было. Я все вспомнила. Верно, мне как раз было

пять лет. Почему я так точно помню — я еще сидела в туалете, закрывшись изнутри, и мрачно смотрела на очередной новый календарь, приклеенный на дверях поверх старого, и думала — какое совпадение: мне пять лет и на календаре тоже цифра пять выделена красным цветом в один из будних дней — это все неспроста, что-то будет. Да, тогда это мне послужило ощутимым утешением, в котором я весьма нуждалась. Наверное, так плохо, как тогда, мне было всего несколько раз в жизни. Я думала, что на свете нет ни одного человека, способного меня понять и утешить, потому что родители сами были несправедливыми обидчиками, а бабушку мои горести только сильно бы расстроили, и ее беспомощность повисла бы на мне дополнительным грузом, а мне уже и так хватало горя. Да, я еще тогда подумала, что нехорошо думать о бабушке, сидя в туалете. Хотя я в ту минуту ничего такого там не делала, а пошла туда, чтоб просто уединиться, но само место было недостойно мыслей о ней. Родители, наоборот, заслужили, чтобы я о них думала в таком месте, но мне не хотелось дальше расстраиваться, и я стала думать, о чем бы таком подумать, чтобы не о них. И тут мне вдруг подумалось, что такой человек, который бы мог меня не только полностью понять, но и утешить и ободрить, не исключен. Это возможно, но невероятно. Это могу быть я же сама, но только взрослая, красивая и довольная, вопреки всем. О, как бы я себя поняла. Я бы не сказала: а, это все ерунда, есть вещи поважнее, все пройдет, это детские глупости, не стоит обращать внимания. Она бы сказала: бедная девочка, как я тебя понимаю, я не собираюсь тебя предавать в пользу взрослых, я все помню, как тебе плохо, ты думаешь, что хуже не бывает, и не знаешь, что делать, и никому больше не веришь, и ты думаешь, что тебе

никогда-никогда после всего этого уже не может быть хорошо, — самые близкие люди с тобой жестоко обошлись, и ты не сможешь больше никому верить. Я все это помню, и мне совсем не смешно и не стыдно, что ты так думаешь, хотя мы понимаем, что это слабость, но я люблю тебя и принимаю всякой. Всякой?! — Ну конечно, и посмотри на меня — мы все это благополучно пережили, и посмотри, какая ты стала замечательная, несмотря ни на что. Но она должна быть очень взрослой и все равно понимать меня, тогда я поверю. Скажем, аж сорокалетней. Мне же ничего больше не надо — только чтоб она пришла и сказала, что все понимает, и чтоб я только на минутку увидела, какой я буду. А что, если я сейчас ее всю до мелочей представлю, увижу глазами — она тогда сможет появиться — почему бы нет? Ведь она должна помнить, как я ее хотела увидеть, — смотри, не забудь к тому времени, всегда напоминай себе, чтобы не забыла. И даже если я тогда уже ни во что такое не буду верить, все-таки надо постараться, ведь если мы одновременно сложим усилия, что-нибудь может получиться. Главное, чтоб это было одновременно. Надо только сейчас выбрать возраст и именно в этом возрасте сделать встречное усилие. Значит, сорок. А теперь постарайся увидеть ее. Нет, не могу ничего увидеть и взамен ее ничего не вижу, только белая дымка. Столько времени прошло, наверное, невозможно так далеко видеть. А почему сорок? Можно выбрать другой возраст, пораньше. Например... двадцать пять. Очень хороший возраст. Уже совсем взрослая и еще молодая. А во что я буду одета? Конечно, по самой последней моде. А как же узнать, какая тогда будет мода? А пусть она будет во всем белом — это всегда красиво — в белой развевающейся юбке, в белой блузке, в белых перчатках. И белая

сумочка висит на плече. И волосы по плечам — это тоже всегда модная прическа. Но люди не ходят постоянно в такой одежде. Почему она так оделась? Может, она невеста и это ее свадьба? Может быть. Но она не сможет в эту минуту думать обо мне, а тем более делать усилие, чтоб встретиться. Она будет слишком взволнованна в такую минуту, сама понимаешь. Ну что ж. В таком случае я никогда не выйду замуж. Очень надо! Я просто всегда, ну ладно, довольно часто, буду ходить в белом. Ведь я буду уже взрослая, и мне никто не сможет указывать, что мне нужно носить в двадцать пять лет. Я буду слишком часто надевать белое и как-нибудь подумаю: а что это я все время хожу в белом? — и тогда-то я все вспомню и мы встретимся.

Ох, что же это было? Неужели показалось? Нет, точно было. До этого я сидела на унитазах, а потом она меня подняла вверх, какая она высокая, выше мамы, теперь я не сижу, я стою. Ох, у меня ноги подгибаются и живот сводит. Если бы они так внезапно не стали стучаться в дверь и кричать, что я опять размечталась, мы, может, еще успели бы поговорить. Мне так много нужно было у нее спросить. Хотя и так все понятно и хорошо. Они опять стучатся. Что же им надо от меня? Ответь что-нибудь, чтобы успокоились. А то сейчас дверь взломают и тебе опять влетит. Ну, что-нибудь, скорей. Сейчас, сейчас я выйду, у меня живот болит! Сейчас открою, подождите! Ну вот, отстали наконец. Теперь можешь смело выходить и жить дальше. Не забудь пошуршать бумагой и спустить воду. У нас все будет хорошо, я это видела. Она выглядела так, как надо. Ох, неужели я и вправду стану такой красавицей! И во всем остальном у нее все в порядке, это видно. Все, надо выйти, а то сейчас опять начнутся крики. Только смотри, никому не проболтайся. Это

наш секрет. Если кому-нибудь скажешь, то ничего не произойдет. Да, я знаю. Ее больше нет здесь. Она тоже исчезла внезапно.

Как хорошо, что я тогда не догадалась, что меня больше нет в живых. Я бы не смогла объяснить, что это не страшнее, чем жить. Вовремя же они постучались. Хотя всегда все происходит вовремя, давно пора понять. Вот почему я не смогла увидеть себя сорокалетней. Но и сейчас она мне дала на год больше. Смешно. Я уже тогда поняла, но не хотела себе признаться. Даром что маленькая. Именно потому, что маленькая. Это все как раз естественно. Непонятно другое — за всю жизнь я не вспомнила об этом случае, хотя дала себе слово помнить, и ни разу не одевалась во все белое, а сумочек и перчаток даже в руках не держала. Как я могла забыть? Потом, когда я уединялась в туалете уже с книгой и раздумывала предварительно, какого автора допустимо брать туда с собой, а какого кощунственно, даже тогда во мне не всколыхнулось ни разу воспоминание. А может, и вспоминала, и не раз, а теперь не помню, что вспоминала. Но если я такую существенную вещь могла забыть, то сколько же всего я не помню. Но с тех пор, как я умерла, я вроде помню все. Не так уж давно это было, нетрудно проследить весь ход событий. За исключением некоторого промежутка между аварией и моргом. Сейчас проверим... так, так, а потом... да, а потом было то, и потом еще... да. Да, а вот этого не припомню. А было ли это? Было-то было, но между чем и чем? Я еще раздумывала, возвращаться ли оттуда или остаться, но куда я вернулась? А было такое странное место, вроде здешней пустыни, ну примерно. И по ней вместо кактусов разбросаны какие-то предметы, смутно узнаваемые тобой, хотя в жизни ты их не видела никогда. Я их тогда не описала

себе, просто воспринимала и все, теперь даже фотографически не воспроизвести, настолько непосредственно я им внимала. И только когда ты увидела что-то вроде лежащей на согнутых руках и ногах обнаженной женщины, выполненной из незнакомого материала, — он хоть и был непрозрачный, но угадывалось почему-то, что изнутри она абсолютно полая — ни костей, ни внутренностей, ничего, даже этого самого материала нет, а вместо головы у нее был старый медный чайник, как бы из нашего мира — то есть того, в котором ты привыкла находиться до этого, но чем-то отличающийся, ты не успела подумать, чем, а из чайника, как из земли,росло нечто вроде полыни. И когда ты вспомнила про старый мир и осознала, что ты и то, что ты видишь, — не одно и то же, ты вспомнила себя и смогла запомнить то, что видела. Я тогда еще подумала, что Пикассо — удивительно, до чего некоторые имена не забываются, — которого ты, кстати, не любила, считая, что он слишком умствует, на самом деле побывал в этом месте, ну, может, стоял у другого «кактуса» и все очень честно написал, а твой любимый Дали — ты это тоже тогда поняла — ни в одном из этих мест не бывал — видя одно, можно составить представление о всех других, они тоже подчиняются определенным законам, которых я уже не помню, — и все, что он нарисовал, он придумал, исходя из рассказов других людей, из рассказов, не всегда правдивых, мягко говоря.

Как внезапно я здесь оказалась. Кто-то произнес вслух мое имя. Оно действует, как магическое заклинание. Какой властью надо мной оно обладает, а ведь совсем недавно я могла бы поклясться, что уже его не помню. Оно так грубо вырвало меня из моих воспоминаний. Вряд ли произнесший его понял, что он наде-

лал. Нельзя на него злиться. Всем, наверное, приходится через это проходить — они же не понимают, какая сила — имя. Я тоже не понимала. Вот этот голос его произнес — невозможно ошибиться. — Мне об этом ничего не известно. — Ну как же так! Хотелось бы мне знать, есть ли тут человек, которому хоть что-то известно? Кого ни спрошу, никто не в курсе. Спросил ее этого самого — так он вообще сделал круглые глаза и ничего не ответил, можно подумать — он просто сюда заглянул цветочки понюхать. Была б другая ситуация — с наслаждением заехал бы ему в морду. И половине гостей заодно! — Чего ты орешь? — А чего вы тут расселись? Кого-нибудь волнует, что там произошло на самом деле? Или она была пьяная? — скажите, и я буду молчать по примеру остальных. — Ну, пьяной она не была, это я вам точно могу сказать — она от нас выезжала. — Тогда, может, вы мне скажете, девушка, что там произошло? — Насколько мне известно, следствие еще не закончилось. — Значит, ведется следствие? И вы разговаривали со следователем? — Да. — Да? Не смотрите на меня так сурово, может, я нарушаю какой-то этикет, но поймите меня тоже — она умерла, а все сидят, ничего не предпринимают, у меня руки чешутся... — А что вы теперь сделаете? Ее-то не вернуть уже. А с остальным следствие разберется. — Как же, разберутся они! А то вы не знаете, как они разбираются! Но вы лично разговаривали со следователем? Ах да, вы мне уже ответили, простите. И что он говорит? — Ну, во-первых, они провели экспертизу, которая установила, что ни алкоголя, ничего другого у нее в крови не было, — естественно, я это подтверждаю, она почти весь день просидела у нас, и мы пили только кофе и курили сигареты. В противном случае я первая стала бы возражать, чтоб она садилась за

руль. Тем более что накануне опять ударили морозы и ехать и так было небезопасно. — Значит, машина сама потеряла управление? — Следователь говорит, что с машиной тоже вроде бы все было в порядке, насколько это возможно установить. Там вообще какая-то темная история... — Вы мне потом скажите, где найти этого следователя, я тоже хочу с ним поговорить. — Хорошо, скажу, но что с ним говорить, он пока сам ничего толком не понимает. Только как-то все непонятно — она вроде ехала по прямой широкой дороге и скорость не превышала — по следам шин видно, и вдруг — почему-то резко свернула и наехала на грузовик, припаркованный у обочины. — В грузовике никого не было? — Нет. В том-то и дело, что свидетелей не оказалось. — Дорога была со встречным движением? — Да, и более того, слева был перекресток. — Ах так! Все понятно. Я что-нибудь такое и предполагал. Ведь был уже вечер? — Ну да, где-то часов девять-десять. — Все понятно. Обычная история — какая-то сволочь въехала слева и ослепила ее! — Ну что теперь гадать, как оно все было. Благодарение Богу, что она сама никого не покалечила, не взяла греха на душу. Хорошо, что в грузовике никого не было. — Но вы можете представить — он ее ослепил и тут же сбежал! Если бы он хотя бы вовремя вызвал “скорую помощь”, может, ее удалось бы спасти! — Да, там довольно пустынное место, особенно по такой погоде. Машина какое-то время простояла. — Но это все случилось на месте? — По дороге в больницу. Когда “скорая” приехала, она была без сознания. — У-у! Вы представляете, она, наверное, какое-то время лежала, истекая кровью, в полном одиночестве, и никто не приходил на помощь! — Ну это вряд ли. У нее была серьезная травма головы, скорей всего, она тут же потеряла сознание. — Но эта скотина, что сбежала, даже не по-

звонив в “скорую”! У-у. Я вам обещаю, что я его найду. — Это как же ты собираешься найти? — Спорим? Найду суку — у меня сейчас такая ненависть к нему, что чутье меня не подведет, — найду, как по запаху, моя ненависть выведет на него. Брошу все, целыми днями буду ездить по городу, пока не почувствую — вот он. Вот тогда урод десять раз пожалеет, что не сдох в ту минуту, когда ослепил ее. — Но это не вернешь! И потом, я думаю, она не хотела бы мести. — Я ее хочу, неужели ты не понимаешь? Неужели вы все можете спокойно жить, зная, что подонок, который ее убил и оставил истекать кровью, спокойно продолжает разъезжать по городу? И продолжает слепить других? Я его найду. И пусть он тогда не ждет пощады. Вот этими руками... Сволочь! В “скорую”-то мог ведь позвонить? Пускай анонимно! Вот за это я придушу гада! — Ну ладно, неизвестно, как было бы лучше. Вы хотя бы знаете, что с ней было? — А что с ней было? — Ну, у нее была так повреждена голова, что неизвестно, выжила бы она, даже если бы машина “скорой” ехала за ней по пятам. И если бы и выжила, после такой черепно-мозговой травмы все шансы за то, что человек превратится в растение. — Ну и что? Но ведь это была бы она! Вы не понимаете? Боже, какие чудовищные люди! — Ну а вы подумали о ее родителях, им бы пришлось до конца жизни с этим жить. — А теперь им с чем жить? — А что случилось бы, если, допустим, родители бы умерли раньше нее, что бы с ней тогда дальше было? — А мы на что? Неужели бы вы ее кинули? Я бы сам за ней смотрел. — Чепуху вы городите. — Да что с вами разговаривать! — А вы ее спросили? — О чем это? — Да об этом обо всем! — хотела бы она жить в таком виде? Хотела бы она, чтоб вы убили виновника, если таковой действительно су-

ществует в природе. — Да некого спрашивать. Поэтому я буду действовать так, как мне совесть велит. Это вы тут можете сюсюкать: ах, как хорошо, что она сама никого не погубила, ах — то, ах — се... Я знаю только одно — этот козел не сделал даже попытки спасти ее, за это он поплатится. У меня к нему много счетов — что убил ее, что не вызвал помощи, что сбежал, и чтоб впредь nepовадно было. Вы думаете, он на этом успокоится? Раз прошло безнаказанно, он и второй раз не будет осторожен. Вы тут можете чирикать дальше — что бы она хотела, чего бы не хотела... — Я ее хорошо знаю и ручаюсь — она бы не захотела око за око... — Я ее тоже неплохо знаю — как там насчет ока — не уверен, все же она была женщиной, у вас другой подход к таким делам, но зуб дам — она бы так легко не сдалась, будь в ее силах — она бы боролась за жизнь, и не ее вина, что ей не оставили шансов. Зато вы торопитесь на ней крест поставить... — Ну знаете, я понимаю ваши чувства, но это уж слишком... К тому же вы не знаете всех обстоятельств. Голова — это еще не все. В больнице сказали, что у нее еще была сильно повреждена какая-то артерия в бедре, так что, если бы даже она выжила, ей ампутировали бы под корень одну ногу точно, а может, и обе. В таком виде, я думаю, она бы ни за что не захотела жить. — Да, я с тобой согласна — в ней очень сильно было развито чувство эстетического. — Вот. И не знаю, как там насчет вашей к ней любви, моя бы любовь к ней в этом случае выразилась в том, что я не побоялась бы дать ей снотворного в таком количестве, чтоб она больше не мучилась. — Слушайте, давайте поменяем тему, что-то вы совсем заговорились. Я допускаю, что вы оба все это говорите серьезно, от души, но как-то за столом не принято об этом говорить. Нет, правда... Перестаньте. Чернуха

какая-то. Давайте я вам лучше одну байку расскажу, по ассоциации вспомнила. Я тут рассказывала про Клуб Онанистов — ну, вы их знаете — как-то они устроили диспут на тему: мог бы ты спать с безногой женщиной? Спор был очень горячий, но в конце мнения четко разделились на два лагеря, то есть осталось двое спорящих, остальные примыкали к их платформам. Один утверждал, что нет, не мог бы спать ни под каким видом и ни при каких условиях, а другой говорил, что если б он эту женщину знал и любил до того, как это с ней случилось, то он не смог бы ее бросить. А если бы он познакомился с уже безногой женщиной де факто, — он не стал бы в нее влюбляться. — Да, странно, я помню, когда мне было восемнадцать лет, я мечтал встретить и полюбить безногую женщину. — Вы? Действительно странно. — Почему? — Ну не знаю, как-то с вами это не вяжется. Я понимаю, если был бы какой-нибудь задрипанный, зачуханный парень, которому больше ничего не светит, то есть я неправильно выразилась, он только такую бы мог облагодетельствовать, но вы, с вашими данными. — Ну я просто как-то увидел на улице девушку на костылях и подумал — хорошо бы жениться на такой и сделать ее счастливой, посвятить всю жизнь ей, ну, не знаю. — Нет, все-таки странно. Может, у вас какой-то комплекс был, неосознаваемый? — Ну, возможно. — Нет, я все-таки хочу понять, почему именно безногую, — вам казалось, что именно безногие самые несчастные, или они просто не могут убежать, или... — На штаны не надо тратить. — Подожди, я серьезно с человеком говорю. — Ну, как вам объяснить... — Да что там объяснять — это же заветная мечта каждого русского мужика. — Как это? — Да. У каждого русского мужика есть три глобальные мечты: а — это трахнуть безногую женщину, б — трахнуть

негритянку, и в ... — Ну, что в? — Сдаюсь — возможны вариации — мальчика там, собачку, но первые две стабильны у каждого. Скажите, ведь тот, который утверждал, что он ни под каким видом не стал бы спать с безногой, был не русский? — Вообще-то да. — Ну вот видите — А у вас тоже есть такая мечта? — Знаете что, давайте не будем переходить на личности. — Ребята, давайте лучше еще выпьем. Кто будет? — И мне, пожалуйста. — Не забывайте закусывать. Возьмите жаркое. — Спасибо, я мяса не ем. — Ты вегетарианка? — Да, не собираюсь делать из себя кладбище для животных. — Брр, как резко! — А что, неправда? — Я вот тоже вегетарианец. — Сейчас это модно. — Я стал им в пять лет, когда зарезали моего друга-поросенка. — *У меня тоже был знакомый поросенок. — Этот был не просто знакомым. Его Федей звали.* Он был такой умный, когда взрослых не было дома и мы бесились, потом к их возвращению он помогал нам пяточком половички подравнивать. Потом его, естественно, съели. И с тех пор я мяса есть не могу. — А рыбу едите? — Рыбу перестал есть позже, лет в двадцать, в студенческие годы ко мне зашли гости, и я сбегал вниз в рыбный закусочной. Купил свежемороженную рыбу, а когда поставил ее под проточную воду, она вырвалась из рук и стала биться на полу. Потом ее кто-то, конечно, прикончил и почистил, но рыбу я с тех пор тоже не могу есть. — Вы ее хорошо знали? — Кого, рыбу? Ах, ее, простите, — да, мы вместе учились. — Правда? На одном курсе? — Нет, я был старше на пару лет. — Да, как-то неожиданно все это случилось. Кто мог подумать, что именно она... Я кого угодно мог заподозрить в таких намерениях, но только не ее. — Вы иностранец, да? — Да. Что, очень сильный акцент? — Акцент-то Бог с ним, больно забавно вы выразились. Это, види-

мо, прямой перевод... с какого языка? — Ну, наверное, греческого. Хотя я еще несколько языков знаю как родных. А что, я что-то не так сказал? — Да можно, наверное, так сказать, но если только нарочно. Грамматически фраза построена верно. Вот я молчу все время, потому что думаю: уж не намеренно ли она это сделала? — Она? Ну что вы! Она была очень уравновешенным человеком. Я наблюдал ее — можно так сказать? — в очень трудных ситуациях, и она всегда с блеском из них выходила. Даже слишком, я бы сказал. Я устал ее учить — посмотри на других, как они хорошо притворяются бедными сиротками, хотя совсем не сиротки, и получают помощь, а тебя человек даже с хорошим чувством спросит, в чем тебе помочь, ты так высокомерно отвечаешь: «Спасибо, у меня все есть», что даже всякое искреннее желание пропадает. — Ну, не знаю, какие там у вас с ней были расклады, я сам никогда не замечал, что она сиротка. — Нет, я не в прямом смысле. — И я не в прямом. Она ни в каком не была сироткой. — Ну как, вам нравятся ее работы? — Да, очень. А вам что — нет? — Мне как раз тоже очень нравятся, я приобрел две, но посмотрите — она нигде не выставлялась, кроме друзей, ее работы никто не видел, не покупал. А чтоб выставляться, нужны связи, нельзя быть гордой. — Это в смысле — спать для пользы дела? — Нет, всего лишь улыбаться, когда человек тебе неприятен. У всех людей свои недостатки, что же теперь, убить их всех, что ли? — Но поймите, оттого, что ее не выставляли, она не становилась бедной сироткой. Просто, значит, ей так больше нравилось. — Как может художнику нравиться не выставляться? — Скажем так — больше нравилось не улыбаться, когда не хочется, чем выставляться. Ее право. В конце концов, быть сироткой — это не стечение

обстоятельств, а выбор. Кстати, плохой совет вы ей давали, если хотели, чтоб она добилась успеха. Если человек выбрал быть сироткой, он вместе с халявой получает и весь комплект остальных вытекающих обстоятельств. Можно сделать ему и выставку в качестве подачи, но только при условии, что и картины будут достаточно сиротливыми, иначе уже и подачка — не подачка. — Это справедливо в отношении нас, мужчин, но женщина может позволить себе быть сироткой и при этом достичь вершин. Вспомните Золушку. — Отличный пример. Если вы сами хорошо помните эту сказку — Золушка стала принцессой, потому что взяла на себя смелость объявить себя принцессой. Если бы она явилась на бал в костюме Золушки, ее бы не пустили на порог. Если же она оделась бы как ее сестры и остальные девушки, буржуазно, принц вряд ли выделил бы ее из толпы. Она оделась принцессой — и стала ею. — К сожалению, в жизни так не бывает. Я прожил вдвое больше вас, я знаю. — В жизни только так и бывает. Поверьте мне. Я думал об этом и наблюдал. Достаточно одеться талантливым художником — и ты будешь им. Оденешься посредственностью — и ты никогда не сможешь написать хорошую картину. — А как же все эти несчастные люди, которые работали всю жизнь и умирали в нищете, а после смерти их объявляли гениями? — Ну что ж, им хватило мужества выбрать одежду гения. — Это рублище? — Какие слова вы знаете! — Я стараюсь. — Иногда это и рублище, но никогда — одежда сиротки, малый, но верный доход бухгалтера. Хотя то, что большинство художников жило и умирало в нищете, я считаю самым большим предрассудком в мире искусств. Не знаю, кто первый установил, что когда пришел достаток — прощайся с талантом, но это предубеждение стойко держится донныне. — Зна-

чит, вы сторонник позиции Вильяма Джойса: улыбайтесь — и вам станет весело, заплачьте, и вы... м-м... — И вам взгрустнется? — Да-да. Вы его читали? — Не читал, но парень явно не дурак. — Он уже умер. — Это дела не меняет, но я обязательно прочитаю, вы меня заинтересовали. А ее вы давно видели в последний раз? — Да, к сожалению, мы как-то разошлись, у меня дела, у нее тоже всякие дела. Я не ожидал, что так будет, иначе обязательно постарался бы почаще видиться. — А я вот видел ее буквально накануне, хотя до этого тоже был большой перерыв, и вот меня все гложет совесть, что я мог ей чем-то помочь и проглядел. — А что, она нуждалась в помощи? — Она была такая подавленная, что у меня сердце сжалось, хотя я всегда был очень рад ее видеть. Она сидела вся сгорбленная, с напряженными мышцами, я даже попытался сделать ей в шутку как бы массаж шеи и плеч, у нее все было каменное. Мне казалось, что она сама не замечает, какое у нее плохое настроение, настолько она ушла в себя. Я все пытался придумать, что бы такое сделать, но на шутки она не реагировала. Потом, уже в пятом часу ночи — у нас была небольшая пьянка, — когда выпивка и сигареты кончились, я вызвался проехаться за ними к ближайшему ночному ларьку и спросил, не хочет ли она составить мне компанию. Я думал, что по дороге что-нибудь придумаю, но, когда мы одевались в прихожей, мне на глаза попался чей-то черный головной платок, и я вдруг сообразил, что нужно делать. Вернее, когда я застал себя завязывающим ей глаза как бы в шутку этим платком, я понял, зачем я это делаю. До меня дошло, что она потеряла доверие к миру, к людям, к себе, и первое, что нужно было сделать, — добиться, чтобы она расслабилась. Я спросил, согласна ли она поиграть со мной по дороге в такую

игру — пойти с завязанными глазами и полностью положиться на меня. Верит ли она, что я не подведу, буду внимательно следить и говорить, куда поставить ногу, и буду крепко ее держать. К моей радости, она не отказалась и не стала развязывать платок, хотя была минута, когда она колебалась. А на улице лежал снег, было скользко — дело происходило на прошлой неделе, чужой незнакомый двор — она в первый раз пришла в гости, это были мои знакомые, и я созвал туда нашу тусовку. Да еще ночь, — и я подумал, что если удастся в этой ситуации доказать, что даже с закрытыми глазами ей ничего не угрожает, она снова доверится другим и себе. — Ну и как, удалось вам ее убедить? — Да, вы знаете, действительно очень здорово получилось, я боялся, что в темноте сам не увижу какой-нибудь выступ, она споткнется и перестанет верить даже мне, но мы очень удачно добрались до моей машины... — У вас тоже есть машина? — Да, я недавно ее купил. — Но вы тоже художник? — Да, но зарабатываю я не этим. — А чем, если не секрет? — Я пару лет назад ездил в Америку, познакомился там с очень хорошими художниками местными, тоже начинающими, и при более близком знакомстве мы обнаружили, что в наших двух странах есть взаимно дефицитные товары, и мы решили объединить капитал и устроить такую обменную торговлю. Оказалось очень выгодно. Еще немного, и я был бы в состоянии арендовать какой-нибудь центральный выставочный зал для ее вернисажа, и не надо было никому улыбаться, потом бы рассчитались с продажи. И вообще у нее все было на мази, я уже отвозил слайды с ее картин в Америку, и там ею заинтересовались очень солидные галереи, дело оставалось за немногим. Она вот-вот должна была визу получить. — Ну а в тот вечер? Вернее — ночь? — Уже рассветало.

Ну, мы сели в машину, по дороге я включил хорошую музыку, такую спокойную, к нам присоединился еще один мой друг, они тогда впервые встретились, и он, по-моему, воспылал к ней. — Он тоже здесь? — Нет, я ему не сообщал. А зачем? — они только раз виделись. Я согласился взять его с нами в дорогу, потому что решил, что его зарождающееся восхищение не помешает. Я сказал ей, что мы продолжаем игру и она вольна делать все, что пожелает, — слушать музыку, высказывать предположения, мимо чего мы проезжаем, если ей захочется — поцеловать этого парня и вообще сделать все, что ей заблагорассудится, и не думать ни о чем — поскольку у нее завязаны глаза, она не отвечает за свои поступки. Мы же со своей стороны, наоборот, полностью берем на себя ответственность за ее благополучие и хорошее настроение, мы ничего не будем делать, пока она не выскажет желание, вся инициатива должна исходить от нее, мы только исполнители. Я нарочно доехал до дальнего киоска, чтобы она успела освоиться со своими новыми ощущениями. — Ну и как, она поцеловала? — Да что вы, она опять замкнулась и сказала, что хочет слушать музыку, я не смог ее даже вытянуть на разговор о местности, по которой мы проезжаем. Тогда я решил просто сосредоточиться на доброжелательности и внушить ей это чувство. — У нее не было доброжелательности или доверия? — Это одно и то же — если ты никому не доверяешь, значит, и сам не добр. — Ах да, я и забыл вашу теорию. — Это не моя теория, это — жизнь. Но тогда мне показалось, что все удачно получилось. Мы определенно добились результатов. Той ночью все получилось отлично. Не надо было выпускать ее из виду все эти дни. Это моя вина. Еще пару дней поработать с ней — и ничего бы не случилось. А я успокоился достигнутым. Но тогда

все действительно получилось. Когда мы подъехали к киоску, продавец спал, мы еле его добудились — он просыпался и снова засыпал, никак не мог сообразить, бедолага, что от него требуется. — Он был один? — Да, без напарника. — Но вы могли бы легко ограбить, если бы захотели? — Не знаю, у них там, наверное, система сигнализации. Но времени у нас было предостаточно. Когда он наконец протер глаза, он еще столько же времени считал сдачу. У меня с собой оказалась только очень крупная купюра, и он считал на своем калькуляторе, сбивался и начинал снова. Я успел уже в уме посчитать, сколько он мне должен, но он не хотел верить мне на слово или не совсем въезжал, что происходит. И пока он возился со своей счетной машинкой, мы продолжили игру прямо на улице. Там мы прошли за руку до конца тротуара, перепрыгнули через яму и пошли тем же путем обратно, и я попросил ее быть внимательнее, чтобы потом проделать все самостоятельно, ориентируясь только на мои указания. Я только заверил ее, что буду подстраховывать, и представьте, ей удалось, слушая только мои подсказки типа «сейчас будет небольшой сугроб, поставь ногу чуть повыше» и все в таком духе, благополучно пройти весь путь. А когда надо было идти обратно, я ей сказал, что она великолепно справилась с задачей и надо попробовать вернуться до киоска самой, а я буду говорить только в самых опасных местах, где одной не справиться. Короче, она перестала бояться ходить с закрытыми глазами, и пока киоскер наконец сосчитал сдачу, мы успели еще освоить путь от киоска к машине и обратно. — Других прохожих в этот час, наверное, не было? — Как ни странно, в такое время и в таком окраинном месте, народ сновал туда-сюда. Не много, но человек с десятков повстречались. Ну, они шараха-

лись в сторону, но в меру, не то чтобы очень. Непонятно, куда они направлялись, потому что у киоска не тормозили. За все время, кроме нас, к киоску подошла только одна молодая пара, девушка смотрела на нас с веселым удивлением, ничего не могла понять, потом не выдержала и все-таки спросила: «Ребята, зачем вы ей глаза завязали, вы вроде оба такие симпатичные?» — А она что сделала? — Ничего. А, она спросила, кто это говорит, я ответил, что девушка, она спросила, одна ли девушка, я сказал, что с молодым человеком, ну мы еще немного это обыграли. В общем, она заметно оттаяла. Раскованность такая появилась в движениях, походка сразу стала легкой такой, летящей, хотя повязку не снимали. — Да, это просто замечательная история! А вы часто таким образом развлекались? — Каким? Я же объяснял — это было чисто ситуативное поведение с моей стороны. У меня часто так бывает: когда чувствую, что кому-то нужна моя помощь, я, не думая особенно, произвожу нечто, а потом задним числом фиксирую, что проделал, в принципе, то, что нужно. Да, еще насчет реакции зрителей — когда мы уже уселись в машину, чтоб ехать домой, я немного завозился — хотел мотор разогреть, и вдруг подваливает машина с ментами. Я тут же вспомнил, что пока мы с ней разгуливали в таком виде по тротуару, они вроде мимо нас уже проезжали, причем у меня было подозрение, что не раз. Я был занят с нею и не врубился, что мы могли привлечь их внимание. Вот, наверное, было зрелище, я представляю! Ха-ха! — Да, ох-хо-хо-хо, смешно, ох-ха-ха! — Ага! — а сложность была еще в том, что, когда они подошли к машине и попросили меня выйти и показать права, она не врубилась в ситуацию и не сняла платка, так и сидела и только головой вертела. У ментов аж глаза закосили в разные стороны — то ли на нее

смотреть, то ли на мои документы — у меня водительские права, полученные в Америке, здесь они не канают, нужно их пересдавать. Ко мне из-за них уже несколько раз менты подкатывались, но мне удавалось отмазаться. И вот представьте зрелище — пять часов утра, пустая улица, каких-то два странных типа прогуливаются в течение часа с девушкой, у которой лицо закрыто черным платком, на маленьком ограниченном отрезке тротуара, а при проверке у типа и права какие-то не наши. А? Ха-ха-ха? — Ой-хо-хо-хо. — Ну, в общем, они так офонарели от всего этого, особенно когда обнаружили, что я не пьяный, что проямлили что-то вроде того, что пересдайте побыстрее права, не то мы вас в следующий раз оштрафуем, пожелали всего хорошего и поехали дальше патрулировать. Она все это время не снимала повязку, и я чувствовал, что ее вся эта бодяга здорово развлекает. От тревожности и следа не осталось. — Да-а... ох, бедная девочка! — Да, я вот тоже думаю — неужели с тех пор прошла всего какая-то неделя? — А вы, значит, вместе учились? Я иногда бывал у нее, одно время довольно часто, но ни разу вас не видел, вы сейчас полностью ушли в бизнес или продолжаете тоже рисовать? — Я уже давно не рисую. В институте я колебался между живописью и музыкой, и музыка победила. — Так вы музыкант? — Так, больше для себя. Играю на флейте, пою под гитару. Сам придумываю мелодию к стихам. Ей мои песенки нравились. Я принес с собой гитару, хочу попозже спеть для нее ее любимые песни. — Да, это вы хорошо придумали. Но как бы соседям не показалось странным такое поведение. — А что соседи? Какое им дело? Когда мы с ней впервые познакомились, я ее спросил, что она думает — какой она музыкальный инструмент? Она сразу, не задумываясь, ответила — скрипка. Другие обычно

переспрашивают «что ты имеешь в виду». Я ответил, что скорее — виолончель, но она сказала, что я ее идеализирую, она более поверхностная и истеричная — цитирую. А я думаю, что виолончель все-таки, ты себя еще плохо знаешь, я музыкант, мне виднее. А как ты думаешь, я — кто? — Сразу угадала — саксофон. Так вы, значит, покупали ее картины? Она что-то такое мне рассказывала, наверное, про вас. — Может быть. Не знаю, кто-нибудь еще покупал или нет. Она была очень талантливая девочка, очень одаренная, еще не совсем мастер, но чувствовалось, что со временем она сможет многое. Но я, знаете, покупал, потому что хотел помочь ей материально. Она была немножечко ленивая, если бы захотела, сумела бы намного больше. Я ее за это ругал иногда. — За последний год она начала совсем по-другому писать. Вы видели ее последние работы? — Последние — нет. — Да, она не хотела их продавать, и правильно делала, я как раз насчет них договорился о выставке. Как теперь быть, не знаю. Но мы все равно устроим выставку. — Да, конечно. Я думаю, что теперь картины продадутся дороже, чем если бы она была живая. Если умело сделать рекламу. Хотя, если бы у нее уже было хоть какое-то имя... А так неизвестно, какова будет реакция публики. Я знаю немножко американский рынок, он очень непростой, особенно когда дело касается искусства. — А вы тоже бизнесмен? — Не совсем. Но я очень долго жил в Америке, хорошо знаю местную публику. Я родился в Европе, но с пятнадцати лет поехал учиться в Америку и задержался там надолго. — А здесь вы давно уже? — Да, что-то около двадцати лет. — Ого, солидный срок! Вам тут нравится? — Нравится? *Я приехал сюда еще в брежневские времена. Мне дали квартиру, в которой еще шел ремонт. На полу везде лежали советские газеты.*

Из всей мебели были только кровать и телевизор. Я сидел на полу на газетах, смотрел брежневский телевизор и был счастлив. — Хм... А почему вы сюда приехали? — О, почему приехал? Знаете, это очень печальная история. Но и настроение сейчас такое, так что, если я вам расскажу, это будет не очень сентиментально звучать. — Вы меня заинтриговали. Если это какая-то тайна, то, ради Бога, извините, не... — Нет-нет, я могу рассказать, пожалуйста. Дело в том, что, когда я закончил учебу в Штатах, я решил вернуться в Европу, там тоже окончил университет, а потом меня снова потянуло назад, — мне предложили работу в одном тогда среднем, не очень популярном университете, но платили неплохо. Я там немного поработал, и они назначили меня на должность... как это? — ну, я должен был ездить по разным университетам, во всех штатах, и искать, какие там есть преподаватели, и, если найду, попробовать предложить им оклад вдвое-втрое больше того, что они получают. Как это — заманить? — Ну, вроде того. — Мне это доверили, у нас тогда с фондами было очень хорошо, и мы захотели пригласить к себе больше хороших преподавателей, чтобы наш университет тоже стал престижным. И вот в одном очень престижном университете я обнаружил великолепного физика, очень талантливого. Его соблазнило наше предложение, но потом выяснилось, что от своего прежнего университета он не смог отказаться, все-таки тогда еще студенты там были лучше. И вот он, несчастный, оказывается, полгода разрывался между двумя университетами, читал лекции у нас, а потом ехал в другой штат, чтобы читать в своем университете. А ему нельзя было жить в таком режиме, потому что у него было не очень здоровое сердце. Ему, наоборот, нужен был покой. И он не выдержал и через полгода умер от

инфаркта. Тогда и выяснилось, что он не бросил старый университет. И был небольшой скандал. — Да, неприятно. — Да, но еще знаете что, это я потом узнал, что он был эмигрантом из вашей страны, грузином. Я очень раскаивался, что мне пришлось сыграть роль змея-искусителя, поставил человека перед неразрешимым выбором. Я не знал, что он болен, но это меня не оправдывает, надо было быть осторожнее, наводить справки заранее. — Ну, вы тут ни при чем. Жадность его сгубила. — Нет-нет, он вначале не хотел покидать свой университет, даже когда я сказал, что получать он будет вдвое больше. Тогда я позвонил нашим, убедил, что преподаватель незаменимый, и они велели, чтобы я предложил еще большую сумму, против которой трудно устоять. Я не должен был этого делать, он уже здесь намучился достаточно, надо было ему дать хоть там спокойно пожить... А потом у меня еще была история с моим очень хорошим другом, евреем. — Тоже нашим? — Нет, то есть да, но он был еще очень маленьким ребенком, когда его родители уехали отсюда. Но он занимался историей вашей Гражданской войны. Очень хорошо ее знал. И однажды на день его рождения я подарил ему винтовку того периода, оригинал. Я специально искал и сомневался, когда купил, но он подтвердил, что она настоящая. Вы бы видели, как он радовался, как ребенок, прямо как сумасшедший, он был истинный ценитель, коллекционер, они же все сумасшедшие! — Да, есть такое дело. — Вот, он очень радовался, а через какое-то время пристал ко мне, спрашивал, где я купил эту винтовку, потому что он хотел еще купить патроны к ней. Я ему говорю: послушай, зачем тебе патроны, ты же не собираешься стрелять, а потом — к этой винтовке нужны были очень специальные патроны, их невозможно было достать. А

он говорит, хочу и все, мне они нужны. Я ему: я понимаю, что ты человек очень скрупулезный, хочешь вникнуть во все детали, но, чтобы описать, как брали Зимний, не обязательно своими руками вставлять патроны в винтовку. Но он уперся, и все тут. Я ему тогда сказал — делай что хочешь, а я не буду вместе с тобой с ума сходить. А он, представьте, где-то нашел патроны. — Да-а? — Не знаю, как он это сделал, может быть, заказал у кого-то, знаете, там есть такие люди, которые на заказ изготавливают оружие, но их очень трудно найти, как здесь говорят, нужно иметь связи. А потом это, наверное, очень дорого стоило, потому что пули нестандартные. — Да уж я думаю! — Но все дело не в этом, дело в том, что он взял и застрелился из этой винтовки! — Что? — Да. Я тоже, как вы тут говорите, офо-на-рел, когда услышал. Это же очень трудно сделать, такие винтовки, вы представляете, как они выглядят? — Да-да, естественно. — Из них очень трудно выстрелить в себя, надо очень постараться, чтобы не промахнуться. А ведь у него была богатая коллекция оружия, не только этого периода, мог выбирать любое, а он почему-то выбрал винтовку, которую я ему подарил. — Извращенец какой-то. А почему он покончил с собой, вы не знаете? — Да там рассказывали какую-то темную, но банальную историю. Его друг мне рассказывал. Тогда, оказывается, у него была очень тяжелая жизненная полоса, а я не знал, я немножко отдалился от него, у меня были свои дела. А он позвонил как-то своему другу в Израиль и говорит: «Я звоню тебе сейчас, потому что ты единственный друг, который у меня остался, все меня бросили, я очень несчастный человек, жена от меня ушла, дочка тоже не хочет меня знать. Ты один у меня остался, и я звоню, чтобы с тобой попрощаться, потому что сейчас я покончу с собой!» Ну его

друг, понятно, стал кричать: «Подожди, не делай этого, я сейчас беру билет и вылетаю в Америку!» — но тут же услышал выстрел. Когда он прилетел, тот был уже мертвый и у него была полиция и все такое. — Да, бред какой-то! Но осуществимо ли это технически? Куда он себе попал? Если он целился в грудь, запросто мог промахнуться и легко раниться. — Он целился в голову. Он каким-то образом привязал винтовку к косяку, и когда она уперлась в висок, каким-то предметом надавил на собачку. Примерно так я понял. — Да, извороты русской души непредсказуемы — Он был еврей. — Поступок типично нашенский. Говорите, его ребенком увезли? Успел, однако, горемыка, испить нашей отравы. Там, я думаю, никто не смог оценить поэтичности его выбора. — У него были в коллекции самые последние модели всех видов. А он воспользовался тем, что я ему подарил. И я подумал, что же это такое — второй человек из этой страны, который погиб по моей вине! В этом было что-то роковое. И я решил, что как только представится такая возможность, мне надо приехать сюда, чтобы тут пожить и искупить свои грехи. — Каким образом вы намеревались их искупать? — Ну, тем, что я буду добровольно — так говорят? — Да. — Жить здесь. — Кстати, вы очень прилично говорите по-русски. — Я стараюсь, я все время учусь. — Ну и как долго вы еще намерены искупать здесь свою вину? — Не знаю, как получится. Вы знаете, самое интересное, что мне здесь понравилось! — Ну, я думаю! — Да-да, я серьезно! — Я тоже серьезно. Вы не думайте, вы не один такой. У меня есть приятель, с которым как раз и фирма у нас сейчас, он уже тоже в годах, примерно ваш ровесник. Он тоже без ума от России. *А ведь он многое повидал в жизни.* В частности, он ветеран вьетнамской войны, был там в плену, убежал из плена,

потерялся в джунглях, чуть не умер там, а когда выбрался снова, после недель блужданий, попал прямо к ним в руки. Его пытали — можете предположить, каковы были пытки у вьетнамцев, со всей изощренностью, которую подарила нам древнеазиатская цивилизация, — я видел — у него совершенно жуткие шрамы на всем теле. Его долгое время после этого, когда он уже вернулся в Америку, мучили кошмары, он стал чувствовать, что сходит с ума. Он не мог расстаться с пистолетом, по ночам вскакивал в ужасе, особенно когда была гроза, ему казалось, что он снова в джунглях, и его опять начнут пытать, и что ему надо спрятаться от хищников и снова думать, где бы раздобыть еды, что бы такое съесть, чтобы не отравиться, и как бы вылечиться от лихорадки. Там же, в этих тропиках, совершенно ядовитые испарения от многих растений. Он там здорово отравился. — Ой-ой-ой, что вы говорите! Несчастный человек! — Да, но знаете, он со всем этим справился. Причем сам, без посторонней помощи! — М-мм? — Да! Ему удалось что-то с собой проделать, чтобы выйти из этого состояния. И тогда он понял, как он мне рассказывал, в чем заключается сама процедура, грубо выражаясь, схождения с ума. То есть он понял, как это происходит. Потому что он сам был на грани. Да что я говорю, он ее очень далеко перешагнул. Ему постоянно хотелось кого-нибудь убить, не говоря о всех тех вещах, что ему мерещились. Если пользоваться пространственной терминологией — он самостоятельно проследил путь, который его привел за грань безумия, № 1 — так он его обозначил, а потом провел дальнейшую рекогносцировку, понял, что там неисчислимое количество всяких дорог, тропинок и тропок, некоторые из них заканчивались тупиком. Еще он выявил одну интересную особенность местности —

путь № 1 только приводит туда, а выйти по нему невозможно. Все магистрали там оказались с односторонним движением. Требовался топографический план, чтобы потом с картой в руках можно было совершать вылазки, зная последний предел, где еще можно пересечься со съездом и повернуть обратно, иначе — тупик. Он нашел и путь № 2, который его оттуда вывел, затем был уже чисто познавательный экскурс и он увидел, что место, с которого он повернул, было последней развилкой пути № 1. — Очень интересно! Да, очень трудно найти критерий нормы, увидеть, где проходит эта граница. Что же брать за точку отсчета? Где кончается норма? — Ну, я думаю, там, где человек перестает жить в гармонии с законами социума, не вызывая агрессии со стороны других людей и не проявляя ее сам. Ну, как это сказать, — если он адекватен — да? — правилам морали, принятым в обществе. — А что мы принимаем за правила морали, по которым должно жить общество, — наверное, заповеди, изложенные в Библии? — Да, конечно, если речь идет о христианском обществе. Именно это я и хотел сказать — если человек не нарушает их, значит, он нормален — все очень просто. — Хм! А вы видели за всю свою жизнь хотя бы одного человека, который их не нарушал? — Ха-ха-ха. Один — ноль. Но я читал о таких, и я думаю, что все эти святые на самом деле существовали — возможно. Но, появившись они сейчас на улицах цивилизованного мира, их сочтут умалишенными, как раньше на Руси подобных людей называли блаженненькими, с оттенком жалости и брезгливости. Но если подумать — ведь сам Иисус Христос был глубоко социально неадаптированной личностью. Даже после того, как мы почти две тысячи лет живем по его морали — или пытаемся жить, появившись он снова, и ему навешали бы тысячи

ярлыков, и больше всех возмущались бы самые праведные из нас — и тунеядец он, и возмутитель общественного спокойствия, и шарлатан, устраивающий фокусы, и о матери своей он не заботился, и братьев не хотел признавать, и возмущение толпы он спровоцировал бы точно так же, как в старину. — Да, это вы правы. — Так что я думаю, критерий тут может быть только один — внутренний. Когда тебе внутреннее чутье говорит, что ты прав, что ты иначе не можешь — иначе ты изменил бы себе, и, может быть, Божественному замыслу. Но это тоже чревато. Знаете, наверное, анекдот про внутренний голос? — Нет, расскажите. — Это один из моих любимых. Ковбой едет верхом по прерии и вдруг вдаль видит темное облачко. «Это индейцы», — говорит ему внутренний голос. — Пришпорь коня». Ковбой дает деру, индейцы — за ним. «Они догоняют, — говорит внутренний голос, — стреляй!» Ковбой отстреливается, пока не кончатся патроны. Вдруг вдаль показывается дерево. «Заберись на него, — говорит внутренний голос, — может, проскочат мимо». Ковбой забирается на дерево, но индейцы его замечают и хватают. Они привязывают ковбоя к дереву, и тут к нему приближается вождь племени. «Плюнь ему в морду», — говорит внутренний голос. Ковбой выполняет совет. «Ну ладно, теперь я пошел», — говорит внутренний голос. — Ха-ха! А что ваш американский приятель? — Видите ли, он в своем роде очень одаренный человек, в молодости, еще до войны, был подающим надежды художником, — сумел понять, что его дело — помогать людям освобождаться от страхов, начать жить осмысленно. Он нашел способ излечения людей от душевных болезней, опробованный на собственной шкуре. Так еще никто не лечил. Он понял, что болезнь — это некое реально существующее

ющее пространство, по крайней мере, для самого пациента, и чтобы его оттуда вытащить, надо самому забраться туда, отыскать человека, сориентироваться на местности, найти самую удобную дорогу и, взявшись за руки, шаг за шагом направиться к выходу. — А может, не нужно людей оттуда выводить? Кто знает, где лучше и правильнее находиться? — Само собой, если бы им там нравилось, никто бы не стал их трогать, но они сами просят о помощи, их не устраивает положение, в которое они попали. Он тоже за то, чтоб человек оставался там, где ему хорошо, что бы об этом ни думали окружающие. Но если кому-то мучительно плохо и он не может самостоятельно справиться с этим? К примеру, приходит к нему человек и говорит: помогите, меня изглодал страх, не могу так дальше жить, боюсь, как бы не наложить на себя руки. Тот попросил рассказать подробнее, в чем дело. «У меня, — говорит, — есть свой собственный космический корабль, и временами я испытываю неудержимое желание полетать на нем, но, когда начинаю летать, вспоминаю, что я не умею его водить, мне делается очень страшно, и я боюсь разбиться, но каждый раз начинаю все сначала». Мой друг его спрашивает: «А чего вы больше всего боитесь?» Он отвечает, что вообще боится летать. Тогда мой друг говорит: «Не бойтесь, вы со всем справитесь. Давайте попробуем вместе, я умею водить корабли и вас научу. Где ваш космический корабль?» — «Вот», — отвечает пациент. «Хорошо, забирайтесь в него», — говорит он несколько очумевшему пациенту, который никак не может поверить, что ему поверили. Они усаживаются на стулья, и он спрашивает: «Ну вот, мы сели. Не забудьте пристегнуться. Каким образом вы управляете своим кораблем: нажимаете на кнопки или каким-либо иным чудесным образом?» Тот оскорбляется: «Конеч-

но, с помощью пульта управления!» — «Ну вот он пульт, перед вами. Нажмите на кнопку «пуск», она в нижнем левом углу». — «Не надо меня учить управлять моим собственным кораблем, я сам лучше вас все знаю». Начинается полет, во время которого мой друг просит описать все, что пациент видит за стеклом иллюминатора, — когда разговариваешь, некогда бояться. Если тот говорит, что облака, его просят подробно описать какие. Или если он говорит, что впереди Солнце, и они летят прямо на него, и есть реальная опасность сгореть, мой приятель спрашивает, с какой стороны Солнце, и спокойно объясняет, на какие кнопки нужно нажать, чтобы свернуть в другую сторону. Потом, когда они счастливо приземляются, он от души пожимает руку пациенту и, благодаря за приятное путешествие, просит и в следующий раз захватить его с собой. После нескольких совместных полетов пациент, как правило, полностью излечивается от страха перед полетами. — Да вы просто э... колодец — да? — замечательных историй! — Кладезь, наверное, вы хотели ск... — Как? Да! И ваш друг продолжает этим заниматься? Это очень благородное занятие. Вы, наверное, от него научились тому, что вы рассказывали? — Да, отчасти. — А мне кажется, в том, что ты рассказывал, нет ничего нового. — Ну как же так! — Сильно отдаёт шаманизмом. — Ну, тут ты не права. Шаманизм — это нечто совершенно другое, тут ты со мной не спорь. Я одно время досконально изучал всяческие ритуальные культы и верования, там все зиждется на другой основе. Обычно служитель культа взвинчивает себя всякими подручными средствами, чтобы оторваться и почерпнуть информацию там. А у человека, про которого я рассказывал, совершенно другой принцип. Он вхож только в конкретную область, — короче, если ты окажешься в

стране безумия, он одному только ему ведомыми путями сможет тебя там разыскать и вывести. — И ваш друг продолжает этим заниматься? — Да, конечно, он этим занимается, но сейчас мы с ним затеяли совместную фирму, она отнимает довольно много времени. — А, этот бартер, вы говорили. — Да, но в промежутках между бизнесом он делает свое дело, без этого он не может жить. Он там сейчас очень популярен в этой области. Но ему это занятие тоже очень много дает. Вот я вспомнил по ассоциации с шаманизмом еще одну историю из его практики. Он рассказывал, была у него одна пациентка, молодая женщина лет тридцати, она обратилась к нему тоже по поводу своих страхов. Она была такая тихая, скромная, жила совершенно одна в маленькой квартирке и работала воспитательницей в детском саду. Проблема у нее была следующая — она очень любила маленьких детей, прекрасно себя чувствовала в их обществе, но очень боялась взрослых. После работы она никуда не ходила, ни с кем не общалась, возвращаясь к себе домой, наглухо запирала двери и окна и сидела в полном одиночестве до следующего утра, и ее преследовали страхи. Но она никуда не выходила, чтобы их развеять, — ни в кино, ни в кафе, у нее не было ни одного друга, ни одной подруги. Деталь, которая выяснилась позже, — она оставалась девственницей. Скоро она перестала его бояться, — как она призналась, он был единственный взрослый человек, с которым ей было не страшно. Наконец, — он не спрашивал ее ни о чем, просто с ней дружил, — она сама, по собственному почину, рассказала ему свою историю. Оказалось, что она выросла в семье, принадлежащей к сатанинской секте. Он мне даже называл штат, в котором это все происходило. Какой-то маленький городишко в горах. Один из их мидлтаунов. — Так-

так, и что дальше? — Ну, значит, она рассказала ему, что ее родители оба были активными членами этой секты, посещали все собрания и ее маленькой всегда водили с собой. А она чем-то там приглянулась настоятельнице этой секты — я в этом не очень разбираюсь, во всех ли общинах так или только в этой, но управляли там женщины. Короче, когда ей было пять лет, настоятельница, пребывающая уже в солидном возрасте, объявила, что берет ее себе в приемницы — то ли голова черной курицы на нее указала, то ли еще какая муть, но ее нужно было подготовить к обряду инициации, чтобы со смертью настоятельницы ребятки не остались без пастыря. Для ее родителей это была неслыханная честь, можете представить, они просто зашлись от восторга, и тут пятилетняя девочка сказала: «Нет». Сами понимаете, там началось что-то неопишное. И родители, и настоятельница были в ярости, вся толпа набросилась на ребенка, а родители усердствовали больше всех, наверное, для того, чтобы их не заподозрили в нелояльности. И еще из возмущения, конечно, что пригрели змею на груди. Тогда ее чуть не разодрали, пришла в себя она уже у своей бабушки дома. Бабушка эту секту не посещала, она случайно обнаружила ее — благо городок был небольшой — полуживую в канаве и стала ее выхаживать. Она тогда чуть не умерла, но, как только бабушка привела ее в божеский вид, родители снова ее отобрали. Истязания продолжались — ее регулярно водили на собрания, где после совершения обряда начинались оргии. Чтобы принудить ее сказать «Да», все эти взрослые люди, исполняя ритуальные танцы в голлом виде, с дикими криками-заклинаниями в скачке ритмично наносили ей, тоже голой, ножевые раны. — Какой ужас! Какой ужас! — Да, кайфу мало. Она потом разделась перед моим другом и показала ему свое тело.

Он говорит, что ничего страшнее не видел. — Это после вьетнамского-то плена? — Врубается, какая круть? Он говорит, она вся в чудовищных шрамах, а на спине просто вырезаны очень глубоко, ножом или чем-то раскаленным, нецензурные ругательства и какие-то символы. Она сказала, что он первый, перед кем она раздевается. Не считая детства, конечно, но тогда не она раздевалась, а ее раздевали. С регулярностью раз в месяц. — Жуть какая, слушай. — Каждый раз после этого ее подбирала бабушка, она специально приходила и пряталась поблизости от их сборища, зная, что они ее, почти бездыханную, вышвырнут в грязь. — Так чего они добивались — чтоб она умерла или чтоб согласилась? — А хрен их знает, видимо, действовали на авось: сдохнешь — туда тебе и дорога, помогать выживать не будем, но коли выжила, никуда от нас не денешься. Если бы не бабушка, она бы давно умерла. Бабушка могла ее только лечить, но никакого авторитета у нее перед родителями не было. — Что ж она не обратилась в полицию? — Не знаю, что ее удержало. Может, она не удосужилась своевременно ознакомиться с трудами о Павлике Морозове. Ну, не морщись, я допускаю, что здесь не совсем аналогичный случай, но, если бы она заложила свою дочку, той светил бы электрический стул. Это как из того анекдота — если одновременно будут тонуть жена и любовница, — кого ты бросишься спасать? — И долго это тянулось? — Он говорил, что-то около десяти лет. Я не помню точно, случилось ли это сразу после смерти бабушки, или та умерла несколькими годами раньше, и не помню, как конкретно, но, когда ей исполнилось пятнадцать лет, она каким-то образом оттуда слиняла. Устроилась самостоятельно жить в другом штате и начала работать, но при этом панически боялась взрослых людей. Толь-

ко с детьми до пяти лет она чувствовала себя нормально. — Ну и как, вашему другу удалось ей помочь? — Да, удалось, но самое интересное, что она сама во многом помогла ему. Он говорит, что был поражен, что такая хрупкая, слабая женщина обладает такой силой духа. Он подумал, что сам он на ее месте мог и не справиться с такими трудностями и потом всю оставшуюся жизнь ныл бы и чувствовал себя незаслуженно обиженным, и, вероятней всего, кроме своей обиды, ничего в жизни бы не видел. Он сообщил ей, что она намного сильней и мужественней его самого и поблагодарил за урок, который она ему преподала. Это и было основным лечением. Когда она увидела его искреннее восхищение и поняла, насколько она со всем справилась, будучи еще ребенком, ей стало ясно, что основной экзамен она выдержала, действительно прошла инициацию, обратную той, которую ей предрекали, и все, что в дальнейшем может с ней произойти, и отдаленно не будет таким страшным, как пережитое. Все остальное, что он с ней проделывал, было чисто техническим подкреплением урока. Он прочитал кучу книг по этой тематике, и они проделали обряд очищения по всем правилам. Насколько мне помнится из его рассказа, он привязывал ее к какому-то дереву, читал какие-то заклинания, проделывал некие магические процедуры, а потом очертил волшебный круг так, чтобы она вместе с деревом оказалась в центре, и сказал, что, как только она через него перешагнет, она будет свободна. Но все это проделывалось больше для ее спокойствия, чем в лечебных целях, он знал, что она уже здорова. Он сказал мне, что после этого старался не считать себя умнее и опытнее своих пациентов и при встрече с новым человеком заранее убеждал себя допустить предположение, что тот может обладать

знанием, ему покуда недоступным. Ну, в общем, я что-то разговорился, но вы сами провоцировали меня вопросами. — Ну что вы, наоборот, спасибо, — было очень интересно вас слушать. — Да, я вот тоже вас слушал, столько сложностей вокруг этой секты. А у нас на Кавказе есть народность, они не скрываясь верят в Сатану и не делают из этого проблем. — Что за народность такая? — Ассоры называются. — И что, они прямо вот так устраивают оргии, истязают людей и никто их за это не преследует? — Да ничего они не устраивают. Просто у них религия такая. Они считают, что Сатана — это Бог. Или, точнее, что Бог и Сатана — это одно лицо. Им трудно представить, как это Сатана может быть чем-то отдельным от Бога и в то же время таким сильным и независимым, чтобы вмешиваться в Его планы и гнуть свою линию. Поэтому они считают, что это разные проявления одной силы. — В общем, в этом есть рациональное зерно. Сходная позиция существует и в буддийских верованиях. — Вот именно что рациональное. В то время как известно, что религия зиждется на иррациональных допущениях. — *А у нас сейчас сколько после перестройки всяких сатанистов понаразвелось. Раньше мы про них слухом не слыхивали. — И сатанистов, и сантанистов.*

Боже, я как будто пьяная. Я заслушалась их разговора и обо всем забыла. Но я знаю, кто я, и где я, и что со мной. Давно ли я себя забыла? Вроде нет — еще остается еда на блюдах, и на столе еще полно бутылок. Хотя в том углу на полу их накопилось больше, чем осталось. Но это ничего не значит. Кроме того, что мои друзья не изменились. Пьют больше, чем едят. Но все же. Сколько времени раньше им требовалось на такой объем, учитывая их численность и индивидуальные особенности? Наверняка меньше, чем я успела бы

опьянеть настолько, чтоб забыть себя. То есть себя-то я почти никогда толком и не помнила, — это мы уже вычислили, но забыть себя настолько, чтоб не поменять позы, не почесаться, — не то, это все тело, — а, чтоб самой не вставить слово — не могла! — да и не хотела, вот в чем дело. Значит, я сейчас быстрее пьянею — на такую выпивку ушло бы времени меньше, чем мне захотелось встать и уйти, меньше, чем я стала бы всеми умиляться, и даже меньше, чем я стала бы подмечать чужие недостатки, с полным игнорированием достоинств. Но больше, чем мне захотелось бы покурить. Гораздо больше. Получается, я все еще ориентируюсь во времени, пустяк, но приятно отметить. А они еще что-то там говорили о нарушении функций. Ничто у меня не нарушено — ни память, ни зрение, ни слух, ни мышление, ни... что еще там есть? Но что бы ни было, я чувствую — не нарушено. Могу проследить ход событий с любого момента, в прямом и обратном порядке. Трам-пам-пам-пам-пам-па-пам, потом кладбище, да, там я, кстати, встретила с ними, пока внизу меня хоронили, и их, наверное, тоже, хотя на моем хоронили еще только одного, остальных, значит, в других местах, но там это не имело значения, оттуда вся земля была так мала, что мы все были соседи и ощущали это. И было это чувство веселого родства. Но я должна была оттуда вернуться — у меня тут не все еще закончено. Но все это будет потом, я, кажется, отвлеклась. Потом был автобус, та-та-там, потом серебряный город, потом — болото, потом — сюда, потом я болела, потом — мама. Неужели никому не захотелось курить? Может, вышли на лестницу покурить? Многих нет за столом. Рано еще для окончательного ухода... Значит, на лестнице, у родителей ведь не курят в квартире. Хотя в день моих похорон могли бы сделать исключе-

ние. Может, у них и не спрашивали. Сразу тактично вышли сами. Надо бы проверить эту гипотезу, выйти посмотреть. Если я с ними напиваюсь, может, и накурюсь. А мама сейчас как? Может, опять проснулась и плачет? Нет, спит. Ого, я вижу ее, не выходя из этой комнаты. Я вижу и ее, и их всех здесь, и стену со шкафом, которая нас разделяет. А, вон и Бука лежит, как всегда, под кроватью, облокотился, нога на ногу и мечтательно помахивает пяткой. А еще говорили, что его не бывает, так часто, что я перестала его замечать. А он совсем не изменился. Только грустный какой-то. Неужели из-за меня? Может, и правда это я его выдумала, как меня убеждали, и, когда я исчезну и он исчезнет? Да нет, негодник, как услышал мои мысли, сразу посмотрел на меня. С собственной выдумкой взглядом не пересечешься. Тот, кто смотрит — существует. А он не только смотрит на меня, но и видит — единственный из всех живых существ в этой квартире. Не грусти, я, может, еще буду сюда наведываться. Не обещаю, но там посмотрим. Ты славный. Жаль, что я так рано перестала тебя замечать. Ты, может, даже лучше, чем собака, которую мне не купили. Ты охраняешь мамин сон, да? Молодец. У человека в сильном горе, как и в болезни, наверное, обостряется чутье, и он уползает болеть или страдать в самое защищенное место из всех доступных. Не зря тут установили мою детскую кроватку, наверное, еще любовь к ребенку позволяет обрести нюх на самое безопасное место. Недаром и Бука его облюбывал. Когда я была маленькая, ты немножко меня пугал, но это была не твоя вина, ты просто хотел общаться. Я вспоминаю, мы и общались, когда я была так мала, что мне еще не успели сказать, что тебя не бывает. И ты так долго терпел, никуда не уходил? Хотя куда бы ты пошел? — почти никто в тебя не верит, а

потом, наверное, другие дома заняты твоими братьями? А почему ты не пошел за мной в мою новую квартиру? Обиделся, что я с тобой не играю? — ведь для тебя с тех пор прошло гораздо меньше времени, чем для меня, для тебя оно течет медленнее, и срок жизни одной обиды еще не вышел. Или ты, как кошка, любишь место, а не хозяина? Хотя о чем я? — может, ты и есть хозяин — за всю твою жизнь сколько нас было и будет? Наверное, ни одна заядлая кошатница не успевает сменить за жизнь столько кошек, сколько ты — детей? Но ты ко мне привязан, я вижу, ну не дуйся, я же сказала — там посмотрим. Ну прямо такая уж единственная! Ладно, верю, верю. Ты уж пока без меня посторожи тут моих, какие-то они сделались беспомощные. К нему тоже иногда навывайся, как увидишь, что загрустил, подкинь ему пару свежих идей, это его здорово развлекает. Я, может, тут с вами тоже немного отдохну, устала я от разговоров. То молчали-молчали, то их как прорвало. Я едва удерживалась одной линии разговора, меня все норовило снести на другие потоки. Но это еще ничего, я в разговоре нашла убежище — парочка гостей обладает феноменальной способностью разрастаться, так, что не остается ни одной щели, не заполненной ими, так что даже мне не остается места, и, если бы не разговор, мне негде было бы укрыться. Хорошо, допустим, еще несколько человек способны полностью отсутствовать, где бы они ни находились, но как не задохнулись все остальные, я не понимаю. Они, наверное, по очереди выходят покурить. Так что разумно, что нельзя курить в квартире. Но как же обходятся те, что не курят? — наверное, выходят постоять за компанию... Все это очень утомительно. Но вот что удивительно — они не смогли проникнуть в эту комнату, хотя во всем остальном помещении не оста-

лось ни одной дырки от гвоздя, которую они бы не забили до предела, уже все трещит по швам. Спящий человек тоже занимает много места, особенно если сон тяжелый и не дает далеко уйти от поверхности. И у сна более прямолинейная борьба за пространство. А те, к счастью, много говорят и теряют силы, хотя вначале они именно благодаря разговору завоевали основные позиции. Или ты тоже помогаешь отстаивать эту комнату? Продолжай — это единственное место теперь, где можно расслабиться. Мне нужно собраться с...

Ой, что это опять со мной было? Сколько же это тянулось? Вот мама, она еще спит, а вот и ты все так же меланхолично лежишь и преданно посматриваешь. Значит, не очень долго. Что же ты все понимаешь, а ничего сказать не можешь, серый? Что же это все-таки было? — я не могла думать. Казалось, у меня опять появилось тело, но не человеческое и не... а какое-то совсем непонятное, казалось, что оно все время куда-то текло, хотя и не было жидким, определенно, а потом круто загибалось, потом еще и еще, под какими-то немислимыми углами, но в то же время совершенно точно оставалось неподвижным. Да, и потом оно меняло цвета на самые разные, иногда противоположные, но цвета при смене не исчезали, а сохранялись вместе, создавая странную цветовую гармонию, не знаю, как объяснить, и казалось, что так было, так есть, так будет, казалось, что это правильно. Во всем этом была необычайная соразмерность. Такое незабываемое ощущение. Я что, снова попала в другой мир? Почему ты так упорно отводишь глаза? Ты что, мне не веришь? Куда ты уставился? Ты хочешь сказать?.. Ах да! Да, да, ну конечно, как я сама не догадалась! — я просто слилась с этим узором на ковре над кроватью. И что меня туда потянуло? — неужели я могу стать всем, чем за-

хочу? Самой немыслимой вещью? И почувствую, что она чувствует? Интересно попробовать, а то была всю жизнь человеком и не знаю. Что камень испытывает, к примеру. Или что-то такое уже было? Когда? — тебе просто приснилось, может. Но я могу стать чем захочу? — Увы, — не только чем захочешь. — Опять ты? — стоит мне задать вопрос, и ты тут как тут. — Ты можешь сейчас подпасть под влияние очень неприятных вещей, если только уделишь им чуть больше внимания. — А как же мне понять — где я и где не-я, чтобы не подпадать? Если я себя не вижу? — Ты можешь почувствовать разницу. — Вот и нет. Раньше могла, правда, но сейчас я полностью была этим узором и даже на секунду не почувствовала подвоха, мне казалось все очень естественным, всегдашним моим состоянием. У меня такое чувство, будто я нахожусь в замысловатом лабиринте, стены которого, да и потолок тоже, и пол — сплошь покрыты одинаковыми зеркалами, и в какое я ни посмотрюсь, всюду вижу себя. Я не знаю, как мне в этом ориентироваться, как выбраться отсюда, я теряюсь. — И в жизни было так: ты смотрелась в других и видела свое отражение, в одних более искаженное, на твой взгляд, в других — менее. — Не только! — люди привлекали меня не только верностью моих отражений, но и тем, в первую очередь, как они отражались во мне. Бывало, отражу я кого-нибудь, кто меня не успевал отобразить, а чаще — уже не мог. *А сейчас я с ними смогу встретиться? Куда попали все эти великие после смерти, все, что не давали мне покоя при жизни. Как страстно мне хотелось с некоторыми из них встретиться! Если я не исчезла — значит, и они где-то сохранились. Удастся ли мне их разыскать? Тех, кто мне нужен? Ох, нелегкая это будет задача — ведь мертвых за всю историю человечества на-*

много больше, чем живых. Или их как-то сортируют? Если по греховности — то кое-кого из тех, мечтанных, может, и увижу. Но если по величию — то никого. Господи, если бы только не по заслугам, а по интересам — как в жизни! А то как же мне будет скучно с равновеликими, да и им со мной. А еще лучше — видеться с кем пожелал в ту же минуту. Но это неразумно, представляю, как некоторых при этом раздирали бы тогда на части. Все русские писатели желали бы тогда общаться только с Пушкиным. Бедный Пушкин! Англичане, наверное, к своему Шекспиру так не пристают. Они вообще не очень доставучие. А каково приходится, например, мужьям, которые искренне любили свою жену, были ей верны до ее смерти, потом искренне и долго горевали, пока не встретили новую подругу, так же искренне любимую? Как они проводят время там, где они встретились после жизни? Мне еще предстоит разобраться с законами этого мира. Наверное, у них совершенно другие признаки различия. Наверное, мне пора уже туда отправляться. Да, но сколько бы я ни думала о различиях, это наваждение меня не оставляет — я продолжаю находиться среди совершенно одинаковых зеркал, одинаковых размеров, одинаковой формы, без малейшего искажения, без незначительнейшего искривления поверхности, чтобы я могла их отличить и понять, куда двигаться. Куда бы я ни пошла, я — на том же месте. Я в окружении миллионов “я”, множась во всех направлениях, разрывающих горизонт и уходящих в бесконечность. И все такие одинаковые, не за что зацепиться. Я знаю, что только одно “я” — реальное, все остальные — картинки, но как мне различить? Будь у меня тело, я бы стукнулась о зеркало, и где больно — там я. И пусть бы не образовалось трещины, я продвигалась бы вдоль стены наощупь, я

знала бы, где верх, где низ. Я бы закрыла глаза, чтоб не видеть, и доверилась бы тактильным ощущениям. А теперь я не в состоянии даже не видеть. Я обречена на созерцание этого глумящегося хоровода “я”. Они даже не уменьшаются в перспективе, эти однойцовые близнецы моего “я”! — Ну, началось, а ведь я тебя предостерегала. Теперь ты влипла. Придумай им срочно имена! — Что-о-о? — Или дай им порядковые номера — два известных мне способа отделить одинаковые вещи. Ну, действуй же, пока это не закрепилось! Считай и проходи мимо, не останавливаясь. — Один, два, три, четыре, молодец, шесть, быстрее, быстрее, девять, дальше, одиннадцать, не останавливайся, тринадцать, как все несется, сорок один, далее, пятьдесят, продолжай, неужели я так далеко забралась, девяносто девять, я, кажется, лечу, тысяча сто один, сто два, сто три, а что я считаю? — не думай, продолжай считать, три тысячи девяносто четыре...

— Нет, это был, кажется, восемьдесят восьмой год, когда она ко мне пришла и попросилась в ученицы. — Но из этого, кажется, ничего не вышло. — В этом деле нужна большая усидчивость, которой ей не хватало. Но тогда эта работа становилась модной, много молодежи ринулось в эту область, а остались единицы. — Для меня это — темный лес, единственное, что я читал на эту тему, так только то, что кто-то из великих сказал, что икона — это окно в другой мир. Вы с этим согласны? — Ну, вообще, что такое икона? К нам в Россию это все пришло вместе с христианством в десятом веке, после крещения Руси. И для нас византийская школа живописи является канонизованной, и вся живопись на старой Руси притягивалась к этой школе. То есть что это значит? — существуют определенные библейские сюжеты, существуют определенные деяния Христа

и его учеников, также и его матери, Девы Марии, и все это запечатлено на иконах. Вообще икона всегда выполнялась на дереве, прежде чем нанести краску, на дерево накладывалась такая ткань — паволока, пропитанная рыбьим клеем, это было фоном. Затем сюжет процарапывался гвоздем на этом левкасе. Потом наносилась краска. Как правило, это была темпера, краски находились и размешивались на желтках. То есть белок отделялся от желтка и желток был базовой основой для краски. Каждый сюжет был определен в своем написании. То есть он был канонизован. Церковь освящала сюжет. Сам сюжет был четко фиксирован, то есть — кто стоит в левом углу и так далее, все было заранее определено. Даже цвета были зафиксированы. Но, кстати, цвета могли варьироваться. Когда христианство стало расплзаться по нашей стране, появились все новые и новые христиане, вместе с ними возникли и новые школы. В России существовало 156 разных школ, и практически каждая губерния имела свою Богоматерь. Разница в написании была в сюжете подачи Богоматери с младенцем Христом, в повороте головы, как Христос сидел на руках. Допустим, знаменитая икона Богоматери Марии, она принадлежит к владимирской школе, когда Христос сидел на правой руке Девы Марии и своей левой щечкой прижимался к лицу своей матери. Богоматерь могла быть и без Иисуса Христа. То есть школа базировалась на иконографии Богоматери, на тех нюансах, которые различали Ее написание. Где-то до середины семнадцатого века у нас была единая церковь, была церковь с определенным православным иконографическим сюжетом. Богомазы все, как правило, были монахами, они все писали по канонам. Но вот после восемнадцатого века у нас появилась уникальная икона, то есть икона, написанная не по кано-

нам. В основном, она писалась как Видение. То есть до середины восемнадцатого века различные богомазы, а чаще всего монахи-отшельники — Тот сон пришел который раз, он наизусть знаком — меня отшельник-богомаз берет учеником... — Что вы сказали? — Простите, это чистый поток сознания. Не обращайтесь, я с большим интересом вас слушаю. — Так вот, у нас существует еще иконография уникальной иконы. Уникальная икона — это икона, написанная не по канонам. Они писались как Видения. То есть к человеку приходило Видение в виде Божьей матери или какого-то сюжета, и в тот момент он начинал работать и фиксировал то, что к нему пришло. Вот эти Видения выбивались из канонических форм. В принципе, это самое уникальное, что существует в... в коллекционировании икон. Второй момент, тоже очень интересный, если говорить об иконографии, — иконы, посвященные определенному сюжету. Ну, допустим, вот есть у нас Никола-Чудотворец. Значит, он практически всегда изображается поясным портретом, с книгой в правой руке, определенная форма одеяния, определенная строгость лика и так далее, с нимбом и так далее. Но если мы возьмем двести, триста, тысячи икон, посвященных Николе-Чудотворцу, то не найдем штампа повторения. Вообще иконопись — это уникальное искусство. Иконографический сюжет, даже один и тот же, никогда не повторяется, он всегда — разный. Позже, когда началась работа печатной фабрики на патриархию, — Ситниковская типография, ситниковские богомазы, которые печатали — печатали, практически, иконы, с последующей их раскраской — маслом ли, темперой ли, но база была одна — картон, бумага, которые наклеивались на дерево. И это были иконы, которые продавались, они были дешевле, всем доступные, и они

продавались всем в магазинах патриархии. Ну все, я сейчас заканчиваю. — Нет-нет, пожалуйста, это так интересно. Расскажите еще из истории иконографии, я даже не знал, что она этим увлекалась. — Значит, в середине семнадцатого века патриарх Никон ввел новое, светское понятие в церковь. Иконы стали украшаться определенными композиционными орнаментами. И уже немножко изменились даже школы написания икон. Они не изменились совсем, но были введены новые, светские элементы, взятые из католической религии. И произошло разделение церкви на церковь старообрядцев, то есть староверов, и на новую церковь. Староверов начали преследовать, потому что они не подчинились. Это была огромная трагедия церкви, когда сотни и сотни тысяч людей уходили в леса, уезжали в другие губернии, поддерживая старые каноны церкви, старый ритуал любого обряда, поддерживали старую иконографическую школу без каких-либо вмешательств. Вот с этого момента, если мы берем старую иконографию, которая отделилась или разделилась со светской иконографией — официального разделения церкви не было, — церковь разделилась у нас, как вы, наверное, сами помните, в 1967 году было знаменитое празднование советской патриархией пятидесятилетия своего... — Я тогда еще не родился. — Патриарх Алексий — не нынешний патриарх Алексий II, а тогда был просто Алексий, — значит, произнес тронную речь в Троице-Сергиевой лавре — в тот момент я как раз производил реставрацию Троицкого собора, он меня даже тогда благословлял и освящал — мои работы непосредственно. — Вот я как раз хотел спросить — у вас было какое-то официальное разрешение на реставрацию? — Что такое разрешение на реставрацию? Патент, что ли? Да, у меня был практически один из первых патентов,

выписан был фининспекцией, странно, конечно, если брать с юридической точки зрения современной России, — это был абсурдный патент, поскольку никто не знал всех моих заработков и никто не мог определить, сколько я зарабатываю. Но я имел частный патент художника-реставратора. Реставрация реставрации рознь, можно сказать, есть профессиональная реставрация, есть дилетантская. Иконы бывают грязные... ну что значит грязные, нет, у иконы есть доска, есть паволока, есть левкас, есть темперные краски, нанесенные на икону. После этого, когда икона написана, готова, для сохранения красочного слоя она заливается натуральной олифой. Ее как бы покрывают лаком, олифа прозрачная и в то же время не позволяет атмосферному давлению воздействовать на краску. Краска не жухнет, не стареет, остается все время свежей. Но со временем, поскольку иконы находятся в красном углу — это темный угол, под лампадой... — Это что, действительно называлось красным углом? Я думал, он бывает только в пионерской дружине. В церкви тоже был красный угол? — Нет, в церкви нет красного угла — у нас есть главный иконостас и есть приделы, левый и правый, вот и все. Красный угол — это бытовое понятие. В доме существует красный угол, он ориентирован на восток. С востока приходит все к нам — Солнце восходит, Бог смотрит и так далее. Красный угол зависит от того, дом бедный или богатый. Бывает дом, где две иконы, а иногда красный угол закладывался иконостасом, киот из трех-четырех икон. Но если очень богатый дом — иконы выходили тогда из красного угла в жилую часть. Это домашняя церковь была практически. Нет, спасибо, я не пью. Вот эту? До той я не дотянусь. А вот, спасибо. Так на чем мы остановились? — На старовегах. — Да, вот, и когда старовеги отделились

или были, вернее, изгнаны и из церкви — их изгнали, их преследовали, их уничтожали, их убивали, их сажали в каталажки, в тюрьмы, чтоб они признали церковь, которую царь благословил совместно с патриархом. Значит, появилась светскость в обрядах. Появилась помпезность, появились украшения в одеяниях церковнослужителей, появилась роскошь, камни, золото. Ну, золото всегда присутствовало в одежде, но здесь оно... так трудно сказать — но вот монументальность, чуждая православной религии, пришла к нам от католической. Вычурность алтарей католической церкви, эта каменная резьба, виноградные гроздья, цветы, они переплетаются. Русская церковь, православная церковь всегда отличалась строгостью. Церкви, помимо всего прочего, имели названия, они были посвящены кому-то. Церковь Богородицы, церковь Архангела Гавриила, Никольская церковь. И церкви имели в своем интерьере фрески на библейский сюжет, посвященный тому святому, чье название они носили. Икона того святого, которому посвятили эту церковь, как правило, была при входе в нее. — Вы что-то говорили про уникальные иконы, в первый раз слышу, вы не могли бы поподробнее остановиться на этом? — Ну что ты перебиваешь? — Очень много интересных сюжетов было написано схимниками — это монахи, которые уходили в пустыни, в леса, уходили от мира, питались, чем Бог пошлет, очень часто выдерживая определенные посты, им приходили Видения, и они писали. Как профессионально писали, так и непрофессионально, — это когда не было материалов, которые, допустим, были в монастыре у художников. Они использовали сосновые смолы. Они отшлифовывали кусок дерева, затем выдалбливали часть, получалось как бы корыто. Заготовки могли быть массивными, чаще всего — довольно узкие. Живопись

производилась естественными красками, пигментами, глиной и так далее, как правило, это были желтые, коричневатые и черные иконы, лазури не было, например, или зеленого цвета. Но это были совершенно уникальные иконы. Ну, что вас еще интересует по этому вопросу? — Скажите, а были ли в вашей практике реставрации какие-то интересные моменты, находки, может быть? — Вот, например, на сегодняшний еще день спорный вопрос об иконе школы Рублева, иконы пятнадцатого века. Ко мне пришел один владелец западной галереи и говорит: «Вот скажи, пожалуйста, я купил икону, восемнадцатого века, на ней был изображен святой Николай-Угодник. Поскольку там были пожухлости краски — несколько раз снимали олифовое покрытие, пришлось отдать ее реставратору. Она увидела слой записи, а под ним — натуральный слой краски. Она начала вскрывать эту икону, то есть очищать верхний слой краски, закрепляя задний слой. Значит, появилось изображение Иоанна Предтечи». Есть еще одна икона Иоанна Предтечи школы Рублева, и не знаю, кто взял на себя смелость заявить — я знаю, это рука Андрея Рублева. Это практически невозможно. Ученики, которые были в школе Рублева в пятнадцатом веке, писали в манере своего учителя. Один из гениальнейших иконописцев, и вообще один из самых талантливейших, ярчайших художников-богомазов за время существования православной религии, я бы так сказал. В Москве одна из церквей, старообрядческая, которую не уничтожили во время советской власти, — я был там за два года до большущей кражи. Там была знаменитейшая икона «Спас Нерукотворный», посвященная сюжету, когда Иисус Христос шел на Голгофу, истекая потом, естественно, неся свой крест, и одна из верующих в толпе подошла к нему и полотенцем промокнула ему

лицо. На нем позже возник этот сюжет, по преданию. Почему Нерукотворный — потому что она не дотрагивалась к нему руками — дотронулась полотенцем. Этот Спас был изображен на одной из икон. Икона была довольно большая, она специально писалась для церкви, для алтаря, примерно метр двадцать на метр двадцать — она была квадратная, знаменитая. Значит, в любой точке церкви, как бы человек ни передвигался, где бы ни стоял, он видел, что Иисус смотрит на него. — Как Джоконда, да? — Эту икону тоже Рублев писал? — Нет, это было позже написано, я не помню, кто это писал. А Джоконда не водит глазами. — Да? — Да, Джоконда — видите ли, есть совершенно другие восприятия. Вот если взять эту икону, вот вы стоите и смотрите в лицо Иисуса, и у вас такое ощущение, что он за вами наблюдает. Это чисто психологическое ощущение — он видит тебя, где бы ты ни был в этой церкви, в любом углу. Возвращаясь опять к школе Андрея Рублева — это очень одухотворенная живопись. Да, значит, икона. Я взял эту икону, посмотрел... — Он привез ее сюда, обратно? — Нет, это вызвало бы большие сложности, я сам туда поехал. Для меня как для профессионала существует ведь понятие реставрации как правки сотни и сотни икон, с разными школами, ты знаешь эти школы, ты сразу можешь определить по краске, по композиции, к какой школе принадлежит эта икона. Если ты занимаешься иконографией профессионально, ты обязан знать историю русского христианства, иконографическую историю, историю религии чуть-чуть хотя бы, чтобы иметь представление, что за библейский сюжет изображен на иконе. Но это — опыт, практически это — опыт. Если ты реставратор, ты должен еще знать составы, растворы, работать со связующими материалами, уметь подобрать

растворы, которые уберут именно эту красочную часть слоя, и ни коим образом не ошибиться, потому что если ты ошибешься, то можно убрать всю краску, когда икона дописана. Это часто бывало, — допустим, икона стареет — например, домашние иконы — все бабушки любили иконы протирать, делали это тряпочкой. Иконы приходили в негодное состояние за счет паствы, которая ее целовала, облизывала, слезами поливала и так далее. И всегда после того, как заканчивалась служба, монахи или люди, которые убирались в церкви, они протирали иконы влажной тряпочкой, а иногда и мыльцем в качестве дезинфекции. А когда были эпидемии, то мыли разными медикаментами, чтобы не было переноса заразы. И вот периодически с иконы снимался олифовый слой, он доходил до красочного слоя, в какой-то период времени утрачивался и красочный слой. Когда он утрачивался, икона заново писалась. Она поступала в мастерскую к какому-то богомазу, и уже исходя из заказов церкви он мог повторить сюжет, который был на этой иконе, или написать новый. Может быть, два-три раза за век икона заново писалась. Чтобы вернуться к первому красочному слою, к первому изображению, мы послойно снимали слои. Это как слоеный пирог. Сюжет мог процарапываться гвоздем, а мог и нет. И профессиональные реставраторы должны были уметь подобрать растворители таким образом, чтобы они не тронули первое изображение, старый грунт, поскольку фиксация каждого слоя красочного — вся самостоятельная, связанная в своем временном периоде и в определенных климатических условиях, температура, влажность, агрессивность, которая была в этот момент. Тогда никто не думал об экологии. Каждый красочный слой, в зависимости от того, сколько желтка было добавлено в консистенцию, связующую краску —

было один к одному, один к двум, один к трем. Но чем больше желтка, тем консистент был тверже. Делалось на краях, на полях иконы маленькое окошечко, для определения качества краски — Реставратором? — Ну да. Это была пробная расчистка. По ней уже подбирался раствор дальше. Икона никогда не чистилась целиком, только фрагментами — примерно как на шахматной доске, такими участками шла расчистка иконы. Шла подгонка, тончайшая подгонка, чаще всего с лупами, чтобы поймать границу, миллиметровую, чаще всего, и так она реставрировалась. Если ты человек профессиональный, у тебя большой опыт, у тебя очень чувствительные пальцы. Сегодня я бы не стал заниматься реставрацией икон, может, взялся бы только за размывку — то есть снятием первого, общего слоя. Мне нужны недели две-три, может быть, даже месяц для адаптации, для работы с плохими иконами. То есть, нет плохих икон, понимаете, но не на ценных иконах, чтобы попробовать размять свои пальцы, чтобы чувствительность не огрубела. Тут нужна чувствительность нейрохирурга, я бы сказал, а не хирурга обычного, который кромсает наше тело совершенно спокойно под наркозом. Это очень тонкая работа. Возвращаясь к этой иконе — я увидел, что это икона пятнадцатого века, имеет свои характерные элементы. Например, в пятнадцатом веке не обрабатывали дерево рубанком, как правило, оно обтесывалось первоначально топором, потом маленьким ножом вручную выравнивалось. Есть определенные формы для клиньев. Клинья — задняя часть. Хотя дерево просохшее, но когда накладываешь всю эту красочную массу, то тогда оно может деформироваться, то есть разгибаться. Как правило, иконы выпуклые. Так вот, эта выпуклость фиксируется деревянными шполами сзади, клиньями. Ну вот, шполы

были различными — ласточкой, прямоугольные — самой различной формы они были. Все это опять характерно по векам. То есть каждое столетие имело свою форму. Опять же были школьные формы — даже заготовок для икон, то есть досок для икон. Так я вижу, что икона сделана в пятнадцатом веке, то есть форма изготовления соответствует пятнадцатому веку, что ее клинья — пятнадцатого века. Значит, с доской мне все было ясно. Но вопрос с сюжетом был очень сложный. В правой руке у него было Евангелие, а левая рука развернута, но ладонь не раскрыта, только обозначена, он как бы начинает движение руки — обращается к людям. Тут возникли сомнения: либо эта рука была дописана позже — лик, судя по краскам, был написан в период Андрея Рублева, цветовая гамма была выписана в том периоде, складки хитона и прочее тоже соответствовали. Да, вроде бы это владимирская школа пятнадцатого века. По первому впечатлению у меня были сомнения — надо было делать рентгеноскопии, микросъемки, то есть увеличенные цветовые фрагменты каких-то узлов и деталей. При микросъемке раскрывается техника письма, техника нанесения красок, и тогда видишь школу, ты можешь определить, профессиональный ли это художник-богомаз или нет. Надо было сделать рентгеноскопическую экспертизу, чтобы определить первоначальный красочный слой, наличие какого-либо другого красочного слоя. Я сказал ему, что я верю, что это тот период, но я вижу, что была сделана подделка, причем сделана она была в конце восемнадцатого — начале девятнадцатого века. Краски вроде соответствуют тому периоду, но нужно сделать химическую экспертизу. Она вроде бы была сделана им на Западе, но я не верю западным экспертам. Нет, поймите меня правильно, не потому, что они слабые профес-

сионалы, но все лаборатории у них приватные, они работают за маленькие деньги, и верить их заключениям можно, только когда они выполняют государственный заказ. Когда нужно определить подлинность какой-либо украденной картины для музея — вот тогда они делают скрупулезный анализ, включая криминалистическую экспертизу. Делается большой октохром и затем на экране растягивается. Вы видите на экране, видите почти изнутри, как работал художник. Можно видеть каждый мазок. Это позволяет нам, экспертам, дать более четкое заключение. И все равно я считаю, что любая экспертиза дает право эксперту на ошибку ну, минимум, на тридцать процентов. Я расскажу вам показательный случай. Где-то в восемьдесят шестом — восемьдесят седьмом годах я работал в министерстве культуры. Мне звонит как-то начальник управления и говорит: «Срочно бросай все и приезжай — ко мне пришел один владелец, он принес с собой очень много интересных вещей, я хочу, чтобы ты на них посмотрел и дал свое заключение». Я сказал, что у меня много работы, но он ответил: «Все бросай, ты не пожалеешь». Я приезжаю и вижу — весь его кабинет заставлен иконами — штук шесть икон стоят — и картинами голландской школы, которые были сделаны на дереве, то есть на пакетированной доске. Пакетированная доска — это типичный период от пятнадцатого до восемнадцатого века голландской школы, когда дерево сзади имело плетеную такую часть, ну, полосы древесины переплетались друг с другом, это называлось пакетированием. Оно было разной формы — фигурное пакетирование, овальное и так далее. Я смотрю на эти иконы и вижу: старые иконы, я смотрю на заднюю часть — по первому взгляду полное ощущение, что это икона середины шестнадцатого века. Но стопроцентно я этого утверж-

дать не могу. Про картины тоже говорю — век, все сходится. Смотрю, у него глаза хитрят, какая-то хитринка в глазах, говорю — но надо провести доскональные исследования, чтобы определить подлинность, авторство и так далее, что касается голландцев. Он говорит: «Ну а посмотри на иконы, что ты можешь сейчас сказать?». Но не так же внезапно — ну, старая олифа, характерный красочный слой, характерная цветовая гамма для этого периода. Ну и сюжет. Я говорю: ну я думаю, что это пятнадцатый—шестнадцатый век, а дальше надо смотреть — все, что я могу сказать. Пока. Он говорит: «Ну, теперь я раскрываю карты: знакомься, господин... э-э-э, ну, товарищ такой-то, физик-ядерщик, экспериментатор, работает в Дубне, коллекционер. На досуге занялся проблемой старения материалов. По его заказу были сделаны художником-реставратором ряд икон, которые ты видишь. Затем он их облучил, бомбардировал нейтронами. Результат этого — меняется молекулярный состав всего этого хозяйства, структура. Мы потом пытались сделать экспертизу в Третьяковской галерее — спектральный анализ краски, рентгенограммы, геолограммы — чего только мы не делали, ответ — пятнадцатого — шестнадцатого века. Это о том, что вообще можно сделать с материалом. Потому что наука движется вперед, и на сегодняшний день те фальшаки, которые гуляют по белому свету, самого различного уровня, самых великолепных мастеров, подделанных нашими народными умельцами или общими умельцами международными, — практически, масса историй по этому поводу. — А что было дальше с этой иконой Рублева, определили ее подлинность в конце концов? — Значит, с этой иконой. Я сделал хорошие слайды, хорошие фотографии, большие микро-снимки, то есть конкретных участков, и я повез для

специальной консультации с экспертами, которые занимаются Рублевым. Значит, не так уж и много по нему экспертов, но у нас в России они существуют в двух музеях — в музее Рублева и в Третьяковке. Главный хранитель музея Рублева склонялся к тому, что, возможно, это школа Рублева, кто-то из круга его учеников, но в Третьяковской галерее у специалистов были сомнения, и мы стали перелистывать всю иконографическую литературу, посвященную школе Андрея Рублева. И вот мы видим — фотография, черно-белая, абсолютно один к одному этот сюжет, который находится в запасниках Третьяковской галереи. И никак не могло быть дубликата этого сюжета, который бы находился где-то там. И действительно, я вижу, что рука перевернута не так, как на той иконе, помните, я говорил, что у меня вызвало сомнения? — Ага. — Левая рука более развернута и менее выломана, если так можно сказать. Она была как подломанная, что говорит о непрофессионализме художника. Значит, кто-то из реставраторов позже подрисовал эту руку, потому что остальное было на уровне. И так далее, начинает раскручиваться этот сюжет. О' кей, мы решили, что этого недостаточно, вся эта экспертиза без самой живой иконы. Я привез с собой экспертов, и вот мы втроем сели за микроскопы и стали изучать каждый миллиметр этой иконы. Ну, единственное, чего не сделали, — это рент-геноскопии. Потому что владелец должен был платить, а он отказался, потому что мы, три эксперта, в три голоса заявили: «Да, это нарисованный фальшак». Может быть, осталось десять — пятнадцать процентов красочного слоя от первоначальной иконы, все остальное дорисовано. Когда нас попросили под микроскопами сделать бинокулярную экспертизу под очень большими лупами, так идешь шаг за шагом по всей иконе, рассматриваешь

каждый миллиметр, то уже начинает просматриваться искусственно нанесенный кракелюр, то есть естественная усушка и деформация лакокрасочного слоя, как бывает на иконах или старых картинах, когда при усушке появляется как бы такая паутина. Тут кракелюр был искусственно сделан, прорисован, а потом заолифен, то есть не было глубины у него, а глубина должна дойти по всему красочному слою до основы, левкаса. В общем, мы сошлись на том, что это фальшак, хотя и очень качественно выполненный. — Скажите, а что это вдруг вы в те времена занялись иконами, да и еще говорите, что у вас был один из первых патентов на их реставрацию? Вы человек верующий? — Не могу этого утверждать даже сейчас. А в те времена... у нас было другое воспитание, это среди вашего поколения сейчас модно, ну, может, я не так выразился, но сейчас можно быть верующим или неверующим и спокойно об этом говорить — ни за то, ни за другое не осуждают. А вспомните, какие тогда были времена, — не может быть, чтоб вы этого не помнили, вы должны были быть в старших классах, когда это пошло на нет. А нас не только за веру, но за простое посещение церкви — если не было оправдательного документа хотя бы в качестве реставрационного патента, — выгоняли из института, сажали. Если кто-то и верил, то втихомолку. Спросите кого хотите — не будем трогать ее отца, у него сейчас другие заботы, но вот кроме меня тут есть еще несколько господ моего поколения. Пусть они вам подтвердят. — Да они оба иностранцы! — Да, я иностранец, но тоже атеист. Я родился в такой показательно верующей стране, что мне это было неприятно. — Что это за страна? — Греция. Вы знаете, там это все так ненатурально выглядит, например, идут по улице мальчик и девочка лет пятнадцати, идут, взявшись за руки, целуются и все

такое и вдруг видят церковь — а там через каждые десять шагов по церкви — в Афинах, по крайней мере, — и вот перед каждой церковью они останавливаются, разнимают руки и ... — Начинают истово креститься. — Да, именно это я хотел сказать. А вы там были? — Нет, просто предположил. — Но еще смешнее бывает в автобусах. Знаете, там все улицы такие извилистые и в гору, не то что здесь. И еще они очень узкие, а водители автобусов едут на очень большой скорости — знаете, южное удалство. И вот я каждый раз наблюдаю, когда еду в автобусе, жду и думаю — может, теперь они научились? Но нет — каждый раз это повторяется. Те, кому не удалось занять сидячие места, стоят, взявшись правой рукой за поручень — иначе не удержишься при такой езде, а в левой руке у каждого практически сумка или пакет. И вот когда автобус на бешеной скорости поднимается в гору, там есть отрезок, где нужно сделать крутой поворот, и прямо там находится церковь. И вот я каждый раз с ужасом жду и все-таки немножечко не верю — но все на повороте дружно отпускают поручень и начинают креститься и валятся друг на друга. Каждый раз! — Ну, Греция! — все-таки первая христианская страна, ей можно простить. — Нет, первая христианская страна — Армения. Мне один армянин, мой кореш, рассказывал... — Их послушать — они во всем первые. А что ни великий человек — так сразу был армянин. Уши вянут. Евреи хоть молчат в тряпочку, хоть половина великих людей была евреями, к сожалению. А эти прямо с пеной у рта кидаются доказывать, что Нельсон Манделла — армянин, только малость загорел на солнце. — Нет, то, что они — первая христианская страна, то есть первыми приняли христианство как государственную религию — раньше Византии, — исторический факт, я

про это читал. Но вот баечка, которую он мне про это рассказывал, как это произошло, мною не проверена. Но в ней нет ничего такого особо для них лестного, так что, может, и правда. Имен уже не помню, был у них какой-то царь, и какой-то князь, его близкий друг, как-то подло его убил и потом свалил в Византию от преследования. Там он и помер благополучно, а его сынок, набравшись на чужбине новомодных идей, решил вернуться с ними на родину. Приехал и начал распространять христианство. А правил тогда уже сын того убиенного царя. Ну, он велел поймать нарушителя спокойствия, допросил, и тот как истинный христианин не соврал, кто он такой. Ну, тут царь велел бросить его в яму, полную гремучих змей, в которой они наказывали самых отъявленных преступников. Бросили, а царю ночью снится сон, что он превратился в свинью, бегаёт по всему своему государству и хрюкает, сказать ничего не может. И так три раза, то есть три ночи подряд. На третью ночь голос свыше ему сообщает, что все это за то, что он покусился на хорошего христианина, и он должен немедленно его освободить, если не хочет, чтоб все наяву произошло. Наутро царь велит доставить себя к этой яме, — глядь — а тот сидит себе спокойненько среди змей, а те к нему вроде даже ласкаются, но не кусают. Хотя их держали впроголодь и от их жертв на тот же день ничего не оставалось. — Ты хочешь сказать, что змеи пожирали людей? — Ну, змеи искусывали насмерть, а потом птицы расклевывали. А этот сидел себе блаженненько. Царь так поразился, что велел освободить его, попросил прощения, потом расспросил и так проникся, что сделал христианство государственной религией. За что они потом, кстати, расплачивались и до сих пор не могут расплатиться. — Да, впечатлительный был царь, куда там Гамлету. —

Кстати, у них там пол-Армении зовут Гамлетами и Офелиями, а другую половину — Гомиками и Джуликами. — Может, Шекспир тоже был армянин? — Но то, что Ной высадился на горе Арарат, — общеизвестно. — Ты чего горячишься? — Это не мое высказывание, я перевожу господина. — Простите, так вы тоже иностранец? — Да, я приехал из Германии. — Я недавно был в Израиле — так армян там немного, но все мало-мальски важные точки у них в руках, христианские, я имею в виду. — А где ж им быть — евреям не надо, не арабам же отдавать? Переведи своему немцу. — Кстати, я не успел ответить на ваш вопрос насчет нашего поколения и религии, который мне эта любезная девушка перевела уже, — *извините за дословный перевод, но мне так проще переводить.* — *Давай, валяй. Между прочим, у них там переводчицы на почасовой оплате.* — *Кому ты это говоришь? Ладно, неудобно, перевожу дальше. Wie bitte? М-м-м,* несмотря на то, что я вырос в Германии, я тоже неверующий, но я тоже пострадал за веру. — Каким образом? — Мне было около семи лет, когда мои родители из чешской католической деревеньки переехали в немецкую протестантскую. Мы оказались единственными католиками на всю деревню — наша семья, я имею в виду. Мои родители как-то проще к этому относились, хотя соседи подчеркнуто холодность демонстрировали. А ко мне дети открытую враждебность проявляли. Мы долго не могли понять, что все из-за различия в конфессии. Потом мы узнали, что даже местный священник счел нужным с аналоя призвать прихожан сторониться нас. — Ну и дела! Переведи, что я считаю это ужасным. — Тем не менее это было так. Но я решил не сдаваться. Не хотят дети играть со мной — я и так обойдусь, хотя семилетнему мальчику это нелегко давалось, но моя независи-

мость обернулась успехом — через какое-то время местный заводила сделал первый шаг. Он подошел ко мне и спросил, почему я не хочу перейти в их веру, тогда все будут со мной дружить. Я ответил, что меня и моя вера полностью устраивает. Тогда он подумал и сказал: «Наш Бог самый сильный. Если ты не подчинишься, Он может тебя уничтожить. Если Он захочет, Он сможет уничтожить весь этот мир целиком. Теперь ты понимаешь, какой Он могущественный?». Я ответил: «В таком случае, наш Бог — могущественнее, потому что на месте разрушенного он может построить новый мир». Я до сих пор горжусь, что в семь лет нашелся так ответить. — Кто этот человек? — Тише, он услышит! — Но ты его знаешь? — Ну так, слышала. Он очень высоко взлетел. Какой-то очень крупный пост занимает в Германии. — Да уж, можно представить, если он в семь лет проявил такое упорство... Скажите, и чем же дело кончилось? — Они меня приняли. — Он что, ради нее приехал сюда? — Да не думаю, наверное, был по делам и совпало. Он собирался ее выставку на Западе организовывать. В общем, неудачно она умерла — у нее все уже было на мази в нескольких местах. Еще пара месяцев — и она пошла бы в гору, каталась бы на «мерсах». — Да уж докаталась. — Простите, но тем не менее вы заявили, что вы — неверующий? — Я не могу назвать себя верующим, к сожалению. Но я стараюсь делать все, что в моих силах. — Например? Простите мне мою славянскую настырность. — Я ничего не имею против славян. Я в детстве жил в Чехии, и у меня остались наилучшие воспоминания. Более того, я считаю, что сейчас вся надежда на Восток, Запад исчерпал свои возможности, он сейчас бесплоден. Жизнь там еле теплится оттого, что людям все приелось. Если Восток не вдохнет све-

жую струю, там может случиться капут. А что я лично делаю — во-первых, я стараюсь уберечь экологию среды, насколько это от меня зависит. Поэтому я не покупаю машины и не беру такси, хотя по роду деятельности я должен много ездить по городу, — я всегда пользуюсь метро. Потом я выбрал себе такую работу, чтоб иметь возможность реально помогать людям. В основном, я помогаю художникам — я сам мечтал стать художником, но у меня ничего не вышло, зато я в этом неплохо разбираюсь и, если я нахожу хорошего художника, я пытаюсь облегчить ему существование — большая часть моей работы с этим связана. Мне очень жаль, что с ней это случилось, я думаю, она бы далеко пошла. — Скажите, а вы что — армянофил? Вы просто так страстно заговорили о Ное. — Нет, я просто стараюсь быть справедливым. — Слушай, кончай свои бестактные вопросы, у них так не принято. Не видишь, что ли, — человек напрягается. — Насчет фильства или фобии — это у них вообще больной вопрос. Считается дурным тоном спрашивать такое. — Ну да, в семье висельника о веревке не говорят. — Да не в этом дело. Немцы — необычайно благородный народ. Они до сих пор настолько болезненно переживают ошибки своих предков, так раскаиваются, будто сами все это сделали. — Ну еще бы им не переживать! — Не скажи. Сколько было народов, которые совершили подобное, и им всем до фени, их потомкам. Уже скажи спасибо, если они не гордятся своим прошлым. А немцы — мне рассказывала одна моя знакомая, которая переехала жить в Германию, и у нее маленький ребенок, — уже с детсадовского возраста учат детей: «Мы преступная нация, мы совершили большой грех». — Вот доучатся скоро. Будь я на месте этих детей, я бы сказал: «А пошли вы все на ... Я — преступник? Ну хорошо, смотрите же, на

что я способен!» — Ну да, понятно, по принципу: «Если поросенком вслух, с пеленок, называют, баюшки-баю, даже самый смиренный ребенок превратится в будущем в свинью». Но вообще я жил какое-то время среди них, я заметил такую особенность — они чрезвычайно сентиментальны и... — Ты заметил! Скажите, какой первооткрыватель! — Это все наши русские писатели заметили, кончая Набоковым. — Ну дай мне досказать — у них такая особенная сентиментальность — они должны восторженно любить не просто какого-то человека — масштабы не те, а сразу целую нацию. Потому и сентиментальность, что не целый мир, допустим, сразу, а избирательно что-то одно. Но поскольку собственный национализм у них — табуирован, они выбирают какую-либо безобидную нацию, чаще всего даже выискивают — чем больше она забыта Богом, тем лучше — надо же найти выход страсти. Я встречал многих немцев, нашедших таким образом любовь своей жизни, — вы бы на них посмотрели, — они говорят на другом языке лучше любого представителя этого народа, знают историю, культуру этой страны как свои пять пальцев, любят все это пересказывать, делают это с воодушевлением и в ответственные моменты могут всплакнуть. Разве это не трогательно? — Ну, не знаю. На мой вкус, слишком уж они носятся со своим чувством вины. Могли б и поскромнее быть. — Да, я с тобой согласен, иногда их экзальтированность переходит всякие границы. Но недаром говорят, что человек способен подняться настолько высоко, насколько низко он может пасть. Один мой знакомый еврей рассказывал, — я уж не знал, что и думать, совсем очумел. Короче, ездил он недавно в гости в Германию к своим родственникам, которые там сдались на постоянку... — Да, сейчас большинство евреев сваливают не в Изра-

иль, и даже не в Америку, а в Германию. — А что, резонно — и к России, к дому, поближе будет, и условия там не бей лежачего. Все там сразу получают квартиры, живут на полном государственном обеспечении, как у них там называется — социалку получают, раз в полгода им сверх того выдаются деньги на новую одежду и так далее, еще куча льгот. — Это все прекрасно, но у меня волосы дыбом встают, когда я слышу, что в числе их привилегий находится пункт, который дает им право на большую материальную компенсацию за убиенных бабушек и дедушек, если они смогут доказать, что таковой факт имел место быть. Вот это уже ни в какие ворота не лезет. — Ну ладно — не суди да не судим будешь, как говорил их человек, ставший нашим Богом. — Вот именно, что нашим Богом, которого они распяли. А вспомни, что говорил их Бог: «Око за око, зуб за зуб». Ты вообще читал их Ветхий Завет? — там черным по белому все расписано. С самого начала так повелось, вспомни, ведь они этого и не скрывают, — первым делом они с голодухи потянулись в Египет, потом потихоньку заняли там все теплые места — разве вот только фараоном не стали... — А на фиг им это надо было — они всегда предпочитали роль серого кардинала! — ...плодились и размножались, а когда их чуть-чуть прижали — сразу давай вопить. И кстати, когда Моисей их убил египтянина, защищая еврея, евреи же на него донесли фараону. И вот когда Бог ихний услышал их вопли, Он решил их вывести из земли египетской, но опять же заметь — не на пустынные, незаселенные земли, а к другим народам, «где течет молоко и мед». И при этом Иегова велел не просто уходить, а вначале обобрать египтян — он прямо так и высказался. Естественно, что египтяне их не отпустили — и вот Иегова наслал

на них семь казней египетских, одна похлеще другой, кончил тем, что убил всех первенцев у египтян, и тогда те рады были вообще избавиться от евреев любой ценой. И ведь если вы внимательно читали Ветхий Завет, фараон не по своей воле, получается, не отпускал их, а вначале «Господь ожесточал его сердце». То есть все эти страдания египетскому народу насылались, чтоб красивше все обставить, чтоб евреи ушли с понтом. То есть он срежиссировал так, что «сделался великий вопль в земле Египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца». И когда они под эти вопли степенно собирались в дорогу, укладывая весь свой скарб, так, чтоб ни одной нитки не осталось, Иегова давал последние наставления своим детям: «Внуши народу, чтоб каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещи серебряных и вещей золотых» и заверял, чтоб не стеснялись — им не откажут. — Глянь, чешет как по писаному. Неужто наизусть выучил? — А чего, врага надо знать в лицо. — Ну, слушайте, терпению моему пришел конец! Или вы прекратите подобные разговоры, или я вынуждена буду вас просить покинуть этот дом! — Да ну? На каких правах вы это сделаете? — А на правах ее подруги. Я уверена, она бы тоже не стала терпеть таких речей! — Слушай, ну ты и правда загнул — надо знать, где и что можно говорить. Тут тебе не общество «Память». — И вообще, чего ты так распоясался, когда ты сам еврей, милый друг? Что ты нацию свою оскорбляешь? — Оттого и оскорбляю, что изнутри ее знаю. Вам не понять всей нашей едкости. — Не надо, у меня все хорошие друзья евреи, и все очень благородные люди. Мне ли не знать своих друзей? Так что ты давай это, кончай грузить. — А вы заметили, что в нашей любимой национальной присказке “жиды спаивают русских” глагол-то двусмыс-

ленный. Я не всегда врубаюсь, в каком смысле его употребляют. — Слушайте, это я виноват во всем, я начал свою историю, дайте я ее доскажу, — уж больно она забавная. Так вот, этот мой знакомый еврей поехал в Германию погостить. И все там ему понравилось после совка — и витрины тебе сияют, и товара полно в магазинах, и прохожие улыбаются без конца, как будто *рубль хотят занять*. Но уж более всего он приторчал на общественных туалетах. Заходишь, говорит, внутрь — тут тебе и музыка сразу начинает играть такая приятная, и ветерочек нежный обдувает, и розами-фиалками кругом благоухает, и стоит все это дело недорого, вот он и повадился во время прогулок по городу туда заглядывать. И вот раз, говорит, выхожу из кабинки, только собрался руки помыть, вдруг один ганс прямо как из-под земли передо мной вырастает, и сурово так, глядя прямо в глаза, вопрошает: «Юда?» Ну я, говорит, струхнул, конечно, кругом никого народу, колени подкосились, думаю, совру-ка давай: «Найн, ниht», а потом думаю — где ж твоя гордость, выпрямился весь, приготовился к удару и как рявкну: «Йа!» А тот вдруг как грохнется на колени прямо в эту грязь... — Ты ж говоришь, там все чисто? — ...начал целовать ему ботинки, чуть не плачет и говорит: «Мой народ очень виноват перед вами! Простите нас, если можете!» — А, я знаю, о ком ты говоришь. Это очень известный художник. Он мне тоже рассказывал эту историю. — Да никакой он не художник, он простой инженер, ты не можешь его знать. Он вообще из Харькова. — Постойте, а мне эту историю рассказывал один правозащитник, он говорил, что это с ним самим случилось, и он вроде бы там ответил: «Ну ладно, чего там, так и быть, прощаю». — Да это вообще очень распространенная байка. Ее даже один очень известный писатель в свою

пьесу вставил. — Что за писатель? — А ты все равно не знаешь. Ты ж только классиков читаешь, да и то не наших. А он из молодых, скандальных. — Да один ты у нас такой умник, как я погляжу. — Слушайте, нехорошо это, сидит человек, языка не понимает, а мы обсуждаем его нацию. Давайте прекратим. Но вообще я должна заметить, что довольно показательно, что именно эта история стала притчей и, как вы уверяете, все ее рассказывают. Это лишний раз доказывает, насколько немцы благородны. Недаром они дали миру всю новую философию, и весь романтизм пошел от них же. — Ну еще бы, если прикинуть, они просто обречены на благородство, чего о нас не скажешь. Ну посмотрите, у нас у обоих в одно и то же время было одинаково ужасное прошлое. Но если они, оглядываясь назад, содрогаются и говорят: «Какими же подонками были наши предки», и, зная, что они сами на это не способны, тем не менее берут на себя их вину и даже пытаются искупить — то есть вдвойне проявляют благородство, — то мы, оглядываясь назад, на свое прошлое, думаем то же самое, и тут же себя одергиваем: «А на каком допросе я бы сломался? Может, уже после первой же пытки начал всех закладывать? А может, еще раньше, из страха, что станут брать близких?». То есть мы себя чувствуем вдвойне в говне. А они могут себе позволить быть порядочными. — По-моему, наши народы вкладывают в это слово не один и тот же смысл. У нас если человек не предает явно, не делает в открытую гадостей, то он уже вроде и порядочный. А у них все это идет больше от слова «порядок». Немца особенно не загрузишь своими проблемами, я это по своим знакомым знаю, но если он что-то решит взять на себя, предварительно все обдумав, то он будет тянуть лямку уже до конца, сколько бы по ходу дела на него ни грузили, и не будет ныть,

типа: надо же довести дело до конца. — Знаете, хороший анекдот, он хоть и с бородой, но ужасно мне нравится. Собрались как-то в Америке на самом верхнем этаже небоскреба главы государств для переговоров и заспорили, чей телохранитель преданнее. Естественно, каждый уверяет, что его. Решили провести эксперимент. Первым призывает к себе своего телохранителя американский глава. Спрашивает: «Ты мне предан?» — «Предан». — «Пойдешь ради меня на любую жертву?» — «Пойду». — «Умрешь за меня, если понадобится?» — «Умру». — «Ну вот видишь раскрытое окно? Прыгай!». Тот подходит, наклоняется к уху и шепчет: «Вы же знаете, я вам, конечно, предан, и умру за вас, если понадобится. Но так, ни за что ни про что? Поймите, у меня — жена, дети...» Тот его отпускает. Все в точности повторяется и с английским главой, и с французским, и с немецким. Наконец подзывает своего телохранителя русский глава: «Ты мне предан? — «Так точно!» — «Умрешь за меня?» — «Слушаюсь!» — «Ну вот окно — прыгай!» Тот разбегается — и вниз головой. Внизу его подхватывают на растянутый матрас, тут же подбегают репортеры и спрашивают: «Скажите, неужели вы заранее знали, что вас подстроят?» — «Нет, конечно». — «Зачем же вы прыгнули?» — «Поймите, у меня — жена, дети...» — Нормально. Давай я ему переведу, а то он, бедный, слушает и не понимает, о чем идет речь. Скучно ему, наверное. — Что ты оправдываешься, переводи. Но только анекдот, остальное — не надо. — Ну я ж не дура, сама понимаю. — Слушай, ты ему потом скажи по-бусурмански, может, он выберет время на мои работы взглянуть? Чем черт не шутит, вдруг понравится? — Ладно, но не сейчас скажу. — Да-да, я все понимаю, конечно. Так, когда время будет. Но ты просто замолви за меня словечко, скажи, что я не

последний из рисовальщиков. И кстати, скажи, что я уже был в Германии пару раз, но еще не выставлялся там. Зато у меня были групповые выставки в Голландии, во Франции... — Как вы все разъездились, однако, — кого ни послушаешь — все успели везде побывать. — А вы что — еще нет? — Мне как-то не привелось. Я не представляю до сих пор, как это делается. Нужны ведь какие-то приглашения, визы? — Ну вы можете просто купить путевку, если финансовое состояние позволяет. — Увы, мои финансы поют романсы. — Господи, вот еще один пошляк. Где только она их выкапывает? — Тише ты — может, это знакомый родителей. — Ты смотри — немец оценил анекдот! — А что, он вроде нормальный с виду мужик, чему ты удивляешься? — Да просто у них совсем другое чувство юмора, чем у нас, я давно заметила. И плачут они совсем над другими вещами. — Ну, это ты преувеличиваешь. — Могу привести пример. — Ну? — Вот хотя бы — своими глазами видела — дочка моей подруги, которая живет там, выписывает журнал — такой, подростковый, ей двенадцать лет. И вот в этом журнале картинка — шел мальчик по улице и вдруг увидел девочку в короткой юбке и пошел за ней следом. Потом он увидел девочку в более короткой юбке и пошел за второй девочкой. А теперь скажите, чем болен мальчик? — Ну, не знаю, близорукостью? — Не угадал. — Нормальный мальчик, чем он может быть болен? Любовью к девочкам? — Нет, правильный ответ: кариесом, потому что девяносто процентов населения страдают кариесом. — Да брось! — Своими глазами видела! — Ну что ж, зато у них чистота и порядок, не то что у нас. — Кстати, ты заметил при этом, что у них храмы переместились. Вот вы тут разглагольствовали про церкви, а какие здания у них теперь самые роскошные, самые

модерновые и привлекают наибольшее число посетителей? Даю наводку — эти здания вы тоже упоминали. — Музеи? — Музеи, как правило, пустыют, — общественные туалеты. Больше всего усовершенствований за двадцатый век коснулось именно этой сферы. Чего только не придумали, казалось бы — ну что может быть еще, ан нет, с каждым приездом обнаруживаешь что-то новенькое. Скоро люди оттуда вообще не будут вылезать, влюбленные будут там стрелки забивать, деловые люди станут там вести переговоры. — Да, если б туда еще и телевизор... — Такие уже есть, скоро там будут спектакли ставить, балет, там, опера. — Ничего вы не понимаете — тем эти места и хороши, что человеку можно там уединиться, газетку почитать, просто подумать — лучше места не придумаешь. — С этими туалетами мне одно непонятно. Допустим, все эти ваши евреи не врут, с каждым из них в отдельности произошла идентичная история, допустим, но как они могли понять такую довольно сложную фразу на немецком языке: типа прости и так далее — ведь в школе у нас основным иностранным был английский. — Слушай, проехали уже. Не буди лиха... — Но помяните мое слово — немцы еще наплачутся, что снова их к себе пустили. Появится Гитлер второй и даст им прикурить от газовой зажигалки. — Уже не появится. Ситуация изменилась — так же, как у нас уже не появится второй Сталин. Проехали. — Ну это мы посмотреть будем, как говорится. — А что евреи? Между прочим, вы знаете, как Запад все это воспринимает? Они боятся совсем другого, у них везде предупреждающие плакаты «Русские идут!» — вот чего они боятся. — И правильно делают. Боятся — значит, уважают. Миллионы вас, нас тьмы, и тьмы, и тьмы... — На этом Западе только и разговоров что о «русской мафии». Она теперь у них

заместо КГБ. — Свято место пусто не бывает. Надо же им кем-то пугать маленьких детей, чтобы слушались. Все средства хороши, лишь бы отвлечь людей от внутригосударственных проблем. А русские сейчас — самый безобидный козел отпущения, говори что хочешь — эта страна семьдесят лет была за «железным занавесом», известно, что там есть Сибирь, медведи, коммунисты и водка. Все. Ну, может быть, слой суперутонченных эстетов добавит к этому списку Достоевского, балет и Солженицына, ну еще черную икру. Неизвестно, чего ждать от такого народа, ну и давай про мифическое КГБ или русскую мафию. — Ну, допустим, не такое уж мифическое. — Но не в такой наивно-гиперболизированной форме, в какой они воспринимают. Ну что такое КГБ — это было страшно для нас, а им-то что? Чего они боялись? — Между прочим, говорят, что русские своей наглостью, нахрапистостью и беспринципностью переплюнули уже итальянскую мафию. На Западе все-таки привыкли вести борьбу более цивилизными средствами. — Ну ничего, скоро они сами, своими руками воздвигнут новый «железный занавес», только замок будет висеть с противоположной стороны. — Но тогда они захлебнутся в собственном дерьме. Это будет довольно рискованный поступок. Так все можно было спихивать на русских. — У них не так много дерьма, чтоб можно было захлебнуться. Наоборот, это нам грозит, если появится новая стена. Так хоть все наши подонки вышли наружу. — Ну прям уж они такие святые, только цветочки ходят нюхать в свои общественные сортиры. Или они их специально для русских построили? — А что они, собственно, понимают под «русскими»? Может, тех же евреев, но только русскоязычных? Потому что, насколько я знаю, у русских нет никаких шансов зацепиться на Западе офици-

ально. — Ну так и что? Разве это нас остановит? Лишь бы наши не стреляли в затылок на границе, а там пробьемся. Были люди, которые раньше, рискуя жизнью, переходили границу. — Ну, им-то было легче, их было мало, и их принимали с распростертыми объятиями, сразу узаконивали во всех правах. А мы там живем на птичьих правах — ни визы, ни разрешения на работу. — Но ты ж ни разу не пропал? Ты ж всегда с бабками возвращаешься оттуда? — Ну это да. — Я не знаю — а чего вы все туда рветесь? Там же скучно. — Кто тебе сказал такую чушь? — Все говорят. Да я и сама представляю — тихая Европа, аккуратные газоны, все очень прилично, истеблишмент. Все ложатся спать после девяти вечера, чтоб с утра опять пахать, даже собачки какают только в строго отведенных местах. — Ну это смотря где. В Берлине и Амстердаме нельзя и шагу пройти, чтоб не споткнуться о собачье дерьмо. И жизнь в этих городах, соответственно, кипит. — Значит, я теперь смело могу вооружиться ориентиром — вышла на улицу — нет собачьего дерьма — значит, в этом городе нечего ловить — обратно на поезд и поехала дальше? — Примерно так. Только зачем тебе на поезд? Так тебе никаких денег не хватит. Все нормальные люди ездят автостопом. Это бесплатно и намного интересней. — Нормальные — в смысле — наши? — Ихняя молодежь тоже. А чего тратиться, если тебя подвезут на машине со всеми удобствами, по дороге еще угостят кофе, а то и завтраком в придорожном кафе. — Ну да, и начнут приставать. — Да на кой ляд ты им сдалась? Прости, я не то хотел сказать. Но там мужики не такие озабоченные, как у нас. Я не знаю, я не баба, но мне все девчонки рассказывали, что с этим — никаких проблем. Там же культурные люди — владеют своими инстинктами. — Я все-таки не пойму — вот вы все

рассказываете, как там живете, ну хорошо, ездите стопом бесплатно, может, по дороге вас накормят, но что дальше? Надо же где-то спать, что-то есть, где вы деньги берете, если у вас нет разрешения на работу? — Вы знаете, кто как, у меня полно знакомых — уличных музыкантов. Некоторые обосновываются в одном городе, играют на улицах или в ресторанах, а другие мотаются по разным странам. Вот *она*, например, я знаю, рисовала на улицах. — И что, покупали? — А как же. Это зависит оттого, как себя подать. Она ж была девчонка симпатичная сама по себе, еще как-нибудь экстравагантно одевалась — повязку на голову нацепит или мелкие негритянские косички заплетет — народ уже притормаживает рядом с ней, заглядывают через плечо — что она там малюет. Народ-то в основном по улицам ходит неприятязательный, в искусстве мало чего смыслит, главное — чтоб было похоже и чуть покрасимше, чем в действительности, других запросов нет. Вот она и не старалась особо, не выкладывалась — намазюкает похоже и протягивает с улыбкой, хлопая своими длинными ресницами. Форины — давай таять, и протягивали баксов больше, чем она запрашивала. Девчонкам вообще там легче в каком-то смысле. Я ведь с ней за границей познакомился, хоть и жили всю жизнь на одной улице. Сам видел, как она там работала. — Да, у них же феминизм расцветает в полный рост. Бабе там пропасть не дадут. Нам там приходится покруче. — Ну хорошо, а чем вы там занимаетесь, на что живете? — Ну, у меня талантов нет никаких, поэтому я подрабатываю на черных работах — в ресторанах ли, на стройках, где придется. Всегда найдутся люди, готовые взять тебя без бумаг на работу, чтоб платить раза в два-три меньше, чем пришлось бы своему платить законно. — Ну и стоит ли ради этого уезжать отсюда? Я вижу, вы

довольно одаренный молодой человек, могли бы здесь заниматься наукой, а вы размениваетесь на такое. В чем смысл? Тем более что я совершенно согласен с девушкой — там же скучно! — Ну, вы знаете, скука — это внутренний императив, а не наружный. Если для того, чтоб вам не было скучно, вы нуждаетесь, чтоб вас прокатали на тройке с бубенцами, а потом пустились в припляс с гармошкой, с балалайкой, то вам ничто уже не поможет. А мне как раз интересно повидать другие страны, другую жизнь. Каждая страна со своими приколами, своими прибабками, начинаешь понимать, что все относительно. И это при том, что я ездил только по Европе. Вот у меня мечта, хочу рвануть в Непал, мне много хорошего про него рассказывали. У меня один приятель там в тюрьму угодил, но пока был на свободе — много насмотрелся. Ему там очень понравилось. — А за что он в тюрьму попал? Он что, тоже из «новых русских»? Торговал там? — «Новым русским» в Непале нечего ловить. Туда едут лучшие люди. А с ним история долгая, стоит ли рассказывать? — Ну уж расскажите, раз начали. Мне интересно, за что лучшие люди могут угодить в тюрьму, да еще в такой экзотической стране. — Ну, в общем, человек он вашего примерно поколения, да и история сама не первой свежести, произошло это лет десять назад, сейчас точно вспомню... — Да ладно уж, это не важно, рассказывайте! — Ну, в общем, он был тоже художником, очень неплохим, я у него по молодости многому учился, фамилии называть не буду, может, вы его знаете. Но он еще был и пианист, довольно скандальный. — Но уж этого я, простите, никак не пойму — каким образом пианист может быть скандальным? Я отдаю вам должное, вы — ваше поколение и ваши единомышленники из моего поколения на многое способны, но это... —

Все очень просто — он был первый советский пианист, который мог после удачно исполненной вещи выйти под громкие аплодисменты, переходящие в овацию, и поклониться не зрителям, а в противоположную сторону, одновременно спустив штаны. Успех был ошеломительный. Хоть его потом таскали по разным гэбэшкам, он не сдавался. Народ на него валом валил, хотя концерты проходили, как правило, полуподпольно, все на них ломились, каким-то образом узнавали и приходили, хотя понимали, что после концерта тоже могут загреметь — времена-то были какие! — Мы таких называли битниками. — Но славен он был не только этим — художник он действительно был очень хороший. Но, в общем, когда гэбэ стало уж больно сильно на него наезжать, он понял, что пора сматывать удочки. А он к тому времени уже был женат на еврейке. И вот как бы по ее линии они стали подавать прошения о выезде для воссоединения семьи, как тогда водилось. Но их динамили довольно долго, пока не выяснилось, что жена его серьезно больна. Тут их отпустили как бы на лечение. Он надеялся, что там ее спасут, и ее действительно долго продержали — здесь-то ставили диагноз, что через месяц, а там она прожила года два или три. Он заодно вывез и все свои картины, потому что до этого его не выставляли, говорили, что — барахло, он и ухватился, говорит — подпишите, раз так, на хрена оно вам нужно, дайте мне забрать с собой, как память. Ну ему и дали бумажку, что не представляет ценности, а там они вдруг как пошли по ломовым ценам расходиться, он сам не ожидал. Буквально сразу стал чуть ли не миллионером. Но все бабки разошлись на лечение жены, когда она умерла, у него мало что осталось. Но ему уже и не надо было ничего, он даже живопись забросил, собрал оставшиеся деньги и пошел путешествовать. Ну

и там по дороге с кем-то стусовался, они вместе забрели в Непал, а я думаю, что очень даже целенаправленно там оказались, он к тому времени здорово подсел на наркоту. И в общем, история темная, когда он с этим своим корешем гулял по горам, тот, как он говорит, случайно поскользнулся и свалился вниз. Я предполагаю, что было совершено ритуальное самоубийство, они торчали на этих тибетских делах, но он, конечно, об этом молчок — за такое ни в одной стране по головке не погладят. Хотя он-то при чем, может, если б сказал, то отпустили бы, а может, было б еще хуже, но он стоял на своем — поскользнулся, мол. Ну там его побыстрому скрутили и — в центральную тюрьму в Катманду. У него и денег-то практически не оставалось, чтоб откупиться. Он говорит, с этим там было элементарно, были б бабки. Ну и оказался он единственным русским на всю катмандовскую тюрьму. А вины-то за ним никакой, но никто его и слушать не хочет. Тут обратился он в американское посольство, и выясняется, что он гражданство свое еще не успел поменять по нашей русской расхлябанности, так и остался советскоподданным. Американцы ему и говорят: к сожалению, ничем вам помочь не можем, нужно, чтоб русские за вас походатайствовали. А где возьмешь русских в этом Непале, да и больно им надо, вот и просидел он в этой тюрьме год, два, три. А надо сказать, что он и так по части языков был слабоват, и русским-то не очень владел — это у художников часто бывает, в Америке английскому так и не выучился, а тут, среди всеобщей тарабарщины — кто там только не сидел, — и русский стал забывать понемножку. И вот, кажется, на четвертом году его сидения забрела туда одна сумасшедшая голландка — в качестве туристических достопримечательностей она выбрала тюрьму, и ей разрешили ос-

мотреть. Ему удалось сунуть ей в руку бумажку с просьбой сообщить в Москву, маме и друзьям, где он находится, — она была настолько сумасшедшая, что немножко знала русский. Она вынесла его письмо и потом специально приехала сюда, чтобы его передать. Тут все, конечно, припухли от такого поворота событий, все думали, что он благополучно процветает в Америке и про нас и думать забыл. Ну тут быстренько организовали американских туристов, которые собирались в те края — их нашли по цепочке, — чтоб они заглянули в тюрьму, проверили, действительно ли он там сидит, и попробовали разобраться, в чем дело, потому что из письма ничего не было понятно. Ну там им запросто удалось добиться с ним свидания, их проверяли, но не так чтобы очень. Одна чувиха пронесла на животе, под свитером, диктофон, ну и так намекнула ему, мол, говорите, у меня все записывается. Я прослушал эту запись, там, видимо, шло общее свидание, какие-то тетки кричат, дети орут истошно, какой-то тарабарский язык, и он пытается объясниться на какой-то жуткой смеси русского, английского и уже местного диалекта. Мне кажется, он не вполне отдавал себе отчет, что слова, им употребляемые, из разных языков. Но что-то понять можно. Из этой кассеты мы и узнали, что с ним приблизительно произошло. — И что теперь? — *Честно говоря, не знаю. Надеюсь, что он уже вышел. Столько лет сидеть в тюрьме в чужой стране!* — Да, тюрьмы там не то что у нас. Я слышал, в Америке народ просто оттягивается в тюрьме — живут, как у нас далеко не каждый из средней прослойки может устроиться на воле — и цветные телевизоры, видеофильмы, хорошие библиотеки, белье постельное меняют чуть ли не каждый день, ну, по крайней мере — раз в неделю точно. — Да, там не

стремно попадать в тюрьму. Там у ихнего правительства целая телега на предмет, что все преступления от плохой жизни, и поэтому преступнику надо создать хорошие условия, чтоб он исправился. Народ там рвется в тюрьму, особенно когда нужно зиму перезимовать. Я слышал, там чуваки просто внаглую, открыто заходят в банк ближе к зиме и начинают угрожать пистолетом, и ждут, когда вызовут полицию. Некоторые идиоты банкиры тут же суют им деньги, а это стремно, потому что срок получишь уже не на несколько месяцев, а людям всего-то надо перезимовать в приличных условиях. Поэтому так просто там в тюрьму не попадешь, надо еще доказать, что ты заслужил. — Да и народ там хилый, в наших тюрьмах они б через неделю окочурились. Наши эмигранты их там имеют, как хотят. Им не надо даже в тюрьму попадать, чтоб хорошо жить. Они ж там невинные, как новорожденные младенцы, если с умом подойти, — только успевай грести деньги лопатой. — Да, я, например, знаю одного деятеля, который здесь был простым инженером, а как поехал в Америку, сразу оторвался. Первый свой вклад в тамошний банк он сделал следующим образом — он вычислил, что в каждом более-менее уважающем себя супермаркете есть детективы, которые ходят и высматривают, чтоб ты там чего не стырил. Ну он и подошел к какой-то стойке с продуктами, воровато оглянулся пару раз и сделал жест, якобы он что-то спрятал под куртку. У кассы его, в натуре, останавливают и просят расстегнуть куртку. Он уперся, мол, нарушение прав человека, затянул бодягу, ему говорят — не хотите по-хорошему, — вызовем полицию. Он давай разыгрывать невменяемость, вроде бы испугался и хочет криком их отшить. Ну, прибывает полиция, официально просят расстегнуться, а у него под

курткой, естественно, ничего нет. Ну тут он давай уже в полную глотку вопить о нарушении прав человека и заставил-таки супермаркет выплатить неслабый штраф, раскошелились они там не по-детски. — Да, народ там, что и говорить, простоватый. И обманывать-то их грешно. У меня б лично рука не поднялась. Я лучше тут с нашими волками буду разбираться, хоть адреналинчик побурлит. А там у меня было б чувство, что я у первокурсника обманом выманил деньги на мороженое. Нет, это не для меня. — Кто-то из наших писателей говорил, по-моему, что-то вроде, что если запустить парутроечку наших уроков в Голландию, то все следующее поколение голландских детей будет ботать по фене. — Да уже запустили. Наши урки уже по всей Европе гуляют. Это порядочные люди не могут визу получить, а уркам — пожалуйста, вот они теперь и воют о том, что «русские идут». И пусть себе воют — сами виноваты. — Но если этот писатель правду говорил, то что же будет с Европой в следующем поколении? — Ну ничего, я думаю, что евреи не дадут уркам особенно разгуляться. Чего-чего, а свои интересы они умеют блюсти. Вот когда я был в Париже...

Париж! Вот куда мне всегда хотелось! Неужели теперь никогда? А как мне хотелось попасть туда! О, Париж! — город художников, город мечты моей! Теперь я тебя никогда не увижу... О, как я хочу в Париж — мне бы только взглянуть на него одним глазком, — посмотреть и тут же сразу отпустить... А переводчица не совсем точно переводила то, что он говорил. Я ведь никогда не знала немецкого, значит, я понимала не язык. *Не мешай слушать, они продолжают рассказывать про Париж!*

— Когда я там в первый раз оказалась, первым делом решила пойти в парикмахерскую, и не какую-нибудь, а

в салон, очень престижный. — У тебя что, было много денег с собой? — Да нет, это было в первые годы перестройки, тогда же меняли копейки, у меня было ровно столько, сколько полагалось иметь. Да и то я взяла в долг большую часть суммы, чтобы обменять на франки. — И сколько же в Париже стоят салоны-парикмахерские? — У меня ушла на это дело ровно половина суммы, которая у меня была. А мне надо было продержаться там три месяца — во всяком случае, виза у меня была именно на этот срок, и я не собиралась раньше времени добровольно покидать этот город. — Зачем же ты пошла в дорогую парикмахерскую? Ты что, в Москве не могла подстричься перед отъездом? У меня знакомая перед заграничной поездкой делает в срочном порядке все маникюр-педикюр, чтобы там не тратиться на это. Или ты думала, что будет все стоять, как у нас? — Нет, конечно. Неужели ты не понимаешь, мне хотелось хоть раз в жизни побывать в настоящей парикмахерской, чтоб все было по правилам, дорогие шампуни, массаж и все такое. Они меня так подстригли! — специальными зажимами и расческами, и все волосы получились одинаковой длины, как ни мотай головой, они стояли таким пышным венчиком. Я самой себе очень нравилась. — Ну, у нас тоже есть дорогие парикмахерские с шампунями. — Ну, это все не то. Нужна сама атмосфера, что да, я подстриглась в Париже, и не в какой-то третьесортной шарашке, а в крутом салоне. Я после этого стала сама себя больше уважать. Почувствовала себя женщиной — у меня изменилось самоощущение на весь срок пребывания. Вот она меня прекрасно поняла, когда я ей рассказала об этом приезде. Правда, сказала, что сама, может быть, и не решилась бы. Но я такая. Я знаю людей, которые до сих пор едут за границу с консервами, мылом и прочим, чтобы там

не тратиться. Но не с них же брать пример. Без жратвы я тоже могу спокойно обойтись, это для меня не проблема, хотя я никогда не откажусь от хорошей пищи. Но это надо хоть один раз испробовать, чтобы понять, что значит быть подстриженной в хорошей парижской парикмахерской. Словами этого не передать. — Как же ты жила дальше? — А, я знала, что как-нибудь утрясется. И правда, когда у меня кончились деньги, я успела уже познакомиться с одним молодым человеком, виконтом. Он предложил мне пожить в его родовом замке в провинции. Он там почти никогда не появлялся, но там жил дворецкий, который каждое утро приносил мне завтрак в постель. — Он тоже жил там с тобой? — Кто, дворецкий? Конечно, он жил там все время, ему за это платили зарплату. — Да нет, виконт. — Я же сказала, что он практически там не появлялся, он почему-то не любил это место, а может, в Париже ему больше нравилось. А потом, он был голубой. — А как же ты с ним познакомилась? — А в какой-то компании, уже не помню. Я там рисовала на улице, и ко мне подходили другие художники знакомиться, а потом приглашали на свои тусовки, на которых кто только не бывал, все слои общества, начиная с клошаров и кончая аристократами. Я тоже в этом замке долго не выдержала, прожила что-то около месяца. Правда, еда и постель там были халаявные, но я поехала во Францию ради Парижа. Да у меня всегда все обустроивается само собой. Потом мне предложила свою квартирку одна художница. Квартирка была маленькая, но с видом на Сену. Пару раз я переночевала в метро с клошарами. В первый раз, когда я там очутилась после закрытия, мне было очень страшно. Думала, куда бы забиться, чтобы меня никто не видел. И вдруг вижу, на меня прямо по рельсам идет один негр. Мне стало так страш-

но, думала, сейчас потеряю сознание. Он подошел ко мне, у меня аж в глазах потемнело, ну, думаю, все, копец, а он мне на хорошем английском говорит — то есть он вначале обратился по-французски, понял, что я не понимаю, и затем по-английски говорит: «Позвольте, я вас буду охранять, а то такой красивой девушке, как вы, опасно здесь одной находиться. Всякие люди бывают». И мне вдруг стало так спокойно и хорошо. — И что, он тебя и пальцем не тронул? — Нет. Я так под его рыцарской опекой и провела там две ночи подряд. А на третий день иду по улице и вижу — кошелек валяется. Поднимаю — а он тяжелый. Внутри оказалась стопка денег, частью лирами, а частью — франками. Их было достаточно, чтоб я поселилась в небольшом пансионе и прожила оставшееся время. И себе кое-что прикупила. Правда, у меня оказался небольшой дар находить довольно приличные вещи с уценкой. Когда я их надевала, все француженки ахали и спрашивали, где купила. А когда узнавали цену, сразу мчались туда, но этого уже не было. Естественно, там уценяют то, что осталось в небольших количествах. У меня хватило денег даже на то, чтоб привезти мужу одну футболку с сорбоннской университетской эмблемой. Правда, я еще какое-то время в кабаке подрабатывала посудомойкой. Но оно стоило того, Париж — это что-то необыкновенное!

Господи, я так хотела побывать в Париже, но так и не привелось. Все собиралась, собиралась, когда стало можно, так и не дособралась. Почему никто не удосужился спросить перед этим о моем последнем желании? У худших, чем я, преступников перед казнью и то спрашивают. Сигаретку и то не дали покурить напоследок. Да, я же собиралась выйти на площадку к курильщикам. Сейчас сделаю. Как странно, мне почему-

то совсем не грустно от всего того, что со мной не случилось. Чего действительно жаль — что мне не довелось увидеть Париж. Сказали бы мне раньше, чего мне больше всего будет хотеться после смерти, я бы рассмеялась. Но действительно — почему мне не довелось увидеть Париж? И мне так и уходить отсюда, не повидав его? С этим трудно смириться. Почему мне не позволят напоследок увидеть Париж? Я, кажется, не так уж и много прошу, большинству людей это доступно, примерно как выпить шампанского перед смертью. Да, этого мне тоже не было дано — красиво обставить свой уход — улыбнуться так напоследок всем, попрощаться, сказать, что всем прощаю и чтоб они тоже по возможности не держали зла — это сейчас они такие благодушные в общем порыве, а потом как начнут поодиночке припоминать обиды, туго мне там придется, сейчас я несравненно уязвимей, а если б сказала, может, и не стали. Но это все ладно, хочу в Париж! Нет, это не открытка, это на самом деле. Всегда меня удивляет это узнавание, хотя когда даже Акрополь оказался в точности похож на себя, можно бы уже спокойнее ко всему этому относиться. Все же странно, что Лувр с точности такой, как я себе представляла. Можно было из-за него так далеко не забираться. Но как грязно вокруг на площади, вот этого я себе как-то не представляла. Значит, я на самом деле в Париже. Не только из-за грязи — людей тоже многовато для иллюзии. И они шевелятся как-то естественно, не как в воображении бывает. И от них исходит такое мерцание, которого не бывает у несуществующих вещей. Это что-то новенькое. Откуда я это знаю? По-моему, я всегда знала эти приметы, но как-то не пользовалась. Нет, раньше мне приходилось помигать, чтоб убедиться, что я вижу на самом деле. Ну то было раньше, сейчас я знаю гораздо

более простой способ отличить настоящее от выдуманного: все, что существует независимо от меня, испускает легкое сияние. И у этого Лувра оно есть, значит, он тот самый. И у деревьев, и у людей. От всего как бы исходят такие тоненькие лучи-ниточки, они все пересекаются. Очень красиво, образуются такие светящиеся ниточки. Они уходят во все стороны в бесконечность. Это просто упоительно. Отчего-то такая радость от этого зрелища. Это и есть сама радость. Что еще может быть нужно кроме этого? Хоть бы мне остаться тут на... Нельзя этого произносить. Сейчас слово равно действию. Теперь я знаю дорогу сюда, захочется — вернусь. Посмотри еще немного на них. Ну вот уже появилось какое-то нарушение, какая-то темнота внутри сияния. Что-то поглощающее на излучающем фоне. Я могу менять позицию видения: то — двигающиеся люди со всем экстерьером, то — лучащееся макраме. Быстрота перестановки тоже зависит от меня. Замечательно. Сейчас я могу идентифицировать темное пятно. Оно перемещается. Оно накладывается на этого идущего человека. Если смотреть на обычном уровне, он ничем не отличается от остальных людей. Почему же он там выделяется? Он что, ненастоящий? Непонятно, замечают его другие или нет, а если замечают, то отдают ли себе отчет в его инакости? Трудно определить — этот оранжевый костюм дорожного рабочего — надо отдать ему должное — он хорошо замаскировался. Ничьи взгляды на нем не задерживаются. Он почувствовал мой взгляд. Смотрит в упор. Но без страха и даже без агрессии. Но и без дружелюбия. Кто он такой? Голуби-то его почувствовали. Как они все разом шарахнулись и взлетели. На других прохожих они никак не реагировали. А он прошел не близко от них, держал дистанцию. Что же он такое? Вот они опять опустились, но уже подальше

от прежнего места. У меня возникло дежавю. Может, оттого, что это французское слово? Совершенно отчетливое ощущение, что я уже была именно в Париже, и голуби точно так же взлетали. Но этого никак не могло быть. Я никогда таких людей раньше не видела. Но дежавю связано не с ним, а с голубями и Парижем — непонятное все-таки это понятие. Да и голуби такие интересные все-таки создания. Нужно бы лучше к ним присмотреться... Конечно, есть в них всякая живность. Теперь это даже лучше видно. И не только в перышках копошится, но и внутри, в теле, много всякого разного свивается, сокращается и ползает. Несколько видов жизни под одной крышей. Разнокалиберные движения в замкнутом пространстве. Они не пересекаются, не помогают взаимно, как в механизме. Сами голуби производят порывистые и крупные, но в то же время плавные движения, те, что в перышках, совершают непрерывные, короткие и мелкие передвижения, соединяющиеся в одну общую трепетность, как будто одно общее целое вибрирует, те же, что совсем внутри, двигаются по отдельности: один внизу сжимается-сокращается, другой делает рывок-ползок вверх, третий извивается спиралью. Каждый сам по себе и вроде бы двигается независимо, но как будто по чьей-то строго заданной пластике, так, чтобы все движения в совокупности образовывали непрерывное вращение. А в целом получается нечто, совершающее резкие ритмичные скачки, на поверхности у него тоже непрерывно проходит мелкая рябь другой частоты, а внутри мерно кружатся колесики. Не считая другого механизма — течения. Это уже совсем иная картина, не связанная с первой. Непрерывный поток, стремящийся к своему началу. Почему раньше тела и вещи были непроницаемыми? Почему внешний покров заслонял внутренно-

сти? Это же так естественно — видеть сквозь. Там у них только через определенные материи можно было видеть то, что за ними, и то не совсем четко: воздух, стекло, огонь, воду, дым, туман — все, кажется? Ну, еще — вуаль. Бабушкины шляпки, которые я примеряла в детстве. Вот еще одно мое серьезное упущение по жизни — я не удосужилась походить в вуали. Детство не считается. Зато сейчас я запросто все вижу. И не только скрытые раньше вещи, принимаемые на веру. Богатство красок и оттенков несравнимо с тем диапазоном, который я раньше воспринимала. Уже который раз убеждаюсь. Попробуй я это нарисовать, и у меня бы не получилось, потому что там просто нет таких красок. Кровь, оказывается, невероятно красивого оттенка. Если бы додумались зафиксировать эталон красного цвета, за образец нужно было бы взять живую кровь. А как это возможно технически? Это уже их проблемы. Этот красный цвет очень привлекает. Он уже притянул меня настолько близко, что, боюсь, ближе не бывает. Он заполнил все вокруг. Изнутри он не такой однотонный, попеременно накатывают волны разной интенсивности оттенков. Движение волн не только поступательное. Более темные погружаются внутрь, а те, что посветлее, устремляются вверх. Темные движутся с большей скоростью. Но внутри них самих меньше движения, чем в светлых. Вот эта волна, что приближается, кажется, моя. Она точнее остальных откликается на что-то внутри меня. Как изображение в зеркале, которое тебе нравится, одно из множества других твоих отображений в иных зеркалах. Это только так кажется, что все зеркала отображают одно и то же одинаково. Но это, впрочем, неточное сравнение. Эта волна соответствует мне, как если бы то, что внутри меня, оказалось снаружи. Вернее, встретилось бы со

своим близнецом во внешнем мире. Надо бы забраться на ее гребень, чтобы остаться с ней, не потеряться. Как она весело несется! Именно на той скорости, которую бы я предпочла. Но внутри нее целый мир, если соскользнуть с поверхности, такое увидишь! Пока трудно определить — какое, — все так быстро проносится мимо, что ничего почти не ухватить, но по чему я продвигаюсь? По коридору, что ли? И что-то все время несется навстречу. Какие-то обтекаемые уплотнения. Пузырьки, я думаю. Нужно беспрестанно уклоняться от столкновения. Это начинает утомлять. Я хочу, чтобы это прекратилось. Почему моего желания недостаточно, чтобы это кончилось? Почему мне навязывают ситуацию? В конце концов, это опасно. Они совершенно целеустремленно пытаются налететь на меня. А ведь известно, что, если мы столкнемся, случится непоправимое. Жизнь голубя прекратится, а вместе с ней и их существование делается сомнительным. А, вот, значит, где я нахожусь? Теперь вспоминаю. Кто я? Сейчас это неважно. Сколько себя помню, я спасаюсь от столкновения с ними. Вся моя жизнь — это лавирование между ними. Ужасно бессмысленная ситуация. И очень опасная. Разве можно так жить? Надо прекращать это. Вот еще один. Еле удалось проскочить. С каждым разом они делают все нахальнее. И агрессивнее. Как злобно этот сейчас ухмыльнулся. Но коридоры не сплошные, — кажется, это единственное наблюдение, вынесенное из всей моей жизни. Оно может стать спасением. Нужно свернуть в просвет. Там, наверное, ответвление, другой коридор. Ведь жизнь состоит только из коридоров, давно замечено. Но может, встречаются коридоры необитаемые, без этих наглцов с их угрожающими мордами. Может, если все время сворачивать влево, удастся выйти. Или вправо? Решайся скорей. Что раньше

подвернется, то и суждено, значит. Главное, потом держаться одного направления. Опять мимо. Нужно сосредоточиться. Но не забывать при этом увिलивать от опасности — их становится все больше. Скоро они меня окружают и некуда будет деваться. Вот оно. Удалось! Как долго я здесь? Тут ничего не происходит, потому трудно определить. Здесь все по-другому, не так, как в той моей жизни. Стенки, что ли, другой рельеф образуют? И коридоры идут под другим углом. И этих вроде нет. Бррр, как вспомнишь... Стоило подумать о них, сразу же появились. Но эти тоже отличаются от моих. Мои были покрупнее и другой масти. На меня пока не обращают внимания. Нужно и отсюда убраться побыстрее, пока и эти не стали злобными. Не до наблюдений сейчас. Так, этот пропускаем, нужно держаться выбранного направления, а то как бы обратно не вернуться. Еще один поворот, но снова в другую сторону. Попробовать? Не нужно поддаваться искушению. Это они все нарочно подстраивают, нетрудно догадаться. Если упорно ждать — то дождусь своего поворота. Эти явно уже зреют. Пока делают вид, что меня не замечают, но я-то улавливаю. Бросают хитрые взгляды искоса. Скоро начнут смотреть открыто, а потом перейдут к наступлению. Везде все одинаково. Впереди, кажется, образуется. Сосредоточься! Еще раз получилось. Что-то мне везет сегодня. На хорошей волне. Выносит куда-то. Куда надо. А теперь я где? Новый коридор, совсем другой. Сколько их, разных, оказывается. Мне всю жизнь казалось, что мой коридор — один-единственный во всем мире. Если бы не страх, можно было бы застрять в нем навсегда. Да что там страх, можно было бы жить и с ним, если бы не возникло смелое предположение, что можно оттуда выбраться. Вот еще один новый мир. Здесь кто-либо еще обитает, кроме меня?

Лучше не интересуйся, вряд ли кто-то доброжелательный. Если их честно не замечать, кто бы они ни были, вряд ли они меня заметят сами. Раз уж обнаруживается, что миров много, нужно как можно дальше по ним пробраться. Насколько удастся, пока не выдохнешься. Для этого нужно проходить по ним не вдоль, а поперек. Так интересней. Стоит где-нибудь немножко заезжаться, сразу застреваешь. И тут же подкатывают тоска со скукой и склеивают тебя намертво с окружающим. И уже не выбраться. Все становится неизбежным. Кажется данным навсегда. Так со мной не раз было. Не помню только когда и где. А потом, как окончательно обвыкнешься, подступает страх. Ты объясняешь его боязнью потерять кажущийся единственно возможным мир, на деле он от смутного понимания, что тебя обложили, приковали к миру, который для тебя необязателен. Надо только найти свое место, которое действительно мое. У каждого есть такое, я чувствую. Но, наверное, оно не постоянно. В смысле, в какой-то момент, и даже в течение долгого времени, оно может быть одним, а потом в тебе что-то меняется, и тогда тебе соответствует совсем другое место, в которое тебя может запросто вынести по взаимному притяжению, если ты не будешь сопротивляться, держась за уже ненужное, но привычное. Тогда сила, направленная суммарным вектором всех твоих прежних и настоящих и даже будущих усилий, выводит тебя. Вот я уже несусь по всем этим мирам с ускорением. Но ничто в них пока меня не цепляет.

Я уже несусь со скоростью света. Мы мчимся, как стрела. Хватит пришпоривать коня, у него, наверное, все бока уже изранены. Ты мой умный, ты мой преданный, ты хорошо скакал. Мы, кажется, оторвались от погони. Вон лес виднеется, заедем в него, и я дам тебе

передохнуть. Сзади стук копыт прекратился. Куда их клячам до тебя! Но славно мы помахались! Скольких я успел уложить, пока не подоспела подмога, а? Ты не помнишь? Меч у меня весь в крови. Правая рука онемела. Я и сам порядком устал. Потерпи немного, там в лесу и вода должна быть, я тебя напою и сам отмоюсь. Куда мы с тобой прискакали? Незнакомая местность, так далеко мы еще не забирались. Это уже или Северные леса, или другое государство. Лишь бы не чужие владения, для новой битвы нам с тобой надо набраться сил, как ты считаешь? Что-то уж очень красиво все вокруг. Какие громадные цветы, я сначала принял их за деревья. Ну вот, здесь и сделаем стоянку. Ты можешь выпить, а я немного посплю. Хотя нет, это может быть опасно. Лучше я посижу, чтоб ты отдохнул, под этим дер... растением, а потом ты поедешь тихим шагом к дому, ты умница, выведешь. А, черт, не заметил, руку поранил, боли не было, надо обвязать. Я-то думал, что это их кровь. Я, кажется, теряю сознание. Это ты, моя милая? Твои ручки делают чудеса. Я уже добрался до дома? Сильно я поранился? Ты уже обвязала, моя любимая. Ну иди скорей сюда, я так по тебе соскучился. Чего ждать? — или ты думаешь, я одной рукой не справлюсь? Ну, не тревожься, со мной все в порядке, ну, иди сюда, мы так давно не виделись, ты же сама хочешь, я знаю. Оставь, оставь, хотя бы твои нежные ручки, ты так ласково до меня дотрагивалась, пока думала, что я без сознания. Вот мои сладкие пальчики, ну, как вы тут без меня поживали, сейчас я вас всех поцелую, вот, вот и вот, и самый маленький, а теперь ладошки, у тебя такие мягкие ладошки и такие душистые, а кожа совсем атласная. Когда ты до меня дотрагиваешься, я тут же выздоравливаю, разве ты не знаешь, глупенькая. Ну-ка, как много пуговиц у тебя

всегда. Вот так, ты сама меня раздевай. Хочешь еще раз рассмотреть шрамы? Вот, милая, целуй, целуй, тебе жалко меня, да теперь и на руке будет новый, еще один лишний шрам придется тебе целовать. Вот, и те, что на спине, проведи пальчиком, ох, как хорошо. Ну вот, остался тот страшный на животе, соскучилась по нему? Поцелуй его тоже. Все, я больше не могу, теперь я тебя, сладкая. Ох! О-ооох! Сними, сними совсем, я хочу тебя всю почувствовать. Ляг повыше, я не могу с этой проклятой рукой двигаться. Вот так, обними меня, я буду маленьким ребенком, твоим сыночком. Кушать хочу. О-о-о, сладенькая ты моя нежная. Еще! Еще, я сказал! Ну вот, а где моя розочка, мой цветочек, дай мне сюда, я не могу двигаться. О-о-о. О! А-а-ах! Говори, говори, моя хорошая. Любишь меня, ну, говори еще. О-о-о. Какая ты у меня сладкая, так бы и пил тебя и пил. Я никогда не могу насытиться тобой. Если б не телесная усталость, я бы тебя заласкал до смерти. А-а-ах, глаза закрываются, болен я все-таки сегодня, так хочется тебя дальше любить, но сейчас засну. Чтоб была рядом, когда проснусь, понятно? Я тебя еще хочу. Ох, только провалился в сон, они тут такой шум подняли. Кто тут осмелился находиться, пока я сплю? Она себе такое никогда не позволит. Это кто-то другой. Может, кто-то прокрался в комнату, пока я сплю? Может, кого из слуг подкупили? Слуги-то должны знать, какой у меня чуткий сон, ко мне так просто не подкрадешься, пусть пока думают, что я сплю. Надо меч нащупать. Тысяча чертей, куда он запропастился? Это наверняка заговор. Ведь все отлично знают, что он должен лежать у изголовья, и это правило до сих пор неукоснительно выполнялось. Кто этот мерзавец? В моем доме завелся изменник. Сейчас, после потери крови, с одной действующей рукой да еще безоружный, я не-

плохая приманка для подлецов, не ведающих, что такое честный бой. Но я так просто не сдамся, чтоб меня, меня, непобедимого, как меня прозвали друзья, а особенно враги, прирезали в собственной постели, как курицу? Кто бы ты ни был, даже если мне придется умереть, ты умрешь вместе со мной, клянусь! Надо незаметно посмотреть в щелочку, чтобы правильно рассчитать бросок. Что-то он совсем притих. Но меня не проведешь! Ах, да это та! Как, она продалась моим неприятелям? Подослать бабу? Но неплохой расчет — женщина не вызовет настороженности у часовых, и потом, они так тихо ступают, что только я один был в состоянии проснуться от ее шагов от болезненного забытья. Они думают, я так ослаб, что со мной безоружным даже баба может справиться! Ну нет, эту тварь я не убью, никогда не опущусь до того, чтоб убить женщину, пусть они не надеются в случае неудачи хотя бы этим запятнать мое имя, — но она назовет зачинщика и всех участников! Да нет, она не за этим сюда пришла. Она продолжает стоять ко мне спиной, хотя чуть ли не сразу почувствовала мой взгляд и вся подобралась. Уж я-то знаю. Нагнулась, якобы чтоб поднять упавший фолиант, который сама же и смахнула со стола, бесстыжая девка, и все для того, чтобы я лучше разглядел ее ляжки. Она знает, что меня к ней влечет, знает с того самого мига, когда она впервые явилась к нам из деревни по просьбе ее дядюшки, зрителя конюшен, и я оказался дома, обычно я не присутствую при беседе жены с нанимаемыми служанками, но тут все сошлось, и я понял, что она поняла, что меня прожгло до потрохов от ее вида, хотя ничего особенного в ней нет, обычная девка из простонародья, крепко сбита, но то-то и оно, эти пышные простонародные юбки, как она наловчилась так нагнуться, что они обтягивают ее тело,

выпичивая все, что меня волнует, отчего меня кидает в дрожь. Она знает, что я на нее смотрю. Почему я при ней теряю голову? Сколько у нас в услужении таких же девок? Чем она лучше их? Чем она лучше моей нежной, доброй женушки? Моя жена так изысканна, так утонченна, со дня нашей свадьбы она не дала повода к нареканиям, я до сих пор люблю ее так же страстно, как в медовый месяц, а может, даже сильнее, мы связаны с ней нерасторжимыми узами, она мать моих дорогих детей, она выхаживала меня во всех моих болезнях, не гнушалась самой неблагодарной работой по уходу за тяжелораненым, она, одно прикосновение к платью которой я до брака считал высшей наградой, она, за ночь с которой я готов был отдать жизнь! И она ни разу ни в чем не попрекнула меня, никогда я не чувствовал, что забота обо мне, самая неприятная, которой не каждая мать бы занялась, а перепоручила бы слугам, ей не в тягость, она и эта девка с грубыми манерами, выдающими ее низкое происхождение, девка, которая успела, наверное, побывать не под одним моим слугой, и моя чистая, моя прекрасная, за верность которой до гробовой доски я поклялся перед Богом и перед миром! Я закрою глаза, и пусть думает, что уловка ее не удалась, а если будет продолжать шуметь, велю грозно, чтоб удалилась, и скажу жене, чтоб убрала ее из покоев во двор за наглое поведение — кто бы еще осмелился нарушить мой сон? Уже поздно делать вид, что я сплю, она смотрит мне прямо в глаза, таким откровенно зазывающим взглядом, и Бог свидетель, я не могу прикрикнуть на нее, у меня пересохло в горле, и хоть однажды я хочу дотронуться до нее, узнать, такие ли у нее плотные и гладкие ляжки, как мне кажется. Я хочу утонуть в ней, погрузиться в нее. Она такая большая и, наверное, мягкая, но упругая и всегда распро-

страняет вокруг себя запах ванили. Узнать, душитесь она им или везде у нее так пахнет? Бьюсь об заклад, что везде. У меня никогда не было такой большой женщины, а ведь в детстве под темным покрывалом я именно о такой грезил. Но как же здесь? — когда жена может войти в любую секунду? Она выходит задом и манит, манит руками и особенно взглядом. Нет, она не простая деревенская баба, такая стать, может, в ее предках числится кто-то из моих? Я в детстве мечтал о такой большой пухлой маме, чтоб можно было уткнуться в ее сладко пахнувший подол, сладко и немножко греховно, и зарыдать, и чтоб она гладила меня и утешала, утешала. Я совсем ослаб от ран. Куда она меня манит? А я, оказывается, уже иду за ней. Ага, в этот сарай! — укромное место, вот, она поднимает юбки, о Боже, откуда у меня появились силы, такой напор, я сейчас взорвусь. У нее под юбками ничего нет! О, какое все гладкое, и на вид как свежее сливочное масло, я хочу целовать, но это грех, я своей дорогой жене никогда не целовал задницу, но как мне сейчас хочется целовать и целовать, каждую частичку, чтоб не оставалось местечка, не покрытого моими поцелуями. Какая божественная попочка. Сколько я потерял, что сдерживал свою страсть. Есть ли в мире еще блаженство, сравнимое с этим? Она совсем не похожа на простушку. Я даже не успел спросить, как ее зовут. Но все это мелочи, ничто не имеет значения по сравнению с блаженством целовать эту волшебную плоть, я никогда в жизни не испытывал подобного счастья, не ведал, что в одних только поцелуях может заключаться смысл жизни, сколько упоения, какой восторг целовать эту шелковистую упругость. Она, плутовка, чувствует, как мне нравится ее целовать, придвигается ко мне все ближе и ближе. И смотрит так лукаво через плечо. Кожа такая гладкая,

сливочно-розовая. Она продолжает медленно придвигаться ко мне, все плотнее и плотнее, скоро между нами не останется зазора. Как она расширяется вблизи, уже все собой заслоняет, такая огромная, уже и места в мире не осталось, везде ее задница. А она продолжает приближаться, да так требовательно. Мне некуда уже отходить. Я же задохнусь. Она меня приперла к стенке, скоро не смогу отвертеться, и ей удастся прислонить это к моим губам. Я же умру от этого, как она мне омерзительна, почему я думал, что она мне нравится? Я сейчас задушю эту суку, другого выхода у меня нет. А, испугалась! — отодвинулась. Унизить меня хотела, дрянь! До чего же отвратительны эти толстые женские задницы, и как только люди к ним прикасаются! Вот уже кто-то другой ее ласкает в углу. И с таким жаром. Но это не она. И его я не знаю. И не хочу знать. И не вижу. Совсем не вижу. Мне все равно, кто это. Пора уходить, неприятно присутствовать при этой сцене. Да и неприлично. Это же он! В таком случае женщина — это я. Это необыкновенное ощущение от твоих рук, ни с чем не сравнимое, каждый раз, когда мы вместе, я удивляюсь, как я могла забыть его, но потом при расставании опять ничего не помню. Вот и сейчас тоже только ты дотронешься — и кости у меня тают от нежности. Руки такие мягкие и сухие, горячие. Сильные и уверенные. И все равно ласковые. Никогда не сделают больно. Но и никогда особо не вдаются в подробности. Они не лепят, не создают из хаоса форму, а лишь одобрительно проходятся по уже готовому творению. Руки не скульптора, а поклонника искусств. Но не робкого, благоговеющего, а снисходящего. Так большой мастер прошелся бы по изделию любимого ученика, легкими профессиональными движениями подтверждая уже оцененное взглядом. И все же я никак не

пойму, в чем секрет твоих рук. Почему я в лучшем случае остаюсь равнодушна к чужим прикосновениям, а чаще всего они меня страшно раздражают? Почему именно ты? В чем разница? Прекрати, опять ты думаешь во время этого! Не хочу пока терять голову, а то быстро все кончится. Голову потерять всегда успею. Нет, она другая! Это явно не я. У меня волосы совсем другие. И руки тоже. Но ты — это ты, сомнения быть не может. С кем же это ты, если это не я? Какое слово противоположно понятию «она»? — другая? Ответ неверный. Правильный ответ «та». Так ты тоже думаешь во время этого? Мне казалось, мужчины на это не способны. Если это не я, то где я? Только что та была я, я чувствовала тебя, а не ее. Я ведь женщина, я вспоминаю. Ты, то есть вы, то есть мы у тебя дома — ничего не изменилось, все на месте. Вот удивительно, твой шкаф чувствует, что я здесь, а ты еще нет. Он мне симпатизирует, признает за свою. И люстра тоже — начала сочувственно покачиваться. Твои вещи меня любят — это ли не доказательство твоей любви! Если бы я раньше могла это заметить, у меня бы не было этих изматывающих сомнений. И стены твои меня мягко поддерживают. Они все за меня, особенно кушетка. Твои вещи ее отторгают, оттого она в такой неловкой позе, ее тело понимает язык предметов. Вот только что-то новое у тебя на стене появилось, мы с этим незнакомы. Я бы, может, не заметила, если бы это не выделялось среди остальных своим равнодушием. Что же ты повесил на стенку? — а, это зеркало. Я уже успела забыть, как я выгляжу. Отчего же я так лучезарно улыбаюсь? — мне казалось, что у меня пако-стное настроение. Назло вам, наверное, — я ведь довольно рано, чуть ли не с детства начала тренироваться в невыражении своих чувств, но не в сторону непрони-

цаемости лица — это казалось мне слишком простым, но именно вот так, с точностью наоборот, я, видимо, достигла автоматизма, раз даже сейчас, пока не думаю об этом, тем не менее сияю радостью. Но, по-моему, уже слишком, такая застывшая улыбка, она как будто приросла к лицу. Неужели меня так расстроила твоя очередная измена, что мне свело судорогой рот? Теперь так и буду ходить с этой маской? Помассировать, что ли? Что-то с глазами. И со всем лицом. Я сама себе зазывающе улыбаюсь и подмигиваю. Вот если они сейчас закончат свое занятие и оглянутся. Прекратить эти гримасы. Еще не хватало, чтобы они участливо спрашивались, что со мной. Демонстрируя взаимно свою исключительную чуткость. Дотрагиваясь до меня сочувственно. А я как расхохочусь им в лицо и не смогу остановиться. Теперь я плачу? С какой быстротой меняются выражения. Не уследить. Не вглядывайся я так внимательно, лицо с такой бешеной быстротой меняет выражения. Надо оторвать взгляд от зеркала, тогда ужимки прекратятся. Но как? Как отрывают? Сильно потянуть. У меня нет точки опоры. Куда она делась? Могли ли они ее отобрать? Вроде бы они сейчас настолько заняты своим делом, что меня совсем не замечают. У него то и дело нога свешивается с кушетки, он в неудобном положении, ей бы подвинуться немного, что ж она не чувствует. Вроде она и не так уж увлечена происходящим. Оба они слишком скованны. Наверное, сегодня у них первый раз, и вряд ли будет второй. Вот что было странным в зеркале — я их вижу в полный рост, а себя — только до плеч. Не давай ужасу захватить себя. Я помню, что-то случилось. У меня отрезало голову, и поэтому он не может делать это со мной. Но разве живут с одной головой? Наверное, раз я живу. погоди! — значит, это не зеркало, а фотография! Как

я сразу ее не вспомнила. Оттого, видно, что он заключил ее в траурную рамку и выражение на ней еще не устоялось — старое отошло, а новое колеблется, не находя среди его ожиданий ничего определенного. Ты думаешь, твоя фотография подстраивается к нему? Как и любая вещь к своему обладателю. Суть ее никуда не девается, но хозяин может напустить на нее туман своих представлений, через который другим наблюдателям сложно пробраться. Иногда это флер таинственности, все приукрашивающий так, что сторонние чувствуют прелесть, которую не могут объяснить. Редко кто может своим видением оголить суть вещи настолько, что, даже попадая в другие руки, она остается прозрачной. Вот в чем все дело. Я опять начинаю понимать, что происходит. Я уже не первый раз попадаю на эту уловку с зеркалом-фотографией. Главное, каждую минуту напоминать себе, кто я, что со мной случилось и где я нахожусь. Тогда я себя не потеряю. Вот почему на ее лице безумие борется с укором. А победит в конце концов любовь. И все это будет неправда. Потому что фотокарточка сделана задолго до знакомства с ним. Как она к нему попала? — выпросил у родителей. Он выбрал именно ее, потому что я тогда была... Я тогда еще была. А потом старалась казаться, и лица получались искаженные. Тогда глядящий на эти карточки должен был проделать тройную работу, чтобы добраться до сути — расчистить то, что я хотела показать, то, что он хотел увидеть, и после этого еще и смочь увидеть то, что есть. Мне уже удастся видеть предметы в чистом виде, наверное, оттого, что у меня уже почти не осталось личности, но именно поэтому я не могу расчистить предметы от наслоений, я только вижу сквозь них. Как одна сущность непосредственно воспринимает другую сущность. Как незамутненно предметы ви-

дят нас. Хотя если мы как-то относимся к неодушевленным вещам, они начинают отвечать нам тем же, аккумулируя наши чувства и потом возвращая. Если у человека нет любимого кресла или хотя бы подушки, на которых он расслабляется, — он кончает нервным расстройством. Есть люди, у которых в руках все ломается, потому что они боятся вещей. Есть люди, на которых постоянно падают тяжелые предметы, обжигают горячие электроприборы, выплескиваются кипятки — настолько сильную агрессию они из себя исторгают. Есть люди, на которых любая одежда сидит ладно, как бы к тому же покрытая особым составом, отталкивающим пылинки, не впитывающим грязь и сохраняющим от изнашивания. Такие люди могут пройти по любой местности, во всякую погоду — платье на них будет свежеевыглаженным, как только из прачечной, ботинки будут сиять, не омраченные ни одной царапинкой. Мои самые любимые одежды изнашивались через два-три года, буквально рассыпались в руках, хотя я их не так уж и часто носила, только в особых случаях, когда нуждалась в чувстве защищенности. Они, видимо, принимали все на себя. Тряпки же, которые я не любила, носились каждый день, потому что жалко было выбрасывать их новыми, но с ними долгие годы ничего не случалось, и, когда я набиралась духу их все же выбросить, выглядели, как в первый день. Как сильно его квартира обжита им, каждый предмет наполнен его ласковыми прикосновениями, его чувством собственности, его заботами. Я же к ним прикасалась лишь невзначай, и если и переносила на них свои чувства к нему, то лишь в редкие минуты пребывания в его доме без него. Когда он не был рядом. Когда он появлялся, предметы расплывались, теряя не только очертания, но и прикрепленность к месту, кружась в туманном хоро-

воде, пока он своим прикосновением не выхватывал из полубытия, выпукло обозначая, ручку от чашки, часть стола с выглядывающими из-под его руки табачными и хлебными крошками, кусок подушки, на который длинно стекала слюна во сне, загнувшийся край одеяла, приоткрывающий слишком аккуратное для мужчины ухо. Вещи обретали при столкновении с ним недолгую, но предельно яркую жизнь, чтобы, отпущенные, снова уплыть в круговерть неопределенности. Наверное, оттого я не могу теперь на них опираться. Лишенные четких контуров, которые я не удосужилась раньше провести, они пялятся на меня своей неприкрытой сутью, слегка смягчая это разглядывание моим прежним общим к ним смутным расположением. Это досаждало, как взгляд человека, в симпатиях которого ты не сомневаешься, но не понимаешь, зачем он прячется за темными очками. И потом, это сочувствие притягивает, и, поскольку у предметов теперь нет границ, я разрастаюсь до размеров всей квартиры, привычно располагая мебель как органы, расположение и очертания которых я тоже никогда ясно не представляла. Кушетка-сердце продолжает мягко пульсировать их стараниями, шкаф-легкие со скрипом растворил створки под моей попыткой глубоко вздохнуть, заставив от неожиданности забиться сердце, кровь пробежалась быстрее, распрямив затекшие ноги-коридоры, грудь-стены, разжав горло-потолок, помогла проглотить застрявший комок, с силой ударила в голову, заставив схватиться руками-ветрами за волосы-облака. Нет пределов моему разрастанию, и, когда я протираю руки для объятия, оказывается, что нечего обнимать, все, чего можно пожелать и представить, находится уже в моих руках, не в ладонях, как раньше, потому что ладоней нет, да в них ничего и не помещалось, а внутри рук, которые руки, только когда

я о них так думаю, но это только моя старая установка, когда же я пытаюсь отбросить отжившие представления, сохраняется только одно — ощущение того, что у меня есть оболочка, находящаяся в пределах бокового зрения, но, как только я сосредотачиваю на ней взгляд, она отдалается до горизонта. Чего только она в себя не вмещает. Все виданное-невиданное. Здесь продолжается погоня, которая недавно со мной приключилась, но теперь я понимаю, что я и беглец, и преследователи, и их собаки, и их кони — все это я. Я земля, по которой они мчатся, я трава, которую они топчут, я ребенок, сидящий на подоконнике, оставленный без присмотра, вот я дотягиваюсь до фрамуги, вот окно уже распахнуто, люди и машины с моего этажа кажутся игрушечными, что будет, авось, пройдет.

Видимо, это нервный тик, теперь и это подмигивание началось. Да так загадочно я это проделываю, будто прима на дешевых подмостках. Ну вот, доигралась, теперь совсем не совладать с лицом. Надо же, что только не выделяет, теперь это уже какое-то животное — кошка, с ушами, с усами из лески, когда я успела прикрепить, шерстка выпадает, кожа под ней до неприличия розовая, неловко как-то, чем бы прикрыться, ведь смотрят, морда вытягивается, нос приплюснулся, это же поросенок, скорее свинья, глаза такие наглые, самолюбленные, какой же тварью я могу быть, оказывается. Но у свиньи не такая голая кожа, вот и абрикосовая щетинка появилась, стоило лишь подумать. Это неподражаемо, мне нужно на сцену, такой талант. А я ведь уже на сцене, как я успела сюда попасть? Наконец-то слышу заслуженные аплодисменты. Нужно изящно раскланяться, так меня учили — это важнейшая часть актерского искусства. Ну же, что с тобой, ты опять в ступоре? — испортишь все впечатление от представле-

ния. Почему она не двигается? Какая бездарность — взять и вот так оплошать в последний момент. А аплодисменты продолжаются — хотя это не совсем аплодисменты... — это крики, публика ее освистывает, похоже. Какие страдальческие звуки — так рвать душу только оттого, что она не кланяется.

— Принеси мне, пожалуйста, водички. И сигарету, я, кажется, на кухне оставила свою пачку. — Сходи лучше в ванну, сделай что-нибудь, я не хочу детей. Заодно и захватишь по пути. — Не волнуйся, я принимаю меры. — Не обижайся, куда ты? Ну что ты? — Ты будешь курить? — Давай. Не обижайся, правда. Ну что же делать, я не хочу детей. — Мне неприятен тон, каким ты это сказал. Я к такому не привыкла. Ты с ней тоже так разговаривал? — Слушай, давай не будем ее трогать. Я и так чувствую себя виноватым, что поддался слабости. — Ха-ха-ха, приехали. Это я, выходит, тебя искусила, бедненького? — Не надо так говорить. У меня такое чувство, будто она на нас сейчас смотрит. Может быть так? — Откуда у тебя эта фотография? — Выпросил у ее родителей. А что? — Просто интересно, я никогда раньше не видела. И как-то странно ты ее повесил — прямо в изголовье. — А что? — Я как сюда вошла, сразу напряглась из-за нее, но не решилась тебе сказать. Повесил хотя бы в другой комнате — Почему это? Я хочу ее все время видеть. — Но я думаю, что я не первая и, во всяком случае, не последняя женщина, которую ты будешь сюда приводить. Как ты можешь всем этим заниматься под ее портретом? Если у тебя нет каких-то особых извращений, то такой эксперимент может плохо кончиться. — Если хочешь знать, ты первая с тех пор, как... — Ну пойми, что речь идет не об этом. Мы, наверное, вообще сделали ошибку, поддавшись соблазну, ведь ни мне тебе, ни тебе мне ее

заменить не удалось. Может, попробовать и стоило, но я побаиваюсь за твой рассудок, тебе нужно убрать из спальни ее портрет. — Никуда я его не уберу, ладно, может, ты еще и мебель начнешь по-своему переставлять? Когда я говорил о присутствии, я имел в виду не фотографию.

Пора отсюда сматываться. Он разговаривает с ней, а смотрит в мою сторону. Еще и вправду они меня увидят. Неизвестно, как я теперь выгляжу. Не нужно их пугать и расстраивать. Наверное, мое присутствие заставляет их ссориться. Пусть себе утешаются дальше. Значит, сейчас они в первый раз... Может, у них что-то получится. Лучше она, чем кто-нибудь другой. Это тоже своего рода верность с его стороны. Вернее было бы переспать с какой-нибудь прежней, зачеркнуть меня, сделать вид, что я просто уехала и ничего не изменилось. А так он себя растравляет еще пуще.

— Что ты на нее так смотришь? — Я, кажется, понимаю, о чем ты говоришь. Этот портрет здесь явно присутствует, а не просто висит. Как будто это такая же самостоятельная личность, как и мы. И она явно за нами наблюдает. Притом я не скажу, что осуждает или огорчается, без всякой эмоциональной окраски, но и не как бесстрастный экспериментатор. Я не знаю, как объяснить, но она включена. Но в то же время это другая личность, чем она была. Она бы реагировала по-другому. И даже черты лица вроде изменились. — Хватит на нее смотреть. — Я не знаю, с чем это связано, может быть, она сейчас изменилась как личность и это сказало на портрете. Видишь, он стал более определенным и окончательным, о фотографиях живых людей такого не скажешь. Там всегда думаешь — вот это было в детстве, это — тем летом в Крыму, тут она болела, в это время была влюблена. А теперь это тоже есть, но

как нюанс, незначительные оттенки одного устоявшегося состояния. Пока человек жив, его фотографии как бы не до конца проявлены, они могут измениться в ту или другую сторону, как бы ждут окончательного штриха. — Это невыносимо, ты заговорила на ее языке. — Ты со мной не согласен? Надо будет проверить по другим ее фотографиям. Хочешь, сделаем это вместе? Вот увидишь, от них будет исходить одно и то же ощущение, независимо от ее возраста и состояния. Не помнишь, кто это сказал: «Когда умирают люди, меняются их портреты»? — Слушай, кончай свою доринангреевщину. — Почему ты так кричишь? — Я не могу говорить о ней в прошедшем времени, неужели ты не понимаешь. И потом, я чувствую, она за нами наблюдает, и не только с фотографии, и я правда сойду с ума. Может, ты уйдешь, а?

И правда, я и забыла, что собиралась уходить. Но куда же я денусь? Почему до сих пор я нигде не оказалась? Сколько же времени прошло с тех пор как...

— Столько времени прошло уже, я понимаю, что тебе больно, но ты должен принять ее смерть, чтобы смочь дальше жить. Пойми, ты сам превращаешь свою жизнь в ад. Думаешь, мне было легко? Ведь это была моя лучшая подруга, и вообще это первый близкий человек, которого я потеряла. У меня у самой крыша ехала. Ты думаешь, почему я здесь? При ее жизни я бы этого никогда не сделала. Я поняла, что пришла пора ее окончательно похоронить. Думаю, ты со мной встретился по той же причине. Так не останавливайся на полпути.

Все, я больше не могу. Оказаться бы где-нибудь, где никого нет, в то же время чтоб это не было опять изматывающе незнакомо. Я так устала. Наконец-то я дома. Как долго я скиталась. Может, ничего и не было?

Может, все мне привиделось? Да как бы не так — такого порядка при мне в моей квартире никогда не было. Кто-то тут прибирался. Кто-то не враждебный. И вещи все мои на местах пока. Здесь никто еще не живет? Сколько же времени прошло? И вещи пока меня помнят. Как они на меня реагируют, вот уж кому наплевать, жив ты или мертв, их отношение к тебе от этого не меняется. Ни жив ни мертв я от своей любви... Неужели до сих пор здесь никто еще не поселился? До каких пор? Сколько времени прошло и что было со мной, я ничего не помню. Но диван свой помню. И шкаф. Они такие же, как будто ничего не произошло. Как долго вещи сохраняют свое отношение? До следующего хозяина? Наверное, все зависит от силы твоего чувства к ним. У них все отраженное. Сохранились ли еще мои одежды? Не все, только самые любимые. Как их аккуратно сложили в шкафу. И белье. И оставили в шкафу синий сарафан, парочку блуз и обувь. Остальное, видно, разобрали. Надеюсь, что в моих вещах копалась только мама. И грязного ничего не осталось. Знала бы, написала бы завещание, кому что, и одежду тут же бы стирала за собой. О, в ванной у меня ведь большое зеркало, можно хоть посмотреть на себя наконец. Странно, зачем его убрали и куда? — неужели знали, что я сюда заявлюсь? Остался только след на стене и дырочки от шурупов. Но меня, наверное, и не видно. Может, остаться здесь? — если новые жильцы будут не очень шумные. Не жить же мне на улице? Ой, что это? И так внезапно. Ох, я чуть не умерла со страху. Это же телефон звонит. Раз бывает так страшно, значит, можно и второй раз умереть. Внутреннее чувство мне говорит, что это возможно. Не нужно терять самообладания. Кто же может мне звонить? Кто еще не осведомлен, что я умерла? И мой голос еще не стерли

с автоответчика. Оставьте, пожалуйста, сообщение после сигнала. До свидания. Ну же! Положили трубку. Не захотели оставлять сообщения. Жаль. А я, видно со страху, по детской привычке в шкаф забилась. Я думаю, что это я так быстро успокоилась, а это запах свежестыранного постельного белья. Он мне всегда нравился и разгонял тревогу. Опять звонок. Что случилось? Как обидно, что я не могу подойти. Может, это наказание за то, что раньше могла, но не подходила? Оставьте, пожалуйста, — какой мой голос материальный. В нем тоже можно жить. По нему можно плыть. Он такой серо-синий с искрами. И несет, как река. *Я плыву бездумно, отдавшись течению. Как хорошо! Оно меня куда-нибудь, да вынесет. Я знаю куда. В море.*

— В море? Я слышала, ты живешь в Испании? — Жила, точнее, до недавнего времени. — А где ты сейчас? — Здесь, разумеется. — Нет, серьезно. Ты решила вернуться? — Да нет, вряд ли. Я сейчас приехала по делам, и как раз вот с ней это несчастье. У меня билет обратный на послезавтра. Какое вернуться, о чем ты говоришь, я двоих детей там оставила неизвестно на кого. — Уже двоих? Я помню, у тебя была девочка. — Да, теперь еще и мальчик. — Да-аа? А сколько ему? — Скоро пять. — То есть ты его почти сразу родила, как уехала? — Ты разве не помнишь, как я уезжала? — Нет, тогда меня здесь не было, когда я вернулась, меня поставили перед фактом. Потом я пробовала узнать, как ты там живешь, но никто толком ничего не знал, все слухи какие-то через третьи руки. — А я думала, о моем отъезде весь город говорит — это такая чума была. Ах, точно, я тогда с тобой не встречалась, так ты и моего замечательного муженька не видела? — Нет, только слышала, что он у тебя красавец. — Да, был. — Что, подурнел внезапно? — Да нет, просто мы уже разош-

лись. — Как разошлись, я слышала, что у вас была такая необыкновенная любовь, прямо принц из сказки. — Да уж, принц, такого чуда-юда еще поискать. Вся эта история была сумасшедшей. Я влюбилась в него с первого взгляда, он сразу показался мне необыкновенно красивым. Впрочем, у меня всегда так с мужчинами, я их только потом разглядываю, в первый момент вспышка света — и готовый принц. — Я слышала, что он действительно красавец. — Нет, что-то в нем действительно было, у него очень красивое тело. Зеленые собачьи глаза, такого очень странного разреза, и детская, очень мягкая улыбка, наверное, ею он меня и покорила. А еще своим профилем. Он у него, как у древнеримских статуй. А плечи — это вообще сказка. — Тогда почему ты с ним рассталась? — Тогда нужно с самого начала рассказывать. — Расскажи, если можно, мне очень интересно. — А ничего, если мы так долго будем торчать в коридоре? — Все равно там уже непонятно что происходит. — Да, никто и не заметит, что нас долго нет. Мне даже будет интересно с сегодняшнего своего состояния заглянуть в эту историю и рассказать ее постороннему человеку. — Ну, давай. А можно у тебя еще сигаретку? Ты оттуда привезла или здесь купила? — Здесь купила, у вас они намного дешевле, чем там. — Для вас, может, и дешевле, а нам все равно не по карману, а потом говорят, что здешние все равно подделка. — Подделка — не подделка, курить хочется, какая разница — что, раньше мы и не такое курили. Моя мать так вообще «Беломор» высаживала по пачке в день. — Да и меня раньше «Ява» устраивала, а теперь не могу, к хорошему привыкаешь. — Это точно. Вот и я привыкла, так что не могу представить себе жизни здесь. Да, там хорошо. Хорошо там, где нас нет. Сейчас я хочу опять на юга, думаю переехать в ближайшее

время из Германии. — Так ты теперь в Германии? — Да, муж-то мой был немец. — Я думала, испанец. — Нет, в Испании он только вырос. Он больше испанец по характеру, чем немец, и все время туда стремился. Поэтому в Испанию мы и попали, сразу как отсюда выехали. Причем как мы выезжали — история — загадывается. Мы же сюда приехали мою дочку забирать, она тут жила, пока я по германиям моталась. А я ему еще в Берлине рассказывала, что в России очень дешевая трава. Он же курит у меня непрерывно. Он сразу губу раскатал — тогда я все время буду там курить. И как только мы приехали, начал меня дергать, чтоб я ему нашла продавца травы. И в течение всего месяца ничем другим не занимался, как непрерывно сидел дома и косяки крутил. С ходу выучил слово «косяк» и с тех пор это стало нашим секретным словом в Германии — надо купить «косяк». Денег у нас было мало, но перед тем как уехать, мы купили килограмм травы, с тем чтобы часть продать в Германии и на эти деньги уехать в Испанию. — Килограмм? А как вы провезли через границу? Вы не боялись? — Ну, это отдельная история. Я не дура, я решила, что, поскольку у нас ребенок, детские вещи все равно проверять не будут, завернула траву в полиэтиленовый мешок и засунула в рукав детской куртки. Помимо травы мы купили еще и собаку — месячного дожонка. Я в него с первого взгляда влюбилась, точнее, собака меня выбрала, она на меня посмотрела, и на этом все кончилось, я поняла, что покупать ее надо. А у мужа представление о счастье таким и было — дом в Испании, красивая жена, красивая собака, красивые дети, ну и так далее. — Интересен порядок, в котором ты перечислила. — Это тот порядок, в котором перечислял он. Короче, едем мы с красивой женой, с красивым ребенком и с красивой соба-

кой в поезде и с килограммом травы. А у мужа виза была только на неделю — на большее денег не хватило. На границе на меня даже внимания не обратили, пограничник сразу открыл его паспорт и спросил: «Так, молодой человек, что вы делали в России месяц?» Предложили ему выйти с вещами на проверку. Он взял свою сумку, собаку под мышку — сказали, что собаку должен проверить ветеринар, а я с ребенком и мешком травы осталась сидеть в поезде. Я у погранца спросила, как долго его там продержат, а он мне с ухмылочкой отвечает: «Ну что, визы у него нет, наверное, ему придется назад возвращаться, чтоб проверили — может, он немецкий шпион». Короче, я в панике, что делать, не знаю, одни надо мной смеются, другие утешают — не плачь, деваха, другого найдешь. Поезд отправился, а его нет. А главное, у него остались все деньги последние. Я настолько перепугалась, что даже плакать не могла. Всю ночь не спала, думаю, а что же будет на немецкой границе. Заходит пограничник в полшестого, ваши паспорта, а я, наверное, единственная во всем вагоне, которая прилично по-немецки говорит. Немец так обрадовался, что даже толком паспорт не посмотрел. Приехала в Берлин, позвонила подруге, добралась до нее и завывала у нее на плече, сразу представила, что его, бедного, там в тюрьму посадят за нарушение визовых правил. Представила себе, что мне придется возвращаться назад с ребенком. Но думать об этом не хотелось, я пошла на кухню пить кофе. Через час раздался звонок в дверь — муж. С ним, оказывается, на границе никто не разбирался, только наш поезд ушел, его отпустили. Он на попутках добрался. На польской границе он подобрал еще каких-то несчастных японцев, которых тоже ссадили, а там одни мешочники — русские, поляки, никто даже по-английски не понима-

ет, бардак полный, никто не знает, какой поезд куда идет. Они в него вцепились, и он их опекал — затолкал в нужный поезд — они же маленькие, толкаться не умеют, а муж двухметрового роста, их протолкнул и сам пролез, доехали до Варшавы, и они в благодарность оплатили ему билет до Берлина, и, пока на нашем поезде меняли колеса, он на электричке догнал. Пошли мы буквально на следующий день в загс, подали заявление, сняли квартиру, денег не было, и мы хозяину для начала дали сто граммов травы. Штефан продал за неделю травы где-то на триста марок, ну и сам при этом курил, мы решили, что больше денег проедем за то время, пока живем, что это бессмысленно, и мы решили двинуться во Францию, муж сказал, что там трава дороже. Поехать решили автостопом. Представь картину — выходим мы на трассу, где все нормальные люди стоят с рюкзаками, а мы с ребенком, собакой и чемоданами, в которых уложены вещи на трех человек на все времена года, потому что отъехать мы решили капитально. Стоим мы там, как зайцы, я думаю, только полный псих возьмет нас с собой, точно заночуем там. Вдруг тормозит оранжевая БМВ. Оттуда вылезает безумный оранжевоволосый панк. Оглядывает автостопщиков и показывает на нас. Муж мой с недоверием на него смотрит и говорит, только я не один, у нас еще ребенок и собака. Он отвечает: «Ничего, у меня у самого две собаки». Я подумала — у него дома, залезаем в машину, а там две овчарки и жена. Жена забрала овчарок к себе на переднее сиденье, мы разместились сзади. Муж мой, разумеется, сразу скрутил косяк, и не один, пока панк не сказал, что дальше он ехать не может, и моему пришлось заменить его за рулем. Когда панк узнал, что у нас такое количество марихуаны, предложил продать ее в его родном городе

Нюрнберге. Помимо двух собак у него еще и двое детей было. — В машине? — Нет, у него дома. Мы у него поселились. Каждый вечер выходили траву продавать, по десять марок за грамм. — А за сколько вы тут купили? — Мы ее стаканами покупали, уже не помню, кажется, сто рублей стакан стоил. Не помню. Продали мы марок на четыреста. Этот мужик все пытался какого-то большого покупателя вызвонить, но того в городе не оказалось. А у остальных тоже денег не было. У панка были какие-то проблемы с его машиной — то ли он страховку не платил, то ли еще что, не помню. Муж предложил обменять машину на траву. — Хорошая была машина? — Ну, после этого без всякого ремонта она еще пять тысяч километров сделала, потом только сломалась. — А за какое количество травы вы ее приобрели? — За триста граммов. Из Нюрнберга мы выехали на машине с тремястами марками в кармане. Деньги тратили только на бензин, ничего толком не жрали. За два дня доехали до Малаги. Муж сразу пошел к Пепе, к своему бывшему другу. — Что значит к бывшему? — Ну, мой муж с ним раньше жил. Он бисексуальный. Он с Пепе почти два года жил и только из-за меня с ним расстался, сказал ему, что встретил женщину своей мечты. Плохо же он меня тогда знал. — А Пепе чего? — Он плакал, он Штефана очень любил. Когда мы приехали в Испанию, он вышел на порог своего отеля... — У него был свой отель? — Да, ага, сцена была изумительная, просто как в кино. Штефан со своей застенчивой детской улыбкой и своей странной походкой, которая у него всегда появлялась, когда он направлялся к людям, которые его любили или которых он любил — он на собаку был похож в таких случаях. Сейчас попробую тебе показать. Места тут мало. Ну смотри. Он шел так по улице, ни на кого не глядел,

вдруг замечал человека небезразличного, у него так опускалась голова, наклонялась набок, плечи вот так расслаблялись, и он шел навстречу вот так, прямо собака с ушами, во взгляде смесь собачьей преданности и девичьего кокетства. — Ну ладно, я поняла, не привлекай к нам внимание. — Вот такой походкой он направился к Пепе. А у Пепе лицо такое было, нос с большой горбинкой, большие глаза и большие черные круги вокруг глаз, такой красивый, но страшный. Было похоже на возвращение блудного сына. У Пепе такое выражение лица появилось, такая надежда, боль, радость, все вперемешку. Они одинакового роста, обнялись, Пепе прижался головой к его голове, и я увидела, как по его щеке потекли слезы. Они стояли так молча обнявшись минуты три-четыре. Потом Штефан сказал ему что-то по-испански, подвел к машине, представил нас с дочкой, Пепе очень дружелюбно пожал нам руки, попросил подождать полчаса, у него были какие-то дела в отеле, и потом отвез нас к себе домой. — А потом вы жили втроем? — Нет, Штефану такое, по-моему, даже в голову не приходило. Мне кажется, что он по-настоящему меня любил к тому времени. — А Пепе тоже не приходило в голову? — Я думаю, нет. Он вообще женщинами не интересовался. А к нам он хорошо относился, покупал ребенку мороженое, подарки, игрушки. Мне на второй день цветок принес, розу. А потом он организовал нам кемпинг, палатку дал такую огромную, как дом, двухкомнатную. Штефан забрал у него все свои шмотки, которые там года два валялись, с тех пор как они расстались. Штефан начал искать работу. Но оказалось, что на нормальную, по контракту, он не мог устроиться. — Почему? Разве немцы не могут работать в Испании? Я думала, это только проблема русских. — В то время еще не было Европейского сообщества и

для работы нужно было официальное разрешение, что было непроблематично, но мой муж засветился, он ведь сидел в тюрьме в Испании в свое время. — Как? За что? — У него все время были бредовые истории, и история его попадания в тюрьму не менее бредовая, чем вся его жизнь. — Что-то вы такое интересное рассказываете, я вам не помешаю? Можно и мне послушать? — Да, пожалуйста. Я рассказываю, за что мой бывший муж сидел в тюрьме в Испании. — О, круто. На Западе сидеть в тюрьме одно удовольствие. Я бы с удовольствием посидел годик-два в тюрьме в Голландии. — Вы понимаете, о чем вы говорите? — Прекрасно понимаю. У меня один приятель сидел, он рассказывал. Во-первых, там пылесосят и меняют белье каждый день, кормят до отвала и очень разнообразно. Можно сидеть и работать. Там и телевизор, и письма можно посылать, хоть по сто штук каждый день в Россию, они обязаны отправлять. И книжку любую приносят. Мой приятель попал даже не в обычную тюрьму, а в криминальную. Когда покончили с формальностями, его спросили, не нуждается ли вы в чем-нибудь. Он попросил «Незнайку на Луне», на русском языке, естественно, а дело было уже вечером. Ему говорят — нет проблем и через час принесли эту книгу. Вот он пока четверо суток сидел, как раз ее дочитал. — Быстро же он с ней справился! — Да он такой, малость дебильноватый. Его и посадили-то по неправильному обвинению, он даже через переводчика не смог ничего объяснить. — Ну, в Испании тюрьма, судя по всему, малость отличается от голландской. Вы смотрели фильм «Полуночный экспресс»? — Да, конечно. — Судя по описаниям моего мужа, испанская тюрьма будет почище турецкой. — Ну конечно, испанцы все же почистоплотней турок. — Я имела в виду погрязнее, повшивей. — Ах да, простите,

последние семь лет я жил за границей, забываю русский. — А где вы живете, в Голландии? — Большой частью. — Вы тоже художник? — Да, можно так сказать. Я художник кино. Но не будем отвлекаться, так что же испанская тюрьма? Мне просто очень интересно, если вы не возражаете. — Я не возражаю, но меня кино всегда интересовало. Я вам расскажу про испанскую тюрьму в обмен на ваш рассказ о своей работе. — Ну хорошо, но я боюсь, что вы разочаруетесь. Я просто рисую эскизы. Жизнь звезд проходит мимо меня. — Звезды меня мало волнуют, мне интересно, как вы работаете. — А вы тоже художница? — Нет, я всего лишь человек. — Вы меня убедили, я отвечу на все ваши вопросы. — Значит, как мой бывший муж оказался в тюрьме в Испании. Надо сказать, что в шестнадцатилетнем возрасте он свалил из Германии в Испанию, подрабатывал там всевозможными способами. Ну, долго рассказывать, на очередной работе в одном пансионе хозяин с ним договорился, что он будет у него жить и есть, а деньги получит в конце месяца. Когда пришло время, его уговорили потерпеть до конца следующего месяца, и опять хозяин лечил его историей о том, что у него пока нет денег. А он у меня психопат. Пригрозил мужику, что разнесет ему всю квартиру и сломает шею, если тот немедленно не заплатит. В конце концов, по его словам, они договорились, что он заберет у хозяина его телевизор и видеомагнитофон в качестве оплаты за работу. Я подозреваю, что он успел дать хозяину по морде, иначе я никак не могу объяснить, как он вышел из дому со всеми этими вещами. Когда он отъехал, его догнала полиция, повязали и повезли в тюрьму. Его привели в полутемное, затхлое помещение и приказали выбирать матрац. Матрацами были названы набитые сухой травой мешки, сбитые

комьями, вонючие и засранные. А Штефан у меня чисто плотен просто до невероятности. Он в жару по пять по шесть футболок в день меняет и непрерывно под душем стоит, только чтоб не работать. Он отказался брать матрац, получил пинок под зад, ему на плечи взвалили один из матрацев и пинками погнали в сторону камеры. Камера была небольшой комнатой, по стенам которой располагались стеллажи, на которые клали матрацы, это были постели. — Ну как и у нас. — Ну да, стеллажи эти называются нарами. — Я не знаю, как у нас. В камере два окна под потолком и несколько ведер, которые выносились два раза в день. Вонь дикая, теснота, десять человек мужиков. — У нас и побольше сидят и на всех одна параша. — Ну не знаю, моего милого чистенького мальчика затошнило от вони, духоты и мерзости. Ну, разумеется, он какое-то время визжал, но никто на него внимания не обращал. Все занимались своими делами, как заключенные, так и снаружи. А он говорил, что в тюрьме была библиотека, и в ней книг сто. Он их все прочитал. — Книги на испанском? — Да. Он вообще полиглот. И там была одна книга про слонов. С тех пор он все знает про слонов. Постоянно пользуется своими знаниями в разговоре. — О, а вы знаете этот анекдот про слонов? — Нет, какой? — Да, это хороший анекдот. Можно я расскажу? Решили устроить соревнование по всему миру, какая страна напишет лучшую книгу о слонах. Американцы выпустили маленькую брошюрку под названием «Все о слонах». Англичане издали десятитомную шикарную энциклопедию под названием «Немного о слонах». Немцы выпустили книгу «Метафизика слонизма». Наши выпустили красную книгу под названием «Советский слон — самый лучший слон в мире» — Ха-хаха. — Неужели вы не слышали? — Нет, давно не бы-

вала в краях родимых. — Да он с бородой. Мы еще в детском садике рассказывали. Там есть еще продолжение — болгары выпустили книгу: «Советский слон — старший брат болгарского слона». — Ну и что дальше? Он узнал все о слонах, видите, польза от тюрьмы, значит, была.

— А что, про животных интересно очень! Вы любите смотреть фильмы про животных? Я обожаю. Мы на днях с подружками шли, одна тоже оказалась любительницей таких фильмов. Мы с ней прямо захлеб говорили: «А ты видела фильм про львов? Там самец, оказывается, двадцать четыре часа любовью занимается, подряд! Правда, потом столько же отдыхает». А она мне: «А ты видела про акул? У них, оказывается, два члена. Когда один устает, он другим работает». — «А про слонов видела? Слоны то-то и то-то». А третья моя подружка слушала-слушала да как начала ржать: «Ну девочки, любительницы фильмов про животных!» — А что слоны? — В смысле? — Какие у них особенности? — Да я уже не помню. Но что-то было. — У моего мужа надо было спросить. Он бы сказал. Он постоянно эту книгу цитировал. На все случаи жизни у него была своя цитата оттуда. И когда я сказала, что я беременна, он мне ответил: «А ты знаешь, что слоны вынашивают своих детей два года» и так далее. Я считала это его своеобразным чувством юмора, пока не поняла, что это у него на самом деле. — Вы считаете, что он в тюрьме повредился? — Нет, это у него врожденное. — Ну раз он прочитал сто книг и чем-то напоминает моего друга из Голландии, значит, он просидел в тюрьме минимум четыреста дней? — Восемь месяцев. Книжки, наверное, были потоньше «Незнайки». — Сурово — восемь месяцев. — Это не было даже сроком, это была отсидка перед сроком, ему даже обвинения не предъявляли. И

суда не было. Он все это время рыпался и требовал, чтоб его связали с немецким консульством и привели адвоката. Ему просто не отвечали. А соседи по камере посоветовали попасть в лазарет, оттуда можно было посылать письма. Для начала он распорол себе вены в надежде, что его заберут в лазарет. Не тут-то было. Пришел какой-то старикашка с черным саквояжем и зашил ему, что называется, через край, прямо в этой грязи. У него остались совершенно жуткие шрамы. Но сейчас у него сверху татуировка, поэтому не видно. Он срывал постоянно бинты, пока не понял, что бесполезно, он просто умрет от заражения крови. Ему запретили иметь безопасные бритвы, поэтому он одолжил у соседа, разломал ее на куски и проглотил несколько кусков на глазах у надсмотрщика. — А сколько ему было лет тогда? — Семнадцать. Надсмотрщик просто засмеялся и сказал: «Ну подыхай, дурак, раз тебе так хочется», но Штефан не подох, к своему собственному удивлению, он вообще здоровый как лось. Потом он предпринял последнюю попытку — один раз в день их водили во двор на прогулку. Он сбрил себе все волосы на голове и начал вставать на прогулке прямо под палящее солнце, пока наконец кожа на голове не сгорела до совершенно дикого состояния. Несколько раз он терял сознание, его обливали водой и все же продолжали водить на прогулку, пока не посчитали психом и не отправили наконец в лазарет. Оттуда ему удалось написать письмо своей матери, та связалась с немецким консулом и совершенно неожиданно для него самого его выпустили из тюрьмы. — Он вернулся в Германию? — Нет, он вернулся к Пепе. — Он уже тогда с ним жил? — Да. — А кто такой Пепе? — Я уже объясняла, это его любовник, хотя это слово мне не нравится. — Да, в русском языке нет приличного слова для

обозначения любовных отношений. — Извини, пожалуйста, так твой муж голубой? — Ну да, он би. — Да, у меня тоже была подружка лесбиянка. — Ну, лесбиянка — это стопроцентное, поэтому я и сказала — би. Не надо путать понятия. — Ну, почему, «возлюбленный», например. — Я считаю, что слово «возлюбленный» передает состояние влюбленности. Оно у меня связано более с такими понятиями, как Ромео и Джульетта. — Ну еще есть сожитель. — Очень похабно, сразу представляется алкоголическая семья. — Товарищ по постели. — Спутник жизни. В немецком есть определение, которое мне нравится, «лебензабшнитгефертер», то есть спутник, сопровождающий тебя на определенном промежутке жизненного пути. Вот и в испанском, мой муж говорил, гораздо больше слов, определяющих любовные отношения. — А в греческом, наверное, штук десять, если не больше, передающих различные оттенки любви. — Да, что ни говори, у каждого народа его ментальность обнаруживается по наличию богатства некоторых определений. — Зато какой у нас богатый мат, ни у одного народа такого нет. — Не только такого нет, но у некоторых вообще нет мата. — Как это, прямо совсем нет? — Вот у немцев есть только фекально-анальные выражения, и очень слабые. Или сопоставление с животными. Абсолютно ничего сексуального. — А в Греции самое страшное ругательство «малака» — онанист. — А в Испании самое страшное ругательство — это сын шлюхи. — Да у них же, как у всех восточных, культ матери. — Скорее, Мадонны. — Я думаю, они не делают различий между матерью и Мадонной. — Да мат и у нас не сексуальный. У нас употребляются сексуальные термины, но обозначать они могут все, что угодно. Можно в течение всех суток обмениваться только одним словом из трех букв и пе-

редать все богатство своей внутренней эмоциональной жизни. — Слушайте, кто эта маленькая девушка, вон там, в углу, видите? — Ту, маленькую худенькую? — Да, на мой вкус, она чрезмерно злоупотребляет ненормативной лексикой. — Она виртуозно владеет матом. — А кто она такая? — Потом расскажу, вообще забавная история. Я лично больше таких талантов не встречала. — Насчет таких талантов мне недавно мой сыночек выдал. Едем с ним в трамвае после школы, я отдала его в английскую, окна запотели, смотрю, ребенок выводит пальчиком букву «х». Я напряглась. Он выводит «у». Уже весь трамвай затаил дыхание, насупленно на него смотрит. Я так вкрадчиво: «Ты что там такое пишешь?» Ребенок дописывает «z», смотрит на меня ясным взглядом и говорит: «Как что — хуз, последние буквы английского алфавита». — А что это за девушка, все-таки? Я ее раньше не видел. — Она блатная, проводница вагона-ресторана «Челябинск-Москва». Родилась в женской тюрьме. — Господи Боже ты мой, где она такое чудо откопала? — Они вместе лежали в инфекционной больнице. Ее привезли туда с гриппом и подозрением на воспаление легких, а у этой девушки и впрямь оказалась пневмония, ее прямо с поезда сняли. Они оказались на соседних койках. И вот с утра им принесли баночки анализы сдавать, а у нас, знаете как — больной сам должен потом все относить, медсестер же всегда не хватает. А девушка эта совсем без сил лежала. Ну и наша альтруистка по простоте свой предложила, говорит: вы не можете встать? Дайте я вашу баночку отнесу. А у блатных знаете же как, запахло к чужой моче прикасаться, это опустить себя дальше некуда. Девушка аж глаза выпучила, да я могу сама свою такую-сякую мочу отнести и что-то дальше в этом роде, но наша самаритянка ей: ну что вы, мне нетрудно,

подхватила посуду и пошла. Так эта девушка ее с той норы смертельно полюбила, взяла под свою опеку. У нее ж тогда туберкулез заподозрили из-за абсцесса в легком, ну и больничный народ давай травить ее со скуки — по общественному телефону не звони — а другого нет, туда не ходи, в гостиную телевизор смотреть не смей заглядывать. И проводница тут как тут ее под свое крылышко, хотя по-хорошему она ей в пуп дышала. Но народ в больнице сразу почуял в ней опасную силу, стоило этой девушке прочистить горло, как все тут же испуганно по стенкам жались. Сами видите, какая замухрышка. Она рассказывала, как-то по телевизору передача должна была идти интересная, а ее уже заключили в отдельную палату, изолировали, короче, от общества, к ней только проводница и навевывалась, даже посетителей не пускали. А проводница уже оклемалась от своего воспаления, носилась по всей больнице, какую-то деятельность развивала, заглянула к ней и говорит, приходи, мол, сегодня вечером передачу посмотреть, а сейчас я побежала. Она решила передачу проигнорировать, да оно и понятно, кому будет приятно, если... И тут к ней в дверь скребнутся шестерки, мол, чего ты сидишь, Элька тебя зовет — вот, вспомнила, как ее зовут. Она давай отнекиваться, но вроде и хочется и колется, тут они ее потащили. Только она приоткрыла дверь в телевизионную, как все радостно вскинулись в предвкушении расправы, и тут, значит, такое покашливание раздается. Она, глядь, все стулья заняты, большинство так вообще на полу расположилось по-простому, а в самом центре сидит Элька эта на кресле и положила руку на второе кресло, пустое, и никто не смеет пикнуть. Все, значит, с ужасом оглядываются на ее тихое покашливание, а она так приглашающим жестом: иди сюда, я тебе место заняла. И она

рассказывала, что все, так заискивающе улыбаясь, пропускали ее, пока она пробиралась к своему месту. — Чем же она берет, вроде одним щелчком можно прикончить. — Да вот так вот, я сама видела, как все ее боялись. А она тогда вообще этой девчонкой чрезвычайно восторгалась, говорила, что ее мат — это сплошное словотворчество, что она умудряется строить длинные сложноподчиненные предложения с одними только матерными корнями и ни разу не повторяется. Готова была часами слушать, раскрыв рот. Та тоже не оставалась в долгу, делилась всякой народной премудростью. Вот мне запомнилось, проводница уверяла, что у нее мужиков было несметное количество, и она вывела какую-то корреляцию между формой и величиной большого пальца руки и мужскими способностями, но вот какую, убей Бог, не вспомню. Потом, когда ее перевели в другую больницу, а эта Элька уже выписалась, то в следующий рейс разыскала ее, и, поскольку время было неприемное и входная дверь заперта, она по решеткам пролезла на третий этаж с пакетом апельсинов в зубах. — Да, у блатных круто с этим, уж коли друг, так в огонь за него и в воду. — Слушай, мне все хочется спросить, если можно, как тебе жилось с мужем, у которого голубые склонности? — Это две совершенно различные вещи, на мой взгляд. На мой взгляд, гомосексуализм по своей тупости и ограниченности ничем не отличается от убежденного гетеросексуализма. Тогда как би предполагает в человеке наличие сразу двух полов и свободный переход от одного к другому. — Но это же сократовский идеал. Он же говорил об андрогенах, которых разрубили пополам, и теперь они вынуждены искать свою половинку. — Но Сократ предполагал, что андрогены состояли из двух мужчин или двух женщин, или из мужчины и женщины. Так что извини, что на

роду написано, какого пола спутника тебе искать. — Да, я не знаю, как к этому отнестись, потому что я считаю, что если человек ищет только мужскую половину или только женскую, то он замыкается на этой части мира и не способен уже воспринимать то, что способен дать другой взгляд на мир. Тогда как бисексуальный человек открыт на обе стороны. — Тогда идеальный вариант, когда объединяются мужчина и женщина и обретают оба взгляда на мир. — Нет, идеальный вариант, когда оба бисексуальны. Потому что они оба более открыты, чем закрытый мужчина или закрытая женщина. — Но это же зависит еще и от химии. Ты читала Отто Вейнингера? — Нет. — Ну, это был такой молодой немец, он написал книгу в начале века под названием «Пол и характер» и потом покончил с собой. И кстати, после этой книги по Европе прошла волна самоубийств среди молодежи. А концепция у него такая, в двух словах, что в каждом человеке наличествует определенное процентное соотношение мужественности и женственности, причем перевес в какую-либо сторону не зависит от физического пола. И люди соответственно ищут себе партнеров, которые их дополняют. То есть человек с тридцатью процентами мужественности и семьдесятю процентами женственности ищет того, у кого соответственно тридцать процентов женственности и семьдесят мужественности. — Так он писал только с мужской точки зрения, а с женской? — По версии, он оттого и покончил с собой, что нашел у себя слишком большой процент женственности. — Бедненький, мне его очень жалко. Если бы он написал вторую книгу с женской точки зрения и обнаружил бы у себя слишком большой процент мужских черт, он покончил бы с собой еще раньше. — В Европе, кстати, много молодежи кончало с собой и после

«Страданий юного Вертера», может, тогда была полоса такая? Кстати, у Гете с полом была полная определенность в этом романе. — Их объединяет то, что они оба немцы. — Во-во, существа сентиментальные и слабые. — И Фрейд был немецкоязычный. Может, болезненное отношение к полу заложено в немецком языке? Писал бы Фрейд по-английски, скажем, была бы совершенно другая история подсознательного. — Почему? А наш Розанов с его людьми лунного света, с его мужедевами. А наши философы начала века с их Софией, вечной женственностью, с их патологическими любовями? — Что ты имеешь в виду? — Ну, например, то, что они влюблялись в замужних женщин и так их обоже- ствляли, что боялись даже к их платью притронуться, зато воровали вязаные туфельки их младенцев, чтоб страстно целовать в укромном уголочке. — Правда? Я не знал. Во монстры. А ты говоришь — бисексуальность. Тут все гораздо круче. Сколько мучительного счастья можно выскрести из целования пеленок бебика любимой женщины — это же надо вначале их вык- растить, уже щемяще-сладкая истома. Спрятать на груди и продолжать с невинным видом беседовать — они же только на возвышенные темы разговаривали со своими избранницами? — Ну, разумеется. — А потом в одино- честве прижать к сердцу и целовать, целовать, а досыта нацеловавшись, написать с эдаким вдохновением пома- занника что-нибудь нам о божественном. Разве мож- но с этим сравнить примитивные поцелуи мяса с мясом? — Вот были монстряки, умели из жизни из- влекать радость. — Да, все о каких-то лолитах пишут и читают, это такой примитив по сравнению со скрыты- ми фантазиями наших религиозных философов. — На- верно, Лолитин носочек вырос из той самой украден- ной пинетки. — Да, как вся остальная литература вышла

из «Шинели», вся наша эротика пошла от наших моралистов. — Вы читали автобиографию другого нашего оплота нравственности — он не стесняясь описывает свои откровенно трансверститские склонности в детстве. Наверное, оттого и пошел в священники, чтоб носить рясу — единственный тогда вид допустимого отклонения в сторону женской одежды. — То, что откровенно написал, — честь и хвала ему, тогда он действительно моралистом имеет право называться. — В том-то и дело, что они отличались от нынешних онанистов и трансвеститов тем, что не ведали, что творят. Они приводили описания своих переживаний как еще одно доказательство святости. — Непонятно то, что те, которые целенаправленно эпатировали публику — Розанов, Набоков — вели жизнь святош или нормальных бюргеров, а те, кто рассуждал о святости, — по жизни извращались по всем направлениям, ни в одном учебнике психиатрии такого не вычитаешь. — Да, я сейчас вспомнила — читала о каком-то из пап, не помню, кажется, Пий какой-то по номеру, он в молодости трахнул девушку, она родила ему дочку, когда дочка достигла совершеннолетия, он и ее допустил до себя и поимел внучку. То же произошло и со внучкой, вот только не помню, успел он осчастливить и правнучку тоже. — Наверное, успел — они же все долгожители. — Знаете анекдот — к одному кавказскому долгожителю пришли журналисты и спрашивают — как вам удалось дожить до ста лет, может, у вас имеется какой-то рецепт? Конечно, отвечает он, рецепт прост — я всю жизнь не пил, не курил и не знал женщин. Тут в соседней комнате раздается страшный грохот, долгожитель успокаивает гостей: не обращайтесь внимания, это мой старший брат — всю жизнь он так — алкоголик и бабник. — Неизвестно, какой жизнью все наши пра-

ведники жили и чем они по ночам занимались. — Вот это ты зря, действительно были разные люди — вот отец Сергей даже руку себе отрубил топором, чтоб не искушаться. — Б-прр, ненавижу Толстого. — Не будем трогать фанатиков, но ведь действительно в сохранении девственности что-то есть. Недаром отцы всех религий настаивали на этом условии для достижения святости. — Целомудрия, да, я согласна. Не надо путать. — Да, но они настаивали именно на физической девственности. — Столько есть развращенных девственников с горячечной фантазией, тогда как можно иметь большой опыт и оставаться целомудренным. — А что ты понимаешь под целомудрием? — Сознательный уход от похоти, в то время как девственность не обязательно предполагает отсутствие похоти. Скорее, это вынужденное состояние. А вот усиленное желание сохранить девственность имеет что-то общее с извращением. — Тут ты не совсем права, потому что бывают люди, которым никакой похоти не надо преодолевать, у них ее просто нет. — Ну, это редкий случай. — Не такой уж и редкий, как тебе кажется. Просто действительно рождаются люди, у которых нет никакой склонности к сексу, и, когда они уходят в отшельники, они не совершают насилия над собой, а более того — потекают себе. И вводят в искушение других, у которых сильны сексуальные энергии, а им кажется, что кому-то удалось себя преодолеть. Тем не менее считается, что соединение с Богом возможно через девственность или длительное воздержание. — Так считается после христианства. До этого люди воссоединения с Богом добивались через разнузданные сексуальные мистерии, через настоящие группешники. вспомните всех этих девочек при храмах богинь плодородия, ведь ценились и выбирались в жены лишь самые искушенные. — Я лично считаю, что

культ девственности практиковался христианской церковью из-за страха перед освобождением сексуальных энергий, потому что человек становился намного сильнее и освобождался от догм. — А как же в таком случае узаконенный церковью брак? — И в узаконенном церковью браке секс рассматривался как животный инстинкт, грязь, и заниматься им можно было только в определенные дни и скрываясь, ну сама вспомни. Какое же это освящение? — Но, в общем, настаивание на девственности является не только христианской прерогативой. В принципе, более или менее все учения настаивают на этом моменте как условия достижения просветленности. Да и примеры говорят сами за себя, вспомните всех этих гуру и прочих — все они были целками. — Ни фи́га — даже сам Будда зачал ребенка. — Ну это особый случай — он был воплощением божества и зато с девятнадцати лет полностью воздерживался. — Да, но он, кстати, никому не запрещал заниматься физиологическими аспектами любви. — Ну там у них в буддизме своя мулька — каждый должен пройти через то, что ему суждено, тут запрещай не запрещай. — Вот именно, что кому суждено. Но недаром считается, что уринги более продуктивны в смысле творчества и философствования. Поэтому зря вы кроете наших философов, а западные что, не были извращенцами? Кого ни возьми — тот же Ницше — только раз в жизни трахнулся и то заразился сифилисом. Да вспомним всех поименно. — Подождите, я все-таки считаю, что идеальный секс предназначается для освобождения и обмена энергии между людьми. — А что понимаешь под идеальным сексом? — Ну это не когда ложатся на спину и позволяют вставлять непонятные предметы между ног, думая, что этим достигнут какого-то непонятого счастья или доставят удовольствие другому. — Ну по-

чему? Я со своей стороны могу отметить, что когда я вставляю этот непонятный предмет, то удовольствие получаю. — Ты имеешь в виду облегчение? — Нет, почему, именно удовольствие. А иногда и экстаз, изви-няюсь за пошлость. — Вот именно что иногда. Стремимся-то мы к абсолютному экстазу, это было бы идеалом. Поэтому все время пытаемся, пробуем если не получить экстаз, то хотя бы удовольствие, или внушаем себе, что получили удовольствие. — Да, если признаться себе, что не получила удовольствия, так можно подписаться в собственной несостоятельности. — Я где-то вычитала фразу, что фрустрированными бывают не те люди, которые не трахаются, а те, кто трахается, потому что так полагается. Мой первый муж как-то ужасно хотел писать, но мы шли по улице днем, нигде не было подходящей подворотни. И когда ему наконец удалось, он вышел, застегивая ширинку и сказал: «Это гораздо круче, чем с женщиной». — И какова мораль? — То, что в большинстве случаев это облегчение типа сходить в туалет. Именно такой секс практикуется в узаконенном браке. — Я вообще думаю, что брак изжил себя как социальный институт — вы когда-нибудь видели хоть одну счастливую пару? Я лично нет. Стоит мне за кого-то порадоваться, как муж в отдельности, жена с другой стороны начинают катить друг на друга бочки. — Разумеется, потому что они заперты в клетке, в клетке принадлежности друг другу. Каково настроение у запертого в клетку тигра — таково примерно у женатых людей. — Меня всегда удивлял гипноз, который начинался с браком. Сколько раз приходилось наблюдать — люди ненавидят друг друга в лучшем случае, каждый по отдельности влюбляется на стороне, очень часто может обожать предмет своей любви, но при этом идет мандраж, чтобы ненавистный

супруг, у которого своя пассия, ничего не узнал. Вот что это? — Потому что элементарно боятся. Ведь это люди, способные жить только в браке, и они прекрасно понимают, что, если благоверный узнает, есть риск оказаться на свободе и тогда придется искать новую клетку. Менять знакомую, обжитую клетку на незнакомую. Ведь это именно люди, способные жить только в браке. Потому что когда влюбляются нормальные люди, то они уходят сразу. Или уходят еще до того. — Подождите, мы отклонились. Так что же будем считать идеальным сексом? — Это когда двое превращаются в одно. Когда не существует твоего тела и тела партнера, а есть одно общее, по которому проходят взрывы. — Это только в момент траханья или навсегда? — Трахаться при этом совершенно не обязательно, но близость другого тела при этом необходима. — В каком смысле близость? — Ну хотя бы видеть. А лучше всего иметь возможность к нему прикасаться. — Но это уже несколько не секс. — А что же это тогда? — Просто любовь. — О нет, совсем не обязательно при этом любить этого человека или понимать его, или принимать. Это просто чувствовать. — У тебя такое было? — К сожалению, да. — Так что же предпочтительней — идеальный секс или просто любовь? — Я на этот вопрос не могу ответить, пусть отвечают те, которые любили. Я, по-моему, еще никогда не любила. Может, тот, кто любит, вообще не способен сексом заниматься, ни хорошим, ни плохим. — Ну вот, может, тогда оправдаем всех наших извращенцев, которых мы только что поливали? — Я думаю, что, если бы у них была возможность, они не преминули бы ею воспользоваться. Потому что им я не верю. — Что ж так? — Потому что я вспоминаю всех наших поэтов, которые обожествляли своих будущих жен и всячески воспевали, а когда по-

лучали их, то делали детей и перекидывались на других, в тот момент недосягаемых. — Ну почему, некоторые при этом не прекращали воспевать и своих жен тоже. — Это не мешало им постоянно коситься на других и петь им дифирамбы. Может, они не прекращали по привычке или из чувства вины. При настоящей любви невозможно кидаться на других. — Ты же сказала, что не испытывала настоящей любви, откуда ты взяла, что тогда возможно и что — нет? — Мне кажется, что настоящая любовь очень близка к состоянию очень сильной влюбленности, только тянется дольше. — Слушайте, может, пойдем все-таки в квартиру, что-то долго мы здесь курим. — Да и выпить пора. — Простите, если я вмешиваюсь в ваш разговор, но я краем уха слышал, вы что-то говорили о трансвеститах? Меня эта тема очень интересует. — Разве? Вам показалось. — Ну раз не хотите. Но я точно слышал. — Трансвеститы тоже люди, ищут счастья в личной жизни. — О, я тебе, кстати, уже рассказывала, как я впервые в жизни увидела живых трансвеститов? — Нет еще, это когда? — В Испании. Мой бывший муж тусовался же постоянно в этой бисексуально-гомосексуально-трансвеститской среде. Я и голубых-то тогда отличить не могла, а уж трансвеститов и подавно. Однажды мы проезжали по улице, и на углу стояла женщина. Он нажал на гудок, прокричал: «Гвапа!» — «Красавица», она в ответ помахала. Я спросила, кто это была, он сказал — Лола, ничего барышня. Я говорю, что значит ничего? — о-гого! на самом деле. Он засмеялся и сказал, что Лола — трансвестит. Было б куда в машине падать, я точно б упала. Такая красивая, сексапильная женщина — и мужчина. Он сказал — да, и даже неоперированная. То есть все на месте. — Вот чего-чего, а этих операций я не понимаю. Разве можно так измываться над собственным

телом? — Почему измываться — это последний штрих художника, работающего над собственным «я». — Помоему, художник один — на небе. А мы всего лишь подмастерья. — Но художник тоже иногда совершает ошибку и рисует человека не таким, каким он на самом деле себя чувствует. Так почему бы не исправить эту ошибку самому? — Ну да, пол, даже расу, такие Майклы Джексоны. — Ну, Майкл Джексон просто переборщил. — Я считаю, что он очень последователен. Почему бы нет, раз он так чувствует. А то что же — пол можно, а расу — нельзя? — Да все можно. Я видела и оперированную трансвеститку, все там же. Довольно забавное зрелище. Эдит была всем хороша, всем взяла — блондинка, глаза такие, ноги от шеи — если бы по утрам не синела. — Так что, крашенная блондинка? — Может, я не знаю, потому что там у нее ничего не росло. — Ух ты, так ты и там видела. — Конечно. Она меня очень полюбила, без конца покупала мне мороженое, учила фламенко танцевать. А мне было очень интересно, я тайком все косилась, чего у нее там. Она меня как-то спросила, может, хочешь посмотреть, какая я там? Я стыдливо отвела глаза, плечами пожала — мол, что там такого, подумаешь. Она расхохоталась и задрала юбку. — Ну и как? — Да ничего особенного. Почти как у нас. Такие две толстые складки. Только клитор слишком большой. И волос нет. — А на ногах? — Ноги у нее были лысые, там же всяких разных средств депиляционных до отвала. — Вот чего-чего, а этого я совсем не понимаю. Как можно себя кромсать. — Мы уже обсуждали. — *Между прочим, трансвеститы настоящие поженственной любой бабы будут. — Это тебе как женщине кажется. — А разве нет? Хотя что вы, мужчины, понимаете в женственности! — Я никогда не слышал, чтоб лесбиянка влюби-*

лась в трансвестита. — Слушайте, давайте сменим тему, а то народ косится. — Простите, но я так понял, ребята, что вы все жили за границей? — Я лично там никогда не была. — Ты что, серьезно? Как тебе удалось? Помоему, там успели побывать все кому не лень. — Да и те, кому лень, тоже. Среди моих приятелей такой неподъемный народ хотя бы по разу съездил посмотреть. — Да мне тоже хотелось, но в последнюю минуту все что-то обламывалось. — Удивительное дело. А я там не только была, но и живу. — И я тоже там живу. — Да помоему, наших там сейчас больше, чем остальных национальных меньшинств. — Ну и как вы там устраиваетесь? — Да кто как. Но жару мы им всем даем. — А в Россию не тянет? — А что должно тянуть — захотел и приехал. — Да, это ваше поколение идентифицировалось с родиной, и первые три волны эмиграции, как принято говорить, не могли нигде ужиться. А для меня главное работать по своей специальности, мне там предложили хорошую работу. — А я там замуж вышла, так что первое время жила за мужем, пока не поняла, что к чему. — Сейчас я там работаю, в конторе, тянет иногда домой, но чтоб жить здесь — ни за что. — А я туда вообще уехала, прыгнула как в омут, потому что здесь все осточертело. Я уже понимала, что ничего хорошего меня здесь не ждет. И поехала в первую страну, в которую удалось заполучить приглашение. — И куда же? — В Голландию, в Амстердам. Причем я ехала, я знала, что приглашение липовое, что негде будет жить и денег тогда меняли с гулькин нос. Я поехала с одним приятелем, которому тут светила тюрьма за его глупость. — А что он сделал? — Да ничего интересного. Связался с бандитами, а они его подставили, вот мы вдвоем и сорвались. Вышли на вокзале, все кругом такое красивое, а нам ни до чего, жрать хочется до смерти и

понимаем, что деньги надо беречь. Бродили мы с ним по центру, а кругом, там вокзал такое место — одни торговцы наркотой стоят, у нас уже от запаха марихуаны и с голодухи голова кружится, идем, уже ничего не соображаем. Вдруг на какой-то улочке слышим русскую речь. Мы такие окрыленные кинулись, говорим, ребята, родимые, подскажите, куда да чего. А они так холодно смерили нас взглядом и говорят: ничем вам помочь не можем, выкручивайтесь сами как хотите. Много вас тут таких бродит, каждому не поможешь. Выживете — будем знакомы. — Вот сволочи! — Да нет, почему, они были правы. Я сама потом не раз оказывалась на их месте. У наших же привычка такая, как найдут кому сесть на шею, так тут же поудобнее устраиваются и ножки свешивают. И потом хрен ихставишь, живут за твой счет, едят, целыми днями задницы перед телеком отирают, и если ты через месяц так робко намекнешь — ребята, не пора ли вам работку себе приискать, ты же сволочью и оказываешься. Чуть ли не полицией приходится грозить, чтоб они наконец убрались. Так что я им где-то даже благодарна. Кстати, мы с ними потом даже подружились, после того как обосновались. Сейчас мы в прекрасных отношениях. Но до того пришлось, конечно, хлебнуть. И помогли нам все же голландцы. Мы там кое-как по-английски объяснились, нам подсказали, где дармовую похлебку раздают и переночевать можно, а потом мы перебрались в сквот, где были, между прочим, единственными русскими. Те же голландцы нам сказали, что неподалеку очередной дом «кракнули» и там еще есть пустые помещения, мы там почти год жили. — И давно вы там? — Да вот уже шесть лет. — И на что вы живете? — Ну, первое время я перебивалась с одной черной работы на другую, мне долго не удавалось ле-

гализоваться. Я и беби-ситтером у кошки поработала, и в кафешках всяких. — Ну и стоило ради этого уезжать с Родины. Я, как понимаю, вы учились вместе с покойницей? Высшее образование имеете, наверное? Ну и стоило столько лет учиться, чтоб потом в кафе работать? Вы бы здесь могли устроиться художником-оформителем, и деньги бы были. Художники сейчас у нас неплохо зарабатывают. — Если бы меня устраивала жизнь здесь, я бы там столько лет по черным работам не мыкалась. Но сейчас-то у меня как раз все в порядке. Хотя получилось как в рождественской сказке, на самом деле такого не должно было случиться. Я ведь художник-модельер, но сама шить не умею и не люблю. Поэтому я там ходила со своими идеями, всем капала на мозги, какие они у меня крутые, и все уже кругом начали говорить, ну давай уже, хватит языком чесать, сделай что-нибудь. Один голландец мне говорит: все, я в тебя поверил, сшей классный пиджак для моей подруги, я тебе заплачу и всем буду показывать, рекламу тебе делать, клиенты появятся, ты же видишь, какое говно в магазинах по большому счету, вроде все есть, а ничего найти нельзя. А он был из такой среды, богатый, ну думаю, клево, лучше буду любимым делом заниматься, чем все это, если и его друзья станут мне заказы делать, можно будет спокойно на это прожить. В общем, долго я там эту девушку обмеривала — а у нее фигура еще была нестандартная, намучилась, а он все торопит, сколько можно шить. Наконец она сделала последнюю примерку и, батюшки, мне дурно стало. Все сидит как-то вкривь и вкось. Я там начинаю дергать, поправлять, чтоб не так было заметно, но он тут как на меня наехал, начал орать, чего ты лезешь, если не умеешь, я всем расскажу, какая ты дура, будешь знать, как соваться не в свои дела. А Амстердам же город малень-

кий, все друг друга знают, так что я влипла. Несколько месяцев ходила совсем обломанная. И с личной жизнью у меня тогда был полный песец. Ну там я еще какое-то время помаялась дурью, а потом послала всех на фиг, у меня за эти годы набралось тканей, докупила нехватящих на барахолке и начала рисовать эскизы. Вообще я заметила, как только разберешься с лажей в личной жизни, и дела начинают идти нормально. У меня тогда был роман с одним как бы писателем — мужику сильно за сорок, тусовщик такой, но очень красивый, с манерами, ничем по жизни никогда не занимался, всем только говорил, что что-то там пишет, но никто в глаза не видал — что, и даже мне отказывался хотя бы строчку зачитать. Но мое воображение он сильно поразил, умел красиво так говорить, а я что, девчонка еще совсем была, раскрою варежку и слушаю. А он все в своих чувствах не мог разобраться, вроде и меня любит, и своей старой подруге обязан многим и тоже по-своему любит. Ну в общем, как обычно это бывает. Я очень долго мучилась, все силы только на это уходили. Мы, русские бабы, любим же пострадать. А в один прекрасный день я вдруг очнулась и думаю — зачем все это, мы уже довольно долго вместе, чтоб он смог разобраться, любит он меня или нет. И если б понял, что любит, то давно бросил бы ведь эту мутовень, видел же, как я мучаюсь, а так, значит, ему просто удобно, а что — к одной тетке пришел, она старается угодить, вся выкладывается, к другой пошел — тоже самое, а главное, стоит какой-то заикнуться о ревности, что ей больно, он тут же разворачивается и в виде наказания уходит к другой — он же утонченный человек, аристократического происхождения и такие низменные речи слушать не в силах, конечно. Я поняла, что всю свою жизнь и душу расстилаю, а человек про-

сто живет, как ему удобней, полежит, понежится, потом пойдет дальше по своим делам, знает, что, когда вернется, его так же примут и будут вокруг бегать, — и прав, если позволяют, значит, можно. Ну я и подумала, пусть любит кого-нибудь другого, кто столько же сил в это слово вкладывает, сколько и он. То они вместе, им хорошо, потом разбежались, с глаз долой из сердца вон, потом еще кого встретили, тоже вроде бы ничего, потом можно опять зайти, раз проходил мимо, короче, поняла я вдруг, что все мои соки уходят в черную дыру, и ладно я изматываюсь, но и другому человеку все равно, одинаково хорошо, то ли ты весь наизнанку выворачиваешься, то ли просто рядом с ним хорошо проводишь время. Во втором случае ему даже легче с тобой. Ну и хоть было ужасно больно, но не больней, чем раньше, когда я не решалась, я решила все обрубить, *чтоб не так, как собаке по частям из жалости хвост отрубают*. И вот как решишься все даже внутри себя изменить, тут же и наружная жизнь вся меняется. У меня сразу все пошло как по волшебству. Только сделала я все эскизы, увидел их один парень, профессиональный портной, и так они ему понравились, что он взялся бесплатно сшить. И очень клево получилось. Я придумала такие сумасшедшие модели, смелые комбинации тканей и стилей, и нашлись модели, молодые-перспективные, которые вообще-то за деньги работают, но им тоже одежды понравились настолько, что они согласились бесплатно их демонстрировать. Это все шло на какой-то волне, я ни минуты не задумывалась, как это все получается. Я была тогда в какой-то эйфории, вся на взводе. И конечно, крутое кафе, где происходят всякие андеграундные тусовки, но с привкусом бомонда, предоставило помещение для шоу. Сделали рекламу, и зал был полон. Весь амстердамский полу-

свет присутствовал. А я такую штуку придумала — в принципе, я предпочитаю стиль унисекс, но там были и платья, и явно мужские костюмы, и в конце представления все модели разделись до белья, и только тогда публика увидела, что мужские вещи показывали девочки, а женские — мальчики. Там был один такой subtilный, томный мальчик, изящней всех девочек, хотя и девочки все были очень ничего, две так просто красавицы, в одну я просто влюбилась, не могла глаз оторвать, так красиво она двигалась. Ну как бы по-хорошему влюбилась, как в произведение искусства. Ну короче, мы имели успех. И после шоу ко мне подошел один молодой человек, он даже моложе меня, как оказалось, он местный миллионер, единственный наследник. Он сказал, что ему очень понравилось и он готов рискнуть, вложить деньги в мой магазин. Он оказался очень деловым, нанял помещение в центре города, договорился со швейной фабрикой, и уже два месяца как у меня есть магазин, прямо вывеска с моей фамилией такими большими буквами. — Ну, действительно невероятная история. — Я и говорю, не поверите. — А что миллионер, хорошенький? — Да, ничего. Он стал моим бой френдом. — Ну, вообще круто. Ты теперь в золоте купаешься? — Я пашу, как папа Карло. Во-первых, тамошные миллионеры очень прижимистые, это вам не новые русские с купеческими замашками. Когда я в ресторан приглашаю кого-нибудь из своих подруг и она не платит за себя, он потом мне закатывает жуткую истерику. А может и не постесняться и ей в лицо сказать, что не хило было бы, чтоб она за себя заплатила. Но с другой стороны, ему может втемяшиться в голову, он пойдет со мной в магазин и купит мне нижнего белья за бешеные бабки. Штук пять лифчиков и трусов по сто гульденов штука. Он кричит, что я не

секси одеваюсь. Но я не знаю, что дальше будет. Может, дело общее и не бросим мы, все-таки он свои деньги вложил, а так придется расстаться. Дело в том, что у него до меня была сорокалетняя тетка, и он до сих пор, мне кажется, к ней похаживает. — Да что ты говоришь! — Вот, представляете, она ему в матери годится, и такая страшная из себя. — Может, тебе кажется, что у них не прекратилось, знаешь, обжегшись на молоке... — Если бы! Во-первых, он от меня не скрывает, что видится с ней, ну а я уж из гордости не спрашиваю, чем они там занимаются, но сами посудите: зачем встречаться со старой любовницей, если вас, кроме постели, ничего не связывает. А потом она притащилась на открытие моего магазина. Я на нее даже внимания не обратила, а она улучила момент, прижала меня к стенке в прямом смысле этого слова и прошептала: «Я вас ненавижу, а вы ненавидите меня, но должна признать, что вы талантливы». — Ну и хрен с ней, она, оказывается, еще и дура, — все мы, бабы, дуры, но чтоб до такой степени. Он с ней долго не продержится. — Да мне наплевать, знаешь, я занята своим делом, мне сейчас ни до чего. Если честно, я пожила бы одна какое-то время, хоть бы книжку почитала, уже сто лет ничего не читала. Работа все силы отнимает, мне после нее хочется только расслабиться и заняться собой, а не отношения выяснять. — Ну а так все идет нормально? Тебе удастся что-нибудь заработать? — Ну, в общем-то, да. Наши все сотрудники ожидали, что, когда магазин откроется, все бросятся покупать, и были немножко разочарованы темпами торговли. Но я считаю, что все идет как надо. Во-первых, я шью все-таки не такие специфические вещи, как те, что были на шоу, тем более что цены у нас высокие, а люди, которые могут их себе позволить, предпочитают клас-

сическую одежду. Нужно сделать себе имя и еще больше поднять цены, чтобы начали раскупать креси одежду. В первый же день у нас купили пару коллекций, такое вообще редкость. А одна женщина в самый первый день приглядела себе платье и спрашивает: а у вас нет такого же платья, только другого цвета. А у меня это платье было в одном экземпляре из такой эластичной красно-коричневой, очень красивой ткани, я на пробу сшила. Но я вижу, что богатая клиентка и, не моргнув глазом, говорю: конечно, какой цвет вы предпочитаете? Она говорит: черный или серый. Хорошо, говорю, сейчас в магазине нет, но мы привезем из ателье. Когда вам нужно? Она мне отвечает — через два часа, мне нужно одеть в оперу. Хорошо, говорю, дайте ваш адрес, мы вам привезем. Только она ушла, я кинулась на склад, нашла с трудом такую же ткань из моих старых запасов, черного цвета, отреза как раз на одно платье и хватало. Радостная выскакиваю с этой тканью и вдруг чувствую, что она страшно воняет — видно, пролежала где-то. А времени у нас два часа. Я тут же в магазине ее постирала, хорошо, что синтетика, быстро сохнет. Кое-как быстро высушили, я стала кроить, девочка-портниха тут же вслед за мной строчила, пока я дальше крою, она скроенное уже сшивает, прямо как Золушки. Через полтора часа платье было готово, я боялась даже смотреть, какое оно получилось. Времени в обрез, я беру такси, мчусь к ней, она открывает дверь, спрашивает: сколько? Я говорю: триста пятьдесят гульденов. Она протягивает мне деньги и берет пакет, как будто ей пиццу принесли. Я говорю: постойте, я так не могу, я должна увидеть, как на вас сидит. Она так удивилась, но говорит, проходите. Захожу, квартира такая — отпад. Она мне говорит: простите, я хожу без нижнего белья, раздевается — и правда. Но может, и хорошо,

что без белья, потому что платье ее обтягивает, ткань такая трикотажная была, растягивающаяся, поэтому не так страшно, что сшито без примерки, но все же слишком получилось облегающее. На мой взгляд, очень даже ничего, а она говорит, сомневаясь, подходит ли для оперы, слишком секси. Я говорю, что вы, очень хорошо, наденьте сегодня в оперу, не понравится, завтра сможете вернуть, выберете ткань, сошьем побольше размером — в ателье, говорю, оно было единственное. А сама думаю, надо бы с утра пораньше пойти на рынок, закупить такой ткани разных расцветок, чтоб, если придет, развернуть перед ней. — Ну и как, вернула платье? — Нет, через пару дней пришла, говорит, что это хочет оставить, но хочет такое же побольше размером. Я ей показала ткани, она выбрала красный цвет. Дело, в общем, идет. Я заставила всех продавцов надеть одежды из нашего магазина, сказала, что никаких джинсов и футболок не потерплю у себя. — Ну что ж, я очень рад за вас, но я думаю, что вы исключение. Остальным нашим ребятам, которые за границей, наверно, не так легко. Тем более, в Голландии. — Ну почему же, когда я жил в Голландии, то жил припеваючи за счет продажи акварелей на улице. — А сейчас вы где живете? — В Лондоне. — Странно. Один мой приятель со старших курсов рассказывал, что в Париже, например, совсем невозможно продавать картинки. Там столько уличных художников. Ему пришлось переквалифицироваться в музыканта. Хорошо, что родители в свое время отдали его и в музыкальную школу... Он на всякий случай захватил свой саксофон в Париж и начал играть там в метро. И то он говорит, что денег не было бы, если б он не познакомился с одним французским парнем, очень разбитным, с хорошо подвешенным языком. Они заходили в вагон, и этот парень

заводил речь с прибаутками, у него язык без костей, и мой приятель говорит, что деньги им кидали в основном за счет трепотни. А потом они сообразили, что многие и рады бы дать денег, да им как-то неловко обходить других, наклоняться. И тут они вообще такую штуку придумали, стащили откуда-то ногу манекена и поставили рядом вместо шапки. Что там творилось, он говорит. Все останавливались, смотрели, почти все прохожие кидали — ведь каждому захочется бросить монетку в ногу, — я бы, например, не удержалась. А потом, он говорит, вообще крутняк начал происходить. Люди становились в очередь, чтобы на расстоянии кинуть монетку, соревновались, у кого будет больше попаданий. Им уже было до фонаря, что они вообще исполняют, можно было даже не играть, просто стоять рядом с ногой. Но они ребята совестливые, продолжали что-то там тренькать. Зарабатывали они тогда очень хорошо. Раз, говорит, вышли они со станции, видят, стоит такой грустный негр, стучит на барабане, а все проходят мимо. Совершенно пустая коробочка у ног стоит. Тогда они молча к нему пристроились, мой приятель достал саксофон, а его француз начал в своем стиле что-то выкрикивать. Тут же все стали бросать в коробочку, через пару часов она была битком набита монетками. Негр только изумленно смотрел на них, не мог понять, что происходит. Так они вообще все деньги ему оставили, ушли так благородно, типа: у нас своих полно. А с живописью, он говорил, безмазовый вариант. — Ну не знаю, как во Франции, — думаю, что везде всем можно заработать, если с умом. Видишь, у твоего приятеля ума хватило, чтоб музыкой зарабатывать, а ведь это была его вторая профессия. Я думаю, не встретиться он с этим французом, жизнь заставила бы додумекать, как живописью прокормиться. — А ты что

придумал в Голландии? — Да много чего, всего не перескажешь. Ну вот, например, там готовилась большая выставка Рембрандта в Королевской академии. Такие выставки у них не часто бывают, эта была последняя в тысячелетии. Ну вот что я придумал: достал гравюры Рембрандта, делал с них копии в простой копировальной мастерской, лист копии обходился мне в тридцать центов, а на одном листе помещалось пять-шесть гравюр, потом я эти копии выдавливал на соответствующую бумагу, а чтоб бумага казалась старше, обрабатывал ее чаем и потом выдавал все это за оригинальные офорты. Продавал штуку за пятьдесят гульденов. Однажды сидел, вдруг подходят две женщины, и одна другой говорит по-русски: «Посмотри, какие отличные офорты». Я им: о, вы русские? Купите вот, это действительно очень старые офорты, у меня очень хорошая коллекция старых копий. Они говорят: да, мы видим, действительно хорошие, мы сами из Эрмитажа. работаем там экспертами, так что у нас глаз наметан. Я говорю: так купите, больше вы нигде не найдете такого качества, все у меня. — И что же? — Купили пять, пардон, офортов. Так что мои труды тоже теперь хранятся где-нибудь в запасниках Эрмитажа. Ну а потом я делал акварели с видами города, очень хорошо продавались всякие там корабли, парусники, туристам надо же что-то привезти с собой. Я там только на такси разъезжал и ел в хороших ресторанах. Работа немного времени отнимала, я набил руку, техника была примерно такая же. Когда мне пришлось время уезжать в Лондон, даже жалко было кидать такое дело хлебное. Но я научил одного русского парня, он как раз незадолго перед тем приехал, не знал, на что жить. Я ему все показал, в какую копировальню лучше ходить, где краски покупать, как класть краски. Он через неделю научил-

ся, хотя в живописи ни в зуб ногой. — Значит, вы все как-то приживаетесь за границей. И не тоскуете по России? — Поверьте, не до этого. И ведь мы всегда можем приехать, поэтому нет такой проблемы. — Да и русских там везде полно. Затосковал — можно пообщаться, как дома побывал, больше не хочется. — Да, вот именно. Я избегаю там наших. Конкретно тех, кто ни о чем, кроме России, не способен рассуждать. Ехали бы тогда обратно, я не понимаю, зачем нужно сидеть в одной стране и тосковать по другой. Раз уж ты выбрал жить в какой-то стране, нужно забыть про березки, тем более что они везде растут, кроме, разве Африки, и постараться скорее ассимилироваться. Или тогда уж никуда не уезжать, раз тебе немоготу. — Выходит, как евреи мы по свету? — Рассеяне в рассеянии. — А чем плохо? Тем более что наших евреев там все зовут русскими. Есть только два пути для нас: или ты будешь русским, русским евреем, русским грузином, русским чукчей в глазах людей той страны, в которой живешь, или ты будешь специалистом таким-то, и всем наплевать какой ты национальности. Разве что на какой-нибудь конференции приходится работать русским. Там они иногда устраивают конференции не только по делу, но и с национальным уклоном. У меня есть приятель, работающий венгром, когда требуются представители разных меньшинств. Есть знакомая, работающая и литовкой, и русской, смотря по потребностям. Она чаще ездит на конференции. — Но живете вы там большей частью нелегально, как я понимаю. Поскольку все привилегии существуют только для евреев, насколько я знаю. — Ну, есть способы легализации. Во-первых, можно вдруг полюбить местную и жениться. Многие так делают. На русских большой спрос. — Ну, я думаю, все-таки на женщин, а не мужчин. Русских мужчин

там считают слишком мачо. А потом, у них и денег нет. — Или устроиться работать в какую-то крутую контору, или тоже давно проторенный путь — фиктивный брак. — Дорого стоит, наверное. — Смотря где и смотря как повезет. У меня одна знакомая, например, летела как-то самолетом на выставку, она культурный координатор, везла работы наших художников, а рядом с ней сидел мужик такой, прикинутый с умом и вообще. Она — девчонка языкастая, знает много языков, шпрыхенует, как на родном. А мужик оказался очень богатым бизнесменом. Они разговорились, а он то ли голубой, то ли просто не хочет связываться — там бабы после развода, даже если нет детей, бешеные алименты себе отсуживают, а у мужика проблема такая — он платит страшные налоги за бессемейственность. Короче, он сам предложил ей такой вариант — они поженились фиктивно, оформив всякие там брачные договоренности, что ей в случае чего ничего не причитается, и он снял ей неплохую квартиру и ежемесячно отстегивает полторы тыщи марок, чтоб было, на что жить — там своих культурных координаторов хватает. И мужику это обходится по меньшей мере раз в десять дешевле, чем если бы он налоги платил со своих доходов. — Да, жуки есть везде, не только у нас. — А чем плохо? — и девчонке помог, я думаю, она скоро сориентируется, встанет на ноги, с головой у нее полный порядок, начнет сама зарабатывать. — Да, это смотря в какой стране жить. В Италии полный безмазняк с фиктивным браком. Я выехал туда с одним нашим театром, был у них художником-оформителем. Театру удавалось продержаться там на дотациях, но и то актрисы сами шили костюмы, жили мы все время в каких-то полуразрушенных замках без канализации. Если бы хоть кому-то из нас удалось зацепиться официально,

он бы и остальных вытянул. Одно дело, к примеру, свой режиссер театральный, у него больше привилегий и источников заработка, чем у гостевого. Мы стали прорабатывать вариант брака, тем более что постоянно всякие девушки итальянские влюблялись в нашего режиссера и готовы были на любые дружеские услуги, но их родители ни за что бы не согласились, пришлось оставить. — Ну не обязательно же было сообщать родителям, расписались бы тайком. — В Италии это нереально. Вы не представляете, что такое свадьба для них. Во-первых, в загсе, или как там у них, в мэрии, вывешивается задолго список с именами брачующихся. А потом, когда наступает день свадьбы, то на всех проезжих частях дороги, ведущих к этому дому, выставляются плакаты с надписью: «Сегодня женятся наши дети, Джузеппе, к примеру, и Джина. Добро пожаловать всем по адресу такому-то». И кроме пол-Италии на свадьбу приходят и все проезжающие, кому не лень. А таких в Италии много. И свадьба обставляется с такой помпой, и все дядюшки и тетушки раскошеляются на подарки, всякие фамильные драгоценности. Так что девушки не могли так подставить своих родителей. — Ну женился бы он у вас тогда *эффективно*, раз девушки были готовы. Чего он терялся? В Италии такие красотки. — Да он не мог. У нас всего две актрисы в труппе, и обе его девушки. Они и так с трудом терпят наличие друг дружки, а тут бы взбунтовались. А он целиком от них зависит. Кроме того что они все делают для театра своими руками, он еще и морально целиком от них зависит. Он только с ними советуется обо всех постановках, без их одобрения ни одна пьеса не проходит. Потом по деловой части, когда нужно переговоры вести, опять же у нас девушки незаменимы. Без них мы бы и о половине проектов не догово-

рились. Он не мог так рисковать. — Ну а сколько мужиков у вас в труппе? Женился бы кто-нибудь из вас, не обязательно же чтоб режиссер всех вытягивал. Уж к вам-то девочки, надеюсь, не стали бы ревновать. — К нам бы не стали. Но ты не знаешь нашего режиссера. У него такая теория, что секс расслабляет и отвлекает от работы. Поэтому он нам запрещал даже однодневные романы заводить. Если замечал, что мы с кем-то хотя бы переглядываемся, такие скандалы закатывал. Одно-го парня мы так и потеряли. Он его выгнал за то, что тот влюбился. К нему шведка одна приехала, которая не могла с ним расстаться и хотела повсюду нас сопровождать, но режиссер этого не потерпел. Он сказал — выбирай: или работа, или шашни. Парень-то ничего не потерял, он сейчас в Швеции организовал свои сольные выступления, говорят, пользуется успехом. А мы лишились талантливого актера. — Ну и режиссер у вас! А сам-то? Как вы это терпите? — Это болезненная тема. Боясь, что все кончится бунтом, давайте лучше не будем об этом. Но мучаемся мы сильно. Вот я сейчас домой приехал, пока без надзора, могу оттянуться, а потом опять на каторгу. Парень он гениальный, с ним интересно работать, а то бы я давно плюнул. Столько было предложений. Посмотрим, что дальше будет. Пока я не встречал бабы, ради которой готов был бросить работу. — Слушай, смотри, как она к тому человеку пристала. Он уже на самый край стула отодвинулся, еще немного и упадет, бедолага. — Ага, а она впилась в него глазами, прямо как вампир. — Ужасно, я ее терпеть не могу, мне кажется, она и вправду сосет энергию. Я сама после общения с ней прямо как выжатый лимон бываю каждый раз. — Да, я ее тоже избегаю. По-моему, люди в смысле общения делятся четко на три типа — одни жрут тебя беспрерывно, и после нескольких минут кон-

такта с ними приходится несколько дней отлеживаться. Нет, четыре типа: другие вообще никак — встретились и разошлись, как будто ничего не было. А третий — это когда человек почти при каждом разговоре говорит что-то для тебя новое, не в информативном смысле, а как бы побуждающее к размышлениям, открывает новые перспективы. Но больше всего я ценю, когда при общении становится возможно совместное творчество. Ты понимаешь, о чем я говорю? — Ну да, да. — Когда вы вместе неожиданно для себя приходите к открытию чего-то важного, о чем никто до разговора понятия не имел.

Какие они все разные. Мне все казалось, что я перескакиваю из одного мира в другой, пока не обнаружилось, что я изнутри каждого из них смотрела на один и тот же. Даже эту комнату все видят по-разному, что же говорить о других мирах. Или же нет других миров, а есть только эта комната глазами разных людей? Нет, миры мирами, это другое, а комната все же оставалась узнаваемой. Менялись только очертания, освещение, содержимое. Один углядел столько подробных деталей за тот короткий промежуток, что я с ним была, сколько я за всю жизнь не рассмотрела. Кто-то совсем не видит других людей, а некоторые только их и видят, не замечая предметов. Насколько по-разному можно увидеть одного и того же человека, и все же это никогда не совпадает с тем, каким он себе сам кажется. Но все изменения происходят в очерченных пределах. Как будто существует контур с ограниченной растяжимостью, и его границы задаются взаимным давлением изнутри и снаружи. Есть заданная форма, непрерывно обновляющаяся желаниями владельца и ожиданиями наблюдателя. Идет постоянная борьба, непрекращающийся напор с двух сторон, стоит одной зазеваться, как другая овладевает позицией. Но рисунок накладывает-

ся одними и теми же инструментами — желаниями, мыслями, усилиями, действиями, чувствами. Мы-то думали, что все это — часть нас, а это всего лишь то, что приходит извне и лепит нас. В нашей воле выбирать краски, а не брать первое, что лежит на палитре. Но вначале нужно это понять, чтобы положить самому правильный грунт, на который ненужные, лишние краски не ложатся. Какую бы краску мы ни выбрали для обозначения другого, в первую очередь она окрашивает нас. Эти краски — все мысли и чувства и желания расположены как в спектре, и можно использовать всю палитру в правильной тональности, и картина получится гармоничной, но можно также взять сочетающиеся краски и испортить замысел. Мы как прозрачные приемники, нас могут настроить на одну волну, и мы всю жизнь будем слушать только ее, но можем и сами себя переключить и исполнить то, что нам нравится. Потому что волна остается просто волной, пока мы ее через себя не пропустим, только тогда она зазвучит. И есть агрессивные волны, не упускающие ни одной возможности, лезущие напролом, они-то чаще всего и случаются. А есть волны, которые пребывают и ждут, пока ты до них дойдешь. Отсюда их всех можно видеть насквозь. Какие чувства и мысли у кого были, какие есть сейчас и какие кружатся вокруг, ожидая своей очереди. Такие хрупкие, прозрачные колбочки с разным содержимым. Правда, сейчас их встряхнули и превратили в сообщающиеся сосуды, поэтому уровень содержимого в них выровнялся. Настройка идет на сильнейшего, если таковой оказывается среди них. Его уровень бывает так высок, что он всех наполняет доверху, сам ничего не теряя. Или же настройка идет на количество, если много людей с одинаковым уровнем, они всех остальных поднимают или опускают до себя. Как бывает

в толпе. Но сейчас другой случай. Они все открылись от неожиданности потери меня. Теперь-то я понимаю, как глупо было примеривать на себя чужую позицию, пусть это уже не было — быть как все, но значило — быть как те. Но ведь быть собой — не выбирают, это единственное, что нам дано со всей определенностью. Единственное, что мы можем, более того, что мы должны перед лицом Создателя — это стать собой. Отсюда видно, как разнообразно они задуманы, как неповторим каждый, несмотря на все чудовищные усилия уравниваться, несмотря на узаконенные ими границы различий — пол, нация, сословие, болезнь, как бы они у них ни назывались, им не ограничить свои отличия дозволенными рамками. Даже в этих пределах каждый уникален, как бы он ни прикрывался общей судьбой, общим цветом кожи или общей причастностью; каждому дано в этой общей симфонии исполнить только свою одну-единственную ноту, и если она будет похожа на соседние, то вся симфония в целом прозвучит фальшиво. До чего они додумались — будто бы существует только два пола. Ну если взять все более менее дозволенные отклонения — то пять. Пусть даже сто один. Все равно это смехотворно мало — полов ровно столько, сколько существует людей. И каждый может любить только так, как он может. Зато никто другой так полюбить будет неспособен. Любовь такая огромная, такая бесконечная, никто из смертных не в состоянии охватить даже осязаемую часть ее. Но если каждый честно исполнит любовь так, как именно ему завещано, мы сможем охватить любовь полностью. Каждый из нас может заполнить свою единственную клеточку в любви. Лишь однажды мне довелось видеть любовь в чистом виде. *Это было в метро, не помню, в какой европейской стране. В вагоне везли группу детей-даунов.*

И хотя они так похожи, двое из них, видимо, братья, в одинаковых курточках, отчетливо выделялись не только среди своих, но и среди всех пассажиров. Старший опекал младшего, совершая простые действия — поддерживал, когда поезд накренился, поправлял на нем курточку, и во всем этом сквозила такая любовь, что все замороженно смотрели на эту парочку. Один любил, ни на кого и ни на что не оглядываясь, другой позволял себя любить, не ставя условий. Не стремясь к ответным действиям. Любви тоже бывают разные, но та, которую они являли благодаря своему существованию, была самой впечатляющей из всех, что мне довелось увидеть. А сколько еще существует разных чувств, которым их проводники не дали осуществиться. Вокруг них такие просторы, невозделанные пространства чувств, о которых они не в силах даже помыслить. Причем мысль пропустить через себя легче, тогда как чувства обладают более вязкой консистенцией. Мысль труднее поймать, а чувства так и липнут. Особенно привычные, даже если не тебе, а окружению. Им бы только понять, что они приемники, способные поймать волны любой длины. Хотя нет, некоторые из них передатчики, видно, как на картинке. Я имею в виду не только тех, которые здесь сидят, а всех, которые были. Оказывается, так просто заглянуть как угодно далеко в прошлое. Не нужно читать никаких историй, это все равно что смотреть на эту комнату глазами любого из них, то есть не смотреть, а быть в этой комнате, потому что все в совокупности, а я опять берусь за свой прежний излюбленный способ восприятия. Многие из них почти ничего не видели в этой комнате, тем более ничего не видели в других сверх того, что те хотели показать, но зато сколько они слышали, как ощущали вкус пищи, порой мне трудно было

разобраться, кто я — хлеб, который жуют, или человек, вкушающий его. И вино имеет плоть и отношение к пьющему его. Но это отношение не привычное нам, человеческое, с неременной эмоциональной окраской. У еды нет осознания себя, вот чем она отличается от людей. Но все, что мы едим, имеет свою сущность, способную взаимодействовать с нами и менять наше осознание. Чего нельзя сказать о нас — мы не способны влиять на ее сущность, она просто есть, неизменная, пока мы ее не приняли, и влияющая только на нас. От того, кто ее вкусил, сущность пищи не меняется. Да и пища не меняется, а только обозначается. Сущность одного и того же напитка при взаимодействии с разными людьми выявляет в них только то, что уже было в непроявленном виде. Но мы настолько то, что мы едим, что даже неудивительно. Непонятно другое — что это было всегда так очевидно. Теперь совсем понятно — вначале взаимодействие пищи с тобой только высвечивает твои свойства, если же часто употреблять ее, то она становится тобой, во всяком случае, большей частью тебя. Точно так же, как мысли и чувства являются нашей пищей, влияя на строение всего тела, только их действие не так скоропалительно, зато необратимо. Так вот, оглядываясь назад, видно, как мы осваивали все бесчисленные пространства, раскинувшиеся вокруг нас, пропуская через себя — это единственный способ. Вот почему мне не верилось в изложение истории. Ведь уже то, что здесь происходит, настолько разнится в их восприятии, хотя они все примерно одного круга и примерно одинаково настроены. И они честны перед собой в своем видении. А люди, описывающие историю, еще и преследовали свои цели — приукрасить что-то, или откровенно нарисовать картину, которую им бы хотелось видеть или про-

сто умолчать о чем-то, чаще — о важном, реже — о деталях. Искажения не имеют прямой связи с интересностью текста, из них образующегося. Порой можно быть честным перед собой и всеми в своем повествовании и тем не менее создать увлекательный образ, а все старания приукрасить обычно вызывают судорогу зевоты.

Но это не исключает увлекательности чтения — не только для любителей реконструирования событий через исследования личностных фильтров. Я сама предпочитаю прямо смотреть, меня эти игры мало забавляют, чаще утомляют. Но для меня привлекательность этих писаний заключалась в том, что иногда можно было проследить, как описываемые события невольно становились рычагом, сдвигающим их отобразителя в неисследованную область мыслей и чувств, и они мимоходом позволяли им воплотиться. Хотя такое происходило редко, потому что летописцы по природе своей передатчики и роль приемников выполняют случайно, поневоле. Это для них, как помеха в эфире. Поэтому если хочется узнать, что случилось в какое-либо время, лучше просто смотреть. Наверное, это зависит от тренировки, как если научиться настраивать сколь угодно мощный бинокль, при первых попытках попадаешь в более-менее близлежащие или слишком отдаленные события, а если набить руку, то можно сразу сфокусироваться на искомом. Но опять же если смотреть изнутри себя, то, может, и увидишь далеко, но не все целиком. В таких случаях ты мало чем отличаешься от очевидцев, пропускающих все через призму своих граней. А если смотреть, поднявшись как можно больше над собой, и не только над собой, но и минуя постепенно вначале область низких чувств, затем низменных желаний, затем смешанную область чувств и мыслей, затем

зону мыслей, и потом преодолеть сферу возвышенных чувств и разряженных мыслей и посмотреть оттуда, то открывается примерно такая картина: издали тянется застывшая траншея с запечатлевшимися по бокам оттисками происшедшего, окутанная в начале, то есть там, докуда ты дотянулся взглядом, дымкой неясности, при желании легко преодолимой. Некоторые области траншеи находятся в затемнении, другие хорошо освещены. Но это никак не связано с их отдаленностью. Как раз самая близкая область одна из самых затемненных. Другие же, иногда очень далекие события, освещены сразу с разных сторон яркими прожекторами. Если по их лучу продвигаться к истокам света, то видно, что это люди, в разное время смотревшие таким же образом на эти события. С ними можно даже войти в контакт, хотя все они давно умерли, умерли. Нет, некоторые еще живы. Но это не имеет значения, все они меня видят, но это потом, сейчас я лучше рассмотрю пейзаж поподробнее. Пока я не освоюсь в окружающем, мне трудно общаться. Да они никуда и не денутся. Этот туннель тянется до наших дней. Можно видеть, как ежесекундно живое событие вдруг принимает окончательную завершенность и занимает свое место. Всегда можно будет его оживить снова с помощью смотрового луча, оно будет в точности таким же, каким было, за исключением одной детали — не будет доставать становления, как у этого мига, а тем более у следующего. По контрасту с неподвижной траншеей над ней пульсирует вечно живое и меняющееся возможное. Оно непрерывно спускается сверху, при приближении становясь все конкретней, приобретая детали, формируемые встречными действиями и желаниями людей. Я теперь понимаю, что видят ясновидящие, когда они предсказывают события. Нужно только смотреть не

вдаль, а вверх. На каком-то уровне на формирующееся событие можно повлиять силой своего желания, поскольку на высоте они еще очень пластичны, но чем ближе к земле, тем большую тяжесть они приобретают, чтобы свалиться камнем. Люди, как помнится, открыли какой-то закон притяжения, вот там все происходит точно так же. Вообще все, что происходит на земле, является знаком, который мы не совсем правильно расшифровываем. Я сейчас думаю какие-то очень формальные мысли, не охватывающие всей чудесности того, что я вижу. Это оттого, что кто-то до меня их подумал именно таким образом, и, поскольку у меня больше нет тела, мне остается принять их в готовом виде или отказаться от них, очистить или обогатить уже не получится. В тех высотах, откуда спускаются проекции реальности, чтобы здесь принять тот или иной вид, рождаются всевозможные образы мыслей и чувств. Они там плавают, отделенные от остального тонкой оболочкой, как амебы в воде, бесцветные, неразличимые инкубаторские творения, пока кто-либо их не уловит, тогда они распускаются в причудливые формы, как китайские серые кусочки бумаги, опущенные в воду, приобретут нюансы неповторимых цветов, вкусов и запахов, в зависимости от того, что в них было заложено, но в отличие от этих бумажек, в нашем случае имеет большое значение, каким был состав воды, фигурально выражаясь. Та область, над которой мне пришлось подняться, заселена такими, уже ожившими, прошедшими через воплощение, налившимися соками, заискрившимися и заигравшими красками творениями. Сами по себе, первоначально обитая еще в среде, почти неотличимой от них самих, они не являлись ни низкими, ни высокими, ни чистыми, ни грязными, ни сложными, ни простыми. Все эти качества они приобрели от того,

кто их осуществил. И в зависимости от этого они там, на земле, а некоторые и под землей или над землей заняли свои ниши. Но они, эти мысли и чувства, рождаются там, наверху, стайками, и некоторым стайкам везет, их пропускают через себя разные люди, и они соответственно выбирают разные среды обитания. Другим стайкам не доводится хотя бы однажды воплотиться пусть даже в самой низкой среде, и тогда они просто растворяются, уступают место другим. Многие воплотившиеся со временем тоже умирают, если ими часто пользуются, но они не так бесследно исчезают, как те, верхние. Если внимательней присмотреться к этой траншее, можно разглядеть тут и там валяющиеся трупики, потерявшие ценность, усохшие от чрезмерного употребления мумии. Они без цвета и запаха, даже те, что испускали зловоние или сводили с ума благоуханностью при жизни. От них осталась только зачерствевшая корочка слов, и сколько ни произноси их вслух, к жизни их больше не вернуть, более того, если слишком настаивать, они могут просто рассыпаться в отдельные слова или бессмысленные слоги. Попытки оживить эти слова делают передатчики, и затаскивают мысли и чувства тоже передатчики. А воплощают их приемники, у них для этого больше энергии. Но приемники улавливают образ мысли или чувства, наделяют его своей плотью и отпускают с миром, не заботясь о дальнейшей судьбе. Передатчики же, верящие только в обозначенное кем-то, рыскают в поисках добычи и, добравшись до свеженького, новенького, пригревают на груди, наделяя теплом для дальнейшего выживания. В их объятиях новая сущность бросается в глаза даже тем, кто за ней не охотится, и все начинают вырывать из нее куски для собственного пользования, пока не превратят ее в общее место. Но приемники не переводятся, они засе-

ляют пространство все новыми и новыми воплощениями, за которыми все передатчики вместе не поспевают. У приемников не переводятся силы, они хоть и отдают часть себя, их не убывает, они возрождаются с новым, преобразованным соприкосновением, телом. У людей же, пользующихся готовыми, пережеванными другими образцами мышления и чувствования, тело быстро изнашивается, вскоре они бывают неспособны переварить самые изжеванные подачи. И они по бессилию становятся жертвами агрессивных мыслей и чувств, обитающих под землей или прямо на поверхности. Ими не нужно завладеть, они сами питаются людскими телами, поселяются в них прочно, и трудно бывает потом от них отделаться. Единственный способ избавиться от них — самому дойти до недоовощенных, которые, во-первых, являются лучшим лекарством от изматывающих, истощающих состояний, испаряющихся при одном только виде готовой к рождению мысли, а во-вторых, даже самые легкоусваиваемые мысли и чувства, например те, которые кто-то не смог полностью в себя вместить и поэтому оживил только часть из них, например, начало или конец, чаще середину, и они, уже живые и сверкающие, вяло трепещут своими прозачными рудиментарными хвостами и плавниками, благодаря чему им все же удается удержаться на плаву почти у поверхности, и, чтоб до них добраться, нужно преодолеть ступеньки из уже сформировавшихся мыслей и чувств. А поскольку те паразиты не уживаются уже на определенной высоте, по мере продвижения они будут безболезненно отпадать. Не говоря о том, как хорошо оказаться здесь, всякое удушье пропадает и остается одна ровная, ничем не поколебимая радость.

Боже мой, какие же перспективы открываются! Я могу получить ответ на любой вопрос. Но дело в том, что у меня и желаний не осталось, они ушли вместе с телом. Хотя у меня теперь появилось ощущение, что уже некоторое время не мысли сами лезут мне в голову, а какой-то голос мне рассказывает. Или это не так? — Так. Я действительно тебе рассказываю или пытаюсь разъяснить, что ты видишь. — Кто ты? Кто ты? Почему я тебя не вижу? — Я невидим. — Ты — ангел? — Не знаю, что ты вкладываешь в это понятие. — И я не знаю. — Я — существо, населяющее мир, в котором ты сейчас находишься. Ты можешь воспринимать меня только как голос. Когда вы здесь появляетесь, наша задача — отвечать на ваши вопросы. — Ты ведь и раньше ко мне приходил, так ведь? Мне твой голос безумно знаком. Теперь я припоминаю, ты иногда в моих снах мне что-то говорил, это был тот же голос, без интонаций, ни мужской, ни женский, и иногда мне казалось, что я просыпаюсь именно от звука твоего голоса, и эхо произнесенных слов еще отдавалось в комнате, пока я пробовала сообразить, где я. — Это ты во сне приходила сюда. — Вот как? Впрочем, ландшафт мне определенно знаком. И он какой-то неземной. Хотя очень четкий. Он мог бы быть и земным. На земле бывают и большие излишества красот. Но я теперь чувствую, что бывала здесь не раз, и в полном одиночестве. Вот это и доказывает, потому что на земле я не вылезала из городов, а если выбиралась на природу, то всего с десяток раз и в большой компании и всегда в разные места. Но не в это. — Ты вдаешься в излишние подробности. Мы уже сошлись во мнениях, где это было и когда. Поэтому не увливай. Спрашивай. Я здесь, чтобы отвечать тебе. — Я спрошу. Конечно, спрошу. Вот только вспомню, что мне нужно узнать. Сей-

час. А, вот — я увижу Бога? Почему ты молчишь? — Я в затруднении — чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа. Ситуация сейчас такая же, какая бывает у вас, когда ваши дети спрашивают, почему небо голубое. — Но это высшая инстанция? Я здесь останусь? — Нет, это только место, откуда наиболее полно можно увидеть ваш мир. Я уже давно тебе обо всем рассказываю, но ты отвлекалась на свои видения. — Ты хочешь мне помочь? — Я не знаю, что такое хотеть. Такова моя функция — отвечать на вопросы. — Что же ты мне можешь объяснить про наш мир, если даже не знаешь, что такое хотеть? — Я знаю, что это такое, поскольку всегда наблюдаю за вами, но я этого не испытываю. — Что же это такое? — Посмотри отсюда. Видишь эти отростки, которые из них вытягиваются? — Да, и делают такие хватательные движения. Они при этом задевают друг друга, но вроде чувствуют это и не чувствуют одновременно. — Это все их желания. Посмотри, как их много у каждого. — Я знаю, если сейчас у каждого из них спросить, какое самое большое их желание в эту минуту, они дружно ответят — чтобы я появилась перед ними живая. — Да. — Но если бы это случилось, они сочли бы себя шокированными или оскорбленными в лучших чувствах. Или, по крайней мере, испуганными. — Да. — А что это такое делается с их отростками? Они как-то судорожно шевелятся. — Это они тянутся, чтоб ухватиться за нить, ведущую к осуществлению их желаний. Как только они ее поймают, происходит процесс, аналогичный оплодотворению у вас. Желание отпочковывается и превращается в самостоятельное существо, живущее уже независимо. То есть оно осуществляется, ваш язык правильно это подметил. И осуществляется зачастую, когда хозяин и думать забыл о нем. — Всякое желание

осуществляется? — Только то, которому удалось ухватиться за нить. — А что для этого нужно? Чтоб оно смогло ухватиться? — Достаточно долго желать. — Что-то я не замечала, чтобы все желания, существующие достаточно долго, исполнялись. — Если они существовали, значит, они исполнялись. Люди не отдают себе отчета в том, как просто могут исполниться их желания. Нужно только сосредоточиться на них, желать с силой и не делать поступков, препятствующих желанию. — Да, если бы они знали, что это так просто, то сто раз подумали бы, прежде чем что-нибудь пожелать. — Желания исполняются, когда человек забывает о них, — у людей короткая память и нет сознательного упорства, поэтому состоявшиеся желания путаются под ногами и мешают идти к цели, когда человек мечтает уже о противоположном. А потом у одного и того же человека, как правило, бывает сразу несколько противоречивых желаний. Делаясь отдельными существами, они начинают борьбу между собой и результат оказывается промежуточным. Мало у кого хватает выдержки долго и последовательно желать чего-то одного. Про таких обычно с осуждением говорят: он знает, чего хочет, он из таких. Но это зависть безвольных. Но может, они и правы в своей неприязни, потому что мастера высшего пилотажа проходят по жизни незамеченными. Они никого не задевают своими желаниями. Их желания настолько в другой области, что не касаются других людей. — А вдруг кто-то из них будет упорно желать, чтобы я снова воплотилась? — Исключено в твоем случае. Ты ведь сама уже не хочешь вернуться? — Сейчас нет. Но было время, когда хотела. — Не так уж долго оно длилось... — А если кто-нибудь из них будет долго хотеть, чтобы я вернулась? — Насколько вы все желали, ты уже здесь. Если бы кто-нибудь стра-

стно желал, чтобы ты там оставалась, ты или кто-то другой, ты бы здесь не оказалась. — Я знала миллион случаев, когда близкие страстно не хотели, чтобы человек умирал, а он все же умирал. Например, маленький ребенок. Разве родители хотят, чтобы умер их маленький ребенок? Знаю, что ты собираешься возразить, допустим, бывают такие случаи, но они ничтожны по сравнению с количеством умирающих детей. — Возможно. Но не смешивай понятия: одно дело, когда люди не хотят чего-то, и другое дело, когда они думают, что не хотят. В вашем мире принято думать, что родители не хотят смерти своим детям, особенно маленьким. Это одно из самых мощных допущений, наиболее яростно охраняемый запрет. Если кто-то в открытую признается в обратном, толпа его растерзает. Никто не осмелится даже в мыслях признаться себе в этом, настолько сильно это табу. Даже те, кто на всех площадях кричит о свободе и честности и разрушении всех условностей. Хотя единственное, чего каждый действительно хочет, — это свершения провидения. Только для этого вы и рождаетесь. Но вы так все запутали, столько заслонок развели, что абсолютно все искажаете. И потом, человек гораздо более сложное создание, чем то, что он выявляет. Ведь во всех случаях смерти близких людей существует предварительная договоренность. — То есть как это? — Вы никогда не рождаетесь в том мире в одиночку. И очень редко попарно. В остальных же случаях вы рождаетесь партиями или колониями. Опережаю твой вопрос: их различие в разбросанности или скучкованности в пределах ограниченного пространства. В зависимости от задачи, поставленной перед ними. И только самые избранные появляются одни на всех. — Я знаю, о ком ты говоришь. — Их было несколько. — Понимаю. Трое? Чет-

веро? — Несколько сотен. — Я знаю только... — Не называй имен, они могут повести за собой, а мне еще предстоит ответить на некоторые твои вопросы. Ты еще вернешься туда к ним на звук собственного имени, а пока спрашивай дальше. — Я не могу вспомнить свое имя. — Когда его произнесут, оно само тебя потянет. — Но все же я знаю только нескольких из тех, о ком ты говоришь. — Многих забыли, потому что такова была поставленная перед ними цель, остальные делали свою работу незаметно, их было большинство. — О ком ты говоришь? — Посмотри сюда. Тебе понятно, чем заняты эти люди? — Что-то из области «на семи праведниках держится мир». — Верно. Видишь, какими неимоверными усилиями они вытягивают вас из той ямы, которая многих из вас завораживает? — Но почему в таком случае их так мало? Будь их побольше, они бы всех мигом вытащили. — Сколько есть. Неоткуда взять больше. И потом, если они вытянут их такими, какие те сейчас, то ничего не изменится. Эти вышедшие люди ничего толком не разглядят и при первой возможности скатятся обратно. Их нужно только подтолкнуть, чтоб дальше они сами захотели выбираться. — Ну хорошо, это мне понятно. О чем-то таком я сама догадывалась. Но о какой предварительности шла речь? Я теперь понимаю, что мы существуем до того, как родиться, так же как и после того, как умираем, но как же с маленьким ребенком? — Посмотри на своих близких. Видишь, как благотворно на них сказалось то, что называется «твоей смертью»? Для многих из них появился хороший шанс выбраться из ямы. Их подталкивают, затем они начинают сами карабкаться, но на каком-то перевале увлекаются открывшимся видом или новым кустиком и забывают, что они собирались идти дальше. И могут до самой смерти застрять на одном месте или

опять скатиться вниз, что случается чаще. А некоторым из них твоя смерть дала такой мощный толчок, что их может выбросить к самому краю ямы. Что будет дальше, зависит от них самих. Но ты им очень помогла, сохранив им время и усилия. Не у всех, но у некоторых твоя смерть смела все наносное и увеличила их емкость, то есть показала им самим истинную границу их вместимости всего, почти безграничную. И если хоть один из них не замкнется опять в привычных пределах, считай свою задачу выполненной. На большее ты и не можешь рассчитывать, поскольку сама сидела в глубокой яме, делая только изредка ленивые потуги выбраться, и не умела создавать глубокие привязанности, которые бы сейчас потянули за тобой наверх людей, пребывающих еще во плоти. Были такие люди, вытягивающие за собой целые батальоны. А тебе не удалось даже с одним человеком установить такую связь. Ты так и не встретила там со многими из тех, с кем тебе предстояло идти вместе по крутым склонам, потому что не соизволила добраться до их уровня. Но есть существа, между которыми установлена уже очень прочная связь. Такие люди рождаются именно для этого — для расширения и совершенствования проявлений любви на земле. Ты, например, была рождена не для любви. — Но она у меня была. — Конечно, ее никому не избежать, но у тебя она прозвучала как побочная тема, а некоторые рождаются с тем, чтобы исполнить ее как основное произведение. Это то, что помогает им преодолеть свои границы. Каждый нуждается в своем инструменте для огранки. Перед рождением вы все совершенно сознательны и сами выбираете себе условия, в которых должны родиться, и препятствия, которые должны преодолеть. Каждый находит именно для себя самый трудный вариант. Или, как вы образно выража-

етесь, каждый решает, какой именно крест будет наиболее тяжелым лично для него и рождается в такой ситуации, чтобы можно было этот крест тут же взвалить на себя. — Не значит ли это, что мы все до рождения склонны к мазохизму? — Это значит, что до рождения вы наилучшим образом осознаете свои возможности, выбираете то, что может вас закалить, но не сломать, как дерево выберет солнце, но откажется от огня, огонь выберет ветер, но откажется от воды... — Можешь не продолжать, мне понятно. Вода выберет запруды и так далее. — Да. И если вы потом непрерывно жалуетесь на внешние обстоятельства, это означает только, что вы забыли, что они всего лишь выявление того, что вы собой представляете. У каждого свои препятствия. Они выбраны им для того, чтобы дорасти до себя. И никто в этом смысле не получает поблажки. — А как же те, у которых счастливое детство, богатство от рождения и прочее? — Это их испытание. За все приходится расплачиваться. Значит, эти люди выбрали условия, которые для них являются наибольшим искушением. Только сумев преодолеть безоблачное детство и роскошную жизнь от рождения, они обретут себя. То же и в любви. Представь себе людей, любящих другого больше, чем ты сама была способна. Какую боль они должны испытывать от потери любимого существа. — Мне трудно представить. — И вот такая возможность для них — уйти от этой боли они не смогут никуда, сколько бы они дальше ни жили, боль будет давать о себе знать. И им ничего другого не останется, как расширить себя настолько, чтобы вместить эту боль целиком, и даже настолько, чтобы она затерялась в открывшихся просторах. — И ты говоришь, что они об этом заранее договариваются? — Да. — Это как же — заранее выбрать смерть любимого, чтобы самому вырасти?

Разве это можно назвать любовью? — Пойми, до того, как они договариваются, они понимают, что любимый никуда не исчезнет, что они потом встретятся. Но они также понимают, что там они этого не будут знать, что только страдание поможет им это понять. И это прекрасная участь. Тот, кто соглашается раньше умереть, совершает акт благородства. Впрочем, они знают, что в другой жизни первым умрет он, так что оба имеют возможность расширить сферу своих чувств. — В какой другой жизни? Они опять родятся на земле? — Не обязательно. Миров много, и всем дано выбирать, какой из них является наилучшим пробным камнем для него. — Значит, я могу снова родиться? — Пока что рано думать об этом, ты только что умерла. Дай себе передышку. Тем более что ты пока ничего не видишь ясно. — Чего не вижу ясно? Мне кажется, сейчас я вижу все яснее, чем за всю жизнь. — Но это еще не та ясность, которая придет. Ты должна заглянуть внутрь себя, чтобы знать, в какие условия нужно себя поставить для стимуляции развития до того, как сознание снова померкнет и вновь начнутся на ощупь поиски выхода. А пока ты подвластна чужим влияниям, старайся помнить себя. — А что бывает в случае, когда кто-то упорно желает, чтобы ушедший вернулся? Ведь ты говорил, что если сильно... — Тогда живой в силу своего желания выходит в слой, промежуточный между мирами, и притягивает туда ушедшего, если тот не возражает. — А если возражает? — Тогда он прав, уходя — уходи. Но если его продолжают звать назад, он должен обратиться к зовущему с просьбой больше не встречаться. — Как, если они нас не слышат! Я столько раз пробовала войти в контакт, они и бровью не повели. — Нужно обратиться непосредственно, лучше, когда они спят — тогда их восприимчивость увеличивается, по-

сколько они выскальзывают из жестких рамок своего мира, и попросить, чтобы тебя отпустили. — А как это — непосредственно? — Тебе нужно четко увидеть, к кому ты обращаешься, и постараться проявить побольше убедительности и твердости. Если ты сама не решилась окончательно прервать связь, обмануть никого не удастся. Ты недавно наблюдала, как даже самые бессознательные улавливают негативное отношение других и если и не могут сами себе внятно объяснить почему, настраиваются на ответные чувства, подобные направленным на них. Эта связка работает одинаково в оба конца, что на входе — то и на выходе. Ты прокладываешь мост к другому человеку, и материал, из которого он построен, отныне будет связывать вас. Если он захочет приблизиться к тебе, то, скорее всего, воспользуется готовым путем. Люди и в отношениях рационально экономны — зачем строить новый, если один уже есть? Это средство сообщения будет существовать до тех пор, пока не износится или его сознательно не уничтожат. Некоторые из людей столь наивны, что могут внутренне, пусть даже очень коротко, подумать о ком-то плохо и тут же забыть и потом удивляться, почему этот человек к ним изменился — ведь они продолжают по-прежнему ему выказывать симпатию! Ну а более чувствительные люди способны не только почувствовать отношение к себе даже на большом расстоянии — это умеют все, но и прочесть мысли, особенно когда дело касается их самих. И ничто не меняется оттого, что они мгновенно забывают, что они услышали чужие мысли, оттого что думают, что это невозможно. Их реакция бывает сильнее, чем если бы им сказали то же самое вслух, в лицо, на такие случаи у многих предусмотрены способы защиты, им надо, они станут сами себя уверять, что ничего не слышали. А на более тон-

кие виды информации у них защиты нет, поскольку они не подозревают об их существовании и тем легче позволяют им просочиться через все свои ограждения и пробить в них брешь. Только очень хорошо организованные люди, прослеживающие все свои импульсы, могут позволить себе роскошь не ответить ненавистью на ненависть. Более того, они могут не позволить становления агрессивных в отношении себя посылов, убравшись просто с того места, где они должны находиться по мнению зачинщика, и не составив ему второй точки опоры. — А как же безответная любовь? — Безответных любовей не бывает. Если появляется ощущение, что на твою любовь не отвечают, проверь, что ты на самом деле испытываешь. Иногда полезно поставить себя на место того, к которому питают чувства, чтобы ощутить, что к себе такого отношения не хочется. Но люди себя обманывают, не только внушая, что их связывает с другим любовь, но и уверяясь, будто тот, кто их любит, им безразличен или неприятен. Или же просто не замечая совсем своих истинных отношений. Ты уже обратила внимание, что многие из тех, кто считал себя сильно к тебе привязанным, удивлены скудостью своего горя. В то время как другие лишь теперь понимают, как много ты для них значила, и запоздало сожалеют о невозможности утраты. Но теперь все сложилось так, как сложилось, и нужно идти дальше. Освобождайся от связей в том мире. Если же просьба больше не встречаться не помогает, а так часто бывает, поскольку люди не любят отпускать от себя ничего, с одинаковой силой они цепляются не только за свои радости или беды, но даже за случайный хлам, попавший им в руки, то у ушедшего всегда есть последний аргумент — самому оборвать связующую нить. Если же ушедший сам захочет вернуться на землю, даже если

он будет одинок в этом желании, — он превращается в одно из этих несчастных созданий, которые в том мире зовутся привидениями, и мечется до тех пор, пока не изживет этого желания. Я не советую тебе пробовать — это тупик. Все равно придется возвращаться сюда, другого пути нет. — Откуда мне знать, что ты меня не обманываешь? — Здесь говорят только правду. Все остальное бессмысленно. Посмотри сама на них. Разве трудно увидеть, когда они лгут? Совсем не трудно. У них все на виду. Все, что они когда-либо делали, думали, хотели, отражается в них. Это оттого, что ты отсюда на них смотришь. Здесь все видно, поэтому не имеет смысла лгать. — Почему же только отсюда видно, если это вообще видно? — Да, видно, потому что это есть, но там увидеть могут только те, кому удалось пробраться сюда и вернуться. — Привидения? — Нет. Существо, выбравшее стать привидением, видит даже меньше, чем обычные люди, потому что без тела, то есть без возможности что-либо менять там, оно оказывается в еще большем плену у своих прежних ментальных и чувственных конструкций, служащих ему единственным прикрытием, и лишается возможности отвлеченно смотреть. Я же имею в виду тех людей, которым удалось в теле побывать здесь и вернуться. — А разве есть такие? — Есть. Без тела вы все здесь бываете, и до и после. Но в теле здесь оказываются только единицы. Они видят все так же, если не яснее, чем ты теперь, но могут при этом и действовать. — Представляю, что они могут натворить. Это же мечта каждого человека, стремящегося к власти: видеть все мысли и намерения других. Вот где им можно развернуться! — Ты ошибаешься. Такие люди сюда не попадают. Стремление к власти — слишком тяжелое чувство, оно связывает по рукам и ногам, где уж там

развернуться. Оно настолько отупляет, что, если бы такого человека силой закинули сюда, он все равно ничего бы не увидел. Более того, подобные люди настолько сужаются, что их засасывает в воронку. — Сужаются? — Или отяжелевают под давлением этой страсти и проваливаются. Одно другому не противоречит. Один и тот же процесс можно увидеть в бесконечном числе аспектов, и все они истинны. В любом случае ты имеешь возможность посмотреть как угодно далеко в прошлое. Возьми любого на выбор из числа отягощенных этим чувством. Ты можешь распознать их по синевато-бордовому сгущению вокруг них. Проследи за кем захочется — все они плохо кончали. Настроившись при помощи сильного желания на эту грубую волну, они потом не могут сдвинуться и ловят только импульсы того же диапазона: страх, отвращение, зависть, ревность. Они застывают на этой точке и более тонкие вибрации уже не в состоянии воспринимать. Даже радость у них бывает только со злобным оттенком, да и ту они не могут надолго удержать. — Да, испытывают они только негативные чувства. — Если быть точными, разделения на негативное и позитивное существует только в вашем мире. Оно плод искусственных построений, которые вы называете моралью и нравственностью. — С этим мне невозможно согласиться. Мораль и нравственность — объективно существующие явления. — Безусловно, как и все остальные явления. Но посмотри, как искусно вы ими пользуетесь. В самых разных слоях вы называете одним именем иногда противоположные явления. Вы жонглируете этими понятиями как вам заблагорассудится. Никто никогда не сознается, что его действия аморальны. Он приведет тысячи доводов, чтобы доказать, что его поступки диктовались требованиями высшей справедливости. Ну, в крайнем случае, готов

будет признаться, что сделал что-то не так под давлением жестких внешних обстоятельств. Но если приглядеться, наиболее агрессивны не те, кто тебе сознательно вредит, и даже не те, кто позволяет по отношению к тебе злые мысли, самая мощная атака идет со стороны тех, кто руководствуется исключительно соображениями твоего блага, кто тебе хочет только добра. — Да, вижу теперь. Господи, и как я смогла там выдержать столько времени! Это же настоящий ад. Насколько здесь лучше! — Это оттого, что тебе еще не удалось освободиться от всех вынесенных оттуда наслоений. Но если ты просто посмотришь, без сложившейся привычки выносить оценки и раскладывать по полочкам, ты увидишь излучения, природа которых еще не открыта вами, поэтому называй их как пожелаешь: силовыми импульсами, или изначальной нематериальной моделью вашего мира, или запредельными энергетическими полями, или какое определение ты сочтешь более точным. Не имеет значения, что ты выберешь, поскольку ты уже находишься здесь. Это одна из ваших основных функций — находить новое и давать ему имя, но это возможно только там. Имя — это плоть, и дать его можно только обладающему телом, поэтому все твои определения будут пока только касательными к тому, что независимо от ваших увидеть и осмыслить — существует. Ты видишь это? — Да. Я не знаю, что это, но оно находится на переднем плане и на заднем плане нашего мира. Но при этом нельзя сказать, что оно его окутывает, и нельзя сказать, что оно его пронизывает. — Не пытайся опять объяснить все в привычных категориях. Допусти, что существует еще миллион категорий — если хочешь, или бесконечное их число — что более соответствует истине, — которые вам незнакомы. Важно, что ты их видишь. Убедись — они не

нравственны — попросту не вписываются в эту узкую сферу. Они существуют, и вы не властны их отменить. Вы можете их только обнаружить, и тогда можно понять, на каком уровне вы это сделали и как этим распорядились. Ты уже убедились, что одно и то же можно рассмотреть с разных позиций и этот взгляд не обязательно, но может оказаться истинным в отношении детали, но никогда не даст точного представления о целом. — Да, для того чтобы увидеть целое, нужно слишком высоко подняться, но тогда изображение будет слишком схематичным. — В вопросах видения нельзя руководствоваться понятиями высоко или низко. Можно увидеть и сверху, и снизу, но это будет одинаково неверное представление. Только если смотреть в сущность вещей и явлений, можно по малой части восстановить остальное. Но чтобы увидеть иную сущность, вначале важно стать хозяином своей. Это единственное, чем вы владеете, и единственное место, откуда все видится в истинном свете, потому что свет пребывает только там. Все остальное можно осветить и увидеть, что свет распространяется из центра, из вашей сущности, равномерно во все стороны. Насколько сильный импульс вы сможете послать, настолько шире окажется круг освещенных явлений, говоря фигурально. А конкретно это будет шар с радиусом в длину вашего импульса. Поэтому можно сказать, что чем выше поднялся человек, тем ниже он опустился. Это на первый взгляд, когда не знаешь, ликовать ли по поводу открывшихся высот или ужасаться при виде разверзшейся пропасти. Но чем длиннее луч света, тем легче понять, что нет высокого и низкого, а есть только непрерывные процессы, и человек — один из них. И тогда вы начнете радоваться каждой новой проблеме, так как она будет вам указанием, что вы недостаточно

высоко поднялись, раз столкнулись с нею, и избавит от преждевременной успокоенности, или она послужит предупреждением, что вы пали так низко, что она вновь возникла перед вами, или что вы недостаточно широки, чтобы вместить ее, и наблюдаете как что-то внешнее... Ты так долго молчишь. У тебя больше нет вопросов? — Я забылась. Мне жаль расставаться с ними со всеми. — Что ж, можно понять тебя. Хотя если бы ты не упустила из виду, что можешь уйти в любую минуту, скольких ошибок ты бы избежала. Ты бы не оставила в таком хаотичном виде свои отношения и свои дела. — Если бы люди хотя бы раз собрались с духом и допустили, что они умерли, что их уже нет, что им нечего больше терять, если бы они однажды представили, что все их возлюбленные, все их друзья, все дорогие им люди, что их дети умерли, умерли, умерли уже безвозвратно, как бы они потом зажили. Но они гонят от себя прочь эти видения, готовы растерзать каждого, кто осмелится высказать вслух возможность смерти любимых людей, и живут так, как будто у них и их близких впереди бездна времени, как будто им предстоит вечность, за которую они успеют исправить все ошибки, которые совершали и собираются совершать, как будто им представится еще столько случаев, чтобы попросить прощения, как будто хоть один поступок можно будет потом исправить. Если бы они знали, что каждое их чувство, всякое действие запечатлевается в вечности, заносится в реестр и больше не выдается на руки, уже им не принадлежит, разве стали бы они превращать жизнь самых близких людей в ад? — Тебя заносит в эмоции. Им здесь не место, из чего я делаю заключение, что тебе пришло время уходить отсюда. Но ответу на твои вопросы, сколько успею. Кое в чем ты права. Во-первых, окончательны поступки не каж-

дого человека, а только те, которые совершаются всей сущностью. Потому что только к сущности приходит настоящее знание и вместе с ним запрет на применение знания в прагматических целях. И только сущность обладает волей, поскольку осознает, что она состоится в той мере, в какой сама себя построит. Что в конечном итоге она будет владеть только той мерой любви, осознания, выбора, которую ей удалось реализовать. И будет ли здание, созданное ею, полностью завершённым и удобным для жилья, или от него останутся только развалины, или не будет заложен даже фундамент, зависит только от нее. А насчет ада — я тебе уже говорил — каждый отвечает только за себя. Если ты не захочешь, чтобы твоя жизнь превратилась в ад, то никто, близкий или далекий, не сможет тебя заставить. — Да?! А как же те, кого мучили, истязали, над кем издевались более сильные, как же беспомощные дети, ставшие жертвой взрослых уродов?! — Ты уже полностью в плену эмоций, но все же постарайся, чтобы они не заслоняли от тебя мои ответы. Я тебе уже говорил, что вы выбираете себе условия будущей жизни на земле. И не тебе судить, какие внутренние обстоятельства привели этих людей к такому выбору и от каких душевных мук в будущем избавили. Но есть и другой исход — некоторые люди сами загоняют себя в условия, при которых над ними можно измываться. Человек, который заставил себя очнуться от дурмана ценностей того мира, никогда не окажется в подобной ситуации. Ведь те ценности очень ловко подменяют собой настоящие, и, если смотреть на них в полудреме, ничем не отличишь. Делание карьеры подобно строительству храма в своей душе, внешне последовательность действий так похожа — кирпичик за кирпичиком, и многие только здесь понимают, что строили в

лучшем случае из песка или из ничего, как в глубоком сне, когда просыпаешься и недоуменно озираешься — где же возведенный только что замок? Не помогает даже то, что у многих он разрушается еще при жизни. Они не понимают иллюзорности того, что так легко исчезло, и, засучив рукава, начинают воздвигать новый. А деньги так легко заменяют собой свободу выбора, кажется, когда их у тебя много, ты волен выбирать, на что их потратить, такая, казалось бы, неограниченность возможностей, ты можешь даже от них отказаться. Или ты собираешь их во имя великой цели. Но они становятся самоценными, и многие, теряя их, кончают с собой. Пока вы спите, вы пользуетесь заменителями. Любили ли, жизни ли, свободы ли, и загоняете себя в тупик. Если бы вы не спали, вы не прошли бы по улице, на которую должен упасть кирпич, вы не свернули бы за угол, за которым стоит убийца с пистолетом, вы просто не оказались бы в ситуации с тираном-извергом, поскольку знали бы, как стать для него невидимкой. Если бы вы действительно любили, никогда бы не случилось так, что вашей любовью пренебрегают. Вы были бы тогда заняты только этим чувством, и для вопросов, как относятся к вашему чувству, не осталось бы места. И на любовь можно ответить только любовью, так уж устроены люди. Поэтому вместо того, чтобы жалеть себя, вы бы лучше задавались вопросом о действительной природе вашего чувства. Тебя уносит все дальше. Выслушай меня напоследок. Теперь тебе нужно распрощаться со всеми людьми и предметами, со всеми местами, с которыми тебя что-то связывает. Попрощайся с каждым лично, вспомни все хорошее, что между вами было, и поблагодари с той мерой благодарности, на которую ты сможешь потянуть, вспомни все недоразумения, которые были у вас, и с полным раска-

янием попроси прощения у них, и прости их тоже окончательно, без условий. И затем попроси, чтобы тебя отпустили. То же самое проделай со всеми предметами, со всеми уголками на этой планете, которые ты не в силах забыть. Если тебя будет что-то держать, ты не сможешь далеко уйти. Оборви все связи. Оборви все связи, запомни...

— Как-то непонятно все, сперва мне казалось, что это я двигаюсь, теперь понимаю, что это пространства с большой скоростью сменяют друг друга, я едва успеваю рассмотреть, что в них находится, как они заменяются новыми. А ведь они все такие огромные, значит, какая же скорость, что они так мелькают. И опять же не совсем ясно, почему мне кажется, что двигаюсь не я, а они, ведь у меня нет точки отсчета. Но у меня отсутствует чувство устремленности, верный признак, что это они устремляются мимо меня, не дав толком себя разглядеть. Что бы это значило? Наверное, мне нужно выбрать какое-то одно и сказать стоп, тогда они остановятся. Но что-то ни одно из них не привлекает настолько, отдельные приятные картинки есть во всех, но так чтобы полностью — ни одно не нравится. Да мне ничего и не хочется, такой покой, всегда бы так. Во всех мирах есть свои достоинства и недостатки, пусть они показываются, но навязать себя ни один не сможет, мне и так хорошо. Какое счастье не зависеть ни от чего, а только благодушно наблюдать. Теперь меня ни в один капкан уже не заманишь. Что такое? Остановилось. Приехали. Но это был не мой выбор. Давайте дальше смотреть. Не слушаются. Это они так выбрали. Как здесь светло! И совсем нет теней при таком ярком свете. Ярком, но не режущем. И таком согревающим. Да вот же источник света! Он смотрит прямо на меня. Он высветил своим присутствием все затемненные уголки

во мне. О, вот об этом моем поступке мне никогда не вспоминалось, и об этом. И этом. И еще. Сколько их. Сколько всего было, что мне удалось похоронить в себе и забыть. Но все это никуда не делось. Все на виду, как будто он рассматривает меня на своей ладони. Какой стыд! И это все я. Это все было сделано мной. И он все это видит, мне ничего не удалось скрыть. О, какой стыд. Но что это? Он, кажется, меня совсем не осуждает? Как можно такое не осуждать? Более того, Он улыбается. Он все видит, все понимает, и Ему только смешно. Но как по-хорошему смешно. От этого мне только стыднее. Я не на ладони, конечно. У Него нет ладоней. Это просто живой бесконечный свет. Самое разумное из всего, что можно предположить и даже еще разумней. И с таким чувством юмора. Но как же так, чтобы совсем не осуждать. Я Его понимаю без слов, как и Он меня. Он не произносит слов, но я понимаю, что Он говорит: «Ты посмотри, что в тебе находится, чем ты занимаешься. Разве так можно?» — и улыбается при этом, хотя у Него нет рта, и нет лица. Он мягко улыбается всем своим существом. И какая любовь от Него исходит. Вот что такое любовь. Все, что было там, на земле, все, что говорили и писали об этом чувстве, все, что испытывали, — лишь жалкая карикатура. Вот что значит любовь. Он меня любит, несмотря ни на что. Более того — зная все. Ему только смешно немного, как от тихой шутки. И я вижу, Он никого не осуждает из всех, что были, есть и будут. Он всех любит одинаково. Всех. Как так можно? Только так и можно. Да Он просто и есть источник любви, такой неисчерпаемый. Что бы мы ни делали, Он смотрит на нас с такой любовью, пониманием и чувством юмора. За всем, что происходит там, скрывается Его улыбка. Бог ли Он? Какая разница. Если бы мне знать

раньше, что меня так любят. И что ни за что не осудят. Удивительно, когда знаешь, что не осудят, как ни старайся, то и невозможно делать что-то плохое. Хочется в лепешку расшибиться, но стать лучше. Да мы, наверное, все знали, что Он нас ждет и наблюдает за нами, только забыли. Меня куда-то тянет, что это меня тянет? Я не хочу удаляться, я хочу остаться рядом с Тобой. Пожалуйста, не позволяй, чтобы меня уводили. Ты улыбаешься? Да, я понимаю, что Ты всегда рядом со мной. Как глупо, конечно же, Ты всегда рядом с нами. И я знаю, что опять к Тебе вернусь так близко. Какая нечаянная радость. Но меня позвали. Вот оно какое, мое имя. Я его уже не помню, это только звуки, но оказывается, я — эти звуки. Когда их произнесли, я вспомнила себя. Да-да, я уже не первый раз возвращаюсь по звуку своего имени, но раньше это было так мучительно. Меня раздирало, когда мое там и мое здесь старались наложиться друг на друга. Это была такая несостыковка. Сейчас же переход оказался плавным, я сразу оказалась посередине себя, отсюда просматриваются все проходы, которые я прорубила от себя к другим. Они тоже данность и всегда присутствуют со мной. Они перемещаются со мной всюду, где бы я ни оказалась, их топография и направление не меняются, хотя я и не всегда помню, кто присутствует на их другом конце. Можно пройти по ним и посмотреть, но это долгий путь, а можно и перебрать всех, кто приходит на ум, этот? — нет, не подходит, и этот нет, пока не узнаешь — ну, конечно, он, к нему проложено именно это мое чувство, и, возможно, удивишься — почему именно он, вот не ожидала. Но сейчас что-то прибавилось. Я, кажется, принесла за собой новые хвосты из тех мест, где побывала. Но я опять не помню, кто к ним привязан и где это случилось. Но ничего, успеет-

ся, разобраться бы с теми, кто здесь, пока все не перепуталось. Когда они начинают говорить, то сами становятся по местам. По голосу сразу можно определить, где у меня находится человек. По внешнему виду — не так-то просто. И еще одна странная закономерность — чем длиннее дорога, проложенная мной к другому, тем он ближе ко мне находится.

— А вы откуда ее знаете? — А что ты, сынок, так спрашиваешь? Не подхожу я вашей компании? — Ну почему, компания тут самая разношерстная. Просто я вначале подумал, что вы знакомый ее родителей, но вы сейчас так о ней сказали, что... — Да ты, сынок, не ревнуй, ничего у меня с ней не было. Хотя мысль такая была. Оттого я с ней и познакомился. Дело было не здесь, а в Греции — А значит, в позапрошлом году, летом. — Разве? А мне казалось, что уже давно. Да, ты прав. Она тогда рисовала на улице, я сразу понял, что из наших. Только наши такие наивные, думают, что в Афинах можно прожить рисованием. — Она ездила древности посмотреть, просто у нее период был такой, ей надо было развеяться. А вы там живете? — Сейчас я живу в Штатах, езжу туда-сюда по делам. А в Греции я тогда оказался не по своей воле, жизнь заставила. — Вот уж действительно, в первый раз слышу, чтоб жизнь заставила поехать в Грецию. Это что-то новенькое. — А у меня выхода другого не было. Я тогда крутил рискованные дела, ну и оказался в результате на Лубянке. Но я предусмотрительно втянул в это дело сына одного министра, я и начал все после знакомства с ним, увидел, что парень слабовольный и будет моим козырем, в случае чего папаша прикроет. Так оно и случилось, сели мы с ним вдвоем, шансов не было никаких. Оттого у всех челюсти отвисли, когда нам через два дня предложили с вещами на выход. Внизу нас ждала машина,

которая повезла оттуда прямо в аэропорт и на регистрацию, от греха подальше. У папаши времени было в обрез, наше дело лежало уже в папках наверху, поэтому он смог выбить визу только в Болгарию. Сам знаешь, наверное, что это такое. Курица — не птица, Болгария — не заграница. Дыра страшная. Я поошивался там месяц и понял, что полный безмазняк. Никаких крупных дел нельзя повернуть. Тут я страшно затосковал и решил, что нужно податься куда-нибудь. А куда? Назад сюда мне дороги не было, дело продолжало висеть. Единственная не скажу приличная, но более-менее путевая страна, граничащая с Болгарией, — Греция. Я подобрался к границе — там она через реку или через горы. Там, где разделено рекой, даже не охраняется. Я сам спортсмен, думал, переплыву. Но там сильное течение, я не добрался и до середины, понял, что не потяну, и вернулся обратно. А вот сухопутный путь был под мощной охраной. Я недели две ходил с биноклем — там холмы, было где скрыться, и изучил все их привычки, когда караул сменяется, кто слабак. Вычислил, что парень один халтурит, засыпает во время ночного дежурства. Другие всю ночь расхаживают, а этот прислонится к дереву и спит. Там местность хорошо просматривалась, негде было спрятаться, и только это дерево раскидистое стояло. На нем я и решил спрятаться и уйти, когда этот мой будет стоять на вахте. А забраться на дерево можно было тоже только ночью. Там несколько минут, пока они сменяются, никого под деревом не было. Знал, что жизнью рискую, но сидеть без дела в этой Болгарии не мог уже, хотя жили мы там неплохо, папаша деньги высылал аккуратно, чтоб сынок опять не набедокурил, каждый день по ресторанам, но эта жизнь не для меня. Я привык заниматься большими делами. Уговаривал и

сынка махнуть со мной, но у того кишка оказалась тонка. И хорошо, что он не пошел, подставил бы он меня, сопляк. Я и тогда это понимал, просто по доброте душевной предложил, чтоб не пропадал мальчишка в этой Болгарии. Ну, забрался я на дерево, еле успел, и устроился гадать до следующей ночи. — А нельзя было просто спрятаться поблизости и дожидаться, пока пограничник уснет? — Я тебе объясняю — там кругом все просматривалось, пока я бы добрался до моего пограничника, меня бы с других вышек заметили. А от того дерева был кратчайший путь, с той стороны вообще не охранялось, я проверил. Что ты думаешь, я лох какой? Ну в общем, просидел я целый день не шелохнувшись, уже самая малость оставалась до смены моего, но тут, чувствую, беда приключилась — в туалет захотелось, неумогу больше терпеть. — По-маленькому? — По-большому. По маленькому я и так ходил, когда они сменялись. А это ведь никак не скроешь. Я мужчина не хилый, сам видишь, а тут еще, видимо, от волнения, чувствую, что будет что-то такое, чего на дереве не упрячешь. Думал, стерплю, но мне аж плохо стало. Весь покрылся холодным потом, все, думаю, надо же, такой бесславный конец. Сижу, ничего уже не соображаю, жду только, когда все произойдет и смерть моя придет. И тут вдруг пограничник отошел в контору — смена подошла. Я быстро оправился прямо сверху, думаю, будь что будет, хоть не грязным помру. Тут подходит мой, естественно, вонь такая, он сразу заметил. Я уже поднял руки, жду, когда он наверх посмотрит. Гляжу, он что-то разволновался, затарахтел, побежал обратно в кутузку, наверх даже не смотрит. Тут он вернулся с остальными, показывает пальцем на предыдущего и орет как резаный. До меня допирает, что он обвиняет товарища своего, насрал, мол, на посту. Тот, ясное дело,

отпирается, но те ему в руки совок и веник, заставили убирать за собой и еще и нагоняй ему сделали. Так наверх и не догадались посмотреть. Я сижу еле живой, но мой быстро отрубился после праведного гнева, я спустился потихоньку и рванул через горы. К рассвету добрался до деревушки ближайшей. Думаю, что дальше делать, в кармане последние двести долларов, которые парнишка мне дал на дорогу, языка, кроме нашего, никакого не знаю, на поезд садиться — вдруг документы спросят. Деревня пограничная, всяко может быть. Тут вижу, такси стоит. Меня как осенило. Подошел, сел, Салоники, говорю, а сам не знаю, высадит или повезет. Шофер обрадовался, включил газ, едем. А греки народ болтливый, и начал он языком чесать. Я улыбаюсь, киваю, вроде бы понимаю. А ему что, лишь бы слушали, чешет дальше. Проезжаем какие-то мелкие их города, я приглядываюсь все и соображаю, что двери у них сквозные. Шофер останавливался сигареты покупать, я все раскумекал. Едем дальше, я уже не боюсь показать, что языка не знаю, — отъехали от границы, жестами показываю, чтоб остановился, в туалет, мол, хочу. Шофер стал, я вошел в переднюю дверь, вышел в заднюю, и давай делать ноги. А сам до этого как бы ненароком показал ему свои двести долларов, чтоб он не побоялся остановиться, деньги вперед не попросил. Ну а из того города я уже на поезде добрался до Салоников, а там и до Афин. — А чем вы там занимались? — Сынок, я погляжу, ты больно любопытный. — Да я так спросил. — Не бойсь, без дела не сидел. Ты не думай, я раньше в совке на киностудии работал, был на хорошем счету. — Да? А какая у вас специальность? — Вообще-то в молодости я закончил физкультурный институт, потом работал тренером в спортивной школе. И работал бы до сих пор, наверное,

и жил спокойно, если бы не приключился со мной случай. Знаешь, меня всегда тянуло путешествовать, а в молодости особенно. И в отпуск я обязательно куда-нибудь отправлялся, куда-нибудь на юга. Садился в поезд и брал с собой обязательно много пачек хорошего индийского чая. Я человек привередливый, а в поездах помнишь, какое пойло давали тогда. — И сейчас не лучше. — Про сейчас не знаю, давненько тут на поездах не ездил. Эх, молодость! Садился я в поезд и первым делом к проводнику, дарил ему несколько пачек, натура у меня широкая, и говорил — а вот эту пачку одну, браток, засыпь в котел, чтоб народ тоже нормального чаю попил, не жалея. И мы с тобой почеловечески попьем. Я всегда корешился с проводниками. Ну и тут, значит, ко мне полное доверие, я уже по-свойски сам подходил к котлу, дай, говорю, сам заварю чай, а то ты по натуре своей проводничкой, пожмотничаешь, даром что заварка халявная. Ну и, значит, вместе с заваркой кидал в котел снотворные таблетки. — Зачем? — А ты слушай дальше. Сидим мы с проводником, он говорит, давай выпьем, я говорю — нет, ты вначале разнеси людям чай, чтоб всем было хорошо. А пока он разносит, я и ему в стакан кидал таблетку — эти жлобы все одно себе отдельно заваривали. Ну и когда проводник засыпал, я брал у него связку ключей, наперво запирал двери между вагонами, чтоб соседний проводник не заглянул ненароком, и начинал шарить по купе. Обычно все спали — кто ж от индийского чаю откажется, а если не спал кто-то, я говорил: ой, извините, ошибся дверью, все и улыбаются — ничего, ничего — знают, что это я угостил весь вагон хорошим чаем, не пожалел. Ну я и иду дальше. Но редко было, чтоб кто не спал. А я и места все уже знал. Народ где прячет в поезде свои бумажники и

драгоценности — или под подушкой, или бабы обычно в белье нижнем. Так что я быстро справлялся с работой и на первой же станции выходил. Пока еще проводник и остальные проснутся, уже несколько станций проехали — ищи меня. И так я всегда оказывался в новом городе и отдыхал там. Обрато так же возвращался. Вот так однажды гулял я по незнакомому городу и вижу — мальчишка в реке тонет. А я хоть и не знаю, чей ребенок, все равно кинулся спасать — сердце у меня доброе. Я ж спортсмен, вытащил его на берег, народ собрался, я узнаю, что отец у него шишка большая в этом городе, а мальчишка у него четвертый ребенок, единственный сын, все рожал, мальчика хотел. Ну и тут же шестерка уже ко мне подлетает, пожалуйста, мол, и так далее. Ведут меня в кабинет к отцу, вижу — и впрямь шишка. Он меня спрашивает, кто, мол, и откуда, а я парень скромный был тогда, все так скромно отвечаю, что тренер и так далее. Тут смотрю, он выдвигает свой ящик стола — э, нет, думаю, так дешево от меня не отделаешься. Вы спасли жизнь моего сына, говорит, я хочу вас отблагодарить. Я так оскорбился, бросьте это, говорю и повернулся, чтобы уйти. Ну он зовет меня обратно и осторожно так спрашивает — вот вы мастер спорта и такой приличный молодой человек, не хотели бы вы дальше учиться? На курсах КГБ, например. Я аж расцвел и даже прослезился, знаете, говорю, это моя заветная мечта, я на такое и надеяться не мог. Он обнял меня, хороший ты парень, говорит, и написал телефон, будешь в своем городе, говорит, позвони по этому телефону, скажешь, что от меня. На том и распрощались. Я не стал время терять, поехал на следующий день домой. Выждал неделю, а потом звоню, говорю, я от такого-то, виделись мы с ним, просил вам привет передать, вот я вам и

звоню, до свиданья. А оттуда кричат, погодите, мы вас уже ждем, что вы так долго не звонили. Вас очень хорошо зарекомендовали, приходите к нам брать направление. Вот так я попал на курсы, отучился два года, вернулся в свой город, а я же по протекции такого человека и мне сразу — бамц и должность зама отделом, хотя по возрасту не полагалось. Я сразу смекнул, что на меня зуб за это все поимели, — я был младше всех своих подчиненных. Ну и стал я держаться такой тактики — честный и неподкупный молодой работник. Чую, что я им какие-то карты путал, и они не знают, как ко мне подобраться. Пробовали и так и сяк, а я по-прежнему скромный и вроде бы намеков не понимаю, а от взяток с достоинством так отказываюсь. А тут, значит, Восьмое марта и приходит ко мне начальство с цветами и подарками — духи французские и прочая дребедень дорогая. — К вам? — Ну я тогда уже женат был и ребенка имел. Ну мы их принимаем как полагается, на стол велел жене накрыть, а как им уходить, взял я все эти подарки и говорю: за цветы большое спасибо, а вот это лишнее, заберите. Жена попробовала что-то вякнуть — ну, знаешь баб, а я ей молчи, дура, и наотрез отказался брать, так и ушли ни с чем. А на следующий день ко мне начальник подходит и говорит, вот не знал, что у тебя беда такая с сыном. А ребенку моему уже два года было и он не двигался, паралич какой-то был. Как болезнь называется, спрашивает, ну, я ему говорю. Он обрадовался, говорит: так это же излечивается, у одного моего приятеля мальчишка тем же болел, отвезли к профессору в Москву, тот сделал операцию, теперь в футбол гоняет. Хочешь, пойдем с родителями поговорим, может, совет какой дадут. Ну я пошел, конечно, когда дело касается своего ребенка, чего не сделаешь. И правда, там мальчишка

бегает, отец его рассказал, какой профессор оперировал, хвалил очень. Ну и заодно сказал, сколько операция стоила — мою годовую зарплату. Выходим от них, и шеф мой говорит: не бери в голову, все устроим, дадим тебе денег в долг, надо ребенка вылечить. А хочешь, говорит, так забашляем профессора, что он сам из Москвы сюда прилетит оперировать. А как я с вами потом рассчитываться буду, спрашиваю. Мы же коллеги, говорит, разберемся. Пришел домой, рассказал жене, она на меня надела, соглашайся, говорит, а там чего-нибудь придумаем. Ну и шеф назавтра спрашивает: чего решил? Согласен, говорю. Вот и отлично, отвечает, а тебе о деньгах думать и не надо. Мы тебе просто бумаги будем приносить на подпись, а ты подписывай, не заглядывая, и ничего не будешь должен. Там, вышло, для их дел три подписи были нужны, моей им не хватало. Ну, стал я подписывать эти бумаги, не заглядывая, приносят мне, открывают, где расписаться и тут же уносят. Через пару месяцев они мне начали сами деньги давать за каждую подпись, с долгами, говорят, ты уже рассчитался, а это то, что тебе причитается. — А ребенка прооперировали? — Да, конечно, прилетел профессор, все чин чинарем, парень у меня уже взрослый, школу скоро заканчивает, выше меня вымахал. Ну, подписывал я так с год, а потом говорю: а можно я буду подписывать, заглядывая? Деваться им некуда, долги я вернул, мог бы уже отказаться подписывать, они поскрипели и согласились. И вот когда я заглянул: батюшки, в каких интересных делах я участвовал, ничего не зная. И стал я получать в десять раз больше. Но мой зам, который мне в отцы годился, затаил на меня зуб, что я через его голову поднялся, и, оказывается, сука, тайно все снимал. Я же вошел во вкус и не только подписи ставил, но и другими делами занимал-

ся. А у нас был такой смотровой зал, всякие фильмы засекреченные показывали, ну и, значит, очередной просмотр, при входе полагается сдавать оружие, уселись мы, включают, и вдруг, елки зеленые, я себя вижу на экране, скрытой камерой. Ну а куда денешься, оружия нет, тут ко мне два бугая подходят с наручниками, и я в первый раз загремел в тюрьгу. Но у меня до этой работы были кореша всякие, которые мне кое-чего понарасказали, так что теоретически я был подкован, знал, как себя поставить сразу, чтоб потом не было проблем. Знал, как к пахану с уважением подойти, как шестерок гонять. Был у меня страх, как бы не сделали меня петушком, тогда б я на себя руки наложил, но виду не подавал. Но все обошлось. Пахан меня заметил, я был в камере одним из самых уважаемых после пахана и авторитетов. Физически я крепкий, пахан стал мне поручать разборки. Но бил я с умом, не гонялся за удовольствием, не увлекался. Так только, чтобы боялись, ну а кого надо предупреждал, что вырублю с первого удара, чтоб долго не мучить, но чтоб он знал, что это я специально, для его же блага. Я уж подумывал, как мне самому в паханы пробраться, нужно было поддержкой заручиться. Но сволочей не щадил. Был там один подонок. Я поначалу его жалел, не знал, какой это змееныш. Он картами чересчур увлекался, проиграл, и нечем было платить. Привели его ко мне на суд, но понять-то его можно было, чисто по-человечески, а ребята потерпевшие ждут тоже, что я скажу. Я говорю: простите его на первый раз, если он в моем присутствии даст торжественную клятву больше не играть. А если нарушит зарок, обещаю вам сделать его петушком. Ребята согласились, что все по справедливости. Ну а этот козел не удержался, поигрывал тайком и снова проиграл. Привели его ко мне. Я говорю

всем — отойдите, я разберусь. Когда все отошли, я ему шепотом: хоть ты и мразь, да жалко мне тебя, сердце у меня доброе. Парень сам был головастый, письма за всех писал, думаю, мало ли на что еще пригодиться может. Но, говорю ему, делать нечего, я дал слово, если не выполню, сам буду пидер из-за тебя. Так что, говорю, клади руки на табуретку, я тебе их одним ударом сломаю, вроде бы не смог удержаться в гневе, и скажу, извините, ребята, погорячился, но он потерял сознание, не могу же я его такого пользоваться. А ты, говорю, если не потеряешь, прикинься. Ну и сделали мы так, и как ты думаешь, чем он мне отплатил за добро? Приходит ко мне раз жена на свидание и говорит: я письмо получила, что к тебе любовница ходит, получает свидание в те дни, когда меня нет. Я похолодел сначала, а потом нашелся. Рассмеялся так весело и говорю: вот какая ты молодец у меня. Я с твоей помощью спор выиграл. Какой спор, спрашивает. Да мы тут с ребятами поспорили, если написать такие письма всем женам, как они себя поведут. Я сказал — моя жена умница, она сцен мне делать не будет, а принесет мне письмо, и мы вместе посмеемся. Ты принесла его? — и продолжаю весело улыбаться. Она еще покосилась на меня и потом поверила, достала письмо, вот, говорит. Ну все, говорю ей, с твоей помощью я выиграл кучу денег, на следующем свидании дам тебе на хозяйство, все твое будет. А теперь я тебя за то, что ты такая у меня умница, сильно люблю. Говорю, а сам трясусь от ярости. Хоть все у нас тогда хорошо вышло, она ушла довольная, я сам еле дождался, когда она уйдет. По почерку я сразу понял, кто написал. — А что, он его не менял? — Не думал, наверное, что я письмо увижу. Вернулся я в камеру и говорю: иди-ка сюда, пидер, я дал слово ребятам, сейчас я при всех

сделаю тебя петушком. Вы все можете смотреть. И все, с тех пор ему вставляли все, кому не лень. Я сказал, что если хоть кому будет сопротивляться, чтоб ко мне лично обращались. — И долго вы сидели? — Дольше, чем рассчитывал. Но через два года вышел. Моего зама переехал грузовик нечаянно, сам понимаешь, других свидетелей больше не оказалось, мои ребята всем заплатили, и мое дело пересмотрели. Но на работу обратно я не попал, конечно. Но я устроился на теплое место в киностудии. — Сценаристом? — Сценарии я писал и пишу, но формально я числился водителем. — А на самом деле кем работали? — Я ж говорю — водителем, сынок, ты плохо соображаешь, что ли? Но я, в натуре, пользовался тем, что многие считали, будто я продолжаю в органах работать. Тоже крутил дела под шумок. Ведь у нас народ какой — если ты имел к органам отношение, ни за что не поверят, что ты больше их не касаешься. — А как же этим можно пользоваться? У нас народ ведь шугается, если прознает, что ты в органах. — А вот как, могу пример привести. На киностудию, сам знаешь, много всякого народу ходит, будь она ваша столичная или в дыре, как у нас. Вся элита там ошивается. То бишь ее детки, золотая молодежь. А я человек веселый, добрый, они знакомством со мной не брезговали. Я кофе умею хорошо заваривать, редко кто так может. Я вообще люблю, чтоб все было качественно, вкусно. И я не фраер, всех угощал от души, кто заходил. Все знали, что такой кофе ни в одном ресторане не подадут, и шли ко мне на чашечку и поболтать. Я так незаметно вызнавал за разговором, кто есть кто и почему. А потом действовал. И даже не слишком планировал, так, полагался на свою счастливую звезду. Иду как-то по улице, а навстречу чувишка, дочь одного очень видного босса. Я на нее давно виды имел,

а тут сама в руки идет. Я к ней сразу с ласковой улыбкой — вот, дочка, давно тебя не видать, забываешь дядьку пожилого — я из-за лысины старше всегда казался, ну и пользовался, чтоб легче в доверие втереться. Ну она, ясное дело: ой, да нет, да что вы. Я говорю: ну пошли тогда ко мне, кофейку попьешь, я тут рядом живу. Вижу, колеблется, говорю: ты небось и не знала, что я на кофейной гуще гадать умею? На работе-то я скрываю, а так все девчонки ко мне бегают погадать про женихов. Тут она сдалась, пришли ко мне, а у меня обстановочка, стереосистема, все как надо. — А жена? — Да я к тому времени развелся. Я, пока сидел, эта курва мне изменила. Уж я и деньги ей давал, жила как у Христа за пазухой, и три раза на неделе свиданку получала, у меня там все свои были ребята, и удовлетворял я ее каждый раз. Что, спрашивается, еще надо этим тварям? И ведь знала, что выйду — все руки-ноги переломаяю, как узнаю. А не узнать я не мог, мне тут же дружки сказали. Но пока сидел, молчал, только больно ей делал, вся в синяках уходила. А я, как вышел, первым делом этому пидеру позвонил, еще никто не знал, что я на свободе, только кореша, а родственники — ни-ни. Позвонил и говорю: нужно стрелку забить, тебе грамота и кусок из зоны — а у него двоюродный брат сидел, он вроде подумал, что от него. За мной, говорю, хвост может быть, так что встречаемся на пустыре. Ну обработал я его как следует и говорю, ну давай рассказывай, как все было, — а у меня магнитофон был включен. Ну он все рассказал, падла, подвывая, когда я не мог сдержаться, и все кровью своей поганой сплевывал. Как кончил он рассказ — подставляй жопу, говорю. Видел бы ты, как он на коленях ползал и руки мне целовал. Я говорю: тебе, пидер, раньше надо было думать, чью жену ты трогаешь. А

так я все одно свое дело сделаю, будешь ты с вышибленными мозгами или так дашь. И все, заметь, на кассету записываю. Кончил я это дело, а теперь соси, говорю. Ну и под конец прошелся по нему ногами и поехал домой. Эта змея ко мне с объятиями: ой, какое счастье, то да се. Раз счастье, говорю, накрывай на стол и сзывай всех родственников, родителей своих в первую голову. Приехали все, охи да ахи, садимся за стол, я говорю: внимание, я хочу вас, дорогие родители, поблагодарить за то, что за дочь свою хорошо присматривали, покуда меня не было рядом. Послушайте вначале эту музычку, и врубаю кассетник. С первых же слов она вскочила, сиди, говорю, курва, и хлебай до дна. Но ничего не скажу, тесть мой благородным оказался человеком, не смог вынести позора родной дочери, что воспитал такую змею, — умер через месяц от инфаркта от стыда. А вот теща, падла, до сих пор жива, но у баб ведь ни стыда ни совести. А я ушел на отдельную квартиру. Дети, я сказал, ни при чем, буду о них заботиться, а за тобой, сукой, мои люди будут следить, чтоб ты ни копейки из моих денег, что я на детей даю, на себя не потратила. Ей тоже досталось, она месяца три по больницам валялась с переломами, вот как только кассета кончилась, так я и приступил. Но все одно простить не смог. Так что жил я один, со всеми удобствами, ребята не забыли, что я сам сел, а их не заложил. Привел я ту девчонку к себе — о чем речь-то шла, усадил в кресло, врубил музычку, ты, говорю, послушай пока, а я кофе сделаю. Ну и подсыпал туда снотворного. Выпила она, я залил ей баки про женихов, про дальнюю дорогу да про завистливых подружек, которых опасаться надо и всю прочую пургу, я в этом деле мастак, гляжу, она уж и отрубилась. Я подождал еще маленько, чтоб уж верняк

был, потом раздел ее, сам разделся, достал фотоаппарат и начал щелкать. Всякие такие позы, сам понимаешь, а глаза она вроде от страсти закрыла, очень натурально вышло. Таблетку я ей дал не сильную, поэтому побыстрому, пока не очухалась, а потом одел ее и пошел на кухню и гремлю там посудой. Тут она встала, заходит ко мне и спрашивает: что это со мной, я спала, что ли? Я говорю: что ты, дочка, вот я гадал тебе, потом пошел посуду мыть, может, ты под музыку вздремнула за пять минут, пока я тут. Хочешь еще чего выпить, может? — спрашиваю. Она: ой, спасибо, мне пора. Выждал я какое-то время, и, когда она появилась на студии, а уже с полгода прошло, я ей говорю: хорошо, дочка, что ты появилась, у меня к тебе очень серьезное дело. Она: что такое? Да вот, говорю, ты, наверное, знаешь, в каком ведомстве я работаю? Так вот, поступили туда кой-какие бумаги, но я им пока не дал ходу. Я же знаю, что в принципе ты девчонка неплохая, потому не хочу тебе жизнь портить. Да если б только я один знал об этом, я бы просто уничтожил все, но, к сожалению, они попали в руки еще кой-кому до меня. Так что нужно срочно действия предпринимать. А она так хлопает глазами, мол, что такое. Я, говорю, дочка, думаю, что как ты увидишь, что такое, сразу перестанешь улыбаться. Дело очень серьезное. Приходи сегодня ко мне домой, объясню. Времени нельзя терять, если хочешь, конечно, по-хорошему чтоб все кончилось. Ну, пришла она как миленькая, я ей фотки показываю, вот, говорю, принес один деятель нам в учреждение, знает, кто у тебя отец, и хочет его через тебя опорочить. Вот уж не ожидал от тебя, дочка, говорю. Хоть с кем это ты, знаешь? Даже, говорит, не могу предположить. До чего ж, ужасаюсь я, ты дошла, дочка, что даже не знаешь, с кем это могло быть. Если б ты назвала этого

негодяя, мы бы за него взялись, и, может, дело б само замялось. Сколько ж их у тебя было, что ты не знаешь, с кем ты? Тут она давай рыдать, ну ладно, говорю, это твои дела, но выход у нас остается один. Если ты не хочешь, чтоб эти фотки в руки к твоему отцу попали или в печать, сама понимаешь, замуж тогда тебя никто не возьмет, ты должна с умом действовать. Вначале мужик этот, который фотки принес, ни о чем слушать не хотел, так ему втемяшилось отца твоего по миру пустить, но я его уломал, долго просил за тебя. Но он, падла, знает наперечет все твои драгоценности, и согласился только на такой вариант: ты приносишь ему все, что у тебя есть, а он отдает негативы. И деньгами, конечно, чтоб моих сотрудников, которые тоже фотки видели, отмазать. Так что выход у тебя один, надень все свои драгоценности, скажи дома, что к подружке на день рождения идешь, а потом вернешься домой и скажешь, что тебя на улице ограбили. Я тебя подробно научу, что говорить, какие приметы, в каком месте, а иначе — каюк. И сделаешь это завтра же. — Ну и как? — Что как? Конечно, принесла все. И деньгами, сколько смогла. А смогла немало. Почти кусок вышел по тем временам. — Как же вы могли сделать такое? — Ты, сынок, не расстраивайся, она заслужила. Девчонка была гулящая и вообще нехорошая. — Да как же... Вы говорите, вы в Греции с ней познакомились? Не представляю, как вам удалось. — Ты, сынок, следи за базаром, а то ведь и ответить можно. Я ж тебе сказал уже, что с ней у меня ничего не было. Я в то время без бабок сидел, что я ей мог предложить? — Неужели вы думаете, что она за бабки... — Сынок, все они за бабки готовы. Знаешь анекдот? Английский министр рассуждает: все женщины продажны, главное, знать их цену. Королева спрашивает: как, даже английская королева?

Министр: даже английская королева. Ну и как вы думаете, сколько я стою? Министр: тысячу фунтов. — Как, всего тысячу фунтов за королеву Англии? Министр: ну вот видите, мадам, вы уже торгуетесь. — Ну, знаете... — Я поначалу вообще не хотел с ней связываться, если начистоту — одна головная боль, тех бабок, на которые она тянула, мне еще долго не светило, и она сама без гроша, что мне с ней было делать. Но тут я с одним фраерком познакомился, у которого куры денег не клевали. У меня компьютер сразу заработал, вижу — парень — рохляк, с его возможностями мается без баб, не умеет к ним подойти. Думал, сведу я их, и девчонке будет хорошо, с таким фраером будет как сыр в масле кататься, и с фраером скорешусь, отстегнет мне на благодарностях, да и дальше им можно будет помыкать, особо если с ней на пару, да и она, сразу видно, с понятиями, за то, что я ее на такую жилу вывел, отблагодарила бы. В общем, полный был бы ажур, если б дело сладилось. Но она дала задний ход, хотя фраер уже стоял по стройке «смирно», в полной боевой готовности. Струхнула, может, хотя чего бы бояться. Да и она не робкого вроде десятку была. Я ей прямо так и говорил: во всех Афинах ты единственный настоящий мужик, я бы с тобой пошел на любое дело. Я и предлагал ей всякие варианты, ну, думаю, с фраером не хочет, можно за другие дела взяться. Там лох один намечался, которого с ее помощью на пару кусков баксов можно было кинуть, но она опять не согласилась. Она, наверное, сумасшедшая была, хотя грех такое говорить о покойнице, — за просто так она в такие переделки влезала, а с выгодой не соглашалась. — Вы уж простите, я пойду покурю. — Ты слышал, что тот мужик гонит? — Да нажрался небось, сочиняет. — Отчего же, вроде все грамотно балакает. — Да-а, слушай. Ты

когда-нибудь имел дело с органами? — Бог миловал. — А вот я имел. Так люди там, скажу тебе, пограмотней нашей профессуры будут. — Да брось брехать. — Сукой буду. Причем не в Москве, а в глухомани, в дыре, где мои предки живут. — Да брось ты. А чего это они вдруг там тобой заинтересовались? — Летом дело было. Я решил на каникулах съездить на шабашку, обещали вроде ребята, но потом сорвалось. Ну а я пока ждал, как дело решится, ошивался у родителей. А там из приличных людей, с которыми поговорить можно, только два моих одноклассника были. Один бросил Питерский университет, потому что родители очень старые и больные у него были — отцу за восемьдесят и некому было за ними присматривать, и устроился сторожем ночным на базе, а второй ушел из Московского университета после того как в психушку попал, решил с годик у мамы на домашних пирогах окрепнуть. Ну и естественно, мы каждую ночь коротали в сторожке, общались, а в основном «голоса» слушали, тогда еще нельзя было, и чифирем баловались. Ну и книги всякие разные я у них брал почитать. Они в столицах с диссидентами тусовались, много интересных книг приобрели, а еще тогда они из первых сообразили, ходили и ездили по окрестным заброшенным деревням — тогда же деревеньки в средней полосе вымирали, только несколько древних старух оставалось по избам — и рылись по чердакам или у старушек выкупали, очень много ценных книг нашли и икон. Вот я и брал у них почитать, а моя мать решила, что они меня развращают, вредные книги дают — она в мое отсутствие рылась в них, ничего, конечно, не поняла, только что там про Бога пишут и могут меня сбить с истинного пути. Знаешь, какое воспитание их поколение получило, не она одна так думала. Она меня увещевала все, потом

поняла, что сама ничего не добьется и по наивности пошла в гэбуху. Они ей говорят, напишите заявление, она и написала, я сам видел, что прошу оградить моего сына от тлетворного влияния друзей, которые дают ему книги про Бога читать и прочую антисоветчину. Тут они за нас взялись, им тоже там небось скучно было, интеллигенции почти никакой нет у нас, так вот наши гэбэшники и развернулись в полный рост. Установили в сторожке подслушивающую и записывающую аппаратуру, как потом выяснилось. А потом у них фантазия заработала — собираются каждую ночь три мужика, водку не пьют, баб не водят, о политике говорят не больше, чем остальные, хоть «голоса» и слушают. Вроде вывод сам собой напрашивается. Тут к нам начал пацан один захаживать на огонек — лет двенадцати, из неблагополучной семьи — мать пьет, гуляет, отца нет, второгодник беспризорный. Мы его спрашиваем, чего тебе от нас надо, он расписывает свою ситуацию, просит: дяденьки, не гоните, мамка сейчас с мужиком, у нас одна комната, велела на глаза не показываться, а то прибьет. Ну мы давай его жалеть, чаем поить, разговоры с ним разговаривать. И как дураки даже не задумываемся, откуда у двоечника возникают такие политически подкованные вопросы, откуда такие знания о современном положении в мире. Наоборот, радуемся — не перевелись еще богатыри на земле русской, ум народный неистребим природный. Мы ему все толково разъясняем, советуем, что почитать, примеры приводим. Только просили после полуночи у нас не задерживаться, все-таки какой-то инстинкт самосохранения у нас оставался. К двенадцати мы его прогоняли, в школу не встанешь, говорили. Мальчишка хныкал, мы списывали на его нервность, трудную жизнь. И вот раз мы его выгоняем, он ни в какую, друг мой на него топнул, пацан —

в крик, орет, как будто его режут. Тут к нам в дверь начинают ломиться. То ли они за дверью слушали, то ли через свое устройство, но среагировали моментально. Но вряд ли, конечно, за дверью, мы раньше, когда мальчишку спроваживали, выводили его через ворота, никого не замечали. Вот мы и решили, что аппаратуру нам вставили, городок-то маленький, гэбуха за углом была, в трех шагах. Вваливаются они и сразу — что вы с ребенком сделали в такое время, немедленно все едем с нами на медицинское освидетельствование. Пацана спрашивают — они над тобой что-нибудь сделали, а тот сопли по лицу размазывает, глядит на нас испорченным взглядом и говорит, да, надругались. Они его фальшиво вроде по голове гладят, а сами видно, что брезгают. Повязали нас всех, посадили в машину, поехали в больницу. Хорошо, что дежурный врач честный оказался, хоть они на него и давили, мол, точно знаем со слов ребенка, что-то было, но тот говорит — следов насилия не обнаружено. Но тоже поддался — и нашим и вашим, готов признать, говорит, что у ребенка наблюдается шоковое состояние, возможно, после психологического потрясения. Ну эти говорят, понятно, мы вам помешали, просто не успели вы совратить малолетнего. Но намеревались. Статья сто тридцать восьмая, знаете, наверное. Пока свободны, ждите повестки, а сейчас, будьте добры, подписку о невыезде. И прекратить ночные сборища, мы за вами будем следить. — Во дают! — А ты думал. Но это еще что. На следующий день нам повестки приходят — к такому-то часу, конкретно к десяти утра, явиться по такому адресу. Мы за собой вины не знаем, приходим, думаем, сейчас разберемся. Час сидим, два, три, никому до нас нет дела. А нервы, знаешь, в такой обстановке, между собой боимся переговариваться. Потом одного вызва-

ли, нам говорят: а вы сидите, ждите. Ждем еще два часа, думаем, что ж они там с ним делают. Потом второго вызвали, столько же пытали, потом меня. Потом мы сверились, всех об одном спрашивали — что вы с мальчиком делали, почему он к вам ходил, зачем привораживали, если в мыслях ничего не было, почему собираетесь по ночам и так далее. Мы уже думали, все выяснили, ан нет, на следующий день опять пригласили. — Да вы бы не пошли, и все дела. — Как это, мы подписку о невыезде давали. А потом они угрожали по-всякому. Например, одному, у которого престарелые родители, они сказали, что из-за него родители не получают новую двухкомнатную квартиру, за которой они уже лет двадцать в очереди стояли. Он еще специально к ним приехал прописаться, чтобы дали побольше площадь. А жили они в полуподвальной квартире, в комнате одной, все продувало, протекало. А и отец и мать у него были герои войны. Там и познакомились. Вот они и давили на его сыновние чувства. Надо сказать, быстро они нащупали у каждого его слабые места. Второму приятелю они говорили: думаешь, выписался из психушки и с концами? Знаешь, наверное, что бывают еще и спецпсихушки? — Сгноим. А мне намекнули, что вся заваруха из-за меня началась, и если я вздумаю уехать — а я мог ведь запросто, я был прописан по месту учебы, — то они за меня накажут двух моих товарищей. И вот месяц мы буквально каждый день ходили, как на заклятие. Они продолжали издеваться, заставляли опять подолгу ждать, пока уже все нервы истреплются, потом вызывали поодиночке. И вот что мы еще заметили по общим наблюдениям: действовали они прямо по Достоевскому: один добрый вроде следователь, второй — злой. Добрый беседы с нами ведет, убедить пытается, с наших же позиций. Вот почему вы

думаете — на «вы» обращается — что то-то обстоит так-то? Ведь по этому поводу еще Кьеркегор говорил то-то и бац! — цитату, а Шестов отмечал то-то, а Зиновьев считает, что так. А вот исходя из Кантовой вещи в себе выходит то-то, а вот такую-то статью Штейнера знаете? нет? ну как же так, там вот об этом прямо написано. Выходило, что они больше нас читали запрещенной литературы. И аргументы умели привести. Не знаю, где они обучались, но в какой-то момент я позавидовал даже, думал, может, в гэбэшники пойти, проблем не будет, где книги достать. — Ага, я б в гэбэшники пошел, пусть меня научат. — Ну так, на минуту мысль мелькнула. Так что тот мужик присочинил, он на этот уровень не тянет. Хотя потом включался второй следователь, он как рявкнет и матом, мол, что ты с ним сопли разводить. И на «ты»: а ну-ка, так тебя перетак, давай все выкладывай, и прет все на тебя, страшно, кажется, что сейчас по морде врежет, еле сдерживается. А первый вроде его успокаивает и опять вежливо: согласитесь, что вы не правы. — Как же вам удалось оттуда ноги унести? — Пришлось всякие бумаги подписывать. — Какие бумаги? — Ну вроде того, что рассказываемся, были не правы, сожалеем, пересмотрим наши взгляды. А тому, у которого родители больные, пришлось статью в районной газете своим именем подписывать. — Какую еще статью? — Ну какую-какую — покаянную. — Да, дела. — Вы простите, пожалуйста, молодые люди, что я встречаю, но слушала вас, и, честное слово, уши вянут. Ну что ж вы за мужики. Вот из-за таких, как вы, они и нагтели. — Я тут вообще ни при чем. — Ну ваш собеседник. А вы его с сочувствием слушаете, вроде бы оправдываете. — Ну а что они могли сделать, вы же слышали все. — Как что? Мужики вы или кто? Но ваше дело, конечно, если вы хотите как

овечки идти на заклание, какого черта вы потом жалуетесь, что оказались на бойне? — Слушай, ну чего ты на людей наезжаешь? Пусть живут как хотят. — Нет, погодите, погодите, девушка, я хотел бы посмотреть на вас, если бы вы оказались в подобной ситуации. Как бы вы себя вели, а? — Да уж не волнуйтесь за меня, я уже оказывалась в такой ситуации. — Ну и как? Вы отказались идти к ним на прием? Или пошли и вступили с ними в рукопашную? — Вы необычайно остроумны, молодой человек. Я бы даже сказала, что ваше чувство юмора прямо пропорционально вашему мужеству. Мне посчастливилось также слышать, как вы с тем пьяным придурком разговаривали и как подобострастно себя вели. — Ну, знаете ли, это уже слишком. Я бы вас попросил... — Вы уже попросили рассказать, как я себя вела. Можно я пока удовлетворю вашу первую просьбу? — Был бы чрезвычайно признателен. — Так вот, это случилось в те незапамятные времена, когда я училась в университете и одновременно устроилась работать дворником, чтобы получить московскую прописку. Вы, наверное, помните еще, что за это давали комнату в коммуналке. — Ну как не помнить эти романтические, ностальгические дали, все эти дворнички, котельные. Оттуда вышли все наши непризнанные гении, кстати говоря, весьма умело делающие сейчас карьеру на своей былой непризнанности. — Ну а вы в это время, очевидно, сидели за папенькиной спиной и никакой карьеры не делали. Впрочем, не о том речь. Но тогда у меня собирались всякие разные люди, в том числе и те, о которых вы так уничижительно отозвались. И хотя тогда они никуда на своей карьере выезжать не собирались, поскольку ее у них еще не было, органы ваши ими весьма интересовались. — Вы простите, ради Бога, но мои органы интересуются исклю-

чительно молодыми симпатичными девушками, по возможности безмозглыми, на все остальные категории населения они никак не реагируют, а при виде гениев так вообще опадают. — Орел, аж прямо залюбуешься. Что ж вы с тем типом язык проглотили? — Слушай, не надо, ладно? Ты лучше расскажи, что у тебя там было, я и не знал, что они тобой занимались. — Ну это был эпизод, я же не придаю всему этому видимость мученического ореола, как некоторые. Ну просто почему я вначале облажалась, у меня был знакомый один, стебальщик, такой хромой, помнишь? — А, ну да. — Ну так вот он меня регулярно обстебывал, звонил и говорил: «Вас вызывают в кагэбе». Я уже и привыкла. И вот когда позвонили и представились: «Майор такой-то, не помню, Моськин, мы бы хотели с вами побеседовать». Я и говорю: «Слушай, кончай дурака валять, надоело». А он мне: «Простите, не понял?» Я и говорю: «Вот когда поймешь, тогда и звони», и бросила трубку. А он мне звонит снова и снова. Я ему: «Слушай, пошел ты на фиг, надоело!» А он мне: «Девушка, с вами не шутят». Ах, не шутят? Ну раз вы такой крутой из КГБ, то фигли мне звоните? Пришлите мне повестку. Он: «Хотите повесточку? Пожалуйста». На следующий день открываю почтовый ящик, елки-палки, повестка лежит, явиться завтра на Лубянку. Я чуть не обосралась. Что же делать, думаю. Ну и придумала. Одолжила у соседки такой застиранный байковый халат домашний, у слесаря из управдома такой настоящий ватник заляпанный, валенки у кого-то там нашла, сплела какие-то куцые косички из волос, чтоб как-то замаскировать бритый затылок, обвязалась пуховым платком до бровей, только хвостики косичек наружу, стою при полном наряде, хочу выйти, в дверь звонят. Открываю, один приятель мой стоит. Посмотрел на меня очумело и вдруг спра-

шивает, дома ли я. Нет, говорю, ее нету. А, простите, и хотел уйти. Тут я своим натуральным голосом говорю вслед: «Ну заходи, коль пришел». Он обернулся, смотрит мне за спину, а там никого нет. Тут он мне робко так: «Но вы же сказали, что ее нет дома?» Я спрашиваю, ты что, вправду не узнал? Он так присмотрелся: «Ты, что ли? Зачем ты так вырядилась?» Но мне уже трепаться было некогда, я опаздывала. Пришла я туда, охранник в приемной смотрит с таким подозрением — что еще за чмо такое позорное сюда явилось? «Вам куда? — спрашивает, — вы наверное дверью ошиблись». Нет, говорю, милоч, мне сюда, вот видите, повесточка. Он даже повестке не поверил, позвонил по телефону: такую-то ждете? А ему там, видимо, с раздражением отвечают, чего лишние вопросы задаешь, коли тебе повестку показали. Прямо по его лицу вижу, что отчитали. Ну он мне говорит: проходите, провожает до комнаты. Захожу, у следователя тоже лицо вытягивается, думает, может, однофамилица. Думает, неужто мы так опростоволосились, эдакую дурынду к себе вызвали. Уточняет все, я ли это. Я ему так жизнерадостно: да я же, кто ж еще. Вот всегда интересовалась, как Лубянка изнутри выглядит, теперь вот довелось увидеть. Сама трясусь, думаю, ну не совсем же охломонны тут сидят, вдруг фальшь почувствуют. Но я прямо перед выходом стакан грохнула для храбрости, а потом еще психология одежды. Для меня, как для любой нормальной бабы, достаточно соответственно одеться, чтобы войти в образ. Ну, продолжаю я под чучело огородное косить, под эдакую тетю-мотю, все так радуюсь его вопросам, старательно отвечаю, следствию пытаюсь помочь. А тот чем дальше, тем больше сникает, что они так облажались, с такой мымрой позорной связались. Он мне все вопросы наводящие задает, расколоть про-

бует. Завел речь о валюте. А как же, говорю, доллары, знаю. Он обрадовался: «А, значит, знаете, что это такое?» Я обиделась аж, конечно, говорю, знаю, чай не в деревне живу. И что, говорит, видели? Конечно, говорю, видела. Мы тоже небось телевизор смотрим. Да и люди рассказывали, что на них портреты всякие ихних президентов. Вот как, говорит, а кто же вам рассказывал? Да все, говорю, у нас народ образованный. Ну кто же? — А вот слесарь дядя Вася, к примеру. А вот, говорит, к вам люди разные ходят, мы слышали. Они тоже рассказывали? Наверное, рассказывали, говорю, а как же. Кто ж не знает, что на долларах нарисовано. А что они еще рассказывали? — спрашивает. Да мы особо разговоры не разговариваем, товарищ майор, говорю. Он: я не майор, а капитан. А, говорю, а где ж майор тот, что по телефону мне все названивал? Вы лучше, говорит, ответьте на мой вопрос, о чем вы разговариваете еще. А мы все, говорю, больше водочку пьем. Вот вы бы, товарищ майор, ой, простите, капитан, помахали бы с наше на морозе лопатой, вам бы тоже было б не до разговоров. Одни мысли, чтоб поскорее согреться. Ну и клюнули они на мою наживку. Я все болтаю и болтаю, а он уже и не знает, как меня выпроводить. И под конец взял с меня обещание, что если что услышу подозрительное, им бы доложила — решил с паршивой овцы хоть шерсти клок. — А ты что? — Ну конечно, поклялась, что как только, так сразу, прямо к нему приду и сообщу. Вы только, говорю, предупредите вашего часового, чтоб он меня сразу к вам впустил, а то, говорю, пришла с повесткой, и такое безобразие прямо, не хотел впускать. Расставались мы с ним сердечно. Он меня почти вытолкал. — *Значит, не больно вы им нужны были. Из-за кого-то другого вас вызывали. — Уметь просто надо с ними обращаться!* — Ну,

конечно, вы одна такая умная на всю страну. А остальные, что им в лапы попадали, все лохи, наверное, были. — Да уж наверное. — А чем вы сейчас занимаетесь, позвольте поинтересоваться? Все с вашей находчивостью в дворниках сидите? — В дворниках я уже давно не сижу. Как, впрочем, и в этой стране. Вот сейчас впервые за пять лет здесь оказалась. И то не совсем по своей воле, а больше в виде дружеской услуги. — Это кому, ей, что ли, вы оказываете услугу своим посещением? — Да как вам не стыдно? С ней я там как раз познакомилась, когда она автостопом по европам каталась, она жила у меня какое-то время. Вообще это не в моих правилах, привечать у себя всякий сброд отсюда, я уже с ними нахлебалась достаточно, как поселятся, потом не выставишь, только с обидами и руганью, а потом приходят счета на телефон, из-за которых я месяцами голодаю. А ее я пустила сразу, видно было, что ненапряжная, а потом мне ее работы понравились, это самое главное. Ненавижу, когда люди горазды только языком чесать, а как до дела доходит — оказываются полным нулем. Это вот тоже наша характерная черта. Она была не из таких. Я только одно не могла понять, почему она там не осталась, чего ее сюда тянуло. Я считаю, что художнику лучше там жить. — Да у нее вроде здесь любовь была. — Я вас умоляю. Лучше б уж ее любовь перебралась туда, если он ее достаточно для этого любил. А нет — так и хрен с этой любовью. Я считаю, что там с ней этого бы не случилось. — Ну знаете, чему бывать — того не миновать. — Не знаю, я не фаталистка. Я считаю, что не обстоятельства нами управляют, а мы обстоятельствами. Если пожелаем, конечно. — Ну вот вы только что сказали, что не по своей воле здесь оказались. Это как прикажете понимать? — Ну не то чтобы совсем не по своей

воле. Сама не захотела бы, то не приехала. Никто надо мной не властен. А тут совпало, что другу надо помочь, и он взялся мне дорогу на самолете оплатить. Ну, думаю, почему бы и нет, заодно и погляжу, что здесь творится. — О, вот мне бы такого друга, чтоб самолет оплатил туда и обратно. Я б ему тоже помог. Он русский? — Нет, он иностранец. И вы бы с его поручением не справились, мне уже понятно. — Что же за поручение такое, если не секрет? — Не то, что вы подумали. Его угораздило жениться здесь на совсем молодой русской девчонке. Чем-то она задела его за живое. Он такой суровый мужчина, ему уже за сорок, и он ни разу еще не был женат. А тут раскис. Решил, что должен ее спасать. — Ну это чисто по-русски. — Ну почему, за границей тоже почитывают Достоевского. Вот они уже полгода как поженились, он уехал и прислал ей визу тут же, и все это время бегаёт, звонит ей, она объясняет, что какие-то очереди у посольства, надо в шесть утра каждый день отмечаться, и что, если день пропустишь, опять все по новой. Я сразу поняла, что она ему мозги пудрит, небось бухает каждый Божий день в компашках своих, а по утрам задницу лень оторвать от койки. — Но дела и правда так обстоят, с посольствами сейчас полный улет. Все вдруг резко за-собирались на Запад. Вот они и не будь дураки, сами железный занавес решили воздвигнуть. — Да что вы мне мозги компостируете? Я прилетела, первым делом разыскала эту девчонку, так, говорю, завтра рано утром встречаемся у посольства, вы в тот же день получите визу, у вас остается два дня на сборы и прощайтесь со всеми. Только смотрите — не опаздывать. Она: «а, мя, вя» — это невозможно и так далее. Я говорю: делайте то, что я сказала, ровно в девять утра жду вас у посольства. Приезжаю, а там и правда очередь длинная стоит,

у всех рожи мрачные. А я надела такую шляпку, длинные лайковые перчатки, такое пальто-распахайку, прямо гранд-дама какая. Я говорю: так, дайте мне все ваши бумаги и не отставайте. Она: а как же, надо очередь занять. Я плюнула и таким решительным шагом направилась к охраннику, очередь даже вякнуть не успела. И начинаю чесать по-английски, охранник, сразу видно, не очень рубит, и так по-деловому объясняю, что мне нужно пройти, с видом, не допускающим возражений. Он растерялся, а я прохожу, иду, там девушке сидящей опять по-английски говорю, что мне срочно нужен посол. Она мне робко: может, я смогу вам чем-то помочь? Может, и сможете, говорю, хотя я такого безобразия уже давно не видела. А в чем дело? — она, испуганно. Ну я там целую речь о том, что жена к мужу не может выехать, ей чинят всякие препятствия, и чиновникам посольства придется отвечать, и все в этом духе. Только сделала паузу, чтоб передохнуть, она мне: а где ее документы? Вот, говорю, и даю ей. Тут она очень извиняется и спрашивает, а нельзя ли ей видеть саму владелицу, вы не подумайте, что это опять отговорки, просто так принято. Я говорю: сейчас будет. Опять мчусь мимо охранника, смотрю — ее нет. А я ведь сказала — стоять на месте. Кричу, зову ее по имени, тут она откуда-то выплывает. В чем дело, спрашиваю. А я, говорит, пошла очередь занять. Тут очередь, конечно, начинает реплики отпускать, еще немного и попрут на нас. Я быстро хватаю ее за шкурку и затаскиваю в посольство, волоку к той девушке: вот она, говорю. Ну и ей тут же дали визу, как я предупреждала, а она, естественно, еще и не думала собираться. Ой, я думала, говорит, ничего не получится. В чем дело, я же вас предупреждала? Даю вам один день на сборы, я обещала вашему мужу вас привезти и я это сделаю.

Чтоб завтра вы были готовы, я полечу вместе с вами. Но тут я позвонила и узнала, что такая история приключилась. Тогда я той сказала: завтра я иду на похороны моей подруги, так что вам еще один день выпал. Закончите все свои дела, вылетаем послезавтра. Но вот, конечно, кошмар то, что случилось, я до сих пор не могу опомниться. Вот о ком угодно могла предположить, что они выкинут такой фортель, но только не о ней. Ей бы еще жить да жить. — Ну а как вам Россия показалась после стольких лет отсутствия? — Ужасно. Просто ужасно. — А что так? — Да как вам сказать. Мои знакомые, которые раньше сидели за торговлю валютой, теперь занимаются этим официально и называются новыми русскими. И вот они сейчас и диктуют правила игры, задают тон. Да мне и вообще вся эта атмосфера не понравилась, уже с аэропорта, только вышла из самолета в Шереметьеве, чувствую — все вокруг прямо провоняло страхом и унижением. Знаешь, я раньше думала, что этот кошмарный сон только меня преследует, а потом поговорила с людьми — он снится каждому второму, кто там живет, даже каждым трем с половиной из четырех — что ты оказался здесь, на родине, чувствуешь, что вокруг все сгущается, думаешь — как это меня угораздило сюда вернуться, хочешь сделать ноги, тут к тебе мент подваливает или что-то в этом роде и говорит: «Все, хана тебе. Не хрен было возвращаться. А теперь пройдемся». Вот в аэропорту я уже почувствовала, что в этот свой сон попала. И пока не выберусь, меня эта тревога не оставит. — Вот мы живем — и ничего. — Ну и живите на здоровье, я вам разве что говорю. Как в том анекдоте про лягушек: «Это наша родина, сынок». Мне здесь не по себе. — А там нравится. — А там нравится. — Так, может, лучше все же остаться на родине, высушить

болото из вашего анекдота и развести цветущий сад, чем сваливать в сады, не нами и не нашими предками возделанные? — А зачем же осушать болота? Как известно, от этого нарушается природный баланс, да и лягушки тогда вымрут, а они тоже имеют право на существование. — Значит, здешние обитатели — лягушки, да? — Ну почему только лягушки? На болотах еще обитают цапли, к которым у меня нет претензий с эстетической точки зрения, затем всякая мошकारа. И только на болотах распускаются самые прекрасные в мире лилии. Но мне от этого не легче. Я сухопутное животное. Если вам это согреет душу, можете называть меня горной козлицей. Но жить я здесь не могу. И хватит с России всяких революций и переустройств. Пусть она живет, как ей нравится. А я хочу жить так, как нравится мне. И, по-моему, уже не популярно называть всех, кто уехал отсюда, предателями. Кого они предали — вас? Они не мешают вам жить, более того, освободили для вас пространство. Это лучшее из того, что один человек может сделать другому. — Но вы же здесь родились! Значит, тоже имеете отношение к этому болоту. — Я и не отрицаю, что имею. Но если даже взять известных русских людей, о которых есть информация как и что, то кто из них умер там, где родился? Только единичные исключения. — Так тогда же время было другое! — Да при чем тут время? Время всегда другое. Многие и из России не выезжали, а умерли в другом городе. Вот Пушкин умер не там, где родился. И Хлебников, о котором я писала диплом, родился в Астраханской губернии, а умер в Новгородской. — Вот видите, но Россию они не покидали! — Еще бы, их ведь держали такими цепями. Пушкин, как известно, всю жизнь рвался отсюда. Вот я не хочу, чтоб со мной так было. Это типичная российская лажа со свободой. Я

предпочитаю жить в других странах с другой лажей — везде она своя, но чтоб со свободой все было в ажуре. Вы читали Чаадаева? Когда еще человек писал, а ничего не изменилось. — Так ведь свобода должна быть внутри вас, а не снаружи. Вы можете сидеть в Соловках и чувствовать себя свободной. — Тут я с вами соглашусь, но все же я предпочитаю жить в Европе и там чувствовать себя свободной. А о чем мы спорим? Вы сделали свой выбор — если, конечно, вы его сделали, а не живете тут по инерции, а я сделала свой. Честь нам и слава, давайте пожмем друг другу руки и разоидемся. *У меня, может, предназначение такое. Я сама из Сибири, из глухой деревушки. Так моя бабушка, которая была местной ведьмой, все детство называла меня не иначе как «Дама из Амстердама». Как в воду глядела. Если б меня спросили, я, может, предпочла бы в Лондоне жить, с английским у меня полный порядок, но вот попала в Амстердам да так там и осталась.* У нас в Голландии есть один музей в Роттердаме. Так вот, там в разгар инквизиции жил один священник. Самые дальновидные стекались к нему со всей Европы, чтобы заpastись справкой, что они не ведьмы и не колдуны. Там, когда шли процессы над ведьмами, людей взвешивали на специальных весах, которые показывали, что они весят не больше килограмма. Это была, конечно, пустая формальность, но у нас ведь тоже не просто так расстреливали и ссылали, шло следствие, дознание, и человек собственноручно подписывался под показаниями. Но там была такая тонкость — если человек уже успел взвеситься и какой-нибудь священнослужитель расписался, что вес нормальный, сорок два, пятьдесят или сколько там надо, килограммов, то кранты, уже ничего нельзя было поделать. И вот люди прослышали про такое дело, и самые умные приезжали в этот горо-

док за справкой, а многие так и оседали в Голландии. Поэтому, если чувствуешь, что тебе где-то не место, то нужно валить, не оглядываясь. — Ага, как крысы с тонущего корабля. — Боже, как примитивно. И в чем эти несчастные крысы виноваты? Они должны были героически погибнуть вместе с экипажем? Да члены экипажа небось не упускали случая запустить в них чем-нибудь тяжелым и жалели, что не прикончили с первого удара. Так что пример хоть и избитый, но неудачный. А потом, я говорю не о выгоде какой-то, это банально, о выгоде думают новые русские и неплохо здесь устроились. Я считаю, что человека ведет судьба, и нужно ей следовать. Неизвестно, к чему она тебя приведет, но чувствуешь, что по-другому не можешь. Цветаева ведь тоже умерла в Елабуге, хотя могла в Париже. — Я вижу, вам новые русские покоя не дают. — А мне-то что? Только смешные они. Нарожали кучу детей почти одновременно от разных теток. Я им говорю: «Как вы свое новорусское наследство потом делить собираетесь?» А они говорят типа: теток на фиг, а детей заберем себе. Все это для меня дико звучит. А самое забавное, что все эти барышни довольны, готовы рожать по десятку детей в день, стирать, варить, лишь бы их содержали и покупали дорогие висюльки. Колечко с бриллиантиком или сережки с бриллиантиком, как они любят говорить. Для них это мера любви и благополучия. Все сравнивают, у кого камушек больше, а в остальном их устраивает положение вещей. — Вот я давно заметил — как наши девушки уедут на Запад, так сразу подхватывают тамошние идеи, такими эмансипированными делаются, что, Боже упаси, покруче, чем местные. — Вы уж простите, что я вмешиваюсь в ваш разговор, но тут вы не правы. Вся эмансипация с нас и началась. Моя родная прабабушка еще к этому руку приложила. Мне

бабушка рассказывала. Вспомните популярную после революции теорию о стакане воды. — Простите, пожалуйста, я не совсем понял связь. — А вы прибалт? — Нет, я немец, а мама у меня русская. А что, чувствуется акцент? — Есть немножко. Вы там выросли или здесь? — Там. — Ну, тогда вы можете не знать этой теории. — Нет, теорию я знаю, тем более что началась она с нашего Гегеля — стакан или наполовину пуст или наполовину полон, — но я не могу понять, при чем здесь феминизм. — Ну да, это мы тоже проходили, по научному коммунизму. Но та теория, о которой я говорю, изучалась по истории КПСС. Это наши женщины-революционерки провозгласили, что заниматься любовью — это все равно что выпить стакан воды во время жажды. Выпил и бросил. — Да-а? Мы этого не проходили. — Вы из ФРГ или ГДР? — Из ГДР, но мы все равно не проходили, я бы помнил, я неплохо учился. — Ну это и так понятно, вы выглядите как типичный отличник. — Это комплимент или... — Это констатация факта. А как вы здесь оказались? — Я сейчас в командировке. Я работаю в фирме, которая занимается экспортом-импортом, и, поскольку я знаю русский, меня сюда посылают. А когда к нам приезжают русские, я ими занимаюсь. — А что за русские к вам приезжают? — Хороший вопрос. Я почему прислушивался к вашему разговору — мне тоже приходится иметь дело с подобными людьми. — Вот как? С новыми русскими? — Ну не совсем. Не знаю, насколько к ним подходит это определение. Наша фирма имеет обыкновение приглашать к нам всяких ваших губернаторов из разных областей для ознакомления с нашей продукцией. И вот я все время провожу с ними, сопровождаю их в поездке по стране. И я тоже насмотрелся. — А что такое? — Ну как сказать. Знаете, мы оплачиваем им

всю поездку, проживание и прочее, хотя они все приезжают с большими деньгами. Причем наличными. И ведут себя одинаково. Вот последняя поездка — я должен был одного губернатора из средней России сопровождать в Гамбург. Все было очень насыщено, деловые встречи, переговоры, очень интересные предложения, но у меня создалось впечатление, что он все время думал о другом. Он все меня спрашивал: «Где тут можно достать вещи от «Версаче», я жене обещал». А мы не укладывались по времени. Я отвечал: позже, позже. Кстати, «Версаче» — их любимая фирма. Потом перед поездом у нас оставалось немного времени, я ему говорю: вот сейчас можем, если быстро. Мы взяли такси, выехали в центр Гамбурга, там есть галерея, в которой находятся все их шикарные магазины. Я попросил таксиста подождать, мы промчались галопом по мраморным полам, подскальзываясь, все на нас оглядывались, мне было так неудобно, добежали до павильона «Версаче», к нам вышел продавец, весь такой чопорный, изысканный, спрашивает, чем может помочь. Губернатор достал из кармана листочек в клеточку, вырванный из школьной тетради, весь помятый, а там крупным детским почерком написано, что надо купить и галочки стоят. — А вы неплохо говорите по-русски. — Но я уже говорил, что у меня мама русская. Мне даже обидно, что вы акцент нашли. — Но это даже шарман. — Ну ладно. Вот, и он читает на этом листочке, есть ли у вас пояса, спрашивает. А я перевожу. Продавец, естественно, говорит, есть, какие вы хотите. Я говорю: покажите все, пусть он выберет. Тот раскинул перед ним всевозможные пояса, губернатор смотрел, даже не спросил, сколько они стоят, потом выбрал два — один жене, другой дочке. — Хорошо, что не любовнице. — И такое бывало. Приезжал один губернатор, он покупал костю-

мы жене и любовнице. Причем жена была очень большая и толстая, а любовница маленькая и худая. И вкусы у них отличались — жене он покупал все цветастое, а любовнице серых оттенков. Продавщицы долго не могли понять, что же ему надо. А этот выбрал пояса, один за две тысячи марок, второй — за полторы. Когда я назвал ему цену, он даже не вздрогнул. Засунул руку в другой карман и вытащил толстую пачку банкнот. И спрашивает: «Долларами берете?» — а я вынужден все это переводить. Продавец говорит: нет, но тут за углом обменная касса. Мы опять по этим галереям бежим менять деньги, потом обратно. Я продавца спрашиваю: «Часто ли у вас бывают русские?» Он говорит: «Это наши лучшие клиенты, только благодаря им и держимся». Ну, казалось бы, все, садимся в такси, почти уже доехали до вокзала, а он достал из пакета пояса, рассматривает, и вдруг как начал кричать: «Вот сволочь, обманул, всучил дефектный товар». А там на поясе один из камушков не совсем так лежал, как остальные. Я говорю: «Вряд ли он нарочно, вы же сами выбирали». Он — нет, едем обратно менять. Пришлось просить таксиста, чтоб развернулся. Подъезжаем, опять бегом, сменил пояс, едва на поезд успели. Напоследок он посокрушался, вот, говорит, покупаешь джинсы за триста долларов, а пояса за две тысячи марок к ним. Я про себя ужаснулся, кто же за триста долларов джинсы покупает, когда можно вполне приличные за шестьдесят марок купить. — И часто они к вам приезжают? — Очень часто. — И что, совершенно не обтесываются на Западе? — Не что? — Ну, не оказывает на них Запад благотворного влияния? — *Скорее, наоборот. Вот недавно приезжал президент одной среднеазиатской республики, и ему устроили встречу с предпринимателями. Пришли представители всех самых крупных*

фирм — еще бы, возможность выхода на такой мощный рынок! И я просто поразился, как быстро они переняли восточные замашки. Больше всех отличился представитель одной очень крупной фирмы — не буду называть, — все, конечно, обращались к этому президенту цветасто: «Многоуважаемый, звезда Востока» и так далее. А этот больше всех остальных произнес всяких эпитетов, но самое главное, кончив говорить, стал уходить задом, не забывая все время подобострастно кланяться. Я был, конечно, в шоке. — Ну и как, произвел он впечатление? — Естественно! Естественно! Именно с их фирмой и заключили большой контракт. — Слушайте, а что это за музыка из квартиры доносится? Свадьба, что ли, какая? — А, это, наверное, ее знакомый бард поет. Она любила цыганские романсы. — А что соседи подумают? — Пусть думают, что хотят. Пойдем послушаем, она очень любила эту песню. Наверное, его попросили спеть.

Вот оно что. А я не могу понять, что опять со мной происходит. А это просто звуки меня несут, я вместе с ними поднимаюсь и опускаюсь. Но как бы я ни опускалась, я от них отдаляюсь. От кого — от них? От этих странных существ, что меня окружали. Что-то у меня сейчас с ними происходило. Настолько невероятное, что уже не помню. Наверное, они мне снятся. И уже не в первый раз. Мне снится один из тех снов, когда кажется, что сюжет продолжается ровно с прерванного в предыдущий раз положения, и, когда попадаешь в этот сон, вспоминаешь все, что предшествовало, и думаешь, что до этого ты спал, и теперь наконец вернулся в единственную реальность, а все остальное было сном. Но все происходящее в этой реальности настолько необычайно, что, когда просыпаешься, остается только смутное воспоминание узнавания и близости к тебе со-

бытий и действующих лиц и удивления, что ты мог их забыть. Раз я так здраво рассуждаю, наверное, сейчас проснусь. Надо только вспомнить — куда, это первое правило. Я уже на пороге бодрствования, но не смогу его переступить, не определив места, которое возникнет. Отчего такое затруднение? Наверное, мне во сне привиделось путешествие и отсюда замешательство. Если я в непривычном месте, это бы вспомнилось еще до пробуждения, так обычно бывает: или неоправданная — со сна — радость, или необоснованная тревога. Сейчас этого нет, значит, я проснусь дома. Открой глаза. Да, так и есть. Какой солнечный день. Дверь на балкон открыта, а мне вовсе не холодно. Что-то мне необычное снилось... Ах да! Надо рассказать себе словами, а то забудется. Ах, значит, снился мне такой старичок гномик в колпачке, с огромной книгой, намного больше его. И вроде я его уже не раз видела. Он мне что-то такое сказал насчет обещания дать почитать эту книгу. И во сне я уже знала, что это Книга судеб. Я спросила, на какой странице начинается про меня, он ответил, чтоб я открывала наугад — каждый попадает на свою страницу. Я еще спросила — а если мне нужно прочитать о ком-то еще? Он сказал, что нужно только подумать, о ком, и откроется его страница. И я вначале открыла про себя, было что-то увлекательное. И казалось, что я это все читала уже не раз и забывала. Как будто открываешь давно прочитанную книгу — каждая новая строчка узнается, но продолжения не можешь вспомнить, пока не прочитаешь заново. Даже каждое слово узнается с опережением, прочитав одно, точно знаешь, какое будет следующее за ним, но не более того. Все воспринималось свежо. На каком-то абзаце я переполнилась счастьем, будто мне обещали такое, о чем я не смела мечтать, но не могу вспомнить, что там

было. А потом началось очень печальное, на нескольких страницах, и я плакала и не могла остановиться, настолько грустное, что перечеркнуло предыдущую радость. Но опять не помню, о чем. А потом мне все объяснили. И это объяснение тоже было не новым, но я его опять забыла. Помню только, что от него стало легче. Не осталось ни печали, ни радости, из этих объяснений выходило, что все это не имеет значения, жалко, что запомнились только чувства, а смысл ушел. Что-то очень важное опять ускользнуло от меня. Но все это занимательно, можно потом рассказать кому-нибудь. Какой хороший день сегодня. Кажется, что свет идет даже из стены. Так это не стена? Оказывается, тут сплошное окно. Вся стена — стекло. Наверное, предыдущие жильцы заложили ее этими фанерными листами. Удивительно, что я до сих пор не замечала. Надо все отодрать, конечно, без них намного лучше. Получается настоящая студия. Вид такой открывается. Почему-то я думала, что за этой стеной располагается соседний дом, а тут открытая местность. Совершенно незнакомый пейзаж. Или я просто на этой стороне никогда не гуляла. По расчетам, тут должен стоять соседний дом. Тут что-то не так. Надо с балкона посмотреть. Тогда пойму, где эта лужайка находится. На ней очень удобно, должно быть, писать. И никого кругом не видно. Что-то дверь на балкон не поддается. Опять заклинило за зиму. Мне показалось, что она была открыта. Это спросонья. Вот, наконец-то. Да, действительно, никакой стены рядом нет. Постой! Я вспоминаю, что уже несколько раз говорила вслух, что мне во сне всегда снится, что у моей комнаты есть балкон, которого на самом деле нет, и он всегда на одном и том же месте, дверь на него находится там, где в действительности окно. Но во сне там с завидным постоян-

ством возникает балкон. Если бы столько раз не проносила эту фразу, сейчас бы снова не вспомнила, что этого не может быть. Тогда на чем же я стою? Я ведь не падаю. Ну вот, так и знала, что нельзя об этом думать. Вот я и сорвалась и лечу. Надо бы взять повыше, а то как бы не задеть за деревья. И скорость лучше сбавить, я и так не умею плавно опускаться. Никогда еще ночью не летала вроде бы. Неужели? Может, и да. Не могу вспомнить. Разве в детстве. А так дело всегда происходило днем, потому что я помню, как каждый раз боялась, чтобы люди внизу вдруг не вздумали посмотреть вверх и не заметили меня. Они б тогда подумали, что это невозможно, и я могла бы из-за этого упасть. Раз я их видела и они меня могли, значит, был день. А в детстве это всегда было днем. Я не всегда помнила, что умею летать, иногда на улице за игрой забывалась и, уже когда высоко поднималась над землей, замечала, что происходит. Потом, когда рассказывала другим, мне говорили, что это невозможно. И мне не удалось доказать. Потому что каждый раз, как я летала, у меня не оказывалось свидетелей. Как только я понимала, что парю в воздухе, я оглядывалась и видела, что кругом нет никого, хотя до этого, пока я была внизу, люди сновали повсюду. И как бы долго я ни кружила, никто не появлялся, но стоило мне опуститься, как они тут же, словно по приказу, возникали повсюду. Я тогда была еще очень доверчива, а то бы решила, что они по сговору прячутся, чтобы не признать моей правоты. Я просто недоумевала, куда они деваются каждый раз. Теперь я понимаю, что у них включался сигнал тревоги и начинали действовать защитные приспособления. То, чем они на самом деле являлись, понимало, что плоская проекция его в этом мире, которую оно выдает за себя, не сможет вынести

такого зрелища, и отвлекало ее всяческими забавами, чтобы уберечь от столкновения со мной, летающей. Внушало, что забыли закрыть дверцу холодильника или выключить воду в ванной, или что им срочно нужно в туалет, чтобы увести от окна даже тех, у кого сидение у окошка в ожидании зрелищ являлось насущным времяпрепровождением. Ведь пролетая, я заглядывала и в окна, но никого из кумушек, изо дня в день наблюдающих, как я прыгаю через скакалку, в эти мгновения на посту не оказывалось. А тех, что просто проходили по улице, наверное, отвлекали каким-нибудь дорожным происшествием. Так, ну, значит, я не в том мире, раз внизу снуют люди. Надо бы спуститься где-нибудь, когда деревья станут пореже. Как бы получше славировать. В полете для меня это самое трудное. Вечно я на что-то налетаю и сбиваю или задеваю. И тогда в наказание выбегают маленькие зверьки, обычно зайцы, и преследуют, норовя укусить за пальцы. Но ничего страшного. Когда они меня настигают, я от ужаса просыпаюсь и им все равно не удастся меня укусить. Вот, теперь левее, там крыльцо. Убавь скорость. Не получилось, теперь спускайся на крыльцо и оттуда как можно медленнее спланируй на землю. Придется в два захода. Вот, вроде все обошлось. Ни себя, ни других не повредила. Какой-то незнакомый район. Ах, это я в центре города нахожусь, вон все шпили виднеются, просто я со стороны задворок жилого квартала. Если пройти через ту арку, окажусь на улице, по которой столько раз шла на занятия. Сколько раз хотела пройти по внутреннему дворику, да все некогда было. А тут, оказывается, такая красота спрятана. Целый город внутри города. Какое там — внутри такого ограниченного пространства поместили эту огромную площадь с фонтанами, галереями и мавзолеями. И никто о нем не

знает. А ведь он даже на первый взгляд раз в семь старше основного города, который вокруг него раскинулся. И такое все монументальное, как все это удалось замаскировать за обычными высотками? Но какая удивительная работа, я не могу определить, к какой школе относятся все эти барельефы, хотя мы проходили в институте все направления в архитектуре. И камень необычный, все выдержано в оттенках охры, но мне неизвестна природа этого вещества, камень ли это? И вот еще, если смотреть на фигуры искоса, они оживают, начинают шевелиться, менять позы и выражение, и взгляд у них становится осмысленным. А как посмотришь прямо, они снова остывают и каменеют. И из фонтанов вода начинает литься, когда я отворачиваюсь. Может, это заколдованное царство? Тогда здесь не должно быть людей. Все верно, когда я о них подумала, они появились. И сразу в таком количестве, как на массовках во время съемок. А, значит, они из кинотеатра идут после сеанса. Спросить, что ли, где я? Неудобно, прямо в центре города. Ничего, я спрошу с одним из своих лучших иностранных акцентов — с французским. Что у меня опять с голосом? — как рыба в воде, даже хрип не выходит. Все очень спешат. Никто на меня не смотрит, как будто не видят. Но меня огибают, значит, знают, что я здесь стою. Может, у них случайно получается? А если я пойду наперерез, пройдут ли они сквозь меня? Огибают все же. И этот обходит. О, а эта чуть не упала, с такой силой отскочила, и все равно на меня не смотрит. Что за заговор такой? Но врасплох они меня не застали. Я давно подзревала, что все сговорились против меня. Были тому подтверждения. Я только делала вид, что не догадываюсь. Потому что они такие, как узнают, что стесняться больше нечего, я все знаю, тут же перейдут к откры-

тым действиям. А так только за спиной перемигиваются. А как резко обернешься — вроде бы потолок разглядывают. А что его разглядывать, спрашивается, — в меру закопченный, с одной-единственной прямой трещиной и с полуоборванной паутиной в одном месте. Они ее нарочно не смахивали метелкой, чтоб я не поняла, что они между собой переговариваются, когда меня нет. И я не смахивала, чтобы они не поняли, что я знаю, о чем они говорят, после того как вынуждены разглядывать потолок. Что-то нарушилось. Отчего мне стало так неудобно? Кажется, кто-то смотрит прямо на меня, не притворяясь, что не видит. Да, так и есть. И сейчас продолжает смотреть глаза в глаза, не отводит свой взгляд. Почему он так смотрит? — мне самой страшно. Какой страшный взгляд! — я больше не вынесу. Нужно спастись. Но как? Господи, только бы все хорошо кончилось. Как странно. Надо перестать на него смотреть, тогда он меня, может, не тронет. Я уже давно так сижу, но ничего у меня, кажется, не затекло. Оттого, наверное, что диван мягкий. Откуда я знаю, что это диван, если ни разу не взглянула? Я даже знаю, что он плюшевый, кофейного цвета. Так, значит, это бабушкин диван. Но тогда почему на нем удобно сидеть — ведь отовсюду должны выпирать пружины? Просто я сижу с краю, в уголке, там не было бугров. Может, отнять хотя бы руки от головы? Нет, страшно. Если я пошевелюсь, то могу все нарушить. На другом конце дивана кто-то сидит — я даже знаю кто — и от нее исходит такая любовь ко мне.

Остаться бы подольше неподвижной — не позволять себе никаких отступлений от теперешнего состояния, даже внутренней радости, иначе все обвалится от одного резкого движения. Только притвориться, что ничего не происходит, тогда это может продлиться.

Нужно только выпитывать эту любовь, пока она есть. Если я шевельнусь, то буду уже не совсем то существо, которое любят, ведь во мне что-то при этом изменится. Я ведь не знаю, за что она меня так любит. Я думала, что у меня это односторонне. Может, она принимает меня за кого-то другого? Если она и знает, что я — это я, непонятно, за что. Только обрадуюсь или отниму руки от лица, и она поймет, что не за что меня любить, особенно — так. Но она уже знает, что я догадалась, что она на меня смотрит. Неудобно продолжать сидеть отвернувшись. Нужно решиться и посмотреть на нее, и, если тогда она перестанет меня любить, это будет только справедливо. Но я смогу вдосталь на нее наглядеться, я успела так соскучиться по ней. Все, больше не могу, очень хочется на нее взглянуть. Будь что будет. Совсем не изменилась, даже помолодела. И так хорошо улыбается. Сейчас перестанет. Нет, продолжаете? Господи, за что? Если бы мне знать, за что она меня так любит. Я об этом никогда и мечтать не смела. Ей ведь так нелегко угодить. Но зачем я думаю, когда можно просто наслаждаться тем, что я ее снова увидела и что она меня выделила среди остальных. Тут еще столько людей, а она всех бросила и смотрит только на меня. Как давно мы не виделись? Не могу вспомнить, вот-вот проявится, но какое-то заграждение мешает, как вспомню — тут же все стирается, так быстро, что не рассмотреть. И что за люди тут кругом? Я не могу отвести от нее глаз. Только гул голосов слышен. Она от меня отвернулась не оттого, что ей надоело, она что-то увидела. К нам приближаются. Это великосветский прием, они так чинно разгуливают по залу и тактично на нас не смотрят, чтобы не подчеркнуть неловкость нашего поведения. В свете так не принято — весь вечер смотреть друг на друга, пренебрегая остальными. Но

они все так хорошо воспитаны, даже не позволяют себе шептаться по нашему поводу. И они все такие старые. Это и понятно, но почему от их черных одежд не пахнет нафталином? Они ведь очень долго хранились в шкафах, до того как сегодня их надели. А, это ее сестра приближается. Она и есть хозяйка приема, я думаю. Она решила спасти ситуацию. — Вам что-нибудь нужно? — Нет, спасибо. Но вот девочке... — Нет-нет, спасибо, мне ничего не нужно! — Шампанское, может быть? — Спасибо, я не пью, — интересно, отчего я вру? Да чтобы не мешала, ушла поскорее. — Может быть, воды или кофе? — Да, принесите ей кофе. Или лучше я сама ей принесу. — Что вы, спасибо, не надо! — не слишком ли порывисто я вскочила? Тут нельзя забывать о приличиях, тогда нас оставят в покое, мы же еще ни о чем не успели поговорить, только глазами. — Я сама схожу за чашкой кофе. — Да-да, она знает, где кухня. — Если вам не трудно. — Ну что вы, что вы, с превеликим удовольствием пройду, тем более что я засиделась на месте. Вам тоже захватить? — Нет, спасибо. — Возвращайся скорее, — она опять сказала только глазами. Но ничего, отдышусь на кухне и соберусь с силами. Я не была готова к тому, что меня будут так любить, и уже не могу переносить. Как мгновенно затих гул голосов, стоило дверь закрыть. Смогу ли я потом обратно вернуться? Или дверь открывается только с той стороны? Ну ладно, если задержусь, они сами за мной выйдут. Она кого-нибудь пошлет проверить, не случилось ли чего со мной. Или сама выйдет сюда. Это будет лучший выход, так не хочется возвращаться в это общество. Как быстро я стала уверена в ее любви. Но мне надо со всем этим еще справиться. Точно, я помню — кухня отсюда налево. Сделаю пока кофе и подумаю, как дальше

быть. Нужно еще обдумать вопросы, которые я ей дам. Какие в первую очередь. Их было так много, но я почему-то всегда была уверена, что мы с ней никогда не встретимся. А теперь я не помню, что мне нужно было спросить. В сушилке чашек нет, придется из этого шкафа доставать. Все удобные уже разнесли по гостям, а эти такие необычные, что они изображают — драконьи головы, что ли, но керамика некачественная и работа грубоватая. Где же кофе может находиться? Все полки кажутся пустыми. Я теряю время, выпью просто воды из-под крана и пойду к ним. Ой, что это в чашке? Зачем я только руку туда засунула, так выпачкалась. Сколько же времени ими никто не пользовался? — это ведь сгнившая пыль внутри лежит слоями. Разложившаяся паутина. Осторожней клади на место, а то разобьешь чашку. Все равно уже испачкала руки. Она не ставится, у нее выпуклое дно. Как же она раньше стояла? Чтоб поставить боком, остальные придется подвинуть. Теперь быстрее руки мыть. Вода течет ржавая, что ли. И склизкая. Все, не могу, быстрее отсюда. А как же руки. Об стенку потереть. Она обваливается, не нужно сильно нажимать. Тряпки не буду искать, не то от их вида еще хуже станет. Постою немного под дверями, потом скажу, что уже выпила. Как такой маленький ребенок смог открыть эту дверь и что он делал среди этих старых людей? Зря я его взяла на руки и так страстно целую — мне запрещено к нему притрагиваться. Но никто ведь не видит. Я никогда не видела этого ребенка, но, оказывается, так по нему стосковалась. Ну все, кончай целовать. Не могу. Дверь снова открывается. Быстро ребенка на пол и стань к нему спиной, будто не заметила. Увели, и дверь плотно прикрыли. Так укоризненно на меня посмотрели, будто знали, что я к нему прикасалась, хотя не имею права.

Я даже не поняла, мальчик это или девочка. Конечно, поняла, это был мальчик. Сейчас немного подожду и зайду в комнату. Я увижу ее и ребенка. Может, она за меня попросит, чтоб мне позволили хоть иногда играть с ребенком? Кто-то снова идет сюда? Неужели она? А, это люди, которые пишут о ней книгу, мы же знакомы. Забыла, как их зовут. — Вы знаете уже, наверное, что она сегодня прилетает из Парижа? Мы специально за вами зашли, может, вы хотите с нами пойти ее встречать в аэропорт. Такси ждет внизу. — Нет, спасибо, я потом с ней увижусь. — Не хватало еще встречать ее вместе с ними. Но значит, она все-таки прилетает. Почему же я думала, что мы с ней никогда не увидимся? Странно. Я никогда не представляла возможности встречи, даже в мыслях, а это так просто. Даже если я думала, что она никогда не захочет сюда, ведь я могла поехать к ней? Пойду пока пройдуся, чтоб успокоиться. Не делай такие огромные шаги, не то снова полетишь — кругом люди, нехорошо. Что там за толпа собралась? Все остальные спешат. Посмотреть, что ли? Времени еще много. А, так это просто граница. Она проходит через эту реку. Но почему солдат с ружьем стоит на их стороне, а не на нашей? А через речку лежит бревно, значит, иногда кого-то туда пропускают. Жалко, что сразу за речкой стоит густой лес, поэтому мне никогда не удавалось увидеть, что происходит за границей. Так это люди оттуда рвутся к нам, а не наоборот. Вот солдат уже двоим выстрелил в спину. И вода их унесла. Вот еще одного уложил. Мне должно быть их жалко — вот все остальные сопереживают. Я, наверное, совсем очерствела. Но нельзя показывать, что у меня нет чувств совсем. Зачем же они выбегают, неужели у них есть шанс проскочить? Солдат стоит рядом с бревном, и как быстро они бы ни бежали, он

успеет выстрелить не торопясь. На что они рассчитывают? И как им может хотеться сюда? А этот рядом со мной уже меня науськивает. Не буду прислушиваться, если он такой умный, пусть сам идет. — Чего ты боишься? Он стреляет только в тех, кто оттуда идет к нам. В нас он не может выстрелить. И потом, те люди бегут спиной к нему. А если ты пойдешь, смотри ему все время в глаза, не отрываясь. Не бойся, что упадешь, речка неглубокая, да и бревно широкое. Если смотреть в глаза, он не сможет выстрелить. А ты увидишь, что там за спиной, за деревьями. Ну же, тебе только решиться. — Вон оттуда тоже кто-то собирается выбегать. Если я решусь, мы столкнемся. Но ведь это я! Такая приземистая крепышка, но я знаю, что это тоже я. Она сделает большую глупость, если побежит. Он в нее выстрелит. Тогда нужно побежать мне первой, чтобы прикрыть ее собой. Пока он на меня отвлечется, она сможет проскочить. Надо только, чтобы я ее опередила. Все, не успела. Она побежала раньше. Он в меня выстрелил. Как можно стрелять в спину? Но я упала в реку и не могу плыть. Я сейчас утону. За что? Какой мутный поток, меня вынесло к ним опять. Так я сюда рвалась? Раз я здесь, значит, именно сюда. А мне казалось, что мне необходимо совсем в другое место. Но нет, наверное, только казалось. А бал еще продолжается, только теперь они не ходят по залу, а сидят за столом, которого раньше тут не было. И зал стал поменьше, размером с обычную комнату. А где она? Ее тут нет. И не может быть. Она же умерла. Причем задолго до моего рождения. А здесь сидят живые. Теперь я понимаю — я попала в царство мертвых, вот почему мне так хотелось обнять этого ребенка. Так и получается по подсчетам, с тех пор прошло чуть больше полутора лет. Но неужели они и там продолжают

расти? Он уже начал ходить, но еще не мог говорить. И когда я взяла его на руки, штанишки были мокрые, я тогда не обратила внимания. Кто же ему там меняет пеленки? И где я потом оказалась? Теперь понятно, время там течет в противоположном здешнему направлении. Я вернулась в начало этой истории, когда перешла реку и оказалась у них, но поскольку это было началом в здешнем понимании, то я и вынырнула здесь. Тамошнее продолжение уже случилось. Завершение, то есть то, ради чего затевалась вся эта история, там уже произошло, и внутри этой истории двигаться мне можно было только к началу, и с началом история кончилась, и я вышла из нее. Но вот ведь сборище здесь собралось, какие искаженные, непропорциональные существа. Там собрание тоже было не Бог весть какое, и двигались они механистично, и смотрели пустыми глазами, но зато занимали ровно контуры своего тела, не выходя за границы черных смокингов и открытых мертвенных плеч с вечерними платьями. Только она там была живая. Даже ребенок был не совсем то, он лежал безучастно в моих руках, как кукла, только вот смотрел. Но и куклы умеют порой так пронзительно посмотреть, так что это не в счет. Я думаю, она назначила мне там встречу, поэтому ни я, ни она не были удивлены, а присутствовали на обговоренном свидании. Наверное, это моя вина, что мы там оказались, я сумела преодолеть только три барьера — вначале границу из речки, затем давление ее фанов, и потом — царство мертвых. А дальше я не смогла пройти, и она сама туда перешла. В царство тел. И возможно даже — живых тел, мертвые — разлагаются, живые могут двигаться и, возможно, выполнять все другие функции, полагающиеся телам живым, но они только тела, их внутренние и внешние границы идеально совпадают,

повторяя каждый изгиб, и у них не бывает приграничных войн. У этих же внутренние границы и внешние не только не совпадают, но иногда совсем не пересекаются, находятся совсем в разных областях. Непонятно, как они вообще контактируют между собой. Во внутреннем пространстве у некоторых имеется только одна большая голова, раз в десять больше видимого тела, которое они пытаются выстроить в той плоскости, на восприятии которой фокусируются они под давлением остальных, начиная с промежутка времени, который в их измерении обозначается пятнадцатью-шестнадцатью годами. У других четче всего в их внутреннем пространстве присутствуют половые органы. Но в массе такое локализованное или очерченное ощущение себя во внутреннем мире отсутствует. Обычно это аморфный медлительный комок неопределенного цвета с вяло бурлящими посреди него процессами, нареченный ими «я» и помещенный в самых невообразимых частях тела. У одних он может располагаться в ноге или даже в одном из пальцев ног, у других в желудке, не подверженный никакому воздействию пищеварительных соков. Чаще он находится в животе, чем в спине, поэтому спину они укрепили во внешнем пространстве. Затратив на нее больше всего твердого материала. Есть такие, что бойко жонглируют своим более плотно слепленным «я», оно у них не такое желеобразное и не прирастает к определенному месту так, что только при сильной встряске может сдвинуться. Таких, с зафиксированным участком для «я», принято считать надежными, они любят в трудную минуту подставлять плечо, если «я» достаточно близко находится, в сердце, или в легких и может послужить подпоркой. Если же «я» находится в горле, такой тоже может предложить свою поддержку, но те, кому он ее предлагает, редко подда-

ются, чувствуя, что центр тяжести повыше и они рискуют рухнуть с благодетелем, а за чужое горло даже в качестве последней соломинки трудно ухватиться — могут лягнуть. Но с такими легко контактировать — знаешь, куда обращаться и откуда последует ответ. С циркачами же ни о чем нельзя договориться — только ты разглядел, где его центр и обратился к нему, как небольшая ловкость рук, и обнаруживается, что он ускользнул совсем в другое место, а ты взываешь к пустоте. Если есть желание, можно научиться проследить все перемещения их «я», взгляд за ними еще поспекает, но слово не умеет самостоятельно менять траекторию движения и честно летит туда, куда его посылали, пронзая отсутствие. Но есть еще и такие, у которых «я» заполнило не только все их видимое тело, но и выпирает наружу, иногда довольно далеко. В таких ничего больше не помещается, даже я не могу проникнуть к ним. Из-за своей огромности они делаются неповоротливыми и неуклюжими и легко становятся чужой добычей, ими очень просто манипулировать, подцепив на крючок, и подобраться к ним для этого ничего не стоит, они слишком на виду и доступны всем хищникам. Но зато в таких ситуациях, как сейчас, когда все больше всего заняты собой, для них наступает раздолье. Никто на них не покушается, и они вольготно размещаются, не стесняясь, расправляют затекшие части и попутно придавливают более мелкие «я», как слон муравьев, не замечая. Но если таких соберется в одном помещении более одного, начинается борьба не на шутку. Они забивают собой даже все щели, и победитель еще сильнее разрастается, заходя за пределы комнаты. Они давят сейчас друг на друга и на остальных, но многие не понимают, почему они задыхаются. И если бы у одного из присутствующих «я» не было бы

величиной и формой с три игольных ушка, обстановку нельзя было бы разрядить. А так он потихоньку откачивает излишки в другое измерение, не давая гостям расплутаться. Самые предусмотрительные уже благо-разумно вывели свое «я» из области, оставив здесь только свою видимость, физическую проекцию, участвующую в разговорах, выпивающую и даже поглощающую пищу. А некоторым даже не нужно было предпринимать определенных действий для отдаления, их «я» находится в постоянной несостыковке с телом и витает в других сферах. Но телам их так же душно, и потому они временами выходят на лестницу, даже те, которые не курят. Лестница сконструирована особым образом, на ней восприятие отупляется сильнее, чем в этой комнате и они не замечают, что задыхаются. Хотя и комната сделана таким образом, чтобы заметно сузить сознание, да и весь город спланирован так же. Вот тот древний город, в котором я побывала недавно, наоборот, очень расширял все, если бы в нем подольше остаться, сколько чудес еще бы произошло. Недаром позднее все эти города разрушили завоеватели, они не смогли вынести понимания, поскольку были уже совсем другими людьми, чем те, которые их строили. Со временем люди становились все безумней, все меньше и меньше совпадая с собой и обрастая новыми искусственными образованиями, они пытались уравновесить несоответствие, но этим только взваливали на себя дополнительный груз. Поэтому чем дальше, тем более гнетущие жилища они себе воздвигают, чтобы затемнить обзор, скрывая от себя свой пугающий облик. Но им мало того, что они сотворили со своими городами, в потемках они продолжают укреплять загорождения от себя самих, всеми подручными средствами, полностью теряя последнюю ориентацию и приобретая новые цепи. Никто

из них не видит, сколько всего они принесли сюда с собою. Вроде всех этих чудовищ — их непомерно разросшихся «я», или вертких как угорь «я», снующих непрерывно по телу, или пустых тел с отсутствующими «я», они притащили на себе образы себя, образы других, все свои чугунные прутья привязанностей к людям, местам, вещам и другим невообразимым предметам. Как только они могут перемещаться, имея такой груз за плечами! Зачем я сюда вернулась? Я уже не могу их толком разглядеть. Мне уже недоступен их облик; если только сильно напрячься, появляется плоское изображение, размытое как при засвеченном негативе, и только ощущения от них, еще сохранившиеся, помогают мне припомнить, что нас когда-то связывало. А ведь это те самые нити, которые мне предстоит развязать. Я пока не понимаю, как это сделать. Если резко потянуть, может, и не будет им так больно, а потом их нынешнее состояние может послужить анестезирующе. Но их так много, хватит ли у меня сил?

— Ну что там водка, совсем вся вышла, что ли? Я не могу пить вина. — По-моему, на кухне еще полящика оставалось, когда я в последний раз туда заглядывала. — Так давайте дождем уж, что ли. — А не пора ли по домам, поздно уже. — Сейчас, расслабься, уже скоро все двинемся. Что ж нам первыми уходить, некрасиво. — Да, вот осталось еще несколько бутылок, я все, что были, принесла. — Так давай сюда. А все-таки та, первая партия, была получше. Эта какая-то левая. — Глянь, что тут сзади на этикетке написано: «Срок хранения двенадцать месяцев». — Во, додумаются же! Кто ж ее станет хранить? — А что будет через год? Разве водка портится? — Таковую уже некуда дальше портить. — Нет, а если серьезно? — Я вот в прошлый месяц пил догорбачевскую водку. Вот это была

водка! Я уже и вкус забыл. — Сохранилась до сих пор догорбачевская водка? Да такого просто не бывает! Никогда не поверю. — Да объясните же, что происходит? А что с ней бывает, выдыхается, что ли? — Да я не о том, во бабы! Просто я не могу представить, каким образом у человека могла залежаться до сих пор эта водка. Что, он ее заначил и забыл и только сейчас обнаружил? — Да нет, он ее просто хранил. — Где? — Ну где, в шкафу. — Он что, больной? — Да он просто из этих, из панков, знаешь, у которых везде заначки, у него даже домик такой дачный есть. Ну ты понимаешь. Водка в шкафчике хранится. Ну из этих жлобов, в общем. — Да как же он удержался и не выпил? — А ему и не надо. — Бывают же люди! А чего ж он ее открыл вдруг? — Да случай такой пришелся, у его жены защита состоялась, он и решил, что можно одну бутылку оприходовать. — Так у него, наверное, ящик целый в шкафу стоит! — Ну, штук десять точно. Знаешь, я с таким благоговением пил, можно сказать, коллекционная редкость. — Да уж точно, вряд ли у кого еще такое сохранилось. Станный он какой-то. А чем он занимается? — Да тоже художник. — Вот ведь. Урод. Шизуха косит наши ряды. О каких только извращениях не слышал, а о таком еще не доводилось. — Да, век живи — век учись. — Слышь, а нельзя у него стырнуть бутылочку? — Да как? — Ну пойдем вместе в гости, он куда-нибудь выйдет, я суну за пазуху. А ты потом отбрешешься, мол, моя хата с краю, что возьмешь с этого алкаша? Да ты можешь и сам с ним выйти, чтоб уж совсем чистым выглядеть. — Не, не выйдет. — Почему не выйдет? — Да он не выйдет из комнаты, это ж такой куркуль, все сечет. Если касается до его собственности, он за версту все чует. Вот ты только сейчас замышляешь, а он небось уже почувствовал, что его иму-

шеству угрожают. Да он там не один такой. Теща с ними живет, так она еще похлеще будет. Никто тебя наедине со шкафом не оставит. — Во гады. У них еще небось и шкафчик с ключиком. — Да, это ты угадал правильно. — Эх, я б таких своими руками... — Ладно, чего расстраиваться, давай махнем. — Ну давай. Слушай, а может, с ним обменяться можно? Раз он к водке равнодушен, может, он дурью увлекается? Или коксом там, экстази? — Ну и что? Он сам все, что хочешь, может достать. Не, он на это не пойдет. — Да зачем ему эта водка? — А так, чтоб стояла. Я ж тебе объяснил, у него запасы всего. Гречка килограммами лежит. Уже живность всякая в его крупах заводится, он придумывает всякие средства против нее, так, чтоб продукты не испортить и их истребить. — Ну все с ним ясно. Не уважаю я людей, которые всякой наркотой пользуются, какие-то они пришибнутые. То ли дело мы — заложил водяру — и душа нараспашку, бери все, что хочешь, ничего не жалко. — Ну тут ты не прав. Он совсем нетипичный. Я даже не знаю, увлекается ли он чем-нибудь еще, кроме накопительства. А торчки тоже разные бывают — те, что траву курят, так вообще святые, им по жизни ничего не надо. Дорогу они никому не перейдут, а на вещи всякие им вообще наплевать. — Да им все до фени, по-моему, даже бабы. А кокаинщики — те жадные до всего, пока с ума не сойдут. У меня лично такое наблюдение — вот мы, когда пьем, нам же компания нужна, так ведь? Нам же невмоготу в одиночку? — Ну. — А знаешь почему? Потому что когда мы выпьем, то начинаем индуцировать энергию наружу, понимаешь? А эти предпочитают быть одни, и даже когда они в компании, каждый из них сам по себе. Оттого что им тогда никто не нужен, они сосут энергию друг от друга и из пространства. Почему они тре-

буют, чтоб и окна и двери при этом были закрыты? — Чтоб кайф не сломали. — Вот именно, чтоб энергия не утекла в другие дыры. А откуда они берут эту лишнюю энергию? — Почему лишнюю? — Да потому, что иначе мир бы рухнул, если б они из окружения только качали. А раз не рухнул еще, значит, есть какая-то левая. А откуда она берется — соображаешь? Это та, которую мы, надрывшись, выпустили, причем, заметь, совершенно безвозмездно... То есть сосут нашу энергию, понимаешь, о чем я? — А ты не выпускай. — Да я не такой, чтоб все рассчитывать. Захотел — выпил. И черт с ней, с этой энергией. — Тогда не возникай. Не все ли тебе равно, раз ты ее так и так уже выпустил? — А я, может, мир обогатить хочу, а не то чтоб всякие пиявки меня жрали. — Ну тут уж знаешь, дело такое, должно соблюдаться равновесие. Оттого есть они и есть мы. Ведь ты ж не выбирал, кем тебе быть? Это ж к тебе само пришло — ты вдруг понял, что водка — твое. Вот и они не выбирали. — Да что ты мелешь? Конечно, я не выбирал, да тут и выбирать было нечего, испокон веков наш народ балдел от водки, и ничего другого мы не принимали. Я понимаю, когда люди традиционно торчат или колются, как в Азии или Мексике. У них своя ментальность. А так вот вслепую перенимать чужое — оттого у многих крыша и едет. Вот и кидаются из окна или еще чего, азиаты под кайфом никогда с собой не кончают. — Откуда ты знаешь? — По статистике. Да и друг мой из Средней Азии говорил. У них с такими делами все схвачено, оттого и передозняка у них не бывает. А все потому, что передается умение от дедов внукам. А наши, как бараны, перенимают вслепую и мрут как мухи. — А то наши от своей дедовской водки в петлю не лезут? Это ты правильно отметил про ментальность, а все остальное, что ты говоришь, — туфта.

Наши деды и помидоры с бананами раньше не жрали, так что, нам продолжать и дальше щи хлебать лаптями? — Ребят, хорош, о чем спор-то? Вот я о себе скажу — я все перепробовал — и мульку, и ацетон, и мухоморы — кстати, о наших традициях, и во всем есть свой кайф. Это как с бабами — одним нравятся рыжие, другим — полные, кому-то — чтоб ноги от шеи росли, кому-то нравится только своя жена, а кому-то — все нравятся. — Вот мне лично кайф от водки, да и вообще от алкоголя, кажется слишком тяжелым, мутным. Это удовольствие для пролетариата. И наркотики многие тоже дают грубый кайф. Я торчу только от кокаина. Он такой легкий, удовольствие неземное. — Нет, кокс — это мура, к нему быстро привыкаешь, и отходняк от него тяжелый. — Отходняка от него практически никакого — это тебе не ЛСД, но вот ломка бывает. — А я вот пробовал ЛСД, мне очень по кайфу, плевать на отходняк, он — тьфу по сравнению с тем, что ты испытываешь. — Нет, а я не люблю таких резких перемещений, мне нравится, когда все плавно, легко, просто вокруг все то же самое, но намного красивее. — А я думаю, что годам к тридцати каждый находит свой наркотик. У одних это водка, у других — мак, у третьих — религия какая-нибудь, у четвертых — деньги, у пятых — у меня, к примеру — бабы. — А я думаю, весь вопрос в том, кто на что подсядет. Вот мы в детстве по подворотням портвейн хлебали прямо из бутылки, а нынешние клей нюхают из целлофана. Вот тебе и вся традиция. В наше время тот же клей свободно продавался, но никому в голову не приходило его нюхать. — А потому, что портвейн был дешевый. — Да, все дело в предрасположенности. Вот бывает национальная предрасположенность, бывает профессиональная и бывает поколенческая. А чем это объясняется — черт ногу сло-

мит. Но факт. Теперешние подростки на водку ни за что не подсядут. — Да это просто мода. — А ты обратил внимание, что во все времена не бывает не востребуемых социальных запросов? Как только обнаруживаются новые тенденции в производстве или в искусстве, так тут же находятся исполнители, не помышляющие ни о чем другом, как только об этой сфере деятельности. Но и желающих заниматься более старыми профессиями нарождается ровно столько, сколько требуется обществу. Например, никогда не бывает нехватки парикмахеров, вопрос этот всегда решается автоматически, хотя вроде такая странная профессия, никто в детстве о ней не мечтает, но ни одна деревня не остается без своего брадоброя, как и без своей бляди. — Да, я тоже считаю, что зря все носятся с проститутками, в смысле — жалеют, потому что это у них потребность, а не необходимость. Не зря у них один миф на все времена в ответ на обывательское любопытство: как ты дошла до такой жизни — больная старушка-мать, которую нужно содержать, родственник или друг семьи близкий, соблазвивший в нежном возрасте, или оправдание более старших — детей не на что кормить. Не будут же они объяснять каждому, кто приготовился уже нюни распустить и сладострастно посочувствовать, что это единственное занятие, к которому их тянет, как прирожденного механика к машинам. Или как нищие — один мой приятель говорит: «Я им всегда даю деньги, если они у меня есть, потому что я представляю, сколько всего нужно в себе преодолеть, чтобы попрошайничать. Значит, им действительно некуда больше деваться». А я ему говорю: ты пойми, что это тебе лично нужно преодолеть, а им раз плюнуть, для них это легче легкого. Они еще и над тобой потешаются, что попался на мякину. Налей мне тоже. — И мне

плесни, пожалуйста. Да, ты прав, каждый находит свой выход из сложившейся ситуации. Другая баба остается в действительности одна с двумя детьми и с больной матерью на руках и открывает свое дело, при котором может дать сто очков вперед любому крутому мужику, я видела таких не раз. — Да, некоторые люди могут действовать только в экстремальных ситуациях, когда у них все в ажуре, они вроде ни рыба ни мясо, а как загонят их в угол, они такое выдают, ахнуть не успеешь. — Да, есть такое — они сами себя и загоняют в угол, потому как могут плясать только от печки. А у меня наоборот — если надо с кем-то соперничать или бороться, я сразу снижаю, мне уже ничего не нужно. Меня бы только оставили в покое, не трогали, только тогда я могу что-либо производить. — Ну ты уникам! У большинства людей все обстоит ровно противоположным образом. Ты или вырожденец, или просто не сознаешь, что действуешь из духа противоречия или чтоб кому-то что-то доказать. — Ну, может, и из духа противоречия, но не чтоб что-то доказать. — Да это одно и то же. Я не знаю, чего вы спорите, еще дедушка Фрейд сказал, что художник рисует оттого, что его не любят, или мало любят, или не так любят, как надо. — Ну, дедушку Фрейда давно уже проехали, его партия и сотоварищи неоднократно добавляли и поправляли, не говоря о других. По большому счету мы действуем, чтобы вызвать ненависть других. — Да ну тебя. Кроме всего прочего, ненависть — это очень опасно. — Начать можно с небольших доз, для прививки, а как иммунитет появится — тогда дерзать. Ненависть — это очень вкусно, когда не ты, а когда тебя. Это заряжает такой энергией! Когда к тебе все ровно хорошо относятся, ты ничего не можешь сделать, ты уже повязан этим хорошим отношением, да и оно само уже свиде-

тельствует, что ты по уши в дерьме или просто блаженный. А если тебя большинство ненавидит, считай, что ты на верном пути. — Ну знаешь ли, Сталина с Гитлером тоже большинство ненавидело, они что, тоже на верном пути были? — Ну, во-первых, когда они жили и действовали, большинство их обожало, ты не будешь этого отрицать. Ленина так до сих пор мало кто ненавидит, он вызывает в лучшем случае раздражение и досаду, как и в то время, что он жил. А в худшем его продолжают обожать, он вне суда. А ведь он начинал всю эту заварушку, но никто не хочет воспринимать его серьезно. Или презирают, или обожают, как какую-нибудь шавку. А он возьми да и — не буду при дамах — ... полмира. А чувства, которые он вызывал, заметь, не изменились. А Гитлера со Сталиным ненавидеть начали жертвы, исключительно, да и то не все. Я уж не буду здесь по новой размусоливать, как шли на расстрел или кидались под танки с возгласом: «Да здравствует товарищ Сталин!», или как немцы, проигравшие войну и все потерявшие, продолжали надеяться, что Гитлер не до конца помер и скоро объявится. — Да, кстати, почему от таких людей ожидают воскрешения? Мы ведь тоже в детстве распевали: «Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой»... Я помню, уже здоровая была телка, а все верила, что Ленин не только не умер, но и бдительно за всеми присматривает, за мной в частности. И когда я занималась в отрочестве нехорошим делом, пардон, я не столько боялась, что мама моя застучает и начнет хлестать линейкой по пальцам, как не раз бывало, а стыдилась, что дедушка Ленин в эту минуту в окно заглядывает и очень меня осуждает. Я даже думала, что он такой умный, что и мысли читает, поэтому, когда резко оборачиваешься, его уже не видно, он уже знал о твоём намерении. А вот если

обернуться, не думая, как бы случайно, но очень быстро, то можно его увидеть. — То есть ты думала, что он беспрестанно наблюдает конкретно за тобой? — Конечно же нет, я понимала, что он держит под прицелом абсолютно всех, но как Мефисто здесь, Мефисто там, везде поспевает, передвигаясь с быстротой молнии. Но его можно было заманить поближе, занимаясь чем-то предосудительным, тогда он приближался вплотную. Я уже говорила, что тактика у меня была такая — надо было настолько увлечься плохим занятием, чтобы совсем о нем не думать и потом обернуться резко к окну, думая при этом: «Кажется, сквозняк» или что-то в этом роде. Поэтому я перед этим делом, сами понимаете, перед рукоблудием, открывала форточку, чтоб мысли эти были оправданными. — Как интересно. Скажи, пожалуйста, то есть ты его в эти минуты представляла, типа «Ленин в тебе и во мне»? — Слушай, сбавь свой тон психоаналитика, не то больше ничего не буду рассказывать. Практикуйся лучше на своих натурщицах, если тебе так нейдет, ты ж у нас натуралист. — Ну чего ты, ладно, я тебя по-хорошему спрашиваю, как коллега коллегу, ты его представляла? — Да ты что, совсем охренел, мне такое и в башку не могло прийти, а если б пришло, то всякое желание бы пропало на веки вечные. Вот кого представляла — не скажу, но попутно и его завлекала поближе, чтоб поглядеть. А то он такой хитрый, на всех сам смотрит, а никому на глаза не хочет попадаться. — Ну и как, тебе удалось? — Что-то я разболталась. А как ты думаешь, если б нет, то запомнила бы я эту историю? Но не спрашивайте, больше ничего не скажу. — Ну а сейчас он тебе является? — А я сейчас больше не оглядываюсь, пусть смотрит сколько влезет, я его больше не боюсь, есть вещи пострашнее. Но учти, больше ни на один твой

вопрос не отвечу, уж больно у тебя медицинские интонации. — Да, с Лениным все слишком серьезно обстоит. Ведь этой фигурой заменили чуть ли не образ Христа, а марксистским учением — веру. И все атрибуты святости ему сопутствовали, и тебе ученики, и учение, и притчи всякие. — Да, мне больше всего нравится о том, как Ильич любит детей. Ну знаете, Надежда Константиновна рассказывает: «О, Владимир Ильич так любил детей! Бывало, идет по дороге. А навстречу ему малыш. Он так ласково спрашивает: «Как тебя зовут?» — а ведь мог и топориком по головке!» — Слушай. Это уже неактуально. Но вот что он не только вечно живой, но ему еще и сотворили полунетленное тело — это серьезно. И доколе это будет длиться, одному Богу известно. Ведь то, что ни одно кладбище не соглашается принять его останки, только льет воду на мельницу тех, кто до сих пор против его захоронения. Хотя и всех, кто против, я не могу осудить. Сжечь его и рассеять по ветру — тоже не выход, значит, отравить воздух. — Слушайте, что вы все такие злые, а еще о вере говорите! — Ну а что ты предлагаешь? — Не знаю, но вот мой папа совсем недавно слышал все эти дебаты по телевизору и говорит: «Ну что это человеку все нет покою даже через столько лет после его смерти? Может, возьмем и потихоньку захороним его у нас на даче?» Добрее надо быть. Вы все о любви, о любви, а как доходит до дела... — Слушайте, все-таки, кстати, о любви и о психоаналитиках, а чего вам не нравится идея Фрейда, лично я по себе могу судить, что художник рисует потому, что его мало любят или любят не так. — Скажите, пожалуйста! А кого же *так* любят? Спроси любого — никого не любят так, как ему надо, а художников всего один процент, если не меньше, от всего человечества. Вот я бы лично на месте психоана-

литиков подумал бы на тему, отчего всем кажется, что все эти типы должны воскреснуть? Не иначе как история с Иисусом отложилась архетипически в массовом сознании. Теперь от каждого нового героя будут ожидать подвига воскресения. — Но Иисус вовсе не был героем. — Так и эти все тоже не считали себя героями, они точно так же хотели всего лишь спасти человечество. — Да, но Христа распяли, в отличие от этих. — Так ведь он сам нарывался на это, да еще так откровенно. Ежели он был действительно такой умный, как ему приписывают, то он сам должен был понимать, что играет в игру под названием «Ударь меня», причем свою роль он лепил слишком уж прямолинейно. Если он не уважал современников своих, то мог хотя бы подумать о потомках, что их такая халтура может покоробить. И партнеров он себе выбрал односложных и направлял их не тонко. «Ты трижды отречешься от меня, прежде чем прокричит петух», — почему все думают, что это предсказание, а не приказ? Тем более что до этого он с учениками, и не только с ними, разговаривал в авторитарной форме. — Да, и мне кажется, что его распяли оттого, что слишком уж он всех учил, всем навязывал свои догмы, пусть они были у него самые прекрасные. И дураку было бы понятно, что дело пахнет порохом. А он ведь был не дурак. А эти слезы и кровавый пот после того, как сам устроил заварушку. И ведь знал же прекрасно, что воскреснет. Иные оказываются перед лицом смерти не по своей воле и не ожидают после смерти ничего, тем более не претендуют на роль учителя грядущего человечества, и то не устраивают такого фарса перед казнью. — Вы так говорите, как будто верите, что он был реальным лицом. — А даже если не был — для миллионов людей он реальней тебя. Сколько человек знают о твоём существовании? А к нему до

сих пор миллионы обращаются за заступничеством и еще долго будут обращаться. Тот же Сократ — был ли он реальным человеком или его Платон выдумал? Или Будда — существовал ли он? А Магомет? Но разве это важно при свете того, что они круче завертели колесо истории, чем это удавалось хотя бы одному из тех, в чьем существовании не может быть сомнений? Разве какой-нибудь Наполеон сравнится с ними степенью влияния на человечество? Ну те же Гитлер со Сталиным — ну что они такого особенного делали — ну, поубивали массу людей — так во имя Христа или Магомета уничтожалось гораздо больше. И что после них стало — человечество содрогнулось, поняло, что так жить нельзя, и очистилось. И кто больше всего возмущается их убийствами — верующие люди. А если посмотреть с позиции любой религии — что такое жизнь здесь? Почти по каждой выходит, что это такое наказание или испытание. Если христианский Бог утверждает, что ни один волос с головы человека не упадет против Его воли, то как же христиане могут возмущаться массовыми убийствами, обвиняя в них конкретного человека? В лучшем случае он вообще ни при чем, а в худшем — он исполнитель воли Божьей. С буддийской точки зрения — наработали себе плохую карму и им предстояло ее здесь долго и мучительно исправлять, а оттого, что их таким образом убили, они получили избавление и родятся для более счастливой жизни. А если посмотреть с позиции любой религии, все замученные несправедливо прямиком попадают в рай. Так что откуда нам знать — может, это были великие освободители человечества, они спасли души стольких людей для вечной жизни, если она есть, а сами будут за это гореть вечным огнем. Это тебе не три дня повисеть на кресте, чтобы потом возродиться для

вечного блаженства. Может быть, их жертвы на том свете, если тот свет существует, сейчас возносят благодарственные молитвы за освобождение, откуда вы знаете? — Слушай, по-моему, ты несешь ересь. — Да кто ты такой, чтобы судить меня? Откуда мы что знаем? Мы даже не знаем, существовали ли в реальности люди, чьим якобы указаниям мы следуем. Мы не знаем, есть ли тот свет или только этот? Одни говорят что-то про рай и ад, другие про господство материи, третьи говорят, что здесь мы куколки, а со смертью происходит наше рождение и мы превращаемся в бабочек... — Только, ради всего святого, не приводи в пример Чжуаньцзы с его сном о бабочке! Честное слово, обрыдло, сейчас стало модным цитировать его сон к месту и не к месту. — А что, действительно, откуда ты знаешь, ты — это тот, который здесь сидит и хлещет водку или все это кому-то снится? Вот ты можешь мне сказать, куда она сейчас делась? — я на прошлой неделе еще с ней разговаривал, вот как с тобой, а сейчас ее нет. Где она? Мой рассудок не может этого вместить. — И правильно, потому что к рассудку это не имеет никакого отношения. — А к чему же имеет? — К вере. — Ты верующий? И в кого же ты веришь? — В Иисуса Христа, естественно. И в Святую Троицу. И не задавай мне вопросов, что и как, потому что, если ты этого не понял сердцем, словами я тебе не смогу объяснить. Вот как все равно что слепому не смогу объяснить, что такое цвет, ты уж извини. — Ну хорошо, допустим. Раз все так серьезно, можешь ты мне объяснить, где она сейчас находится? В раю? Или в аду? Где-нибудь она сейчас есть? Мы сможем ее потом увидеть? Ответь мне! Может, она сидит по правую руку от Господа? Или спит до Страшного суда? — Не кипятись ты так, я отвечу. По христианской вере, по нашей православной, она

сейчас проходит через мытарства. Понимаешь, старик, очень важно знать, была ли она крещеной. Ты не знаешь? — Прости, у нас как-то при знакомстве не принято было спрашивать о вероисповедании, наличии судимости, семейном положении. — Пойми, это вопрос не праздный, если ты хочешь, чтоб я ответил по сути. Вот если она была некрещеной, то я не совсем четко представляю, что дальше бывает. А если ее крестили, то сейчас она проходит через мытарства. Первые два дня ее душа находилась подле тела, у праведников считается, что душа в это время отправляется в места, где она творила добро. На третий день души у всех усопших отрываются от земли и отправляются на мытарства. Это самый тяжелый для них день, можешь представить, насколько трудный, что даже Дева Мария в предчувствии кончины молила своего сына, чтобы Он избавил ее от этих мучений, и Он самолично пришел за ней и провел прямой дорогой к Богу. — Откуда это известно? — Из откровений ангельских, бывших святым отцам православной церкви. — А что такое мытарства — это когда грехи взвешивают, так? — Не совсем так — на третий день после смерти душа восхищается ангелами на небо и по пути к Господу проходит через двадцать отделений, или судилищ, на которых она обличается бесами в грехах. Вот эти судилища и называются мытарствами, а бесы — мытарями. Мытари не только уличают душу в грехах, ею совершенных, но и, по многим свидетельствам, в таких, которым душа никогда не подвергалась. Ангелы добрые со своей стороны на мытарствах представляют добрые дела души. Если не всякая душа благодаря праведной жизни сподобляется осознания своих грехов, то после смерти, когда ей напоминают все обстоятельства, при которых совершалось зло, каждая душа осознает свои грехи. Этим она предуп-

реждает суд Божий над нею. Так что сделанные грехи уничтожаются покаянием — суд Божий определяет то, что сама душа уже произнесла над собой. — И сколько это тянется? — Весь третий день. Поэтому очень важно именно в этот день отслужить панихиду по умершему, ваши молитвы окажут неоценимую помощь, облегчат прохождение мытарств. Если не окажется достаточно добрых дел, перевешивающих злые, ангелы будут откупаться от бесов вашими молитвами. Не зря в православной церкви принято служить панихиду именно на третий день. Я уже справлялся у родственников, они ничего не заказывали. Сегодня уже поздно, но завтра прямо с утра я иду в церковь и вас прошу, все, кто может, нужно помолиться за нее, а еще лучше, может скинемся, закажем ей в Загорске сорокоуст. — Знаешь, если бы все было так просто... Мне как-то трудно представить, что я вот лично согрешу и уйду в мир иной не покаявшись, а потом кто-то за меня помолится, и Господь меня простит. Тогда б ни у кого забот бы никаких не было. — А мне не нравится в христианстве, что некрещеные автоматически лишаются рая, даже если это дети. Душа у меня против этого протестует. — Ну, все не так однозначно. Зависит от того, кто молится и как молится. Молитвою можно спасти и грешников, и некрещеных. Поэтому очень важно помянуть ушедшего на Божественной литургии. Есть много примеров святых апостолов, являвшихся после своей смерти к старцам и благодаривших тех за упоминание на литургии. Они разъяснили, что приношения на литургии были сильнее даже их молитв. И конечно, молитва церкви и людей об успокоении есть результат жизни усопшего. Не каждый этого достаивается. — А все же если она была некрещеная, то можно за нее молиться? — Нет, тогда нужно все предоставить милости Божьей. Нужно

спросить ее близких. Это очень важно. — А я все равно за нее помолюсь завтра, не оставлять же ее без молитв. Тем более если то, что ты говоришь, — правда. — Церковь не совершает отпевания некрещеного. — Но ведь это жестоко! — Нет, просто Церковь считает, что она не может насильно привлечь к себе, если человек сам не пожелал при жизни. Тогда человек предоставляется на волю Божью. — Она была крещеной, я думаю, иначе как бы ей позволили заниматься иконописью? Я думаю, у них с этим строго. — А ведь точно. — Вот жалко. Я принесла с собой «Бардо Тёдол», хотела ей прочитать. Но мне не позволили. — А что это такое? — Как, ты не знаешь? Это Тибетская книга мертвых. — А, ну так бы и говорила, конечно, знаю. То есть слышала. Но я думала, что она для живых. Как ты собиралась ей читать? — В том-то и дело, что она для мертвых. Ламы или за неимением близкие люди, читают ее на ухо умершему. Просто ему объясняют как бы, что с ним происходит, и пытаются показать ему путь. У них тоже, кстати, считается, что первые три — три с половиной дня душа находится на земле, возле тела, но обычно без сознания, и только к концу этого срока она осознает, что с ней произошло. Но вообще сразу после смерти человек видит сияние Просветленной яви. Если в эту минуту кто-нибудь ему на ухо скажет: «Ты сейчас в предвечном свете, попробуй остаться в том состоянии, какое испытываешь», — то это будет большая помощь. Обычно в этом состоянии удерживаются только очень продвинутые люди, но и им нужно, чтоб об этом напомнили. Тогда они могут зацепиться. Но это удел высших существ. Обычно большинство тут же соскальзывает на вторую ступень. И очень важно, чтоб им кто-то в это время — обычно это бывает через несколько часов после смерти — сказал. Хотите, прочитаю? — у

меня ж прямо с собой. — Давай, если недолго. — Я могу и коротко. Вот: «Ты не увидел Предвечного Ясного Света. В преддверии следующего Бардо перед тобой засветится Вторичная ясность. Угляди ее! Если сможешь увидеть, назвать и принять Вторичный Свет первого мига смерти — многого избежишь в дальнейшем. Когда увидишь, назови своим любимым Божеством. Воскликни: «Господи! Ты ли это?!» Там-там-там, пропускаю, дальше: «Стоит распознать и не испугаться — вмиг придет Спасение. Откроется Тайная Тропа. Это Вторичный Свет предвечности. Обнаружив в себе нечто новое и приняв его, мы меняемся, становимся поистине новыми. Так и со Светом, распознав в нем себя — становимся им! Не узнав, не увидев Света, мы тут же можем встретить Часовых Вечности в любом обличье. Это помощники, Великие Образы Соединения все с тем же Предвечным Светом. Если ты не увидел Света, однако очнулся, опамятовался и знаешь, где находишься, — держи единственную мысль в голове — смирение! Кого ни встретишь — склонись и припомни хоть какую-то молитву из прошлой жизни, хоть что-нибудь, во что верил... — Представляю, что увидят коммунисты! — Да уймись ты со своей политикой хоть на этот раз! Дай послушать. — Ну в общем, я закругляюсь: «Покорись и порадуйся проводнику. Обратись к нему с мольбой и откроется Великая Тропа». Ну вот. А если человек не пойдет за проводниками, для него начинается Бардо Кармических Наваждений, по-вашему, — ад, который длится пятнадцать дней. После этого душа попадает в Бардо Ожидающего Рождения, и если ей не удастся нигде зацепиться, то через сорок девять дней она снова воплощается. — По нашей православной вере после прохождения мытарств в третий день души восходят к Богу для поклонения, после чего повелевается

показать душе различные обители Святых и красоту рая. Хождение и рассматривание райских обителей продолжается шесть дней. Душа, если она не отягощена грехами, удивляется и прославляет Создателя. Греховная же душа начинает скорбеть о своей беспечности. После рассмотрения рая душа на девятый день после своей кончины снова возносится на поклонение Богу. И в этот день положено молиться и просить за умершего. После второго поклонения Владыка повелевает показать душе ад в продолжение тридцати дней. И в сороковой день после разлучения с телом душа в третий раз возносится на поклонение. И только в этот день Господь определяет ей местопребывание. В этот день нужно совершать поминовение. А то, что ты сейчас зачитывала, христианину не подобает. Я знаю эту книгу, там описывается, как душе являются всякие языческие божества. Это грех, и хорошо, что тебе не дали ей зачитать. — Не совсем так. Эта книга как раз лишена догматичности. Там просто описываются божественные сущности, являющиеся душе в разные дни ее пребывания в Бардо Кармических наваждений. Всего таких дней четырнадцать. И как я понимаю эту книгу, с каждым днем человек скатывается в некую область, которая отдаляет его от этих сущностей и потому искажает восприятие, и с каждым разом труднее разглядеть лучезарных божеств и легче соблазниться адскими путями. Поскольку все наше восприятие сильно зависит от той культуры, в которой оно формировалось, то в книге даже подчеркивается, что каждый увидит в светлом лице привычный ему образ. Там есть шансы даже для души, которая ни во что конкретно не верила, но прошла внутренний путь настолько, что может не растеряться, не испугаться и сделать правильный выбор. В тексте, который прочитывается умершему, очень

часто подчеркивается, что нужно помнить, что эти Боги — лишь знаки на Пути, цитирую: «Движения внутри нас в помощь или во вред движению». В конце концов, современному ментальному человеку можно их описать как энергии, имеющие определенную консистенцию и цветовую окраску, которые тоже приводятся в книге. Вся загвоздка в том, что, видимо, мы уж так устроены, иначе давно бы спаслись, что светлые силы нас устрашают, отталкивают, вернее, мы отталкиваемся от них, а наши внутренние злые дела или чувства могут потянуть нас к кажущемуся более приятным излучению ада. Могу тоже зачитать для примера, скажем, из Второго дня: «Это день ясности белого огня Восточной стороны, в этом белом чистом пламени заключены Счастье Проникновения и Мудрость Зерцала. В этот же день явится за грешником Ад, растворит свою страшную пасть, откуда струится темный свет. Злые дела или гнев могут толкнуть тебя, потянуть непреодолимо к дымчатому темному свету Ада. Он покажется таким теплым, согревающим. Жесткий блеск спасения утратит. Не гляди в эту как будто ласковую дымчатую темную сторону. Это путь в адские миры, откуда долгим будет возврат наружу». Ну и так далее, не буду вас слишком утомлять. Мне нравится, что предостережения здесь даются в том духе, что не влекись к тому, что кажется тебе легким и приятным, поскольку оно таково для тебя в силу того, что нечто внутри тебя, но не являющееся тобой, влечет к нему. Понимаете, что я хочу сказать? Боюсь, что я не совсем смогла выразить то... — Нормально, все понятно! — Да? Спасибо. Ну вот, а то, что пугает, на самом деле как бы является тобой. Нужно в пугающем распознать себя и соединиться. Понимаете? И никогда не поздно спастись. Важно только сделать решительный выбор, а этому мы учимся здесь, на зем-

ле, и оттого, насколько овладеем этим искусством, зависит наша дальнейшая судьба. — А что, по-ихнему, означает «спастись»? — Разорвать цепь кармических воплощений, соединиться со Светом, которым мы и являемся, и перестать воплощаться. Но воплощение, то есть рождение вновь, не самое худшее, что ожидает душу, поскольку она может соблазниться всевозможными адами и надолго в них завязнуть. Можно и соединиться со Светом, а потом сознательно воплотиться для исполнения некой Миссии, как сделали уже некоторые. Но спастись можно в течение первых семнадцати дней и во время суда еще не поздно, он наступает после этих четырнадцати дней Бардо Кармических наваждений. — Вот это интересно. Расскажи, как у них суд описывается. — Можно я опять зачитаю кусочек? Все равно мне лучше не сказать. — Давай, если там не очень долго. — Я только выдержки. Начинается так: «Твое страдание в этом загробном мире порождено худым в тебе. Если бы худого было мало, ты бы наслаждался здесь и позабыл о своем временном доме на Земле, случайных наших близких в юдоли очередного земного воплощения. Пойми это, сосредоточься на Предвечной Троице или Великом Знаке, и от тебя отступят. Если ты не в силах отвлечься от своих страданий, тогда Добрый Дух твоего возраста придет и станет складывать белые камешки твоих добрых дел. Вместе с ним с другой стороны придет Недобрый Дух и станет черными голышами отсчитывать твои дурные дела. Увидав эти кучки, ты можешь испугаться и станешь лгать, кричать, что это несправедливо и не было стольких дурных дел, а добрых было больше... Сразу появится Князь Смерти пред тобой с Зеркалом Судьбы(кармы), в котором отражаются доброе и худое в точности. Заглянешь ты в это Зеркало и увидишь правду». Дальше идут

ужасные описания мучений, которым подвергают душу, я пропускаю, за столом все это не стоит описывать. Но дальше вот интересные указания: «Здесь тобой сотворенное способно растерзать тебя во всей подробности жутких твоих чувств при этом. Не лги, когда начнут считать белые и черные голыши. Не бойся Князя Смерти! Проси у него помощи и защиты. Распознай всю страшную картину и не выделяй себя из нее, тогда спасешься! Молись Господу и сосредоточь мысли на Великом Знаке Единства. Вспомни древние слова:

В одно мгновенье — все переменится,

В один миг — очутишься в спасительном месте».

Дальше пропускаю, кончается так: «Это последняя возможность освобождения. Не сумеешь сейчас прочитывать живую тайнопись — померкнут сознание и память прошлого, и полетишь вниз. Все страдания мира и Господа нашего тебя не спасут после этого.

Вспомни хотя бы свое настоящее имя, имя Учителя или Господа нашего! Выкрикни эти имена Князю Смерти! Побори страх, будь искренним хотя бы на мгновение!» — Да, круто сказано! — Ну чего ты мешаешь! — Ничего, остался последний абзац: «Упустишь эту возможность, тебя ждет беспомощность очередного воплощения». — Да, сильный стиль, ничего не скажешь. — Ага. А еще мне очень нравится, в каком-то месте, когда перечисляются способы спасения, есть такие строчки примерно: «Но ты можешь не последовать указаниям — везде находятся иноверцы». — Да, здорово. Кстати, почему христианство замалчивает реинкарнацию? — Церковь ее не замалчивает, церковь считает эту идею ересью. — Ну как же так, ведь она очевидна, без нее очень многое просто необъяснимо и явно несправедливо. — Например? — Ну, пожалуйста: почему одним все само дается, а другие всю жизнь страдают,

на первый взгляд совершенно незаслуженно. Или почему одни рождаются богатыми и красивыми, а другие с рождения тяжело больны, да еще в довесок получили нищих и неразвитых родителей. Если все души появляются на свет в первый раз, как объяснить такую неравномерность? Других точек зрения просто быть не может. Да и потом, я знаю, что на Шестом Вселенском Соборе, по-моему, около шестого века нашей эры, было принято решение скрыть идею переселения душ как несвоевременную, недоступную широким массам, и облечь ее в форму притч и иносказаний. — Вот уж новости! Хотя это довольно распространенное заблуждение, но сам подумай, о какой несвоевременности и недоступности могла идти речь, когда эта идея в то время была очень модной и широко распространенной? Неужели эта идея была труднодоступней, чем понятие Троиства или Святого Причастия, или других сакральных откровений? И если бы она изначально была в христианстве, то как бы ее удалось скрыть? Ведь Библия не переписывалась. — А как ты сам объясняешь такую изначальную разницу в условиях существования? И разве можно тогда требовать со всех одинаково? — Я объясняю это так же, как это делает христианское вероучение. Церковь однозначно отвергает идею предсуществования душ где-то на небесах, и этим снимается вопрос, почему одна душа воплотилась в иных условиях, чем другая. — А откуда же берутся души? — Бог творит новую душу вследствие зачатия. И жизнь человека — это не соревнование, не бег на длинные дистанции или метание копья, чтобы тщательно следить за изначальной равностью условий и веса. Вопрос в том, как каждый распорядится тем, что ему дано. Из того, что человек привнес сам, вычитается то, что ему было дано изначально. И еще неизвестно, у кого боль-

ше преимущества, у родившегося богатым и здоровым или терпящего нужду и страдание с рождения. Обычно вторые скорее находят путь к Богу. И кто скорей спасется — крещеный с младенчества или пришедший к вере в конце жизни. Учитывается только усилие, рост. И не забывайте: «Пришедшие последними станут первыми, ибо много званых, да мало избранных». — Скажи, пожалуйста, мне важно найти связь. Вот в том, что она читала сейчас, есть какое-то сходство с описанием мытарств в православии? — Нет, совершенно. Порядок, в котором следуют одно мытарство за другим, заимствован из повествования о них Преподобной Феодоры. И я могу перечислить вам без книги, на память. — Сделай одолжение! — Пожалуйста. Первое мытарство — грехи словом, как то: многословие, пустословие, празднословие, сквернословие, кощунство. Второе — лжи: ложь, клятвопреступление, неисполнение обетов, данных Богу; третье — клеветы; четвертое — чревоугодие; пятое — лень; шестое — воровство, седьмое — сребролюбия и скупости. Восьмое — лихвы, то есть всякое ростовщичество; девятое — неправды, десятое — зависти, одиннадцатое — гордости, гордыни; двенадцатое — ярости и гнева; тринадцатое — злопамятства; четырнадцатое — убийства; пятнадцатое — волхование. Шестнадцатое — блудное (мыслями, желаниями или действиями); семнадцатое — прелюбодеяние... — Прости, а чем оно отличается от блуда? — К прелюбодеянию относится несохранение супружеской верности, к блуду — связь лиц, не венчавшихся в церкви, например, хотя и считающих себя в браке, очень распространенный в наше время грех. Восемнадцатое мытарство — содомское; девятнадцатое — ересей (ложное мудрование о вере, сомнение в вере, отступничество от православной веры, богохульство) и

двадцатое — немилосердие. — Вот это да! Чует мое сердце, гореть нам всем синим пламенем! — И скрежет зубовой... — Хватит кощунствовать, что бы там ни было, умеете с уважением относиться к вере другого. — *Не знаю, сознательно ли вы вводите людей в заблуждение, или сами искренне заблуждаетесь? — О чем это вы? — А о том, что в Евангелиях самих встречаются разночтения, это уже о чем-то говорит. И потому, вы не будете отрицать, что христиане, переписывающие эти евангелия, верили в реинкарнацию. Ведь «символ веры» был принят только на Никейском Соборе, через триста пятьдесят с лишним лет после рождения Христа. А шестой Собор, если вы не знаете истории, состоялся в пятьсот пятьдесят третьем году. Он был созван императором Юстинианом, и впервые без Папы римского, которого Юстиниан до этого увез из Рима в Константинополь и продержал там фактически под арестом четыре года. Когда же Папе удалось вырваться из рук императора и он отказался приехать на Собор, императора это не остановило — он созвал Собор без Папы. Юстиниан на нем сам не присутствовал, но он собрал совет из епископов, готовых на все. Совет издал четырнадцать анафем, направленных против христианских богословов. Первая анафема гласит: «Ежели кто утверждает пресловутое предсуществование душ и намерен отстаивать чудовищное восстановление, которое является следствием этого: да будет тому анафема». — Откуда вы это знаете? — Я изучал историю христианства. И не забудьте, что Библия умалчивает о том, что делал Иисус с двенадцати до тридцати лет. Всем известно, что найдена рукопись, подтверждающая, что Он отправился с купеческим караваном по Шелковому пути в Индию, где изучал индуизм и буддизм и был почитаем в народе как святой Исса. Там*

Он и ознакомился с идеями реинкарнации. — Ну, для этого Ему не надо было проделывать такой путь. Еврейское население, среди которого он вырос, придерживалось почти таких же взглядов на жизнь после смерти. — А как евреи сейчас относятся к идее реинкарнации? — Знаешь, сколько евреев, столько и мнений на этот счет. — Ничего подобного, в Каббале существуют совершенно однозначные указания. Там семь кругов — душа рождается семь раз и с каждым новым рождением должна себя улучшить. В седьмой раз происходит самое главное — душа либо остается в резерве, либо уничтожается. У каждого человека есть свое предназначение — тиккун, и все рождаются до тех пор, пока его не исполнят. — На самом деле, в иудаизме самое большое разнообразие верований, связанных с загробной жизнью в сравнении со всеми другими религиями. — Слушай, расскажи лучше, что там дальше происходит в твоей тибетской книге. — Когда дальше? — Ну, после суда. — На суде последняя возможность спастись. А если ею не воспользоваться, то предстоит следующее воплощение. — Так это же кайф, ребята! Перехожу в буддизм. Мне это все очень нравится. Вот тебе и вечная жизнь. — Ага. А если родишься баобабом? — Ну, это у Высоцкого уже художественная вольность или? — Ну вообще воплотиться можно заново в шести мирах, или Локах. Могу перечислить — это или Мир Божеств, Ищущих Удовольствия, или Мир Враждующих Великанов, затем Мир Рассудочных Рациональных Человеческих Существ, потом Мир Диких Животных, дальше Мир Бродячих Несчастливых Духов и, наконец, всеочищающий Ад. — И как попадаешь в эти миры — соответственно грехам? — Не совсем, там ты опять же можешь выбирать, если не кинуться в первое попавшееся чрево. — Вот, кстати,

эти миры даны из Абхитхармы. Я недавно беседовал с ламой об этих мирах... — Где это? — Я же недавно был в Бутане... — Что ты там делал? — Ездил просто смотреть. Я же интересуюсь всем этим. Вот раньше, когда мы еще ходили на службу — было такое времечко у нашего поколения, вы, наверное, уже и не знаете, что это такое, так вот, нам надо было отсиживать на работе от и до. А делать было практически нечего, я решил со скуки заняться японским языком. Ну и втянулся. Потом стал делать технические переводы — вообще-то я программист, а потом и тексты всякие стал читать... — Бутан же в принципе закрытая страна? Или я неверно информирован? — Ну как — они принимают ограниченное число туристов в год, но я давно уже списался с одним там типа дипломатом, он мне устроил разрешение. Правда, обошлось мне это в круглую сумму... — Взятка? — Нет, там официально нужно заплатить. Но это не важно, меня давно волновал один вопрос, и я хотел обсудить его с ламой... — Они говорят по-японски? — Нет, но у меня был переводчик, который говорил на японском. — А что за вопрос тебя волновал? — Вот я и хочу сказать, вы мне все не даете. Я же программист, и мне хотелось узнать о местопребывании существ искусственного интеллекта. Вопрос был такой — вот человек производит этих существ, и, когда он умирает, они остаются, и в каком из этих шести миров они обитают? У меня была гипотеза, что их можно сравнить с адскими существами. — А что, ламы секут в компьютерах? Ты смотри! — Нет, мне, конечно, пришлось предварительно объяснить ламе, что это примерно такое. И тогда он задал мне встречные вопросы. Во-первых, он спросил, состоят ли они из четырех основных элементов, ну там вода, огонь, эфир, земля. Мы долго обсуждали эту проблему и пришли к выводу,

что — нет. Затем он спросил, обладают ли они собственными человеку омрачениями сознания, как-то: ревность, зависть, злоба. Я подумал и ответил, что — да. — Ну ты даешь! Какими же это? — Во-первых, я считаю, что они ревнивы. — Тут я с тобой не согласен. Я тоже занимаюсь компьютерами... — Ну хорошо, это спорный вопрос, но в любом случае у этих программ есть цель, а в буддизме цель уже считается помрачением сознания. Лама спросил, считаю ли я, что они являются продолжением человеческого сознания. Я ответил, что — да. Тогда он подумал, подумал и сказал, что они не живые. Я ему возразил, что если человек, их создавший, умирает, они могут жить и живут очень долго и вот где они в этом случае находятся? Он ответил — ну и что, ведь когда человек умирает, его сознание остается жить, так почему бы не жить продукту его сознания? В любом случае они не переживают своего творца. — А как у них там вообще относятся ко всякой технике? — Плохо. Их король запретил телевизоры, хотя он европейски образованный человек, долго жил и учился в Швейцарии. Кстати, они сейчас очень активно перенимают опыт швейцарцев, в принципе, это такая же маленькая автономная горная страна, и со стороны короля это очень мудрая политика. — А какая у них там вера? — У них там *тибетский буддизм*. — И они тоже верят в переселение душ? — Естественно! Я туда поехал как раз на *осенние буддийские фестивали*. — И перечисление возможных миров воплощения тоже совпадает? — Ну конечно! — А давно эти тексты были записаны? — Они передавались изустно задолго до нашей эры, а записаны были около восьмого века. — И ничего не менялось? — Нет, а что? — Интересно, значит, изначально они определяли мир людей как мир рассудочных и рациональных человечес-

ких существ, правильно я понял? — Ну да, а что, у тебя имеются возражения по этому поводу? — Не знаю, но дон Хуан говорил, что раньше у людей было магическое сознание, и только с какого-то времени точка сборки у человечества установилась на рассудочном уровне. — Ты что, веришь в дона Хуана? Его же Кастанеда выдумал. По-моему, это уже доказано. — Тогда и Платона придумал Сократ, и Лао Цзы — Конфуций, и Иегову — Моисей! А Маркс был тоже — герой произведений Энгельса... — Ну не надо, их видели и другие люди, и есть об этом свидетельства. — И дон Хуана видели все из партии Кастанеды. — Да, но их никто не видел! — А ученики? Они сейчас разъезжают по всему миру, и рассказывают, и тоже книги написали. — Ну чего вы спорите! Я считаю, что если дон Хуана и не было, его надо было придумать. — Есть один мужик, который все бегаёт и криминал на Кастанеду вынюхивает, уже три тома написал. Он тоже жалуется, что многие пишут ему письма с подобным аргументом. — А что он имеет против Кастанеды? — Основной пафос обвинения в том, что он свою фантазию выдал за научное исследование и нарушил этику и чего-то там еще. — По-моему, он просто ему завидует. — Ага, он уверяет, что корысти у него никакой: в то время как Кастанеда зашибает за свои труды кучу денег — он, по-моему, приводит даже точную сумму, то критик сам, мол, вынужден свои доносы, написанные исключительно во имя науки, издавать за свой счет. — Бедняга, как тут не пожалеть человека. Я тоже читала эти труды. Он собрал по разным помойкам всякие компрометирующие свидетельства, натурально грязное бельё вытряхивает, типа у всяких там кинутых баб взял интервью, представляете, что они могут наговорить, это все надо еще минимум на шестнадцать делить. Если бы обо

мне собрать сведения по бывшим мужикам, так всем сразу захочется сжечь меня на костре после испанских пыток! — Он еще упрекает Кастанеду в том, что после его книг большинство читателей начали мечтать о рае, который им представляется такой пустыней, где они сидят и ведут бесконечные беседы с дном Хуаном. — Так это же лучше намного, чем многие другие описания рая, на которые народ до этого медитировал! По мне, жажда знания у масс предпочтительней, чем мечты о всяких райских плодах или, тем паче, гуриях у тех же масс. Вы знаете, что у мусульман правоверному обещана красавица, которая будет являться к нему каждую ночь, а наутро после всевозможных любовных усад, которые только может вместить его распаленная фантазия, она будет вновь представлять ему девственной. — Что, правда? — Век свободы не видать! Я читал Коран. — Какой кошмар! А кто же выполняет у них роль вечных девственниц? Грешники, наверное? — Да уж не иначе как. — Мама родная! Будь я мусульманином, сто раз бы подумал, прежде чем согрешить! Это тебе не в котле кипеть. — Ребят, может, хватит о религии, а? Вам это просто треп, а не хило б задуматься, что вы можете всерьез чьи-то чувства задеть. Не все ж такие безбожники, как вы. — А чо, мы пытаемся разобраться, что к чему. Глядишь, и мы скоро там окажемся. Надо бы с умом прикинуть, какой рай лучше, чтоб не попасть впросак. А чего там твой Кас... — как его — про смерть говорит? — Он, кстати, считает, что Бога нет. — Как это? Если Бога нет, то кому, извиняюсь, мы здесь нужны? — Цитата. — А я и не утверждаю, что мое. — Ну как тебе объяснить, дон Хуан утверждает, что есть некая сила, или энергия, которую видящие описывают в виде Орла, не потому, что это действительно орел, а имеет как бы очертания схожие. И вот когда человек

умирает, у него происходит такая яркая вспышка, он заново очень коротко, но насыщенно переживает свою жизнь, и вот при этом излучается нечто, чем Орел и питается. Но есть такие специальные техники, с помощью которых можно избежать такой участи. Индейские маги поняли, что эти впечатления и нужны Орлу, поэтому разработали такую процедуру, как вспоминание. Они вспоминают свою жизнь, минута за минутой, и стараются с первоначальной силой пережить все, что было... — Это же невозможно, мы вытесняем многие события и эмоции. Не говоря о том, что семьдесят процентов переживаний проходят мимо сознания. — Я же говорю, что у них специальные техники, которые делают возможным полное вспоминание. Они начинают с ближайших, ярких событий и постепенно вспоминают все. И вот они как бы еще при жизни дают Орлу требуемую пищу, и после смерти, то есть у них уже не смерть, а сознательный уход, Орел дает им возможность пройти беспрепятственно мимо себя. — И что тогда? — Тогда они обретают свободу и могут исследовать бесконечные миры. — Гурджиев тоже говорил о подобном — представьте себе, что мы живем в огромном, великолепном замке, но обитаем при этом в подвальной отделении, и думаем, что это весь мир. Но мы можем выйти из него и осмотреть весь замок со всеми его комнатами. Но это еще не все — мы можем выйти из замка даже и попасть в огромный, неизведанный теперь уже действительно мир. — Подожди, а как же близкие? Они же на самом деле умирают? — Дон Хуан говорит, что путь мага — это путь воина, и надо быть готовым ко всему, в том числе к одиночеству. Если ты можешь убедить близких тебе людей встать на один с тобой путь, то это твоя удача. Но, к сожалению, это очень редко удается. Хотя многие индейские племена

целыми поселениями уходили сознательно, с детьми. К ним приходили, а их уже и нет, как бы загадочным образом. — Подожди, так получается, по-ихнему, что этот орел и есть Бог? — Нет, Орел — это сила, объективно существующая, которую многие видели и описывали. Но они честно говорят, что не могут объяснить, что это такое, и этим своим отсутствием претензии на всеобъемлющее знание и описание они мне очень импонируют. А про Бога дон Хуан говорит, что существует такая человеческая матрица, абсолютно безличностная, по которой в принципе любой человек может перемещаться и испытывать соответствующие переживания. В одной из ячеек и находится ощущение божественности, которой каждый человек придает привычные ему формы, примерно как в Тибетской книге. — Вот что-то, а про матрицу твой Кастанеда своровал у Грофа. Вот этот его критик многие параллели уследил, а этой не заметил, надо б ему написать. Гроф издал свои книги про ЛСД-терапию раковых больных задолго до того тома Кастанеды, в котором говорится про матрицу, и дал полное ее описание, исходя из трипов своих пациентов. — Ну если это и правда, то говорит только о том, что такая матрица действительно существует, а кто ее первый описал, не суть важно. Индейцы яки передавали знание об этой матрице своим ученикам задолго до твоего Грофа. — Ребят, ну чего вы? Я так не люблю все эти споры по поводу религий. Ведь если вот так трезво посмотреть, все согласятся, что есть некая сила, нас сотворившая, а как ее назвать — Природой, Абсолютом, Богом, энергией — не все ли равно? Зачем все эти споры, войны? Пусть каждый называет, как ему нравится. Ведь центром любого учения религиозного является любовь к ближнему. Ни один пророк или адепт не желал, чтобы

люди убивали друг друга во имя веры. Ну чего вы, давайте жить дружно! — Вот молодец! Я тоже считаю, что человечество придет к интеграции религий, и это время наступит довольно скоро, через пару лет мы вступаем в эпоху Водолея, а Водолей, как известно, за преодоление всяких границ. — Вы что, увлекаетесь астрологией? — Не только увлекаюсь, это моя профессия. — И позвольте в таком случае полюбопытствовать, какая планета будет представлять вашего интегрированного Бога? — Не Бога, а представление о нем. Я сам верующий и считаю, что Бог всегда был, есть и будет один, и оттого, как мы Его называем, Он не меняется. — А дозволено будет узнать, как *вы* Его называете? — Пожалуйста. Мы Его зовем Учитель. — Мы? — Да, у нас сложился круг единомышленников, и мы надеемся, что в двухтысячном году большая часть человечества присоединится к нам. — И вы все астрологи? — Нет, у нас у всех свои профессии, но вообще опять же я уверен, что астрология вскорости станет признаком грамотности. Раньше мерилom грамотности, ее минимума, было овладение алфавитом, умение читать-писать, сейчас появился новый показатель грамотности — умение пользоваться компьютером, скоро люди, ничего не понимающие в компьютерах, станут в диковинку. Третьим показателем грамотности станет астрология, люди поймут, насколько это важно, без маломальской ориентации в движениях планет никто не будет принимать важных решений. Уже сейчас интерес к астрологии так велик, что уже можно говорить о начале ликбеза. Большинство газет печатает астрологические прогнозы, и хотя это страшная профанация, эти газетные предсказания, но уже можно судить об уровне интереса. Я по себе вижу, за последние годы количество моих клиентов заметно увеличилось. — Вы делаете предсказания за день-

ги? — Конечно, надо же что-то кушать, как вы думаете? — А каков социальный статус ваших клиентов? — Вы знаете, ко мне практически ходят люди из всех слоев. Основная масса — это, конечно, люди из коммерческих предприятий, обычно они интересуются, вкладывать ли деньги в какое-то предприятие, устанавливать ли деловые отношения с конкретными фирмами... — А вы что, и в коммерции разбираетесь? — Я разбираюсь в звездах. Достаточно узнать, в какое время поступило конкретное предложение, и по расположению планет можно со стопроцентной точностью сказать, будет ли это предприятие иметь успех и каких неожиданностей следует опасаться. Понимаете, они сами убеждаются, насколько это оправданно, и рекомендуют меня дальше. А поскольку коммерческие структуры у нас в стране сейчас наиболее платежеспособные, подавляющее большинство моих клиентов именно оттуда приходит. — А криминальные элементы вам попадают? — Бывают, конечно, коммерция без них ведь пока не обходится. Один раз даже наемный киллер был. — Он что, прямо так и представился? — Нет, вы знаете, это такие люди, они предпочитают молчать, даже когда сами приходят к астрологу, информацию из них вытягиваешь клещами. Когда человек не знает точного времени своего рождения, мне нужно уточнить какие-то даты, чтобы правильно вычислить асцендент. Мне приходилось обо всем самому догадываться, он только сухо подтверждал. Знаете, сначала он произвел очень благоприятное впечатление, скромный такой, воспитанный. Он пришел ко мне домой, у меня жена, дочка, заходят в комнату, он так вежливо с ними, предупредительно. И ничего не говорит. А у нас, у астрологов, есть такая присказка: «Клиент всегда не прав», потому что обычно клиент утверждает одно, а звезды показывают другое, и в ре-

зультате выясняется, что клиент или скрывает, или забыл, а то и вытеснил. С этим тоже, он отмалчивается, говорит односложные вещи, а я вдруг смотрю — вы что, говорю, в таком-то году в тюрьме сидели? — Да, говорит. Я смотрю дальше — за убийство, что ли? — Было дело, подтверждает. — А вам не бывает противно иметь дело с подобными людьми? — Ну что значит противно? Когда видишь натальную карту человека, зачастую понимаешь, что он мог поступить так, и никак иначе. Бывают очень жесткие обстоятельства, над которыми человек не властен. Начинаешь терпимее относиться к людям. Вам же не становится противен как человек актер, играющий на сцене злодея? Вы понимаете, что это роль. — То есть вы исключаете всякую свободу воли и выбора, если я вас правильно понял? — Ну как, представьте, что мы являемся металлической пылью. Тогда, зная, в каком направлении будут перемещаться магнитные поля, вы можете предсказать, как будет двигаться вся масса со всеми отдельными представителями, какой бы душой или интеллектом они ни обладали. Единственное, что в их власти, — это предвидеть направление и не сопротивляться — это бесполезно. А может быть, самому приложить все усилия для движения в этом направлении, тогда можно на сумме этих двух сил выскочить за пределы магнитного поля. — Но к счастью, мы если и являемся пылью, то не металлической, а глиняной, но при этом Бог вдохнул в нас свое дыхание, так что ваш пример не очень удачен и не убеждает. Вы исключаете сознание, которое нам дано, в отличие от неживой природы или даже от животных, и в связи с которым мы подчиняемся совершенно другим законам. — А с чего вы взяли, что звери и даже то, что вы называете неживой природой, не обладает сознанием? Я вам даже больше

скажу — есть большое количество существ, недоступных вашему восприятию, но тем не менее обладающих достаточно широким сознанием, возможно, даже превышающим пределы, доступные среднему человеку. — Точно, дон Хуан также дает определение живому как способному к осознанию. — Не чертей ли и всяких там леших вы сейчас подразумеваете? — В вашей терминологии их так именно и кличут, но, кстати, и ангелы входят в эту категорию невидимых существ. И способность человека к осознанию ни в коей мере не аннулирует планетарный принцип. Планеты — это опосредованный язык, знаки, с помощью которых Бог говорит с нами. Планеты символизируют всевозможные принципы взаимодействия человека с самим собой, социальным окружением, внешним миром и даже с космическим сознанием, в частности за последнее отвечает Уран. Естественно, что астрология не исключает прямого участия человека в своей судьбе, заданность каждой планеты в определенном зодиаке указывает на то, где и каким образом будет проявляться планетарный принцип, но то, как человек распорядится этой данностью, зависит от уровня проработки самим человеком своего гороскопа. Планеты указывают только, в каких условиях будет протекать процесс становления человека, они только намечают кармический рисунок, но отношение к нему во власти человека — оговорюсь — с определенного момента в его развитии. Более того, дойдя до некоего уровня, человек может развязать многие кармические узлы не только у себя, но и у своего окружения. — То есть вы тоже верите в реинкарнацию? — Не просто верю, я знаю, что это реальное положение. С какого-то времени у меня открылся третий глаз, я научился видеть предыдущие воплощения других людей. Астрология и возникла как наука из буд-

дизма. В Индии до сих пор есть деревушка, в довольно труднодоступной местности, где живут астрологи, передающие древние знания от поколения к поколению. Вот они много чего знают, не то что мы, вынужденные собирать эти знания по крохам. Они могут построить человеку не только карты его предыдущих рождений, но и будущих, с точным указанием времени и места рождения, а также и пола. — *То-то и оно. Христианство против астрологии и прочей всякой ворожбы.* — А как вы думаете, кем были те волхвы, которые пришли поклониться новорожденному младенцу с дарами? — А как насчет смерти, вы можете ее предсказать? — Безусловно. Я, кстати, видел в ее натальной карте настораживающие моменты, не помню, зачем я в нее полез недели две назад — кажется, она позвонила, сказала, что у нее депрессия, но я увидел, что к тому были объективные показания, сказал, чтоб потерпела, дней через пять напряженные аспекты планет должны были смягчиться, а потом пригляделся и заметил, что как раз ко дню ее гибели там что-то нехорошее образуется... — А что конкретно? — Долго объяснять, вы же не знаете принятой терминологии, но, грубо говоря, транзитный Сатурн становился в оппозицию натальному Солнцу аккурат в восьмом доме. Это само по себе очень неприятно, но и вдобавок были всякие тонкости. Я пытался до нее дозвониться, чтобы предупредить, но то ли ее дома не было, то ли не хотела трубку брать. А потом я уехал в командировку и... — А что бы вы ей сказали — ты умрешь такого-то числа? — Я бы ей сказал, что у нее в эти сроки будет напряженное время, чтоб была осторожней. — Если суждено умереть, то ничего уж не сможет спасти. Знаете эту притчу, про свидание в Самарре? — к купцу прибегает слуга, весь запыхавшийся, и начинает просить, чтоб тот

отдал ему лошадь и отпустил в Самарру. Купец интересуется, к чему такая поспешность, слуга объясняет, что только вот, гуляя по рынку, увидел в толпе Смерть, которая пригрозила ему косой, и он хочет уехать в Самарру, чтоб быть подальше от нее. Купец сжалился над ним и отдал самую быстроногую лошадь из своих конюшен. Слуга тут же вскочил на нее и умчался в Самарру, а купец отправился на рыночную площадь и действительно увидел там Смерть. «Зачем ты напугала моего слугу?» — спросил он у нее. «Да я и не думала его пугать. Я просто очень удивилась, увидев его. Ведь у нас с ним на сегодняшний вечер назначено свидание в Самарре, и я подумала, как же он успеет, если до сих пор находится здесь». — Если все настолько предопределено, зачем вообще нужно всё, астрология в частности? — Зависит, как вы будете распоряжаться своим знанием. На Востоке, например, есть специальные монастыри с астрологами. Люди приходят туда умирать. Астролог вычисляет точный день смерти, и оставшееся время под руководством монахов пришедшие туда готовятся к смерти. Это же целая культура! — У нас в Европе тоже было совершенно иное отношение к смерти. Я прочитал переписку всевозможных людей, живших пару сотен лет назад, — тогда ведь даже ждали смерти как избавления, готовились к ней загодя, прощались со вкусом и толком. — Все зависит от веры в Бога. Вот эта старая дама, Кублер-Росс, зачинательница хосписов на Западе, — всю жизнь учила своих пациентов не бояться смерти, а недавно я прочитал ее интервью, она сейчас сама умирает от рака, — так ее спросили, чего ей не хватало в жизни, она ответила: «Безусловной любви» и призналась, что ей страшно умирать. — Да, если бы знать, что после смерти что-то бывает, а так... — Я лично знаю по собственному опы-

ту, у меня переживание было такое... — Что, клиническая смерть? — Нет, не знаю, как назвать, поэтому до сих пор никому не рассказывала. Но раз уж зашел разговор, и вы все такие умные, может, сами мне скажете, что это? Бывает у меня, приходит ко мне один общаться и не то, чтобы во сне, но по ночам. Он мне всякие вещи показывает, предсказывает, которые потом случаются. И вот он мне сказал недавно, что умру я, когда дочке моей исполнится восемь лет, то есть через два года выходит. И он мне показал, как это бывает. Я сама была удивлена, он повел меня к месту, где стоит длинная очередь на тот свет, и все так спокойно ждут. И что для меня было неожиданностью, там были не только люди, но и сломанные автобусы и всякое такое. И все спокойно дожидались своей очереди. Я видела — ну как вас сейчас. Я уверена, что так и бывает, а что потом — мне не показали. Про Бога тоже ничего не знаю. — А я вот верю, что Бог есть. Но только у меня такая теория есть — Бог не в состоянии выполнять просьбы всех сразу и слушать всех вместе — представляете, какая какофония получится, если сложить наши просьбы разом? Вот он сидит себе там на облаках и думает — сейчас послушаю, чего не хватает Ваське Иванову, а теперь — какая надобность у Маньки Сидоровой. Со мной так было однажды — захотелось мне ночью пописать, а живем мы в коммуналке, коридор такой длинный. Добрела я до туалета кое-как — очень уж за день вымоталась, сделала свои дела, ползу обратно и думаю: вот черт, теперь еще и на кровать забираться! Дело в том, что я живу с другом, а он у меня такой длинный, и конституции нехилой, а ложится на кровати всегда с краю и мне через него перелезть приходится. А в тот день сил ну никаких не было, иду и думаю: Господи, ну хоть бы он на этот раз к стенке подвинул-

ся, — хотя и знаю, что напрасные надежды — никогда такого не было за пять лет совместной жизни. Подхожу к кровати, что-то непривычное — всматриваюсь — батюшки, и впрямь отодвинулся, лежит у стенки! Я схватилась за голову — надо же, какая дура! — а могла ведь «мерседес» попросить! Это была как раз та минута, когда Господь решил меня послушать. — Ну зачем же ты так Бога-то? — А что такого? — Что ж ты думаешь, что Он не может слушать всех сразу? Да ему это что тебе почесаться. Другое дело, стоит ли ему слушать просьбы всех. — Так я о том же. У меня иной раз у самой уши вянут, как только прислушаюсь, о чем это я прошу Господа. А таких, как я, — тьма. Вот Он и сидит, наверное, закрывши ладошками уши и зажмурившись, посидит-посидит, а потом пожалеет — какие-никакие, а все ж Его творения, дай, думает, послушаю, чего теперь-то не хватает этим бедолагам для счастья. А мы тут как раз именно в эту секундочку просим о ерунде какой-то, привыкли уже, что Он нас не слышит, и чего стараться, уже и просим как бы не у Него, а так, риторически, ради красного словца. — А ты у Него хоть раз просила «мерседес»? — Какой еще «мерседес»? — Ну ты сама говорила только что. — За кого ты меня принимаешь? Это я просто так сказала, для примера. Надо будет, на «мерседес» я и сама заработаю. У Бога и без того забот хватает. — Вот видишь. Тогда не ропщи почем зря. Сказано же: «Просите — и дастся вам». Если по-настоящему попросить, будет дано. — Вот уж сколько раз просила, и ничего. — Так я ж говорю — по-настоящему, а не так, что сегодня снег, а завтра палящее солнце. Если действительно чего-то захочешь и сосредоточенно попросишь, то получишь. — А мне кажется, ты не прав. Богу все-таки видней, что тебе нужно на самом деле. Эдак и просту-

женный ребенок может страстно пожелать мороженого и посчитать родителей, не торопящихся покупать ему, извергами. У тебя самого разве не было так, что ты задним числом благодарил providение, не позволившее тебе получить то, что раньше казалось жизненно необходимым, но потом, с новых позиций определенно заводящим в тупик? — Да, у меня тоже было — я рыдала, что не поймела чего-то, а потом выяснялось, что схвати я это — лишилась бы более важного. — А в буддизме вообще наличие всякого желания считается помрачением сознания. — А если я желаю чего-нибудь хорошего, что, тоже нельзя? — Видишь ли, не нам решать, что хорошо, что плохо. — Есть несомненные вещи, весьма однозначные. Допустим, кто-то заболел и я желаю ему выздоровления, тогда как? — Если ты так настаиваешь, я могу процитировать банальности типа не пожелай другому того, что себе желаешь, ему это может не понравиться и в том же духе. — А если этот другой сам хочет выздороветь и вслух об этом говорит, что тогда? — Ну известно же, чего стоят все наши вслух высказанные желания, а потом, я уже объяснил, наличие желания свидетельствует о заблуждении, следовательно, поддерживая его в этом, ты потакаешь его ошибкам, потворствуешь сбиванию с пути. Все, что ты можешь сделать для другого, — это только любить. — Боже, как наивно. Я никогда не понимала этого места в Библии — «возлюбите ближнего как самого себя», когда все кругом себя только ненавидят. — Молиться больше надо. — Да брось ты, не могу больше этого слышать. И в церковь-то заходить противно, одни только прицерковные старушки чего стоят в своей злобе, шипят только да следят с вожделением, когда ты чего не так сделаешь, по их мнению, вот тогда наступает их звездный час. И это люди, у которых ни дня без цер-

кви, здорово же им это помогло посветлеть. Да уж коли на то пошло, некоторые ребята так светились на моих глазах после приема кислоты, что... — Да потише ты, так и самой засветиться недолго. — А мне уже нечего терять, я уже два раза отсидела за наркоту, мне что здесь, что там одинаково хреново. — Да ты что, когда ж ты успела? — А вот пока вы по заграницам разъезжали. — Что-то мне никто об этом не рассказывал. — А я тогда свалила из этой тусовки. Интересные мне люди уехали, а остальные... — А как же ты попалась-то? — В первый раз взяли во время покупки, а... — Ужас какой. И где ты сидела, в женской тюрьме? — Ну да, а где ж еще. — Ну и как там, очень погано? — Ну как сказать. — А что там за люди сидят? Это похоже на то, что в книжках пишут? — Ну сидят там тетки всякие семидесятих годов, такие, с понятиями, мне так странно было среди них находиться. — А за что сидели они? Были среди них политические? — Да какое там. Обыкновенные тетки, одна мужа зарезала по пьянке, другая кого-то там обвесила, *еще одна — жена мафиози, вместе бизнес крутили.* — Слушай, а правду говорят, что там какие-то ненатуральные отношения между женщинами? — Ты лесбиянок имеешь в виду? Да, там некоторые живут парами, они это называют семьей. — То есть там не как у мужиков, что все одного трахают? — Да нет, там есть несколько активных теток, вот они влюбляются, все по-настоящему, и живут вместе. — А если та, в которую влюбились, не хочет? — Ну, тогда слезы, страдания, все на самом деле. Насилия не бывает, если ты об этом спрашиваешь. — Нет? — Нет. А второй раз я сидела совсем уже в других условиях, там открыли новую тюрьму, она была как филиал дискотеки, нормальные девчонки сидели. Вот как мы с вами. Тут же мода такая пошла, всех стали брать без разбору

на дискотеках, облавы устраивали. Ментам лафа пошла, заходят на дискотеку, там все дети из хороших семей, оружия ни у кого нет, никто не сопротивляется, и вроде и статистика есть, борьба с преступностью, тюрьмы заполнены, и многие родители потом своих чад выкупают, вроде и заработок, и никакой тебе нервотрепки. Во второй раз не скучно было сидеть. — Да, сейчас, видать, хорошие здесь времена настали. Когда я сидел десять лет назад, это было нечто. Меня ж посадили за гомосексуализм. — Да уж это мы помним. Но ты тогда не рассказывал, каково тебе было, а потом свалил за бугор. — Еще бы не свалить. Что я хорошего видел в этой стране. В восемнадцать лет посадили, мерзавцы. Я как вышел из тюрьмы, все мысли были о том, как бы отсюда побыстрее сделать ноги. А там я уже восемь лет живу с мужем, и никто нас не трогает. Вот впервые за эти десять лет сюда приехал, все боялся, что опять посадят. — И что, все восемь лет ты за одним мужем? — Конечно, сладкая моя, я же не шлюха какая-нибудь. Муж у меня хороший, он меня полностью содержит. Я там получил два диплома, теперь повесил на стенку для красоты, больше ни для чего они мне не нужны. Я еще когда в Раше был, все завидовал теткам, которые целыми днями сидят в парикмахерских, вот, думал, мне бы такую жизнь. И вот теперь я ее имею. Каждый день хожу в парикмахерскую. — Слушай, но это же скучно! — Не знаю, рыбка моя, может, тебе и скучно наедине с собой, а мне так — хорошо, я в бассейн хожу, по магазинам, совершенно не скучаю. Вот сюда боялся приезжать, но пока не трогают. Я еще пару денечков побуду и уеду от греха подальше. — А как ты тут попался? — Да меня жена собственная заложила. Я с тех пор знаю, самые страшные создания на свете — это нетраханные бабы. — За-

чем же ты женился, да еще в восемнадцать лет? — А алиби нужно, рыбка моя? *Я тогда маленький был, боялся.* Да и она сама все ко мне приставала, чтоб я женился. Я и сейчас ничего, а тогда вообще красавчиком был, весь в соку. Когда меня собирались сажать, мне все друзья говорили — ой, туго тебе придется в тюрьме, все будут к тебе лезть. И ничего подобного, никто не приставал, наоборот, все от меня шарахались, как от чумного, вокруг меня все время вакуум был радиусом в три километра. Никто даже в мою сторону не смотрел, все только косились. У них же это считается страшным унижением, и вот они никак не могли вбить в свои бошки, как же это я по доброй воле этим занимался. Русские мужики — страшное дело. Это такие дубари. Я понимаю девушек, которые за иностранцев замуж выходят. — Слушайте, ну и компашка у нас собралась, такое впечатление, что все уголовники. Прямо у всех такой опыт, я уже прям закомплексовываться начинаю. Мы вроде говорили о религии. Меня заинтересовала ваша мысль о грядущей интеграции религий. Вы действительно считаете, что это возможно? — Я считаю, что только это и возможно. — Вот это чепуха. Простите, пожалуйста, но тут я не могу молчать. То, о чем вы говорите, совершенно нереально. Это не только утопическая, но и абсолютно вредная идея. Для иллюстрации могу привести вам анекдот из реальной жизни. Это было совсем недавно, когда главы религиозных объединений нашей страны решили совместно выработать документ, призывающий народы к миру и единству. Все было хорошо, пока не стали утверждать окончательный текст воззвания. Текст был подготовлен Патриархией. Но тут баптисты возразили, что они не могут подписать текст без одной евангельской цитаты. Раввин сказал, что он предпочитает ссылаться на

цитату из Ветхого Завета. Православные согласились. Но тут мусульмане потребовали, чтобы соответствующая цитата была из Корана. И уже когда почти пришли к соглашению, встал буддист и попросил исключить слово «Творец». И получилось вполне светское воззвание. — Ну и что вы намереваетесь этим случаем проиллюстрировать? — То, что, по-моему, совершенно очевидно — всякая попытка объединения религий приводит к истреблению их сокровенного начала. — Если понимать под объединением вычеркивания несоответствий, тогда конечно, тогда ничего не останется. Я же под интеграцией понимаю возможно более бережное слияние религий, что приведет только к расширению общего пространства религиозного мировосприятия. В конце концов, вы же согласитесь, что Бог един, что верим мы в одного Бога, независимо от того, как мы к Нему обращаемся и обращаемся ли вообще. — Насчет того, что Он един, я, конечно, возражать не буду, но верим ли мы в одного, тут уж простите. Я верую в Спасителя нашего Иисуса Христа и других богов не признаю. — Говоря в одного, я подразумеваю не того, что люди считают за истинного, а то, что Он действительно Один, явившийся нам под разными именами. — Ну тут уж совершеннейшая ересь, молодой человек. — Вы вольны оставаться при своем мнении, однако я считаю, что это были пусть и не одна и та же личность, но все же разные проявления одной Сущности, явившейся к нам в различных обликах в соответствии с нашим возрастом, потребностями, насущными именно в это время способностями к пониманию — вы же не станете возражать, что в различные исторические периоды человечество было весьма сензитивно к одним видам мироощущения и совершенно игнорировало другие. И в конце концов, в связи с национальными осо-

бенностями темпераментов различных народов, которым именно Он считал нужным явить себя. — Я не хочу даже и спорить с вами, но то, что вы несете сейчас, простите, но — чушь несусветная. — Позвольте мне вмешаться в вашу беседу, но в связи с вашим замечанием о национальных особенностях — заметили ли вы, что такие, казалось бы, чисто внешние различия между столь близкими по темпераменту и прочему, если принять во внимание другие религии, католиками и православными, указывают на тенденцию к глубоким внутренним противоречиям? Вот, казалось бы, такая чисто уставная деталь — креститься ли справа налево или слева направо, свидетельствует о глобальной разнице мировосприятия? Ведь что символизирует этот жест, начинающийся, заметьте, мягко и плавно — во имя Отца и Сына и Духа Святого и завершающийся прямо-таки битием себя в плечо — изыди, Сатана! Православные считают, что Сатана, прости Господи, находится за левым плечом, а католики — что за правым. И заметьте, что у народов, исповедующих православие, есть тенденция обвинять во всех политических недоразумениях левые силы, а у католиков — правые. И исторически это вполне оправдано, вот что представляет интерес, на мой взгляд. — Я ничего не понимаю в вашем споре, кроме того, что вы каким-то образом придерживаетесь разных, м-м, вероисповедований, если можно так сказать. Мне всегда было интересно — как это человек вдруг выбирает себе религию. Я вот человек неверующий, то есть бессознательно верующий, просто я никогда над этим не задумывалась, что да как, но безусловно признаю, что что-то такое есть, кто-то разумный нас сотворил, просто из хаоса такая сложная система, как наш мир, сама по себе не могла организоваться, это и ежу понятно, но поскольку я родилась в

России, то я как бы автоматом православная. Меня уже в детстве бабушка крестила в православной вере, поэтому я не понимаю, как можно вот так взять и выбрать себе религию? — Ну знаешь, если на то пошло, я недавно видел статистику, и по ней получается, что в России православных меньше всего. — Как так может быть? — Ну это вполне понятно, ведь у нас тут после перестройки образовался самый богатый в мире рынок душ. Сюда понаехали, по-моему, представители всех религий и конфессий, которые только существуют в мире. — Да, действительно, мы были к тому же самым дешевым в мире рынком душ. На что только народ не покупался, в какие крайности кидались, если вспомнить. — Некоторые до сих пор не могут выбраться. — Вы слишком метафорично говорите, я потерял нить. Есть ли какая-то связь с гоголевскими душами? — Нет, гоголевские души сидят в правительстве. Им некогда заниматься поисками истины. — А зачем им заниматься, когда у них уже есть вера своя. Вы хоть заметили за своими поисками, что коммуняки опять тихой сапой пробрались в правительство, без лозунгов, без революций, путем банальных карточных подтасовок? Мутили воду своими назначениями и переназначениями, когда все устали за этим следить, у власти опять оказались те же, что и раньше, до перестройки. Только называют себя демократами, а ведь все тот же состав. Для отвода глаз создали новую компартию, которая якобы в оппозиции. — Вот вам и наглядный пример национальной склонности к определенному вероисповеданию. Видать, никуда нам от них не деться. Ты их в дверь, а они в окно. — А вы их дустом пробовали? Хотя это был анекдот про наоборот — когда иностранец приезжает в совок, видит, как коммуняки людей мучают — и жрать нечего, и работа тяжелая и все такое прочее, а они все чего-

то там карабкаются, ножками трепышат, он и спрашивает: а вы их... — Глупый анекдот. Иностранцы слыхом не слыхивали, что такое дуст. Это наше родное. — А я вот даже не знаю, что это такое. — Я тоже. — Ну вот видишь. Мы перестали производить, что ли, раз молодежь не имеет представления? Было такое средство — тараканов и прочую нечисть морить, жутко ядовитое. В обработанном помещении людям не рекомендовалось находиться в течение нескольких дней. Обычно все брызгали перед отпуском. — А тараканы все равно до сих пор не перевелись. — Это тоже национальная особенность. На Западе тараканы не водятся, даже в захваченных полуразрушенных домах, в которых срач такой, как у наших бомжей, и то нет тараканов. По первому разу мне как-то даже не по себе было, пошел там в гости к одному неформальному художнику, обстановка как у нас, все родное, тем сильнее чувствую, что чего-то не хватает для полноты натюрморта, такой завершающей, но важной детали, без которой картина мертва, все маялся, что же там не так, и только вернулся домой, зашел к себе в мастерскую и меня осенило — ба! тараканов-то и не хватало. — Не знаю, про какой ты там Запад говоришь. — А про Германию. — Ну, в Германии может быть, зато в Америке такие огромные тараканы, нам такие и не снились. — А в Германии, кстати, крысы живут в подвалах старых домов, такие отожравшиеся, и мышки в метро по рельсам бегают. — Ну, в Германии и олени с кроликами по паркам носятся, тоже не худые, кстати, и никому в голову не приходит их на шашлык употребить. — Ну там же у них зеленые разгулялись, не остановишь. Им уже удалось вбить капитально в общественное сознание, что животных нельзя убивать. Я там у них телек смотрел — кошмар просто, детей насилуют и убивают

чуть ли не через день, на крайняк не убивают, а держат взаперти, чтоб по интернету показывать за бабки, а животные ни-ни, это святое. — А просто там, наверное, животные лучше охраняются, небось в каждом парке по ночам несколько ментов дежурят, а потом, там никто не голодает, не забывай. Там, наверное, за каждого убитого оленя такие штрафы вынуждают платить, что дешевле в магазинах десять таких оленей купить. Уже полностью готовых к употреблению. — Ну не знаю, я там опять же видел по телеку, теток разных показывали, у одних убили детей, изнасиловав, а у других бяки соседи убили кошечек или собачек. Так вот тетечки с кошечками и собачками вовсю заливались слезами. А те, у которых дети, — я специально смотрел, — ни одна слезинку не проронила. — Ну это же совсем разные вещи. Ну о чем ты говоришь! Вспомни: «Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так взглянуть никто и не посмел...» — Не знаю, у нас бы женщины в таком случае даже интервью бы не стали давать. — Ну ладно, ребята, чего вы. В каждой стране свои тараканы. У одних это крысы, у других это олени, а у третьих они больше наших. Ну что теперь нам, не жить? *А в Германии, кстати, один наш русский художник тараканы бега устраивает с помпой. Привез таких огромных черных какалак из Америки. Я однажды был у него, там телевиденье, понты всякие. Ко мне подвалил аборигенский репортер, что-то спрашивает, я ему — нихт ферштейн. А он: вы из России? Скажите, это такая национальная традиция? Как часто у вас там тараканы бега бывают?* — А кстати, в Америке зеленые еще не выступают против истребления тараканов? — Нет, еще не поднялись до таких высот. — А зря, как жить-то без тараканов? Это уж надо или совсем святыми быть, или мутации вся-

кие начнутся. — Ты шутишь? — Я абсолютно серьезен. Если всякую бяку механически убрать из внешнего плана, она переходит во внутренний план. Закон сохранения энергии, учили небось в школе, хоть и художники тут все. — То есть выходит по-твоему, надо жить в грязи, чтобы изнутри все чисто было? — Ну не совсем так. То, как ты живешь, — это отражение твоей внутренней жизни. Если на душе и в голове у тебя кавардак, то и в квартире то же самое. Внешнее всегда отражает внутреннее. Каждый получает то, что заслуживает. Поэтому я злюсь, когда люди начинают валить все на внешние обстоятельства. У разных людей в одной и той же ситуации внешние обстоятельства складываются по-разному. Одному дадут пинка, а другого пригреют. — Помните, у нас был такой Вася на курсе, у него еще улыбка была такая детская. Куда он делся? Помните, как все считали за честь ему услужить? Даже на улице постоянно подходили к нему незнакомые люди и предлагали пожить у себя, дать денег — что угодно, лишь бы сделать ему что-то хорошее. — Так это не потому, что ваш Вася был такой хитрый, знал, как улыбаться, Карнеги начитался. Вот попробуй кто другой изобразить такую улыбку, в лучшем случае его будут держать за придурка. Улыбка, она должна изнутри идти. А так задним местом даже последний дурак чувствует, что почем. Никого не проведешь вытравленными тараканами, они снова появятся на пустом месте, пока мысли свои не приведешь в порядок. Конечно, убираться надо, я не говорю, что нужно зарастать грязью и думать о спасении души. Но я еще раз повторяю, что внешнее отражает внутреннее. Когда у меня появляются тараканы, я первым делом воспринимаю это как знак, что со мной что-то не в порядке. Когда я в душевном равновесии, они у меня автоматически исчезают, в та-

кой атмосфере они жить не могут. Но кстати, уборка квартиры — это тоже своеобразная техника приведения себя изнутри в порядок. Потому что не важно, в каком плане мы над собой работаем, во внешнем даже лучше, потому что нельзя результаты сфальсифицировать, сразу видно, чего ты стоишь. Я еще не видел человека, который бы мог привести квартиру в идеальный порядок, когда у него на душе хаос. Но пытаться всегда надо. С какой-то попытки начинаешь понимать — даже испытывать потребность — привести свои мысли в порядок. Вот тогда-то и начинается параллельный процесс. А так если у тебя вертлявые, робкие мысли, которые бегают туда-сюда, изредка задерживаясь на липкой сладости, то, понятное дело, что вокруг тебя будут прыгать тараканы. А если у тебя скользкие, тяжелые мысли, которые невесть откуда берутся и куда потом исчезают, — того и гляди, как бы у тебя не завелись змеи. А если у тебя добрые, травоядные мысли со склонностью к изяществу — тогда жди оленей в своем парке — потому что при таких мыслях парк у тебя сам собой появится. Но если ты, не меняя своих мыслей, начнешь истреблять своих тараканов, то они у тебя раз появятся, два появятся, а на третий раз у тебя высыпет экзема или на улице ни с того ни с сего в глаз дадут. Я вот уверен — можно проверить, — когда в Германии был фашизм, там небось олени по паркам не скакали. — Ну уж расфилософствовался. Хватит пить. И вообще, ребята, может, пора по домам? Засиделись, да и им ведь надо отдохнуть. — Слушайте, так что получается, вы вот говорили про национальности, я все думаю и вас слушаю, и вот какая мысль у меня возникла — выходит, что каждый народ выполняет какую-то свою функцию, одни, к примеру, отвечают за чистоту и порядок — что бы у нас на планете ни происходило, да и у них кон-

кретно, они от этой своей черты не отказываются. Какие-то народы отвечают за разные аспекты материального мира — одни, чтоб материя перетекала в разные формы, видоизменялась, но не прекращала существования, а другие конкретно за эстетическое выражение этих форм. Одни отвечают в течение всей истории за эзотерическое видение процессов, другие за экзотерическое. Одни все время ставят вопросы, другие постоянно на них отвечают. — Ну, конечно, каждый народ, как и человек, имеет свою миссию. Только на уровне наций она резче бросается в глаза, потому что за ней можно проследить на более продолжительном отрезке времени и выражена во многих носителях в виде основополагающей черты. — А бывает так, что твое человеческое предназначение отличается от национального? То есть бывает, конечно, я хочу спросить — является ли это санкцией свыше или это верный признак того, что ты лажаешь? — Сложный вопрос. Наверное, каждый случай нужно рассматривать по отдельности. Но то, что нация количественно больше человека, не означает, что она лучше слышит. Хотя за национальными задачами следят довольно высокие эгрегоры, это не уберегает их от а: попадания под власть на длительный отрезок времени к демиургическим силам и бэ: иногда отдельного человека может направить еще более высокий эгрегор. По существу, бывают ведь сильные и слабые нации, точно как и люди. Есть народы, которые постоянно свои неудачи валят на других — судьбу, исторические обстоятельства, соседние народы, а есть такие, что засучив рукава встречают жизненные задачи лицом к лицу, а не хнычут и жалуется. Меня уже давно перестали умилять люди, неприспособленные к жизни. У нас это выдается за высокую духовность, неземные интересы и устремления, а я понял, что это

просто разврат и паразитирование. Я не верю в духовность человека, который не в состоянии более-менее прилично прибрать свою квартиру или решить насущные вопросы. Это не духовность, а разгильдяйство. — Да у высокодуховных людей просто не возникает насущных вопросов. Если они удаляются в пустыню, тут же находятся люди, которые приносят им пищу. — Ну хотя бы. — Или, как сказал дон Хуан, когда Кастанеда его допытывал, что он не может все предусмотреть, типа когда-нибудь может случиться так, что его за углом будет подстерегать убийца, и что тогда, дон Хуан ответил, что он просто никогда не пойдет по улице, на которой затаился убийца. — Так вы все-таки верите в дона Хуана? — Знаете, любое учение, любая вера — вещь очень интимная. Человек только наедине с собой может честно признать, находит ли это учение у него отклик или кажется сухой формой. У некоторых людей вообще бывает, что в разные периоды они черпают силы в разных верованиях, будь это наука, религия или искусство. Главное, честно признаться себе, что какое-то время это работало на тебя, направляло, а теперь висит гирей и не дает двигаться. Все так боятся менять убеждения, что в какой-то момент превращаются в соляные столбы. А Кастанеда — что Кастанеда? — столько людей на него отчаянно завибрировало — значит, он задел важную струну. Я лично считаю, что он автор самого крутого романа современности. Он создал новую форму романа, когда из книги в книгу открываются новые пласты, герои меняются главными ролями, выстраиваются целые ансамбли отношений, пока не выясняется, что все герои — главные, причем там столько жанров, включая детективный. Потом некоторые герои оживают и пишут продолжение романа, при том что это не авторская задумка, а конкретные реальные люди,

отвечающие за свои слова, и даже критик, не знаю, насколько осознанно, подключился к писанию этого романа, ведя детективное расследование от статьи к статье и утверждая, что ответы на свои хитро поставленные вопросы находит в последующих книгах. Это же круто, неужели вы не понимаете? Уже за одно это можно быть благодарным Кастанеде, он создал небывалый жанр, и неизвестно, у кого еще хватит силенок его развить или хотя бы продолжить. — Что это роман, я согласен, не спорю, тогда все прекрасно. Но он же претендует на то, что он создал целое учение. Или описал, не знаю. Но на одну из этих двух вещей он точно претендует. — Можно я расскажу? — я учусь сейчас в Голландии в музыкальном училище и к нам приезжал один мексиканец преподавать теорию музыки. Ну такой умный, ученый дядечка, все было о'кей, и вдруг на последнем занятии он говорит — я хочу рассказать вам о пейотных песнопениях, об этой традиции. Я сразу -у-у! — и тут он рассказал, что он сам поехал на пейотную церемонию, чтобы все это записать. Но поездка вылилась для него в очень важное событие, которое оказало влияние на всю его дальнейшую жизнь. Он рассказывал, что они там сорок дней постились и готовились и все это затянулось, потому что сновидящий никак не мог увидеть во сне, когда же им надо отправляться в путешествие. Он уже не знал что делать, то ли возвращаться — у него же дела, но тоже продолжал с ними постичься. Наконец тот увидел во сне, и они отправились на сбор пейота, и этот мексиканец признался, что он так увлекся процессом, что забыл включить запись, представляете — то есть он там с ними заодно принял, и вот поэтому он не мог нам включить записи. Я тут же к нему прониклась, понятное дело, и потом когда после лекции он сказал, что всех желающих приглаша-

ет на ленч, естественно, я оказалась среди них. Но на самом деле туда пришло совсем немного народу, поэтому я смогла оказаться рядом с ним и сказала, что я очень люблю Кастанеду. А мексиканец такой серьезный — ну он настоящий ученый, он говорит, что да, он может свидетельствовать, что в первых книгах Кастанеда очень адекватно описал церемонию и все остальное, именно так все и происходит. Но он был человек очень деликатный, и он как-то так выразился, что он не понимает причин, побудивших его написать остальные книги, намекая, что каждая книжка приносит прибыль в виде денег. Но зато про первые книги он сказал, что все точно. Вот так вот. — Даже если он передал действительно существующее учение, я не понимаю, что люди так им увлекаются, там же совсем нет места для любви. — Ну как же нет, по-моему, это очень теплое учение. Ну конечно, там мало уделяется внимания отношениям между мужчиной и женщиной, но ведь в буддизме тоже так. Они просто считают это несущественным. Только вопросом энергии. Дон Хуан говорит же все время Кастанеде — тебе нельзя заниматься сексом, потому что у тебя мало энергии. Но это же не значит, что никому нельзя. Тот же дон Хуан все время приводит в пример своего нагваля в качестве любимца женщин. — Да, но он же рассказывает, что его нагваль начал загибаться именно из-за злоупотребления этим делом. — Но, в общем, так в любой религии — или ты тратишь силы на женщин, водку или творчество — иногда, смотря какое творчество, или идешь своим путем. Тут уж сам выбирай — или птичку съесть, или на ветку сесть. — А потом не забывайте, у них совсем другое мышление, символическое, не то что у нас. Мне этот мексиканец рассказывал, что во время подготовки к сбору пейота им было запрещено называть многие вещи. Они

должны были придумывать новые обозначения, говорить на условном языке для очистки менталитета. И у них действительно совершенно другое мышление. Мне одна знакомая японка рассказывала, что в японском языке нет такого выражения: «Я люблю тебя». По-японски так просто невозможно сказать, это очень грубо. Считается, что это даже агрессивно звучит, как некое действие — как это — я — люблю — то есть совершаю некое действие — по отношению к тебе. Они признаются в любви только описательно, косвенно, например — я уважаю твои мысли или — ты мне напоминаешь цветок лотоса. А выражение «я люблю тебя» считается, что очень сужает это понятие, примитивизирует. Ведь в японском языке нет слова «нет». Но это же не значит, что они никому не отказывают. — Да, это верно, поэтому и считается, что нужно следовать той религии, среди которой ты родился. Больше шансов ее понять. Недаром в буддийских монастырях ламы, когда к ним обращаются иностранцы, не устают повторять — если ты родился в христианской стране и хочешь быть хорошим буддистом, это возможно, но путь такой — будь хорошим христианином. — Вот за это мне и нравится буддизм, за терпимость, чего не скажешь о прочих религиях. — Религия — это как дом. Меня всегда завораживало, как это люди выбирают, где будет их дом. Когда они решают, где будут строиться, или вдруг находят готовый дом и решают в нем поселиться. И все, это практически навсегда. Я так не могу. Мне кажется, это такой окончательный поступок, как можно на него решиться? Для меня так много прекрасных мест на свете, где я бы хотел жить. И все же ни одно из них не настолько прекрасно, чтобы я смог предпочесть его всем остальным. Я думаю, у меня так никогда и не будет своего дома. — Но тем не менее есть места

на нашей земле, где предпочитает строиться большое количество народу, и есть такие места, откуда все предпочитают бежать. Это же очень показательно, что в последнее время западные люди повально обращаются к буддизму, поощряемые даже средствами массовой информации, популярными актерами и писателями. В Америке еще Сэлэнджер заварил эту кашу, после его книг многие стали серьезно интересоваться буддизмом. — *Вообще-то «паломничество в страну Востока» на Западе началось с Гессе. — Скорее с Ницше, я полагаю.* — А кстати вы помните, у Сэлэнджера был такой рассказ, забыл название, про девочку, которая вдруг сошла с ума, по мнению окружающих, и там они все не могли докопаться, в чем дело, пока она своему мальчику не призналась, что ей попалась какая-то русская книга, написанная странником, в библиотеке, вся такая потрепанная и без первых страниц, и поэтому она не знала, кто автор. И там этого странника какой-то старец научил молитве: «Господи, Иисусе Христе, сын Божий, помилуй мя, грешного». Что, мол, надо постоянно повторять ее про себя, чем бы ты ни занимался, и тогда на тебя снизойдет благодать. Героиню рассказа это страшно поразило, уже не помню почему, но главное, что мне не давало покоя желание узнать, действительно ли есть такая книга или это художественный вымысел автора. И вот недавно нашел, представляете. Это действительно было, мне попалось жизнеописание святого Серафима Саровского, видимо, он и был этим странником. Когда он в молодости решил уйти в скит, то сначала испросил благословения у очень знаменитого старца-пустынника, запомнил имя, и он ему и сказал эту молитву, которую Серафим Саровский действительно без усталости повторял, по свидетельствам. Но самое забавное, в этом жизнеописании на

слове «старец» была сноска, я ее вначале пропустил, потом решил побольше узнать, что за старец такой, и там было написано — только не падайте — в действительности старец — девица такая-то, в шестнадцать, по моему, лет, ушедшая из дому и скитающаяся под именем мужчины. А какое тогда время было! Даже и сейчас бы на такую девицу у нас косо бы смотрели. И заметить, не только у нас, но где хочешь. Хоть в твоей Японии. — Почему в моей? — во-первых, в нашей Японии — я думаю, когда ты протрезвеешь, то не сможешь с нынешней легкостью отказаться от такого богатства, а во-вторых, в Японии с момента принятия буддизма почитаются странствующие монахини. Правда, во всех буддийских странах, в которых я побывал, простые люди считают, что женщина-монах — это несерьезно, и на женские монастыри практически не бывает денежных пожертвований, и вследствие этого мужские монастыри процветают, в то время как женские везде там почти убого выглядят. И потом, как девушки уже обсуждали, у них действительно совершенно другой тип мышления, чем у нас. Я столько лет изучал книги о Японии, вы знаете ведь, но, пока там не побывал, многое оставалось для меня неизвестным. И не потому, что они что-то скрывали, просто некоторые вещи настолько необсуждаемы в силу своей привычности на уровне банальности, что все равно как если бы у нас романист написал: «Встав с унитаза, механик Гаврилов спустил воду, как это было принято испокон веков среди его народа» или что-нибудь в этом роде. — Ну хорошо, и что ты нового для себя обнаружил? — Что обнаружил? — ну во-первых, всем известно, что они очень вежливый народ, но на месте я выяснил, что у них есть целые ритуальные приветственные фразы, которыми необходимо обмениваться в начале встречи, какие-то мно-

гоэтажные конструкции, невоспризведение которых вменяется в вину, инкриминируется как непоправимое. Пришедший в гости должен сказать примерно следующее: позвольте выразить чрезвычайное сожаление в связи с тем, что мое ничтожество осмелилось нарушить ваш священный покой и что мои недостойные вашего высочайшего внимания обстоятельства понудили отнять у вас драгоценное время и так далее, предложений десять. А хозяин должен ответить тоже в десяти фразах примерно следующее: «Ну что вы, все мое время не стоит чести и счастья мне, ничтожнейшему, удостоится вашего драгоценного визита». — О Боже мой! О чем же они после этого говорят? — А после идет нормальный деловой разговор, как у нас, но эту формальность им необходимо соблюдать во время встреч и прощаний. Я как дурак заучивал все эти сложные обороты, а потом заметил, что европейцу позволяется всего этого не произносить, и даже позволяется с большим удовольствием, если ты просто скажешь привет и пожмешь руку, они при всей своей японскости не могут скрыть облегчения. Я, во всяком случае, это заметил. Ну что у них еще другое... — Меня интересует, это действительно так, что у них не существует выражения: «Я тебя люблю» — меня прямо потрясло, никак не верится. — Да, им такое выражение кажется очень эгоистичным, «я люблю» звучит как некое действие, навязываемое против воли другому человеку. А, еще меня поразило, что когда они несут в гости коробку конфет даже, казалось бы — пустяк, считается неприличным так вот ее дарить. Нужно или так ощутимо помять хотя бы краешек коробки, или вытащить пару конфет и съесть или надкусить. — Ну, сейчас ты точно шутишь! — Нет, серьезно, у них неприлично дарить новую вещь. Правила хорошего тона требуют, чтобы даритель всячески де-

монстрировал, что подарок ему не нужен. И дарить неприлично. Ты должен показать, что вот просто вещь завалилась, чем ее выбросить, отдаю тебе. — У нас это называется: «На тебе, Боже, что нам не гоже». У нас страшнее нельзя, по-моему, оскорбить человека. — Ну вот вам и разница менталитетов. — *В Японии три категории населения — мужчины, женщины и китайцы. Мужчины пишут мужской азбукой — катаканой, женщины — хираганой, а китайцы — иероглифами. И вообще мужская речь по конструкции сильно отличается от женской. У меня есть приятель, его родители переехали жить в Штаты, когда он был совсем маленький, а потом случилась трагедия, они погибли в авиакатастрофе, и его усыновил партнер его отца по фирме, японец, и увез в Японию. А там его воспитанием занимались в основном женщины, он вырос на женской половине. Я несколько раз наблюдал, как он беседовал с японцами по-японски... Мой приятель еще такой огромный, с низким голосом, и японцы не могли спокойно слушать, как он употребляет женский принцип в речи, они там в лежку лежали.* — У меня одна подруга провела целых восемь месяцев в Японии. Приехала, полная впечатлений, все рассказывала. — Что, она тоже интересуется буддизмом? — Да какое там! Просто она влюбилась в одного чувака, а того фирма отправила работать в филиал в Японии, и она за ним рванула в надежде спасти любовь. — Круто как — у нас теперь есть фирмы с филиалами в Японии? Кто бы мог подумать. — Да он не наш. Он англичанин был, как и она, впрочем. Я с ней в Лондоне познакомилась. Такая красивая девчонка, моделью работала, длинная такая, и руки-ноги тоже длинные, знаете, бывает такой тип, с гибкими суставами, такие подвижные конечности, как будто на шарнирах. В непрерывном движении, во все

стороны гнутся. Она постоянно все опрокидывала в гостях, и всегда это оказывалась или любимая чашка хозяйки, или какая-нибудь памятная вещь. И вот она вся из себя такая интересная девушка погналась вслед за любимым в Японию. Бросила все дела. Неприятности у нее начались сразу по приезде. Она так торопилась, что забыла всю свою косметику, но оказалось, что там в магазинах ничего нельзя было купить. У них совершенно другая косметика, никаких общих с нами фирм, а написано все только по-японски, черт ногу сломит. А у нее очень чувствительная кожа, она нуждалась во всяких кремах. И вот купит что-нибудь в магазине, придет домой, откроет крышечку — не то. Она рассказывала, что у нее через неделю вся ванная была установлена баночками, она столько денег на это перевела. — Ну не знаю, можно было продавщицу спросить, по-английски они все наверняка говорят. — Да она такая вся несуразная, ей легче купить, чем спросить. — И что там у нее с любовью? — Ничего так и не вышло, она вернулась в Англию несолоно хлебавши. Я когда туда приехала, застала ее как раз всю в соплях, она мне в жилетку все рыдала. Она изливала все душу, сказала, что ноги ее больше не будет в Японии. Но самой трагичной оказалась история, как она одной японке на голову наступила. То есть для нее это была полная трагедия, а я по мере того как она рассказывала, крепилась сохранить приличествующую мину, но под конец рассказа я уже каталась по полу в приступах смеха. Она на меня тогда смертельно обиделась. — Как же ей удалось на голову наступить? — Я же говорю, она такая длинная, на две головы выше меня, а ноги у нее растут от ушей. Вот она ехала в метро вниз по эскалатору, а японка стояла впереди нее. Японки же все такие маленькие, все ей в пупок дышали, а эта

оказалась уж совсем крохотным экземпляром. Я представляю мою подружку всю в переживаниях, едущей вниз. Она и в спокойном состоянии вся в движениях. А тут, видимо в избытке чувств, помахивала своими конечностями как ветряная мельница, потом поставила ногу поудобнее, едет, а из-под ноги писк раздается. Бедная японка возмущалась, а эта и не сразу поняла, что это за звук из-под ноги. Она еще и близорукая. Наклонилась — а у нее нога прямо на голове у несчастной женщины. Она рассказывала, что ее чуть удар не хватил от ужаса. Она сняла свою ногу с головы — ой, не могу, — вот, сняла с головы и начала извиняться. А японки же все вежливые, та ей в ответ начала кланяться. А у них так принято — из вежливости, тем более если ты виноват, надо наклониться ниже, чем собеседник. И вот та кланяется, а эта старается еще ниже наклониться. Вам надо ее видеть, чтоб представить эту картину. И вот она с надрывом мне рассказывает, что минут десять они так кланялись, потому что каждая хотела, чтоб последний поклон остался за ней, у нее такая трагедия в момент рассказа, ну ужас какой, человеку на голову наступила, а я очень отчетливо представила это зрелище и не выдержала, как грохнулась на пол и давай кататься. После этого она год не хотела со мной разговаривать. Ой, мамочки! — Девчонки, прекратите! На нас смотрят. — Ой, сейчас. Зачем ты рассказала только! — А если б вы ее видели, было бы еще смешней! Ну, в общем, Япония ей не понравилась. — *Я тоже была как-то в Японии. Там классно, конечно. Совершенно другой мир — техника на грани фантастики — всякие там унитапы с подогревом и прочее. Но больше всего меня поразило — мы поехали в провинцию — и вот едем мимо какой-то деревни, а там в пыли бегают деревенские ребяташки. Одеты так про-*

сто, лет пяти-шести, но у каждого в руках по мобильнику. Можете представить? — Это мне напомнило разговор с одним нашим типом. Он уже давно живет в Швейцарии и начал там издавать какой-то журнал. И вот как-то стал разъезжать по европам, чтоб заполучить себе подписчиков и спонсоров. В одном из городов и я удостоился чести быть созванным на какое-то его собеседование за круглым столом — видимо, ему сказали, что я много разъезжаю. И вот начал он расхваливать свой журнал. Основной аргумент у него был такой — я давно живу на Западе, останавливаюсь и питаюсь только в наилучших отелях и ресторанах и досконально в них разбираюсь. И готов теперь русским, у которых появились деньги, дать совет, где им стоит останавливаться и как себя там вести, а то теперь многие приличные отели отказывают русским в гостеприимстве, потому что туда повадились новые русские, без конца устраивающие разборки, и хозяева начали понимать, что их отель теряет лицо. А я, мол, хочу, чтобы как до революции, русские снова считались самыми желательными гостями. И начал понты разводить — спросите о любом городе, и я вам скажу, куда стоит пойти. Ему называли город, и он, не моргнув глазом, выпаливал — на такой-то улице — такой ресторан лучший рыбный и так далее. А я с невинным видом спросил: «не подскажите, что в Тибете стоит посмотреть?» Он буквально на минуту задумался, а потом авторитетно заявил: «Там абсолютно нечего смотреть. Не советую». — А вы, значит, как я понял по вашим словам, объездили все буддийские страны? — Ну, почти все из тех, которые меня в первую очередь интересовали. Был в монастырях Бирмы, Бутана, Непала, в общем, те направления буддизма, которые... — А на каком языке вы с ними разговаривали? — На каком

языке? Да, до того как открыли границу, все было проще. Я объездил всю нашу Среднюю Азию с экспедициями, и даже в самых глухих аулах и кишлаках можно было объясниться по-русски. А в этих странах я пользовался английским там, где его понимали, я еще знаю немножко китайский и японский. У меня раз был такой случай — я тогда находился в Тайване, в местности по названию Тай-Нянь. Там ко мне на улице подошел старик китаец со словарем в руке. Он ткнул пальцем в английское слово и попросил, чтоб я прочитал, как это произносится. Когда я прочитал, он записал иероглифами транскрипцию и ткнул в другое слово. То есть он решил использовать меня как лингафонный курс и поставить себе произношение. А я, со своей стороны, сказал ему, какие храмы хотел бы осмотреть, и он водил меня и все показывал, пока мы не дошли до одного храма, где внутри над изображением была надпись иероглифами. А дело в том, что, если иероглифы пишутся горизонтально, то в Древнем Китае их читали справа налево, а в современном китайском — слева направо. А поскольку я учил древнекитайский, а в новом слабо разбираюсь, то я автоматически прочитал текст как положено. А он прочитал так, как его бабушка учила. Мы стали спорить, чья версия верна, подошли поближе и увидели под стеклом описание истории на современном китайском, оказалось, что прав был я. Тут мой дед испуганно посмотрел на меня и испарился. А я очень жалел, что не сдержался и выпендрился и таким образом потерял хорошего проводника. — А что, иероглифы можно читать в каком угодно порядке и получится все равно связный текст? — Да. Иероглифы не то, что наши буквы. Там все очень сложно. Как вам объяснить, — например, есть иероглиф «дерево». Если он стоит один, то это и означает дерево. Если рядом стоят

два таких иероглифа, то это означает «роща», если три подряд таких иероглифа, то «лес». Вот если один иероглиф «телега», то это телега, если три, то это означает «грохот». Больше всего мне нравится, как они обошлись с иероглифом «женщина». Один такой означает женщину, два подряд означают ссору, а три иероглифа «женщина» подряд означают одновременно, в зависимости от контекста «пить», «курить» и «развратничать». — Вот все-таки насколько круче наши ребята. Вы говорите — Запад, Запад. Там люди несерьезные. Вот у нас человек если чем-то увлечен, то делает это основательно, не как у них — пробежаться по верхам и хорош. — Да, у них все очень поверхностно. Вот мой папа уехал уже давно в Америку и женился там на одной женщине, она наполовину гречанка, на другую — японка, но это к слову. У них есть уже мальчик, он в следующем году пойдет в школу. Я была у них в гостях этим летом, отец мне жаловался, что ему придется отдать ребенка в частную школу, на которую будет уходить половина его заработка. А все почему — в государственных школах у них там ничему не учат. Мой папа работает там в какой-то фирме, где все с высшим образованием, и вот отец как-то сидел на работе и говорит своему коллеге: «Слушай, представляешь, я забыл формулу воды, вот сижу пытаюсь вспомнить и никак, бывает же такое!» — а тот ему: «А что, разве у воды бывает формула?» — представляете? — Да, у них с этим делом туго. Я же весь прошлый год учился там в колледже, потом не выдержал и вернулся. Они меня спрашивали: «Откуда ты приехал, из России? А каким образом ты оттуда добрался?» Я говорю: «По мосту приехал», — думаю, сейчас посмеемся вместе. А они — ну ладно, по мосту, так по мосту. — Ну не знаю. Я тоже поначалу так думал, но те ребята, с которыми

мне пришлось сталкиваться в Азии — европейцы, — убедили меня в обратном. У нас как считается? — если ты прочитал пару книг по интересующему тебя вопросу, то ты уже крут, можешь учить других и задирать нос, а если ты еще и съездил куда-нибудь и пообщался с парой лам, то тогда разбираешься в буддизме по меньшей мере не хуже Будды. И когда я с подобными амбициями начинал общаться с западными ребятами, уверенный, что уж проштудировал я книг побольше, чем они, не тут-то было. Они мне спокойно так: «А в каком ашраме вы проходили обучение? И сколько лет?» Они все проходили очень серьезное обучение, по много лет в ашрамах и монастырях, и считали себя учениками. Западные люди намного скромнее нас, это уж точно. А что они, как вам показалось, такие неучи, может быть, конечно, а может, они шутили. Наш юмор им тоже не всегда понятен. — Вас послушать — удивительно, что мы еще хоть в чем-то их понимаем. А они нас. — А что удивляться, когда мы порой родных братьев не можем понять, как если бы они были из другой галактики. А тут как-никак совершенно другая культура, даже интересно. — У нас, конечно, нет никаких пересечений с ними? — Знаете, как ни смешно звучит, я нашел какие-то точки пересечения в Бирме. — С чем, с западным мышлением? — Нет, со славянской культурой. Точнее, с русской. Бирма раньше называлась Погань. Поганское царство. Я думаю, что, когда монголы в четырнадцатом веке разрушили Погань, не исключено, что русские принимали участие в этом. Во всяком случае, когда Марко Поло приехал в Погань спустя немного времени, то он свидетельствует, что видел там русских князей, которые дожидались ярлыка на княжение. Я думаю, частично отсюда пошла русская мифология. Представьте себе, приезжают русские в какую-

то диковинную страну Погань, где живет явно некрасивое население, на русский взгляд, короче, поганый люд. Живет в домах на сваях, поскольку болотистая местность. То есть в избушках на курьих ножках. Многих мужиков у них зовут почему-то Баба или Йог. И вот уверяют знающие люди, что эти Бабы-Йоги чего-то там колдуют и доколдовались до того, что научились преодолевать законы гравитации, то есть умеют летать. А некоторые посмотреть — кожа да кости, но ходят слухи, что они живут уже чуть ли не двести лет. То есть Кошчи Бессмертные. Это все мои спекуляции, но не исключено, что, если покопаться, все это так и окажется. Мне просто лень. — Ой, как интересно все, что вы рассказываете! Я сама так люблю путешествовать, но, к сожалению, мне редко удается в силу материальных причин. Но Азия — это что-то! Мне самой довелось побывать там только один раз, в Таиланде, по бизнесу. — Интересно! А что за бизнес, если позволено будет спросить? — Да, пожалуйста! Я человек простой, у меня нету секретов! Это было года два тому назад. Мне сказали, что в Таиланде запрещены лекарства для похудения, что они расцениваются по степени нежелательности как наркотики. То есть в случае чего дают такой же срок. Ну и соответственно они очень дорого там стоят. Ну, я и купила этих лекарств на все наличные деньги, целый холщовый мешок набрался, и полетела туда, не зная ни — кому, ни — чего, знала только, что есть там в Бангкоке один врач, который скупает эти лекарства, но как его зовут или где его найти, не знала. Просто купила на оставшиеся деньги билет до Бангкока и полетела. Тогда у меня еще был какой-то кураж, сейчас бы я просто так не решилась полететь. Ну, прилетаю, и только там в аэропорту, когда таможенный досмотр надо проходить, до меня медлен-

но начинает доходить, какая я все-таки дура. Но я уже так устала в этом перелете, и жара вдобавок непереносимая, и сумки оттягивают руки, что мне уже было почти все равно, если поймают, лишь бы куда-нибудь приткнуться. Но я была вся вспотевшая, изможденная, выглядела как клуша с какими-то дешевыми холщовыми сумками, они меня так брезгливо пропустили, не унизились даже до того, чтоб заглянуть в мой багаж. Ну, я беру такси. Прошу отвезти меня в ближайшую недорогую гостиницу, думаю, сегодня отдохну, а завтра начну работу. То есть найду этого самого врача. — Вот это самое интересное. Как ты собиралась это сделать? — А очень просто. С утра я узнала, где находятся их больницы, и начала обход. Я заходила, прикидываясь чайником, и, так наивно моргая глазками, говорила, что очень хочу похудеть, не могут ли они мне какое-то лекарство посоветовать. Ну они, конечно, говорили: что вы, что вы, как можно портить такую фигуру, да и вообще у нас это запрещено. Ну я шла в следующую больницу. А больницы, надо вам сказать, выглядят у них следующим образом: заходишь в помещение, оттуда через арку попадаешь в такой круглый внутренний дворик, и там прямо под открытым небом на циновках лежат больные, и у каждого на большой палец ноги прикреплена бирочка с именем или с названием болезни — уж не знаю. — Ну и в результате удалось тебе сбыть лекарства? — Да, я уже отчаялась, хотела ехать домой, но еще раз проходить через таможеню с этими лекарствами кишка была тонка, а выбросить — жаба душила. Наконец в одном заведении мне шепнули, что в таком-то месте находится такой-то врач, который мне может помочь. Ну я и пошла к нему. Я осталась, конечно, немножко разочарованной, потому что он купил у меня дешевле, чем я рассчитывала, но

эти азиаты ведь ужасно хитрые, он сразу вычислил, что имеет дело с дурочкой и деваться мне некуда, так что пришлось уступить. Ну, заработала я пять штук зеленых чистыми, исключая дорожные расходы, но второй раз уж не решилась ехать, хотя он сказал, что будет ждать следующую партию. Я подумала — а оно мне надо? — здоровье важнее. — Ой, правда, девчонки, эта Азия — такой кошмар, я была один всего раз в Шри-Ланке и зареклась больше туда ездить. Это удовольствие не для меня. Представляешь, ладно, ты — поехала по делам, одна, а я с мужем поехала отдыхать, казалось бы, и такого натерпелась, что сказала — ноги моей больше там не будет. Прикиньте — приезжаем туда, думаем, объездим страну, не будем сидеть на одном месте, станем останавливаться в дешевых гостиницах, денег должно хватить. Я хотела осмотреть храмы, но какое там! Куда бы ты ни пошел, хоть в самые глухие джунгли, местные жители облепляют тебя и требуют денег, причем хватают тебя за всякие места, и как на них ни гаркни — не отстают. Им кажется, что туристы — это люди, которых надо обобрать, что они только для этого созданы. И как бы ты ни был одет, хоть в дырявой футболке — им наплевать, главное — давай деньги. И дети, и взрослые — все. А сами такие ленивые, представляете, живут на берегу океана, но практически никто не умеет плавать. Когда мой муж делал заплывы, они смотрели на него как на героя. О том, чтобы там рыбку какую поймать, вместо того чтобы попрошайничать, и речи нет. Но самый приколом был, когда мы с мужем ехали на велосипедах по самым глухим джунглям и вдруг видим, стоит хижина, на которой по-русски написано «Бильярд. Пельмени». Мы малость припухли, заглядываем, а там парень молодой, наш, хохол, так нам обрадовался! Говорит, что уже два

года сидит в этих джунглях и наконец видит своих. Он как бы надзиратель этого отеля. Сам владелец уже старый, сидит себе во Львове, а этого парня послал работать. — А сколько он зарабатывал? — Немного, долларов триста в месяц. Но с другой стороны, во Львове простому человеку сейчас трудно найти работу за такие деньги, а он сидит на всем готовом, да и на одежду не надо тратиться, круглый год в одних шортах ходит. Поели мы наконец пельменей — вам смешно, а я так намучилась, эти лентяи даже простой салат не могут приготовить. Утром на завтрак давали какую-то пометь из помидоров, ананасов, которую солили, перчили и посыпали сахаром. Я уже даже заходила к ним на кухню, пробовала научить, показывала — вот, нарежьте так помидоры, добавьте луку, масла растительного, вот столько поперчите и посолите. Ананасов и сахару не надо, а платить будем столько же. Им же проще приготовить! — так нет, им трудно мозги напрячь, чтоб запомнить, легче как привыкли. На следующее утро приносили ту же гадость. Так что поели мы пельменей, этот парень уговорил переночевать в его гостинице, сказал, что не сезон сейчас и он за полцены отдаст нам лучший номер. Размером лучший номер был с треть этой комнаты, но по сравнению с хибарами, в которых живут местные жители, выглядел как дворец. Мы даже нормально помылись и думаем — вот наконец-то по-настоящему выспимся за долгое время. Ха-ха. А ночью я просыпаюсь оттого, что по мне что-то ползает. Я вскакиваю, включаю свет — вот вы говорили о тараканах, такой огромный черный таракан, я таких и не видела, размером с добрую дворнягу. Я как заору. Мой муж в ужасе вскочил, я говорю — сделай с ним что-нибудь, а то я не засну. Смотрим — батюшки, да там просто орды этих тараканов. Я забралась с ногами на

стул, верещу, а муж давай стрелять их из рогатки. Всю ночь стрелял, вошел в раж, утром у нас было полное ведро этих тараканов, лежали, как грибы. — А откуда у мужа рогатка? Он с собой ее носит? — Нет, он подобрал ее там, в Шри-Ланке, она валялась на дороге, они ее для каких-то целей используют, вот и нам пригодилась. Ну знаешь, мальчишки, не могут равнодушно мимо рогатки пройти, я ему еще говорила — ну что ты всякую гадость подбираешь вечно. — А что он использовал в качестве пуль? — А камешки. — Откуда? — Да они там везде валяются. — Что, прямо в комнате в гостинице? — А что, я вам говорю, какие там комнаты. Хотя нет, вспомнила. Эти камешки я собрала на пляже. Вот такие дела. — Значит, вам там не понравилось? — Ну я тебе говорю! Я-то ладно, ты знаешь, что я человек непривередливый, и меня все эти храмы и история интересуют. В конце концов, Будда там родился, и мне хотелось там побывать, но... — Слушайте, Будда ведь — Телец? — Да, он родился в первое воскресенье мая. — Странно, ведь и Ленин с Гитлером — Тельцы. И Саддам Хусейн. И Фидель Кастро. — При чем тут это? Сравнил Божий дар с яичницей. Так вот, мне бы даже эти попрошайки так не досаждали, но муж мой скис там уже на третий день. Ему хотелось просто цивильно отдохнуть, это я заманила его в Шри-Ланку, увидела, что горящие билеты продавались. И мой бедный муж уже с первого дня понял, что ожидаемого отдыха у него не получится. Он еще на второй день вывихнул ногу. Неделю потом хромал. И потом, он на дух не переносит это стяжательство. Они не только на улице вымогают деньги, но и норовят обмануть при торговле где тояько можно. Как будто для них дело чести обмануть иностранца. Был тояько один случай, когда меня не обманули, но я потом нашла ему объяс-

нение. Мы пошли на рынок, то есть я пошла, а муж остался за оградой ждать, потому что на рынке такая вонь стоит — там лежит у них на лотках мясо, рыба, все это в сорокаградусную жару, облепленное мухами, он чуть сознание не терял от этого. А мне нужно было одну головку чеснока купить для салата. Подхожу к торговцу чесноком, спрашиваю, сколько стоит. Он говорит пять рупий. Я заплатила, взяла чеснок, уже хотела идти, но тут на него накинудись соседние торговцы и давай что-то кричать, размахивать руками и накидали мне в бумажный кулек с килограмм этого чеснока. Видите ли — им не понравилось, что он меня хотел обмануть! Хотя обычно в такой ситуации они только радуются. Потом мне объяснила одна девушка — до рынка я ходила смотреть один храм. Там один монах ко мне проникся, все показывал. Рассказывал, потом, правда, хотел навязать мне брошюру за десять рупий, я не взяла, но он мне перед уходом помазал волосы каким-то маслом, и, может, они запах этого масла почувствовали и не решились обмануть. Это же для них святое. — Это масло не пахнет. — Ну, не знаю, значит, по каким-то другим, им одним ведомым признакам определили. Да и я сразу после храма была вся такая открытая, сияющая — грех такую обмануть. — А сколько это по-нашему — пять рупий? — Да ерунда, минус семьдесят копеек. Вообще ничего, да мне и достаточно было одного чеснока, если б на них приступ честности не напал. Но если хочешь посчитать, один доллар — это примерно шестьдесят рупий. — Жалко, что ты там ничего не увидела. Ведь на самом деле там существует масса интересных вещей, только иногда бывает так, что какая-то страна не хочет тебе открыться. — Может быть, я это понимаю. — Вот со мной так было на Алтае. Я был там довольно долгое время с экспедицией и уви-

дел одно только пьянство и нищету, мне все это показалось неинтересным, мягко говоря. Тем более что предыдущая моя поездка была по мусульманским местам в Таджикистане, и там, наоборот, мне все показывали, вообще люди были очень открыты, мне удалось их разговорить. Теперь я склонен думать, что не алтайцы были плохими, а это я не сумел вызвать у них доверия. Но я утешаю себя тем, что тогда просто не пришло время. — Когда ты там был? — Не помню уже точно — в восемьдесят восьмом или восемьдесят девятом. — А, ну тогда это не твоя вина. Они тогда ничего не говорили. Я сам постоянно езжу в Туву и на Алтай. Тувинцы заговорили недавно — со мной конкретно, они долго присматривались и, когда поняли, что я к ним отношусь как к людям, а не как к чукчам, тогда стали мне многое рассказывать. Они все очень гостеприимные, доброжелательные люди. Просто они привыкли, что русские, в основном геологи, которые туда приезжали, смотрели на них как на чукчей, вот они и замыкались. А в последнее время они стали даже немного задираться, когда к ним из Америки, да и со всего мира начали наезжать исследователи горлового пения. Я имею в виду серьезных людей, а не тех, которые ищут там розовый луч или... — Ну понятно, всякие рерихнувшиеся. — Приезжают в основном серьезные исследователи, записывают, уже столько дисков выпустили. — Так они небось сейчас стали туристической страной, делают бизнес? — Нет. Они, может, и рады бы, да менталитет у них не тот, знаешь — или у них машина в нужный момент не заведется, или шофер будет пьяный. Они неспособны к бизнесу. — Так тебе удалось узнать что-то о религии на Алтае? Я от них я ничего не добился тогда, но и в книгах ничего не нашел. Я думаю, они уже и сами забыли все. — Это не

так. Раньше они не хотели говорить, потому что, как я уже сказал, русские их за чукчей держали, потом это все-таки сакральное знание, о котором не будешь болтать направо-налево, отчасти сказывается и обида, которую они затаили на русских. — Их религия — бурхан — это похоже на буддизм? — Да, корни буддийские, а горловое пение — это скорее традиция шаманизма. Это у них разделяется. При горловом пении они, как и шаманы, подражают крикам животных и прочее, а слово «бурхан» буквально означает у них святой. Бурхан они не изображают, потому что считают, что у него нет облика, это абстрактная сила, вот как для нас Святая Троица в одном лице, так для них бурхан. Они изображают его в виде белого квадрата. Но это такая высокая сила, ничем не замутненная и не омраченная, что к ней непосредственно нельзя обращаться. Она слишком над нами. Для участия в земных делах она использует посредников, которые также не имеют изображения. Их рисуют как желтый квадрат. И вот к желтому квадрату и обращаются их священники, которых они называют чарлых. — А бурхан возник в начале этого тысячелетия, насколько я знаю? — Я думаю, раньше, но, поскольку это было сакральное учение, первые сведения о нем начали распространяться в это время. Где-то в пятом или шестом году нашего века, как раз тогда, как у нас произошла первая революция, у них появился человек, который сказал, что по всем приметам ожидается пришествие бурхана. И они собрались в количестве почти десяти тысяч человек и на вершине горы в застывшей позе молились в ожидании бурхана. А тогда к ним были направлены русские священники, которые должны были их обратить в христианство. Алтайцы формально соглашались с ними, и священники решили, что дело в шляпе. Но тут они убедились, что никакого

христианства нет и в помине, что это просто какие-то язычники. И они сообщили в Россию, что происходит такое безобразие. А в России испугались, что готовится бунт — время было такое, — прислали войска в срочном порядке, и все эти десять тысяч человек истребили. — Они что, до сих пор помнят это? — Конечно. Их всего-то сейчас тридцать тысяч человек населения. — Послушайте, вы рассказываете о каком-то затерянном народе, а ощущение такое, что об авангардном искусстве, все чудятся какие-то малевичи, беккеты. — Ну вот видите, хоть вы и говорите, что все народы разные, и я с этим согласен и готов продолжить ваш список функций, которые разные народы взяли на себя — одни отвечают за то, чтобы досыта наесться, причем не абы чем, а довести простое поглощение еды до изысканного искусства, другие отвечают за то, чтобы до конца познать, что такое не доедать досыта и даже помирать с голоду, все функции разделены, все должно добросовестно быть познано до конца человечеством; одним дано холить себя и лелеять, погружаясь честно во все оттенки меланхолии, другим поручено познать радость добросовестного труда, одни несут ответственность за постижение всех способов обмана и предательства других и себя в том числе, кто-то трудится над усовершенствованием материальных форм этого мира, а кто-то непрестанно тренируется в адекватном восприятии информации, идущей из тонкого мира, никто не лучше и не хуже, каждая задача одинаково ответственна, развивать способность к добру и милосердию в этом мире так же важно, как и учиться поработать другие народы, сеять так же важно, как и ухаживать за всходами, как и собирать урожай. Точно так же, как отдельные люди отвечают за усовершенствование деталей, переставших быть функцией одного народа, так, спортсме-

ны трудятся над усовершенствованием тела человека в одной области, красавицы — в другой. Ведь быть красавицей — это тяжкий труд, и последним условием в нем являются объективные внешние данные. Также все великие посвященные, все Махатмы — это одно, и все духовные подвижники всех религий внешне и внутренне достигают одинаковых результатов, все они побеждают законы гравитации, умеют предвидеть будущее, исцелять прикосновением, способствовать нисхождению благодати на других одним своим присутствием. Точно так же все тираны всех времен и народов одинаково страдают от злобы, зависти, точно так же задыхаются от неспособности никому доверять. То есть не точно так же, а со временем все способности утончаются, делаются изощренней, я думаю, что современные тираны нахлебались ада внутри себя больше, чем их коллеги из древнего мира. Поэтому мне смешны ваши рассуждения о народах и религиях — как если бы вы сравнивали ноты и аккорды в гениальной музыкальной композиции, прикидывая, что годится, а что можно выбросить. — Бывают времена, когда все народы испытывают голод или расцвет. Как можно говорить о предопределенности или миссии? Я объездила всю Европу и много общалась в каждой стране с аборигенами, я точно знаю, что в тридцатые годы вся Европа задыхалась от удушья, кошмар был не только у нас, но, по крайней мере, на всем европейском континенте. — Одно другому не противоречит. Это как одна соната, исполненная в разных тональностях. Импровизация на тему. Аккорды при этом те же. Если бы ты была повнимательнее к рассказам этих людей, то без особых усилий усекла бы, что на одно и то же удушье — а оно тогда безусловно клубилось над Европой — каждый народ реагировал особо. В конце концов, если свыше

тебе санкционировано развивать чувство прекрасного в мире, то можешь не сомневаться, что тебе будут предоставлены все условия для всестороннего исполнения своей работы — ты будешь развивать это чувство и во времена изобилия, тренируя свой вкус и извлекая прекрасное из затопляющего потока беспрерывно видоизменяющихся искусств, тебе же будет обязательно дана возможность извлекать прекрасное, когда ты по уши сидишь в разлагающемся болоте, и ничего, кроме смрад-ных испарений и укусов пиявок, ощутить не можешь. Точно так же, если тебе поручено голодать, извлечь из ощущения голода все, что возможно и больше того — в результате всегда спрашивается больше, чем казалось, когда ты должен сделать из голода неповторимую сим-фонию, то можешь не сомневаться, тебе будет дано умирать с голоду и в пустыне, и в цветущих садах изобилия, где, только протяни руку, плоды сами сып-лются под ноги, но ты почему-то не можешь этого сделать и снова и снова умираешь от голода, выжав из этого ощущения всю сладость и все муки. И точно так же, как каждый народ исполняет свою тему в заданной всем тональности, так же в каждом народе все эти темы присутствуют в лице его отдельных представителей. — Я вот слушаю тебя и думаю — какая связь между ита-льянской нацией и кино? Ведь кроме того, что на них приходится самое большое количество гениальных ре-жиссеров на душу населения, даже если их брать отдельно в противовес всему остальному миру, но даже в Голливуде лучшая половина талантливых актеров — итальянцы. Интересно, что за миссию в кино они несут. — Ш-шш, дай послушать! — Но я на полном серьезе! — Так вот, на чем я остановился — в каждом народе есть свои герои, спускающиеся в ады и бес-страшно их исследующие, есть покорители высот, обес-

печители помоек, эпикурейцы и сибаритствующие, производители тех или иных ценностей и беспардонные растратчики, мученики вопреки всему и безнадежные оптимисты, которых ничем не прошибешь, только все эти общие темы варятся в тональности конкретной народной темы и сервируются в тональность исторического момента. И вообще мы все повязаны, если вы до сих пор этого не поняли. — Да, и повязаны очень хитроумно. Вот эти так называемые исторические моменты, о которых вы говорили, задаются движением планет, и стоящие астрологи всегда умели их предвосхитить. И в то же время расположение планет в момент нашего рождения задает кармический рисунок нашей предстоящей жизни. То есть планеты как бы находятся внутри нас, определяя возможности нашего внутреннего движения, и в то же время как бы снаружи очерчивают границы этого движения. — Я давно хотела спросить — я слышала, что какая-то планета в астрологии олицетворяет Лилит. Это правда? Поскольку Лилит — мой любимый персонаж, но ее не включили в Библию даже, я радуюсь, когда она не оказывается забыта. — Это еще кто такая? — Ну вот, пожалуйста! Теперь мало кто о ней знает. А она была первой женой Адама. Бог создал их как пару, но потом Ему не понравилось, что Адам начал перед ней преклоняться не меньше, чем перед Ним Самим. Иегова разгневался и разорвал ее на части, но ее душа не погибла, и она продолжает жить. Это все описано в Каббале. — Но кстати, в Библии вышла из-за этого нестыковка. Вначале там говорится, что Бог создал всех по паре, и отдельно не оговаривается, что человек был исключением. А потом только говорится, что Он решил создать Адаму жену из его ребра. Хотя другие все пары были созданы по отдельности. А в астрологии Лилит называ-

ют мифическую планету, которая еще именуется Черной Луной. Это гипотетическая точка, находящаяся в прямой оппозиции к Луне. Но немногие астрологи любят работать с ней, потому что им не очень понятен принцип, несомый ею. — А как с принципами других планет? — Вот вам, к примеру, такая информация: Плутон, Нептун и Уран — планеты, отвечающие за бессознательное. Плутон был открыт точно через восемьдесят четыре года после Нептуна, что составляет цикл Урана — красиво, да? Это было в 1846 году, когда в Европе начались великие революционные движения. А обнаружен был Плутон в 1930 году, и весь мир стал перед необходимостью переваривания идеи бессознательного, начался массовый бум по этому поводу. Плутон является носителем конкретной формы организации, поэтому многие эзотерики в то время, в частности Алиса Бейли, стали утверждать, что под влиянием Плутона будет получено конкретное научное доказательство человеческого бессмертия — повод, по которому мы здесь собрались. — А мне казалось, что это причина. — Простите, может, я неудачно формулирую свои мысли, но я хотел сказать то, что сказал. У меня нет такого пафоса в переживаниях, как у вас, я за последний год одного за другим потерял очень близких людей, но и тогда так не страдал, как вы сейчас. Понимаете, эти наши страдания — от нашего эгоизма, что мы их больше не увидим в этой жизни. Но с ними все в порядке. Как в старину говорили — радуйтесь, ваш покойник теперь у Бога, Бог дал — Бог взял. — Да, это про младенцев так говорили. А если она мучается сейчас в аду? — Не думаю. Она была достаточно светлым человеком, во всяком случае, не часто практиковала отрицательные медитации. — А это что такое? Простите. Я не очень ориентируюсь в вашей метафизической терминологии. —

Это не имеет отношения к метафизике, это факт повседневной жизни, когда люди часами сосредотачиваются на таких эмоциях, как обида, зависть, страх, ревность и прочее. Привычка к этим чувствам после смерти приводит в места, где эти эмоции сосредоточены. Так что я вам хотя бы ради этого рекомендую сейчас практиковать положительные медитации. Это вам поможет и в этом мире. Вы будете удивлены, как быстро ваша жизнь изменится. Вы начнете притягивать к себе совершенно иных людей и события. А с ней, я думаю, все должно быть в порядке. Может быть, она еще не удалась и в эту минуту наблюдает за нами. А если хотите ей помочь — испытаний все-таки никому не избежать, — то молитесь за нее. Но вернемся к нашим баранам. Именно в тридцатые годы с обнаружением Плутона все и началось, если вы помните — Юнг после своей болезни и знаменитого видения первым в научном труде коснулся идеи бессмертия. И почти в то же время и в том же месте — кстати, надо будет посмотреть, как в то время располагались планеты над Швейцарией, появился этот альпинист, на которого ссылается Моуди, начавший собирать свидетельства чудом уцелевших. Так что, если вы хотите, я могу объяснить астрологически все события, происходящие с вами. — Ну так и что же, я еще раз спрашиваю — у нас нет никакой свободы? — У нас есть свобода двигаться в этой заданности. Но мы можем распутать все узлы в нашей карме, иногда серьезная работа над собой развязывает даже предстоящие узлы, а можем и, наоборот, все так запутать, что концы находить придется еще с десяток предстоящих жизней. — Ну а как, допустим, если у меня Марс в Скорпионе, то что мне с этим делать? Да еще асцедент во Льве. — Да, веселая ситуация, конечно, хотя надо еще посмотреть аспекты. Но

любую планету можно и нужно прорабатывать. Я вообще считаю гармоничное расположение планет наказанием для человека, оно ничего практически не дает для развития, так что высказывание, приписываемое Господу Богу: «Кого люблю, того и наказую», тут раскрывается нам в несколько ином ракурсе. Точно так же всякие там квадраты и особенно тау-квадраты дают человеку шанс очень глубокого постижения себя и окружения. А два тау-квадрата в натальной карте вообще считается только привилегией даоса. Хотя можно иметь прекрасный квадрат и ничего из него не извлечь, только тупо промучиться всю жизнь. Но опять же мучения вынуждают человека прорабатывать свои аспекты, хочет он того или нет. Иногда бывает такое натяжение между планетами, что пройти отрезок времени можно только по лезвию ножа. Но обычно человек это чувствует и в такие моменты сосредотачивается. И вообще каждому дано вынести столько, сколько он может. Если у тебя особенно напряженный гороскоп, это говорит о доверии высших сил или твоего высшего Я, к тебе. — Знаете эту легенду про кресты? Ну когда один мужик тащил свой крест в поте лица, и все ему казалось, что Господь был к нему несправедлив — у всех кресты легче и их приятнее нести, чем его собственный. Он и решил, несмотря на тяжесть креста, разыскать Бога и пожаловаться. Искал он его, искал и наконец встретил на одной из дорог. Он сразу бух ему в ноги и давай причитать: «Господи, и за что только Ты меня так невзлюбил, отдал мне самый неудобный крест!» Тот ему в ответ: «Раз ты так считаешь, я отведу тебя туда, где лежат все кресты, выбирай себе любой». Наш мужик обрадовался, пришли к этому месту, он давай искать, наконец выбрал самый маленький, взвалил себе на плечи — чувствует — что-то не то, по размеру не подхо-

дит, натирает шею. Вернулся обратно, стал перебирать все кресты, у всех что-то не так, он уже отчаялся. Но тут примерил еще один крест, а он идеально подходит и вроде легче всех остальных, хотя казался большим. Взял он его себе и к Господу: «Спасибо Тебе, Господи, наконец я нашел крест, который меня полностью устраивает!» А Господь ему: «Присмотрись внимательнее, ведь это твой старый крест и есть». Так что не ропщите почем зря. — Это все хорошо, но иногда так хочется какого-то пустяка и думаешь: почему всем это легко достается, а мне, как ни бьюсь, как ни хочу этого, вот ни чуточки не перепадает. А у других это есть, хотя им и на фиг не надо. — Как сказал один великий философ современности: «Если гора не идет к Магомету, то и слава Аллаху». — Ребята, вы меня совсем запутали, так какой же Бог все-таки правильный, в кого верить? — Ищи, изучай все религии, пока не произошло интеграции, и на которую твоя душа откликнется — ты это почувствуешь неопровержимо, как будто тебе сообщают что-то, что ты давно знала, значит, это твоя религия. — А эти перерождения, о которых вы говорите, неужели все это правда так? — Конечно, правда, милая моя! Я помню практически все мои воплощения. И даже по поводу других людей могу иногда увидеть кое-какие подробности. — Ой, правда? Скажите тогда, кем я была в прошлой жизни? — Ну, я четко вижу, что в одном из последних воплощений ты была танцовщицей в одной из арабских стран. — Ой, на самом деле я что-то такое всегда чувствовала. Мне и сейчас очень нравится танцевать. Если бы родители отдали меня в детстве в балетную школу, я бы ни за что не пошла в художественное училище. — А вот молодой человек, что напротив меня сидит, я весь вечер к нему присматриваюсь, он в прошлом воплощении был немцем. У

меня вообще существует такая гипотеза, что после последней войны многие погибшие на войне немцы стали рождаться в России и наоборот. Есть даже такие типажки, я недавно был в Германии, идешь по улице, а навстречу чистый русак, ну никаких сомнений, пытаешься с ним говорить — батюшки, а он немец из какой-то Баварии. И у нас есть такие типично германские лица, и по жизни они, кстати, такие аккуратные, законопослушные. Это случилось, сами понимаете, для того, чтоб люди смогли искупить свою вину друг перед другом. И вот вы, юноша, я считаю, из этой оперы. — Я с вами не могу согласиться. Я прекрасно помню все свои воплощения и могу с вами поспорить. — Как, и вы тоже? Интересно, рад познакомиться, к сожалению, сейчас еще мало таких людей. Ну а кем же вы были в предыдущем воплощении? Неужели не немцем? — Нет. — А кем же? — Последнее мое воплощение было вообще таким искупительным, я умер еще эмбрионом. И все, что я тогда ощущал, это такие хаотические переживания. — Ну, тогда, может, в предпоследнем? — Нет, предпоследнее было довольно давно, лет четыреста назад, я был тогда вообще женщиной. Гетерой во Франции. А до этого я был духом одного маленького городка, я как бы его оберегал. Я помню, как летал над городом и оберегал жителей. — А что потом случилось? Ведь духи городов живут дольше, чем люди. — Да, но потом этот город перестал существовать, и мне пришлось уйти. — Значит, плохо оберегал. — Да нет, это было закономерно. Все города когда-нибудь перестают существовать, особенно маленькие, и возникают другие. — Знаете, слушая вас, я припомнил один анекдот: четыре француженки поехали вместе на курорт. И вот через месяц по пути домой одна из них вдруг заявляет: я все расскажу мужу. Первая подруга ей говорит: Боже, какая

честность! Вторая: Боже, какая наивность! А третья: Боже, какая память! Вот я слушаю вас и мне хочется воскликнуть, как эта третья подруга. — Скажите, раз вы так в этом разбираетесь, вот раньше я часто думала, что у меня с покойницей была кармическая связь из прошлых жизней. Вы же ее хорошо знали, как вам кажется, это правда? — Ну, во-первых, должен вам сказать, что у нас практически со всеми нашими близкими или друзьями в прошлых жизнях была связь. Просто так людей друг к другу не притягивает. А вот какая у вас конкретно с ней была связь, я сейчас подумаю. Да, была. Была! В одной из прошлых жизней она была вашим мужем, но вы не были ее женой. — То есть как это? — Ну, в одной из ваших прошлых жизней у вас был муж или жена, с таким же архетипом, как у нее. И вы это хорошо помните. Но это не была она конкретно, поэтому вы ее супругом не были. — А как вы это видите? — Ну я просто вижу. — Хорошо, допустим, что это правда, эти перевоплощения. Тогда непонятно, зачем мы рождаемся снова и снова? Не лучше ли оставаться в одном теле, которое не старится, и учиться на ошибках, пока все не поймешь? — А урок, который можно почерпнуть из старости? Из смерти? Из тяжелой болезни? — все это неоценимые знания. А из перемены пола, статуса, уровня привлекательности? Из потери близких людей? Как же без этого? Сколько описано случаев, когда на людей нисходил свет во время тяжелой болезни и они утверждали, что теперь не хотят поменяться местами ни с одним здоровым человеком, если при этом придется потерять знание, которое они получили. — А сколько людей умерло в отчаянии и животном страхе, выкрикивая перед смертью о своем нежелании умирать? — Ну что же, это тоже было уроком. Но вообще-то мы утерjali культуру умирания.

Раньше она была даже в Европе, не говоря о Востоке, где она до сих пор сохранилась местами. Вы почитайте свидетельства — в средние века люди радостно готовились к смерти, потому что у них была вера. Они просили призвать священника, когда чувствовали приближение смерти, принимали причастие, потом по отдельности прощались с близкими, сказав им все, что не успели раньше или стеснялись, — близким это тоже, кстати, значительно облегчало прощание. Вы почитайте — люди готовились, как к празднику, одевались в нарядные одежды и все, даже молоденькие девушки, умирали с улыбкой, готовясь к встрече с Господом. А на Востоке, когда человек готовится отойти в лучший мир, рядом с ним непрерывно дежурят люди, не давая ему уснуть, чтобы он умер в полном сознании и с именем Бога на устах. — Ну и для чего все это? — Что? — Ну к чему мы должны прийти, так бесконечно кочуя туда-сюда? — Милая моя, планы Господа Бога мне не совсем доложили, но вот о ближайшей цели нам было внятное сообщение во всех религиях — в результате всех этих мучений мы должны явиться в осиянных телах. — И как же мы будем выглядеть? И что, мы тогда не умрем? И какого мы будем пола, кто какой выберет? — Я думаю, что пола тогда не будет. — Это как платоновские андрогены, что ли? — А мы и так в осиянных телах. Видящие люди утверждают, что нас всех, независимо от степени святости, окружает сияющий кокон. Просто не все его видят. — Но все равно у святых это сияние такое, что все его видят. Да и вообще, от праведной жизни, мыслей и деяний происходят химические перемены в теле. Почему даже в православной вере канонизация святого происходит только через определенный срок, когда вскрывают могилу и убеждаются, что тело не сгнило? Да вы вообще зна-

ете, что праведники не воняют? И экскременты у них даже совсем другого качества, чем у нас. — Да они просто ничего не едят почти, вот и все объяснение. — А ты попробуй сам питаться тем и в таком количестве, чем они питаются. Ты не сможешь, а если насильно заставят, как в концлагере, или жизнь вынудит, как в Эфиопии, то ты просто через какое-то время покроешься струпьями, опухнешь с голоду и умрешь со вздутым пузом. И нести от тебя будет так, что хоть святых выноси. — Мне сейчас вспомнилась трагедия Алеши Карамазова, когда его старец провонял. — Значит, он был не такой уж святой, а может, просто хотел преподнести Алеше, как любимому ученику, урок. Ради этого они и не на такое идут. — Серафим Саровский, когда его гроб вскрыли через двадцать лет после смерти, тоже оказался не в лучшем положении. Правда, запаха от него не было, но сохранились только скелет и волосы. Это привело в смущение многих, все привыкли к нетленности мощей святых. Тогда Синод выпустил специальное послание, в котором говорилось, что нетление мощей является дополнительным и необязательным признаком святости. Тем более что во время канонизации произошли чудеса исцеления и больше доказательств не требовались. — Да, люди какими были, такими и остались, ничего не меняется. — Разве вы не замечаете, что мы изменились, стали утонченнее, добрее, что бы там ни говорили, да и экологическое сознание у нас проснулось, чего раньше и в помыслах не было. Даже планетарные принципы со временем меняются, а планеты более древние создания и более долговечные, чем мы, люди. Например, Сатурн, который еще в средние века считался планетой-карателем, злым и бессмысленным, сейчас воспринимается как учитель, строгий, но принципиально указывающий на твои ошибки и не от-

стающий, пока ты их не исправишь. А мы, люди, промежуточная, переходная раса, какими были питекантропы по отношению к нам. Мы должны мутировать на уровне клетки и дать начало осиянной расе. — А я считаю, что колесо Сансары движется бесконечно, и мы непрерывно проходим все стадии, от голодных духов до богов и потом по новой. — Зачем? — Да потому что Вселенная бесконечна и познание ее тоже бесконечно. — А как же, по буддистскому учению, если человек достигает состояния Нирваны, он может уже не возвращаться или возвращаться осознанно. — Будда говорил о колесе Сансары, и я недавно понял, что Он знал, что это движение бесконечно, просто было еще не время людям об этом сообщать. — Слушайте, я вас умоляю, мы все-таки живем в православной стране. Если вы хотите ей помочь, то сходите все завтра в церковь и помолитесь о спасении ее души. Не пожалейте грошей на свечку! У меня даже есть универсальная молитва, которую я переписал у одного монаха, все остальные на смерть какие-то узконаправленные, молитва вдовца или молитва родителей, а эта годится всем. Если хотите, я дам ее переписать. — Зачитай ее лучше сначала. — Не знаю. Никто не будет возражать? Она длинновата. — Давай-давай. Мы послушаем. — Ну хорошо. Слушайте.

Молитва

Верую, Господи, что Ты Христос, Сын Бога Живаго, пришел в мир не для праведных, а чтобы спасти грешников, следовательно, для спасения и моего усопшего, первого из грешников. Верую, Господи, что Ты взял на Себя грехи всех в Тебя верующих: следовательно, взял на Себя грехи и моего усопшего. Верую, Господи, что Твое слово истинно и обещание — неизменно. Ты сказал: «Просите и дастся вам». Я прошу милости усопшему. Для Тебя это — возможно, и про-

шение мое — согласно с Твоим желанием «всех спасти», потому что не хочешь смерти и гибели грешников. Полагать души свои за спасение ближних Ты заповедал. Моисей и Павел желали быть исключенными из числа избранных, чтобы только спасти своих, и я умоляю Тебя, Господи, пусть уже лучше погибну я один, да спасутся мои усопшие, за которых Ты пролил Свою бесценную кровь. Они дороги Тебе, и за спасение их приношу Тебе себя в жертву. Все, что могу, по повелению Твоему, при помощи Твоей благодати, без которой ничего не могу, готов исполнить все, да спасется усопший. Не Ты ли, Господи, сказал, что нам, грешным, немощным, принадлежит одно только желание добра, а исполнишь его Сам Своею благодатью. Верую, Господи, что надежда на Тебя — не постыдна. Жена хананейская вполне веровала, что Ты, Господи, если только захочешь, можешь исцелить от беснования ее дочь; и я верую, Господи, если только захочешь, и моего усопшего можешь помиловать, спаси и избавь от вечной муки, восполнив недостающее для спасения в усопшей душе Своей благодатью, и исцели ее раны греховные. «Молитва веры — спасет болящего», — свидетельствует Св. Апостол Иаков. Верую, Господи, что Ты умер за всех в Тебя верующих: я верую, что Ты в Своей смерти заключил и смерть Твоего раба, моего усопшего, и потому даровал ему вечную жизнь, уничтожив вечную его смерть. Своею смертью, и в Себе Самом открыл воскресение, жизнь и покой ему. Не Твои ли слова, Господи: «Так Бог возлюбил мир» — людей, следовательно, верую, что и мой умерший возлюблен Тобою. Возлюбив мир, Бог послал Тебя, Единородного Своего Сына, да не судишь, а спасешь. Мой ум и сердце вполне покоятся в Тебе, Сладчайший Иисусе, сыне Божий, что Ты взял на Себя грехи моего усопше-

го; для его спасения пришел, за него восшел на Крест, за него пострадал, за него умер. Воскрес, вознесся на Небо и сидишь во всей Своей славе одесную Отца, ходатайствуя крестными язвами за моего усопшего, как виновника Твоих страданий, Господи, и потому спасенного Тобою. Аминь.

— Да, длинновата, ничего не скажешь. А потом, если она некрещеная была... Мне не нравятся эти ограничения. — Да. Мне это тоже не нравится в христианстве. Я и в буддийских странах когда путешествовал и заходил в какой-то храм поговорить, если они начинали с осуждения соседнего храма или религии, я тут же понимал, что мне тут ловить нечего. Когда человек действительно занят духовной работой, у него нет ни времени, ни желания на осуждение других. В православных церквях бывают замечательные батюшки, на редкость удивительные люди, я был лично знаком с одним таким, но тенденция осуждать для меня неприемлема в представителе какой бы то ни было религии. — Давайте я вам лучше расскажу притчу, которую мне она сама рассказывала. Я не знаю, откуда эта притча, забыл тогда у нее спросить, но, может, она нас всех примирит и заодно помянем ее. — Расскажи. — В общем, один человек по воле жизненных обстоятельств стал разбойником. Он не задумывался над тем, что он делает, просто убивал и грабил всех как бы по должности. И если бы все продолжалось так же по инерции, как он жил, его должен был самого прирезать встретившийся на его пути более сильный противник. Но непонятно по какой причине — наш разбойник книжек не читал, с продвинутыми людьми не общался, — тем не менее в какой-то момент он остановился и задумался над тем, что делает — что не часто происходит даже с читающими людьми. А задумавшись — ужаснулся.

Долго пребывал в отчаянии, пока не додумался пойти на исповедь. Заметьте, когда она рассказывала эту притчу, ни ей, ни мне не пришло в голову уточнить, к священнослужителю какой именно религии он решил обратиться. Для нас это было как-то несущественно. Ну направил он свои стопы — я думаю, для разбойника тем более были непринципиальны тонкости различий между вероисповеданиями, у него небось и мамы-то не было, чтоб внушить ему основы, иначе он не стал бы разбойником. — Почему же, бабушка моей любимой сказочной героини любила повторять: «Детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники». — Ну хорошо, тогда у него была неправильная бабушка. Ну вот пришел он к первому попавшемуся священнику и стал каяться в грехах — скольких он там убил, ограбил и изнасиловал. Священник выслушал его и говорит: «Слишком тяжелы твои грехи, я не могу их отпустить. Уходи отсюда». Услышав такое, разбойник зарыдал, у него подкосились ноги, и священник, видимо, чтоб поскорее освободиться от его присутствия, сказал ему: «Сходи лучше к самому главному представителю нашей церкви, он находится в таком-то городе. Он может тебе помочь». Пошел разбойник к самому главному, все повторилось по новой, и главный ему говорит: «Иди в такую-то пустыню и найди там такого-то отшельника, может, он тебе поможет». Долго шел наш разбойник, нашел наконец отшельника, тот его выслушал и говорит: «Слишком тяжелы твои грехи, сын мой, не в моей власти их отпустить. Но я тебе советую разыскать одного отшельника, он совсем святой и живет на самом краю земли, путь к нему чреват опасностями, но, если ты его найдешь, он сможет тебе помочь». Ну, не буду распространяться, каким опасностям подвергался по пути бедный разбойник, но наконец он нашел

святого. Упал разбойник ему в ноги и онемел от усталости и робости — а вдруг и тут его прогонят, куда тогда деваться. Святой говорит: «Встань, брат мой, знаю, с чем ты пришел. Хоть и велики твои прегрешения, но безгранично милосердие Господне. Уже то, что ты так раскаялся, что не поленился найти путь ко мне, говорит за тебя. Но не мне, ничтожному, отпускать грехи братьев моих. Я буду, пока есть дыхание во мне, молиться за тебя. Но никто не может помочь тебе больше, чем ты сам. Пойди еще дальше отсюда, потому что здесь земля еще не кончается, найди себе пещеру, какую тебе подскажет сердце, питайся чем Бог пошлет и моли денно и ночью Господа о прощении. И возьми вот эту лампадку, поставь ее в угол, но не зажигай. И когда она сама по себе загорится — то будет тебе знаком, что Господь тебя простил». Поклонился разбойник в ноги святому отшельнику, взял лампадку и, окрыленный, пошел искать себе пещеру. И нашел он себе пещеру, и зажил новой жизнью, питался только кореньями, что неподалеку росли, жажду утолял из ручья, протекающего мимо, и молился усердно. Шли годы, уже местные дикие звери признали его, запросто захаживали проведать, птички клевали из его рук, отшельник неустанно молился. А лампада все не загоралась. Но разбойник, то есть теперь отшельник, уже и не помышлял о другой жизни. Мирно и однообразно текли дни его. Но как-то однажды к нему в пещеру вбежал оборванный человек, истекающий кровью, и прохрипел: «Святой отец, меня ранили, я умираю. Я был большим грешником, помолись за меня». Отшельник ему отвечает: «Брат мой, я самый большой грешник, которого знает земля. Господь не услышит мои молитвы. Помолись сам за себя». Раненый из последних сил прошептал: «У меня нет времени... Неужели я умру

непрощенным?» и испустил дух. Тут отшельник упал на колени и начал молиться: «Господи, если я до сих пор хоть чем-то заслужил Твою снисходительность, и все, что я впредь смогу сделать во имя Твое, я знаю, что я грешен, я знаю, что нет мне прощения, я с радостью приму Твое наказание, но если возможно, прости этого человека». И тут он увидел, что лампада в углу загорелась и осветила пещеру.

Что это значит? Я не помню такой притчи. Почему мне ее приписывают? И что я тут делаю? Мне нужно было куда-то направиться. Вот все, что я помню. Я помню. К свету. Не нужно было возвращаться назад. Сколько времени потеряно! Хотя времени уже нет. Или есть? Если нет, тогда это и есть мое наказание — они будут здесь сидеть и говорить, говорить... Тогда это их наказание тоже. Но они еще не умерли. Где же логика? Хотя какая логика в аду? Но тогда нет и пространства. Кроме этой комнаты. Можно проверить. Хочу... К свету. Не отпускают. Куда я еще могу хотеть? Ну допустим, к себе домой. Получается. Но здесь страшно. Здесь уже нет меня. Вдруг телефон снова зазвонит. У меня при жизни была какая-то странная связь с телефоном. Он реагировал на мои эмоции. Если напряженно ожидался чей-нибудь звонок, телефон переставал работать. То есть он не был мне другом. Нет, они тянут меня обратно.

— Да, я тоже считаю, что жить можно где угодно. Какая разница, где жить? Главное, чем ты занимаешься. — В некоторых местах невозможно заниматься чем ты хочешь. — Можно. Только заниматься нужно этим на другом уровне, вот и все дела. — Да, везде, наверное, можно жить, кроме Котласа. — А это что такое? — Это город такой ужасный в Архангельской области, где одни только зеки живут. Вот там жить нельзя.

Конечно, они меня держат. Мне было сказано по-прощаться с каждым по отдельности. Но как это сделать, если их разговор завораживает меня и несет по течению? Почему бы им немного не помолчать? Объясните кто-нибудь хотя бы минуту молчания. Не нужно больше к ним прислушиваться, иначе я опять забудусь. Меня держат не только они. Тут же копошатся мои желания. Они еще живы, многие срослись с их желаниями. Меня повязали крепко, не вырваться. Но мне же удалось это прежде. К Свету, к Свету, хочу к Свету. О, затягивает. Вот именно, что не лечу, а затягивает в воронку. Но там в конце виден свет, и будь что будет. Вот он. Я уже приближаюсь. Я уже совсем близко. Мы, наверное, сейчас соединимся, так близко мы. Теперь можно отдохнуть. Куда же меня дальше несет? Мы не стали одним, мы по отдельности, но я внутри света. Это не тот свет, хотя он тоже живой. Но это не мой старый свет. Он расступается, чтобы дать мне дорогу внутри себя. Я продвигаюсь внутри, но мы не соприкасаемся. Я окружена им. Он живой и с интеллектом, это чувствуется. Но он не целый. То есть он целый, это единый организм, но состоящий из колонии самоценных существ. Они так похожи, как будто клетки, и они срослись, но чувствуется, что каждый обладает своим осознанием. И как они умны! Каждая клетка намного умней меня. Это чувствуется безошибочно. Я для них как инфузория туфелька. Как они на меня смотрят! Но каждый смотрит по-своему или видит что-то свое — как это определить, — вот поэтому и ощущается, что они разные. Как они умны! Но в них нет тепла. Враждебности тоже нет. Меня пронесит мимо них, и они просто смотрят. И раздевают меня. Каждый снимает какую-то часть моей оболочку. Мне казалось, что от тела уже ничего не осталось. Но как много еще

можно снять, оказывается. Пока ничего опасного не происходит, но нужно сохранить контроль. Как бы они не съели меня целиком. Сейчас они лушат что-то ненужное, шелуху, которая отслужила, но когда доберутся до ядрышка, то могут увлечься. Кто их знает. Выход, наверное, есть, и поток несет меня к нему. Если не сопротивляться потоку, если помогать его ускорению, то мое гладкое нутро может проскочить как шар к лунке. Ну-ка? Да, можно управлять скоростью движения. Они не только смотрят. Но и обмениваются мнениями. Но никаких больше разговоров! Хочется послушать, что думает существо, намного превосходящее тебя по интеллекту, но в этом соблазне таится опасность. Я больше никому не поддамся. У меня свой путь. Я вырвусь ото всех любой ценой. Меня не остановить. И не соблазнить ничем. Теперь я знаю, куда идти — к тому свету. Наверное, Свет ждал, пока я освобожусь от этих оболочек, чтобы явиться перед ним неприкрыто. Уже от оболочек ничего не осталось. Наверное, и этим смотрящим без глаз мое голое нутро для чего-то нужно. Они явно не собираются меня выпускать. Но не на того напали. Сейчас я им покажу, что значит препятствовать мне на моем пути!

Опять это было! Снова переживание, во время которого ни о чем не думаешь. Вот до чего доводит ярость. Выходит, это чувство мне было когда-то так хорошо знакомо. Этот человек был мной когда-то, в этом нет сомнений. Хотя действие тянулось недолго, я могу все объяснить, откуда что взялось. Местность эта была в Шотландии, это побережье мне так хорошо знакомо, хотя бывать в Шотландии мне не доводилось. Я имею в виду — в последней жизни. Воздух тогда был сумрачнее, чем сейчас, но природа была несомненной. Деревья честно колыхались на штормовом ветру, и, хоть

их было мало в этой скалистой местности, не заметить их было невозможно. В мрачной несомненности скал, в многозначном рельефе их рисунков было столько жизненной силы, сколько не ощущалось в последней жизни даже в привлечшем внимание лесном цветке, внезапно заменившем собой всю Вселенную, являя через себя историю ее рождения, смысла и гибели. Потрясая и переводя тебя в новое понимание взаимозависимости жизни, из которого ты иногда не мог выбраться днями, а то и неделями, этот цветок не был так явен, как вся природа в те времена в Шотландии. Несмотря на бедность красок, на завораживающее завывание бушующего ветра, сопровождающееся усиливающимся аккордом разбивающихся о камни ледяных волн, звучащих, как шаманское заклинание, природа не казалась миражом. Скорее миражом ощущал себя этот человек, который был мною. Но как же он был безобразен. Явись его двойник в последней жизни той девушке, что была мною, ее бы в лучшем случае стошнило от отвращения и она бы слегла надолго от нервного срыва. Как же он был отвратителен. Если смотреть на него со стороны. Но он смотрел в зеркало, вот новость — в те времена уже были зеркала, не такие прозрачные, как сейчас, а может, на них осела копоть из его скальной лаборатории. Эти грязные седые космы, свисающие по плечам, борода той же масти, обрамляющая изуродованное лицо, кустисто насупленные из-под серых паклей брови нависали над горевшими безумным огнем глазами. Вернее, над одним глазом, и я знаю, что случилось со вторым. Я был алхимиком, это был четырнадцатый или пятнадцатый век, и меня обурежала яростная жажда знаний, мне казалось, что волевым усилием можно проникнуть в тайны Создателя. Перед этим иссушающим порывом ничто не могло устоять, ничто не имело

значения — женщины, которые были настолько случайны, что легко заменялись приблудными соседними овечками. Пожалуй, овечки были предпочтительней — на них не приходилось тратить много времени и удовлетворять их капризы, выслушивать их болтовню, лишнюю какого бы то ни было смысла. Я припоминаю, что, пожалуй, была даже одна заветная овечка, пристрастившаяся к его нехитрым упражнениям на свежем воздухе. Бывало, размечтавшись, она сама к нему приковыливала, преодолевая нелегкий путь через замшелые камни, находя запрятанную среди скал пещеру, которую люди обходили стороной. Из-за его нелюдимости и дурной славы ведьмовства у людей разыгрывалось воображение, в окрестных деревнях все беды приписывались ему. Было ли у овечки воображение? Он над этим не задумывался, но если было, она видела себя трепетной ланью, грациозно летящей через все препятствия к своему принцу. Она не видела, в отличие от соседей, что затворническая жизнь, отсутствие всякого ухода за собой сделали его безобразным, и не чувствовала отталкивающего запаха от него. Впрочем, он и сам всего этого не чувствовал. Он привязался к этой овечке. Он даже дал ей имя, в чем не сознавался сам перед собой, поэтому я даже в мыслях не буду называть это имя, ведь подглядывать за собой не менее безобразно, чем в чужую замочную скважину. Возможно, мы сами даже более беззащитны перед собственной неделикатностью, чем другие. Если мы решимся даже прочитать письмо, адресованное другому, то испытаем хотя бы мимолетные муки совести, а сами с собой мы не церемонимся.

Но он полюбил овечку всем сердцем — я сейчас думаю об этом так откровенно, потому что он даже сам перед собой не делал из этого секрета. Пока однажды

с ней не случилось то, что случается всегда с овечками. Столько времени прошло, а отзывается все с той же болью. Он, конечно, пытался утешиться, наивно предполагая, что среди новых овечек найдет ей замену. Пока он не вычитал в своих тайных книгах, что интимная физическая связь забирает силы, нужные для занятия магией, с тех пор он без колебаний отказал себе и в этом удовольствии, не пытаясь заменить потерю даже собственными руками. Поскольку это также возбранялось в его дорогостоящих фолиантах, ради покупки которых он мог месяцами голодать. Все-таки он меня восхищает, несмотря на отвращение. В нем был порыв, в нем было стремление, лишенное какой-либо корысти, он был из редких алхимиков, не бьющихся над тайной получения золота. Его будоражило только знание, знание как таковое. Знание в чистом виде, лишенное примеси первооткрывательской амбициозности или возможностей всяческих выгод. Он хотел только знать, этот тип. И ни перед чем не останавливался. У него не было элементарного комфорта в жизни, у него не было ни одного друга, его любимую зарезали, когда он был еще совсем мальчишка, и с тех пор он никого не любил. Живые существа перестали для него что-либо значить, походя, между делом, он убил парочку-другую людей, которые стояли между ним и вожделенной книгой или каким-то веществом, необходимым для опытов. Но его при этом не мучила совесть, он не ведал ни мук голода, хотя частенько голодал, ни мук одиночества, ни физических мук. Чтоб доказать себе, что он равнодушен к боли, он всячески истязал себя. Все его жилистое, корявое тело было покрыто уродливыми шрамами. Вот что он сделал со своим глазом — во сне ему явился ангел и сказал, что он сможет видеть, если вместо глаза будет использовать магический кристалл винно-крас-

ного цвета, который он получил в результате своих опытов. Тем же утром он недолго думая, вырвал себе левый глаз. После чего у него началось воспаление, вот откуда у него этот ужасный шрам во всю левую щеку. Он тогда вложил кристалл в зажившую глазницу и яростно всматривался в зеркало, но ничего нового, кроме зловещего красноватого мерцания, соперничающего с бессильной злобой живого правого глаза, он не увидел. Теперь я понимаю, откуда у девочки, которой он стал потом, были такие обширные познания в магическом искусстве. Мастерски манипулируя людьми для достижения своих целей, она в то же время не владела примитивной техникой общения по принципу — ласковый теленок двух и так далее. Многих своих целей она могла достичь, не прибегая к изощренной и утомительной магии, а только улыбнувшись, заглянув в глаза. Но она каким-то образом сознавала, что многие стороны жизни, обыденнейшие для других, ей неведомы. Она стремилась их наверстать, пока работала ребенком. Сложные задачи, которые она перед собой ставила, выглядели бы в глазах окружающих более чем странными играми, если бы она с ними поделилась. Но ей, конечно, хватало ума молчать об этом, так же как и о своих магических способностях. По утрам она решала, кем она будет на этот день — принцессой ли, живущей в роскоши, употребляющей изысканные кушанья и окруженной прекрасными предметами, не знающей горя, труда и забот, или же путешественником, заблудившимся в пустыне, у которого кончилась вода и осталась последняя корочка черствого хлеба. Что бы она ни выбрала, она безукоснительно в течение дня следовала образу, а это было нелегко. И у нее было это бешенство, унаследованное от алхимика, которое ей только с годами удалось смягчить, направляя в какое-нибудь дело, или

обороняться, предчувствуя приступы. Алхимик этого совсем не умел, ярость его снедала больше, чем жажда знания, и в результате победила все другое. В тот момент перед зеркалом разочарование подкосило его, он был слишком во всем прямолинеен, если думал, что видеть удастся таким опосредованным способом, и мальчик выбрал неправильный момент для посещения. Этот мальчик-служка из окрестной деревни, выполняющий по совместительству роль ученика, стоял перед глазами алхимика до самой его смерти. Морковно-рыжие волосы мальчика, покрытое конопушками лицо — в те времена у людей почему-то веснушек было больше в смысле размеров и в смысле покрываемой ими площади, чем в последнее время, — и широко распахнутые и без того огромные синие глаза, заслонившие ему все лицо, так что из-за глаз виднелись только несколько конопушек и рыжая макушка. На днях алхимик застал в своей лаборатории беспорядок, и ему привиделось, что это мальчик, воспользовавшись оказанным ему доверием, привел любопытствующих в пещеру в отсутствие хозяина. Будь это в другое время, одержимый не тратил бы ни секунды. Ярость ослепила его, вначале вспыхнув в мозгу белым пламенем, совсем как после некоторых опытов, только сейчас этот огонь трещал в его голове, затем, скользнув по фитилю позвоночного столба, с шипением разбрасывая искры, под бой барабанных перепонок он расплзся по всему телу, добрался до кончиков всех двадцати пальцев, растопив по пути все кости, и заурчал, взрываясь, в животе. И тогда в глазу у него помутнело и он привычно рванулся истолочь врага в порошок, растоптать его ногами, душить и душить, свернуть шею, разможжить его гнусную голову о камни, вспороть ему живот и хохотать безумно, глядя, как он, еще не чувствуя боли, недоуменно пытается затол-

кать обратно свои голубоватые вонючие кишочки, и еще многие способы совершенных или еще только лелеемых, или только родившихся в воспаленной голове казней питали его помутневший разум. Но впервые за всю жизнь он остановился. Было что-то еще, торчащее как заноза и мешающее насладиться этими образами, отдаться им полностью. Магический камень, упорно занимавший его мысли вот уже больше месяца, не желал их покидать. Впервые за долгую жизнь — сколько лет ему было? — уже не помню, потому что тогда я давно уже не думал о своем возрасте, а так на вид все восемьдесят, — фанатичный старик задумался о последствиях своего поступка. Сквозь черновато-оранжевую завесу злобы стали пробиваться иные образы — как на него наваливаются дождавшиеся своего часа односельчане мальчика, кто камнями, кто вилами, а кто и голыми руками, и дают волю копившейся годами, еще с детства, ненависти к чужаку, не желающему с ними знаться, из-за которого то и дело пали от непонятной хвори их коровы, шторм топил их рыбацьи лодки, страдали бесплодием жены или болели золотушные дети. Мысль, что раны вот-вот затянутся и он сможет испробовать красный кристалл, потушила пожар, оставив тлеть в укромном месте несколько угольков. Если бы ему удалось тогда перед зеркалом увидеть — а это не исключено, он был достаточно разгорячен долгим ожиданием и верой, так что даже камень в глазнице не мог ему помешать, он бы, возможно, расцеловал вошедшего мальчика, и история повернулась бы по-другому. Но никаких если не бывает, поскольку злоба в нем продолжала тлеть, он упустил возможность видеть — вот тоже интересное наблюдение — некоторым их единственный шанс дается в конце такой долгой жизни, — и угольки, уже поддуваемые разочарованием, вспыхну-

ли со всей силой от распахнутой мальчиком двери. Когда он притеснял рыжего к скалам — мальчик в начале изумился и именно от этого стал пятиться, а не от страха, — но над этим старик задумался позже, а тогда он вымещал на мальчике всю свою неудавшуюся жизнь, как это ни пошло звучит, но примерно такими словами он оценивал результат эксперимента. Несчастный был старик, не знаю, почему так долго я о нем вспоминаю, возможно, он был одним из самых ярких моих личностей, и, кроме того, когда он душил мальчика, с ним произошло чудо, которого он так и не осознал. Впрочем, так всегда бывает с чудесами. Мальчик смотрел на него без страха, что опять его поразило, — кроме изумления, в его глазах была глубокая обида. И пока старик раздумывал о том, что виновные так не смотрят, и о том, что мальчик, как ни странно, искренне его любил, а его руки продолжали делать свое дело до тех пор, пока под ними не раздался нежный хруст, он видел не только скользкие от дождя скалы, к которым прижал мальчика, не только ставшие темными от воды, но все равно торчащими в разные стороны вихры на его макушке, не только слезы обиды во все еще восхищенных глазах ребенка, но он видел также серо-пегие облака за нависшими плечами, покрытыми черной накидкой из грубой шерсти, и чувствовал тоже за двоих. Потом он скучал по мальчику и раскаивался тоже в первый раз в своей жизни. Впрочем, это недолго тянулось. У него уже не было причины жить. Но теперь я знаю, знаю по ощущению, кем был этот мальчик в его жизни, когда он родился девочкой. Он играл тогда совсем другую роль. Теперь я его прощаю, раньше было непонятно, за что такие измывательства. Они достаточно долго тянулись, и есть надежда, что ему удалось изжить свою обиду. Ну, теперь все? Или остались еще какие-то не-

выплаченные долги? Поскорей бы со всем разделаться. На многие километры пути среди нас меня уже не будет. А ведь это они меня не отпускают. Будь моя воля, меня бы здесь уже не было. Разговор булькает, как химикалии в пробирке, кипит, выпуская пар и давая осадок, а потом добавляется новое вещество и процесс продолжается, окрашиваясь в новые цвета. Иногда ситуация становится взрывоопасной, но у них есть свои индикаторы и есть контролеры, чутко регистрирующие перемены, проистекающие с лакмусовыми бумажками. И тут же в действие включаются люди-ингибиторы, спускающие все на тормозах. Когда же процесс заглушается, на сцену выходят катализаторы. И пока они не доведут дело до кондиции, пока суп не сварится, они не оставят свою работу, своевременно подкидывая необходимые ингредиенты и убавляя или усиливая по необходимости огонь под котлом. Они действуют синхронно, но не найти среди них муравьиного царя или пчелиную матку, на которых можно бы свалить ответственность за управление. За людьми не менее интересно наблюдать, чем им за насекомыми. Им это и невдомек, они так уверены в наличии у себя сознания, что позволяют себе кокетничать с бессознательным. Что же это за создания такие? Такие наглые и самоуверенные и в то же время такие наивные и беспомощные. Они как будто кем-то заколдованы. Придумывают себе какие-то науки, заговаривая сами себя невразумительными объяснениями, лишь бы усыпить, заморочить, убаюкать, загородить свой страх. Они такие все смелые, пока дело не дойдет до смерти. Но тут они прячут головы в свои науки. О смерти они не желают думать, они предпочитают с ней бороться или отрицать, хотя это единственная вещь, которая с достоверностью происходит с каждым. Они готовы думать о чем угодно,

только не об этом. Это невероятно, но это так. Они, готовые обсуждать все что угодно, как загипнотизированные обходят единственный вопрос, который в первую очередь должен их волновать. Они готовы слушать объяснение про бабочку и цветок и успокоиться. Человек рождается и человек умирает — что уж тут дальше обсуждать. То, что они не могут переступить эти границы, мечась в пределах обведенного мелом круга, как заговоренная курица, — самое большое чудо в жизни человечества. И оно продолжается по сей день, и не видно конца ему. Но ведь когда они умирают, то, как и я, начинают все понимать. Что же за оковы на нас одеты при жизни, не позволяющие двигаться настолько, что мы забываемся одурманенным сном, как туго запеленатые младенцы? И ведь каждый хотя бы раз просыпался и видел это сонное царство, где все во сне заняты необыкновенно важными делами, и начинал будить всех вокруг, не понимая, что его бодрствование длилось только миг и будит он других уже во сне. И в его сне все просыпались, брались за руки и начинали водить веселый хоровод, заверяя друг друга, что теперь они уже ни за что не заснут и сон продолжался, незаметно по своим законам заменяя предметы, отводя глаза, и все, что сон считал нужным навеять спящему, то и было важнее и желаннее или страшнее всего в этот миг, со сновидческой легкостью забывалось, о чем мечтал или боялся секунду назад. Что же нас так одурманивает? Раз чары развеиваются со смертью, значит, причина в теле. Какая странная вещь — тело. Теперь, когда у меня его нет, я не вижу причины, почему оно должно быть. Насколько без него проще. Правда, кое-какие вещи без него невозможно делать там, у них, но зачем же мы постоянно туда возвращаемся? Может быть, смысл в том, что каждый должен родиться в теле каж-

дого, и все на себе перечувствовать? И когда мы перемерим все шкуры, нас освободят? Нет, это было бы слишком просто. И творчество идет непрерывно, мы никого не повторяем, даже самих себя. И тогда нам не дано было бы, когда мы лишены тела, так беспрепятственно проникать в состояние любого на выбор. Пока они говорили, мне удавалось быть не только каждым из них, но и все человечество проплывало в медленном танце в осязаемой близости. Стоило захотеть, и можно было слиться с каждым, и прожить его жизнь, удачу за неудачей, но это было не так занимательно, так же скучно, как вспоминать собственные жизни. Все было так однообразно, рутинно и бессмысленно, и не важно. Всемилостливый Боже, какие только страны не приходились мне Родиной в различных моих воплощениях! Господи, сколько было жизней, из которых нечего вспомнить, все покрыто туманом, потому что ни один поступок не шел от сердца. Они думают, что могут вспомнить все свои прошлые жизни в подробностях, когда вряд ли хоть один из них с первой попытки вспомнит, чем он занимался в прошлый четверг, если только это не был его день рождения. У меня наберется от силы парочка-троечка жизней, в которых есть что вспомнить. И это были не такие события, о которых пишут романы или в крайнем случае приговаривают к высшей мере наказания. Такого рода случаи со мной тоже происходили, но они прошли, не коснувшись меня. А то, что помнится, прошло незаметно для окружающих, но во мне оставило след в виде рубцов, которыми узник отмечает на стенах своей камеры, на сколько дней приблизилась свобода. Я меняю облик, но стены остаются, и, даже когда я слепну, я могу нащупать эти вмятины и, опираясь на них, вскарабкаться еще на несколько сантиметров ближе к пространству, где нет

слепоты и нет стен. Это были мгновения, когда не существовало изнутри и снаружи, когда под моими руками оказывалось вдруг колесо судьбы и мои руки толкали его в том направлении, в котором оно само намеревалось двигаться, и от этого совпадения оно ускорялось, оставляя на мне отметины, не видимые другим. Им иногда могло показаться, что я лечу в пропасть, в то время как меня поднимало надо мной. Без тела такое совершить невозможно. Без тела мы все хороши, легкие и парящие, неспособные на злые умыслы, не то что дела. Но это здесь. А там многие без тела так же умудряются терять свой облик. Что-то там такое с нами происходит. И это не может быть случайностью, что так настойчиво нас туда посылают. Видно, что-то такое надо произвести с землей, и Господь избрал нас своими орудиями. Наверное, то, что мы должны сделать, слишком грязная для Него работа, а может, без нас, как инструментов, Ему не обойтись. Какими мы были со времен нашего первого появления здесь, такими же и остались. Нас так же обуревают желания, мы так же любим страдания и неспособны летать, разве только во сне, когда мы немного вырвемся из оков земли, но и тогда мы остаемся на привязи, и стоит чему-то слегка дернуть веревочку, как мы тут же послушно возвращаемся назад, на землю, в тело. Может, за все это время наши чувства стали немного тоньше, но это все, чего мы добились такой долгой работой. Суть наша не изменилась. Оказавшись на земле, мы тут же подпадаем под ее власть, потому что наше тело — это тоже земля, когда мы его покидаем, оно возвращается назад, к своей праснове. А когда мы появляемся здесь снова, оно окутывает нас, лишая памяти, вынуждая действовать по своим законам. Земля не то что не хочет сдаваться, просто она инертна, да и

никому и ничему не хочется меняться, даже с посторонней помощью. Особенно с посторонней помощью. Оттого нас и облакают в часть земли, чтобы желание измениться шло изнутри. Но и мы ничего не сможем изменить, если будем отвергать свое тело, а не ошутим его как часть себя, а землю его продолжением. И так оно и есть. Мы никогда не сможем изменить ничего, кроме самих себя. И ничего нельзя изменить без любви. Тело — это капитал, который копится на земле. Или растрачивается. Одни культивируют его, правильно питая и укрепляя, другие изучают его возможности, преодолевая их и совершенствуя. Память о задаче, поставленной перед нами, никогда не умирает до конца. Что-то нас толкает к действию. Недаром богатые стремятся жениться на самых красивых и наоборот. Ведь деньги — это одна из энергий земли в символически материализованном виде. Другие получают в наследство только долги — истяженное генетическими болезнями тело. Но это тоже шанс. Виды творчества бесконечны. Важно не то, чем ты владеешь, а как этим распоряжаешься. Имуществу дастся, а у неимущего отнимется. Середины не должно быть. Познавать так познавать. Тело — это вклад, который мы должны внести в землю. Тело — это поле нашей деятельности. Это бесценный дар нам и это наша тюрьма. Это единственный инструмент, с помощью которого мы можем совершить порученную нам работу, и это то единственное, над чем мы должны работать. Работать с бесконечной любовью и бесконечным терпением. И бесконечным принятием. Потому что нам некуда деваться. Пока работа не сделана, нам ее делать. У нас море времени для этого. У нас океан океанов времени. У нас Океан времени, необъятный и безжалостный. Мы — мимолетный отпечаток, чудесная мозаика, антильские

кружева на его песчаном берегу. Мы каждый — одна их причудливых завитушек его замысловатого узора. Мы должны всего лишь безукоризненно гнуть свою линию, довести ее до конца. Если мы будем своевольничать, думая, что мы нарисуем себя лучше, чем нас задумали, мы превратим этот волшебный рисунок в безобразные каракули или, забегая на чужие линии, сведем все к бесформенному пятну. И тогда ничто не в силах будет спасти даже работу тех, кто был безупречен. Стараниями всех остальных рисунок будет безнадежно испорчен. Если же мы снова будем стремиться к равенству и справедливости, к чему нас вынуждают закоснелые силы земли, мы в лучшем случае превратимся в равные квадратики, в которых слабым пунктиром намечен первоначальный замысел. И провести его твердой рукой мы уже не сможем. У нас совсем нет времени. Равнодушные волны Океана накатываются на нас с неумолимой регулярностью и слизывают несостоявшийся узор. И пока волны Океана времени откатываются с затаившим, но ни на минуту не умолкающим, грозящим гудением, на песке проявляется новый, но такой же неповторимо красивый рисунок. И снова каждому предоставляется его участок работы. И поэтому никому не легче, и никто не лучше или хуже другого. Мы всего лишь штрихи на Божественном рисунке. И только в этом смысле мы все равны. И потому никто не спасется, пока не спасется каждый. А до этого Океан будет походя стирать нашу неудачу. Но стереть можно только ее, потому что этот рисунок на самом деле — бессмертный цветок, он бесконечно распускается, меняя форму и окраску, но оставаясь самой прекрасной сердцевинкой этого мира. Когда-нибудь, и это зависит только от нас, мы каждый сможем быть предельно собой, и тогда линии соединятся, мозаика сойдется и Бог воп-

лотится. Оказывается, Он существует только в Своем замысле, но сотворить его можем только мы, все вместе, объединив в одном синхронном порыве невероятные усилия, слившись в связующем рвении за тот ничтожный срок, что нам отпущен. Бог нуждается в нашей помощи для того, чтобы Быть. И ведь мы всегда это чувствовали. За все наши жизни мы снова и снова пытались Его творить. Мы давали Ему имя, делили Его обликом и все нерастроченные на сопротивление силы направляли в молитвы или проклятия, с каждым их новым словом вдыхая жизнь в его расплывчатые контуры. Мы сотворили тысячеликого монстра с тысячей имен, и все они рвутся первенствовать, овладеть очертаниями. Мы не договорились даже о едином имени и образе, но породили чудище, раздираемое изнутри всеми нашими представлениями и упованиями. Эти тысячи ликов выглядывают поочередно из туманного сгустка, отзываясь на имя, к которому больше всего вопиют именно в этот миг, сменяясь, как маски на карнавале, в своем карусельном мелькании пытающиеся скрыть пустой оскал чего-то страшного, созданного нами и готовящегося нас сокрушить. Пока же мы питаем и питаем его, взывая к нему и отвергая, забыв, что это Бог нас создал, нам же не дано знать Его имени, нам не вообразить Того, что нас задумал. Он и есть тот неустанный, многотерпеливый Океан, что Сам поглощает свою неудачу, чтобы когда-нибудь сотворить Себя в неукоснительном виде, не идя ни на какие уступки неподатливому материалу. Безбрежный Океан творит Себя Сам из Себя, и мы — это Он, измельчавший до капелек. В процессе Творения Ему нужно было раздробиться, чтобы воссоединиться обновленным. Мы — часть этой бесконечной воды, заключенной Ею же самой в разные формы, от кото-

рых меняется наш уровень и которые создают нам видимость границ. Но, вдруг из Необъятности превратившись в часть, во что-то делимое, мы чувствуем себя ущемленными, зажатыми в тисках, нам кажется, при памяти о былой бесконечности, что наши оковы слишком тесны для нас и не дают нам развернуться в былую мощь, и, если б только нам поменять сосуд на тот, что кажется побольше, мы справимся со своей задачей. Но каждый отлится в своей форме, и другой у него быть не могло, и каждой форме дано выполнить посильное именно ей, и кажущаяся разница идет именно от сосудов. Содержание во всех одно и различие только во вместимости. И в рисунке. Мы желаем поменять наш рисунок на другой, даже приблизительно не разглядев, что он собой представляет и как сочетается с соседними. Только когда теряются последние надежды, у человека появляется шанс стать счастливым. Когда Океан вновь поглотит нас всех, мы станем снова одним неделимым, и это будет означать, что нам опять не удалось воплотиться. И мы снова и снова будем разделяться в новые формы. Никто не спасется, пока не спасется каждый. Но о каком спасении может идти речь? Бог раздробился до нас, чтобы познать и одушевить этот мир. Мы — это Он, разделенный. Мы — Его тело, его глаза, уши, нос, гортань, через нас Он познает всю партитуру радости и горечи, потерь и находок, предательства и обмана, бесстрашия и благородства, разлук и встреч, и все это Ему в радость. А неразделенная любовь Его к нам — сколько новых и неизведанных оттенков познания она уже принесла и сколько еще сулит! Бог познает через нас, нами, и изменяется и ставит перед нами новые задачи. Мы — как бесчисленные мелкие осколки волшебного зеркала, разбитого злыми троллями. Мы слишком малы, чтобы отражать боль-

шое, мы замутнены и искривлены, мы рассыпались под разными углами, и, даже если кто-то сможет всмотреться в нас во всех одновременно, он увидит хаотичные детали с рваными краями, но никакого представления о мире, нами отражаемом, он не вынесет. Даже если какие-то осколки нас освободятся, согласившись открыто и непредвзято отражать то, что перед ними, самое большее, что в них можно будет увидеть — это кусочек синего неба, подернутый легкими облаками. Только когда все осколки встанут на свои места, до самых крохотных и затерянных, чтобы на зеркале не осталось трещин и щербиннок, тогда действительно мы отразим все, и это будет чистая радость и любовь. Никто не спасется, пока не спасется каждый. Здесь мы снова это понимаем, вернувшись к своему Источнику. Но, оказавшись снова там, мы мучаемся и проклинаем, потому что туда мы возвращаемся не совсем теми, которыми оттуда ушли. Если мне суждено опять туда вернуться, я выберу трудное познание, потому что это интересно, только одно это и имеет значение. Я выберу тяжелое детство, ужасных родителей, болезни, неразделенные любви и разделенные тоже — они способны быть труднее и интереснее, я выберу преодоление и становление, становление, становление. Сейчас я понимаю ценность всего этого, но тогда мне все будет казаться наказанием, я это уже заранее знаю, но я все равно выберу все это. У нас Океан времени и у нас совсем не остается времени.

— Времени сколько сейчас, кстати? — Да уже скоро полночь. Пора расходиться. — *А то опять начался этот нравоучительный пафос, типичный, кстати, только для нас. У нас любят поучить остальных жизни.* — Да, неудобно как-то, мы засиделись. Им тоже нужно отдохнуть. — Слушайте, ребята, к кому тут можно

вписаться? Я тут снимаю комнату вместе с хозяйкой, она сейчас уже спит. Если я сейчас завалюсь, утром она опять устроит наезд, а у меня пока других вариантов нет. — А у тебя хозяйка, по всему виду, стержовая? — Нет, как раз наоборот, она девчонка еще, наша ровесница. Вообще она наш человек. Я ее где-то даже уважаю. Ей очень трудно живется, у нее сейчас ребенок маленький, и она целыми днями шьет, чтоб его прокормить, а раньше она никогда не шила, ей это тяжело дается, просто она не нашла другой работы на дому. Она иногда допоздна засиживается за шитьем, но бывает, что в двенадцать уже не выдерживает, вырубается, поэтому я на всякий случай не хотел бы ее будить. Я понимаю, что комнату мне она сдала тоже из-за стесненных денежных обстоятельств, так у нее маленькая двухкомнатная квартира, в одной комнате они с ребенком, в другой — я. — А муж ее чем занимается? — В том-то и дело, что мужа у нее нет. То есть отец ребенка имеется, и довольно богатый, он чуть не каждый день заявляется чуть ли не с цветами, готов дать ей денег сколько надо, но она от него ничего не хочет. — Женатый небось? — Кто, он? Да он как раз с цветами приходит предложение делать! — А чего ж она? — Да понимаешь, она такой человечек, хочет, чтоб все по-настоящему было. — Он ее не любит, да? — Он с ума по ней сходит! Ну как ты не понимаешь, она просто хочет, чтоб все на самом деле было, жить на пределе своих возможностей, чтоб самой поднять ребенка, приниматься за новые дела. Вот человек не умел шить — и на, пожалуйста, теперь этим на жизнь зарабатывает. — Она его не любит? — Откуда я знаю? Да она, бедная, так устает за день, что уж и сама не разберет, не до любви ей сейчас. Часто так бывает, что ребенок по утрам просыпается, тянет ее — мама,

мама, — а она не в силах проснуться. Тогда ребенок приползает ко мне... — Кто там у нее — мальчик или... — Девочка. Ей год или полтора. Я как-то ее пожалел, потому что у мамы времени нет с ней заниматься, и стал учить ее цветам. Показываю игрушку — у нее целый ящик игрушек, отец надарил — и спрашиваю: слоник какого цвета? Она не знает, и я сам же отвечаю: голубой. Собачка желтая. Машинка красная. И теперь она сама по утрам, когда маму не может будить, притаскивает этот ящик ко мне ползком — он большой, но легкий, — я уже сквозь сон слышу, как она пыхтит, и потом довольная вытаскивает игрушки и мне тычет: гаюбё, касий и так далее. — Ну теперь понятно, чего тебя потянуло в другое место переночевать. — Нет, поймите меня правильно, девчонка классная, но иногда правда припухаешь с утра, когда нет сил глаза разлепить, мычать: неправильно, медвежонок белый. — Откуда ж ты видишь? — А я смотрю сквозь ресницы. Нельзя же, чтоб ребенок неправильно называл, нужно поправлять, иначе у него фиксация произойдет, потом ничем не выбьешь. Ну так как насчет ночевки? — Да ништяк, можешь ко мне завалиться, места хватит. — Ой, слушай, раз ты такой добрый, можно и мне к тебе вписаться? Я тут в Рашу ненадолго приехал, то у одних знакомых окантуюсь, то у других. Я на сегодня ни с кем не договорился. У меня и дрянь есть с собой. На несколько косячков еще хватит. — Ты что, из Амстердама приехал? — Ну чего ж так сразу? Тут и у вас можно недурственную травку найти, места только надо знать. А приехал я из Штатов. — Ого! Специально на похороны? — Да что ты? Откуда ж я мог знать заранее. Я хоть и выхожу иногда в астрал, бывает, но не по этой части. Я машину приехал растомаживать, а тут такое, как снег на голову. — Ух ты,

такой уже богатый, машины покупаешь! — Дружочек, в Америке совсем не нужно быть богатым, чтоб машины покупать. Там этого добра навалом, хоть одним местом ешь. Тебе задаром отдадут, потому как за место на свалке еще заплатить надо. Я приехал чужую машину растамаживать. — Как это? — Вы что, все с луны свалились? Уже сколько лет люди этим занимаются. Не слышали? — если кто-то законно живет за границей чуть больше полугода, то он считается льготником, ему можно тут бесплатно машину растамаживать. Вот ваши деятели нас выискивают и башляют, чтоб мы на наше имя машину оформили и здесь ее им подарили. — А сколько? — Чего, бабок? Ну кому как повезет, там же еще и всякие посредники существуют. Но вообще в среднем платят две штуки баксов, чем меньше посредников, тем больше тебе достанется. А им это всяко дешевле, чем за полную растаможку платить. Я уже третий раз так езжу. — Ну как ты там в Штатах, освоился уже? — А как же! Я считаю, что нашим эмигрантам легче всего в Америке, поскольку они туда выезжают уже с полной настройкой стать американцами, и, даже если им это не удастся, их дети уже стопроцентными американцами себя чувствуют. Там же столько всяких народностей, и все без проблем въезжают в общую картину. А в Израиле, если ты выехал туда не из религиозных или идеологических соображений, ловить нечего, это нищая восточная страна, с точки зрения колбасы и джинсов. И свининки там нет, все кошерное, сами знаете. — Для меня вот что все время оставалось загадкой — а бляди там тоже кошерные? — Очень ослоумно. А в Европу ты вот так не въедешь. Там и захочешь стать немцем или французом, тебя не признают. Да только кто ж сам захочет, по доброй воле? Те же немцы порой стыдятся того, что они немцы. — Да

уж. Кажется, все народы себя порядком дискредитировали. Русским быть стыдно, немцем быть позорно, про евреев уже не говорю. Вот, кажется, только англичане сумели себя так поставить, что быть британцем почетно. — Да. Хотя что они там вытворяли в своих колониях, жуть. А бедную Ирландию и до сих пор имеют во все места на глазах всего мира, и кто бы им хоть слово сказал. Все делают вид, будто ничего не происходит. А попробуй другая какая страна так себя вести, все тут же дружно перестанут стыдливо потуплять глазки. — В Азии та же история. Там самой престижной нацией считается японская, хотя у тех тоже рыльце в пушку. Все камбоджийцы, тайландцы, суринамцы, да и все прочие за пределами Азии предпочитают выдавать себя за японцев. Сколько раз я нарывался, спрашиваю, кто ты по национальности, отвечает — японец, а как спросишь что-нибудь по-японски, он в ответ ни бе ни ме. — Но вот бордели у них действительно первоклассные, у этих японцев. К нам в Штаты приехали как-то ваши новые русские, денег — полные карманы, а по-английски даже хэлло сказать толком не могут. Вот они меня наняли вроде как переводчика и экскурсовода, ну и заказ был, само собой подразумевается, показать все значные места. Провел я их по обычным, им что-то не показалось. Тут на меня как прозрение сошло, повел я их к японкам. Там такое! Один деятель меня пожалел, выбирай, говорит, какую хочешь, я заплачу. Ну что вам сказать! Какие они все красотки, какие нежные. И там я только узнал, что такое секс. Наши все белые телки — коровы рядом с ними. Там такие прелюдии, скажу я вам, такие фуги. Там тобой час занимаются, прежде чем приступить к основному занятию. Один только массаж пальцев ног чего стоит. Вот это рай! Скоплю денег, женюсь на японке. — А где ты

там в Штатах живешь? — В Эл-Эй, где еще! — До Калифорнии я еще не добрался, все собираюсь. Но я зато был рядом, в Неваде. Помню, я там первую свою машину купил, они у вас действительно дешевые, и права практически ничего не стоят. Я сдал экзамен, получил права и тут же сел в машину и погнал по хайвею. А там красота такая невероятная, не зря Бакси Сигал решил там Лас-Вегас основать. Съехал я с хайвея как последний романтичный дурак, думал закатом полюбоваться. А когда налюбовался вдоволь — сажусь в машину, она не заводится. Я и так и сяк, и долбанул по ней, как у нас водится, — ни шиша. А время уже — ночь, я там уже добрых два часа любовался, мимо ни одна машина не проехала. Ну, думаю, влип так влип. И уж до того отчаялся, терять нечего, подошел к машине и давай ее по-хорошему уговаривать. Пошептал я ей ласковые слова, погладил ее, снова засовываю ключи — и что вы думаете — зажигание тут же включилось. Я сел и поехал. — Ох, как там в этой Америке гоняют по хайвею! Я хоть и неробкого десятку, а скажу вам честно, иногда аж язык к небу присыхал. Страшнее всего там было с одной бабулей ехать. Я тут у нас так гоняю порой, все девчонки верещат от страха, когда они со мной в машине. А там старушенция, в прабабушки мне годится, еле на ногах передвигается, бабка одного моего знакомого, решила меня по доброте подбросить в соседний город. Ну, думаю, куда ей еще за руль садиться. Сейчас будем плестись как черепаха. Так она села за руль, как приросла, на минуточку. Включила вторую скорость и как понеслась. Еще и со светскими разговорами ко мне приставала. Я в ответ что-то бляял, а сам про себя молился всю дорогу, глаза закрыл, уж не чуял живым из машины выбраться. — Так у них же иначе невозможно. В Европе то же самое.

Если ты не разовьешь на автобане бешеную скорость, у тебя больше шансов, что тебя поцелуют сзади. — Слушайте, опять вы за свое? Давайте поменяем пластинку! — Эти мужики! Никакого прямо такта. — И не говори! И вообще пора бы разойтись уже. — Да, метро скоро перестанет ходить. Может, кто на машине подбросит? Я, кажется, напилась, выходила сейчас покурить — ноги уже не держат. — Да, пора уходить, сейчас что-нибудь придумаем. Ты все там же живешь? — Да. — Значит, нам в разные стороны. — А ты у родителей по-прежнему? — Ага, муж отпустил погостить, я соскучилась ужасно по своим, и он великодушно разрешил уехать на целый месяц. — Какой зайчик! — Да, он у меня хороший. — И давно ты здесь? — Вот еще неделька осталась, потом уеду. — Ой, может, больше не удастся увидеться! Я сейчас пашу как проклятая, прихожу домой без задних ног. Когда ты в следующий раз приедешь? — Боюсь, что нескоро. Я там тоже, знаешь, работаю, выступаю с концертами и детям уроки даю, если часто буду отлучаться, лишусь клиентов. Я и сейчас-то вырвалась, потому что у них там праздники, Рождество, Новый год и у детей каникулы. Я и так хорошую халтуру потеряла — на Новый год мне хотели сделать очень выгодный контракт. — Ну тогда расскажи быстренько, как ты там, чего. — Да все нормально. Мы с тобой сколько уже не виделись? — года три? — Четыре. — Ну и как ты? Кем работаешь? — Художником-оформителем на одной западной фирме, поэтому и говорю, что приходится пахать. — А что у тебя с личной жизнью? — Я вот тоже вышла замуж за это время, муж у меня хорошо зарабатывал, мне не надо было думать о работе. А потом взяла да и влюбилась в одного. Пришлось уйти от мужа. — Чего ж ты так? Жила бы с обоими и горя б не знала. — Ой, я не могу так.

Я моногамная по натуре. Если уж с одним сплю, с другим уже не могу. — А твой новый друг не работает? — Ну ты же знаешь, как сейчас здесь обстоят дела, — то есть работа, то ее нет. А он такой немножко инфантильный, я уже поняла, что он таким навсегда останется — вечный ребенок, ничего не поделаешь. Все нужно за него решать. — Что же ты его выбрала? Любовь? — Да, любовь. А потом, понимаешь, он такой чуткий, внимательный. Ты должна помнить, у меня дома много всяких плюшевых игрушек — я их обожаю. И знаешь, я людей всегда проверяю, как они на моих мишек и зайчиков реагируют. Вот есть такие толстокожие люди, которые их вообще не замечают, хотя они все у меня на самом видном месте и такие сладкие, а человек приходит и как будто сквозь них смотрит. Я сразу понимаю, что этому человеку нельзя доверять. А мой новый друг, он как вошел, сразу, знаешь, повел себя правильно, сразу всех заметил, всеми восхитился: ой, какой славный. И видно было, что искренне, в таком нельзя притворяться. Ну и я сразу поняла, что мое сердце принадлежит ему. Таких тонко чувствующих людей на самом деле очень мало, уж я-то знаю. Да что я все о себе да о себе. Расскажи ты. Я, честно говоря, удивилась, когда ты за этого иностранца вышла замуж. Я помню, у тебя была такая великая любовь с одним нашим мальчиком. И вы так долго были вместе... Неужели ты только чтобы выехать? — Ну вот еще! А про великую любовь ты мне лучше не напоминай! Это был хоррор всей моей жизни. — Как же так? Вы так долго были вместе, я помню, как ты тогда цвела прямо. В его присутствии у тебя даже цвет волос менялся. — Ну да, я его любила, может, даже до сих пор люблю, хотя мне страшно об это думать. Ты же его видела? — Да, несколько раз. — Ну вот, он же сумасшедший. — Мне не показалось. —

Знаешь, он обаятельный, когда хочет, может очаровать. Но только женщин. Мужики за версту всегда чуяли, что это за птица. Его постоянно дубасили до полусмерти. Вот меня он сколько раз избивал, а с мужиками он очень трусливый, но они прямо чувствовали его агрессивность, постоянно к нему цеплялись вроде бы без повода. Сколько раз было — он еле живой домой приползал. Но он был как кошка, сразу восстанавливался. Он, кстати, по году кот. Сегодня кажется, что помирает, а назавтра он свежий как огурчик. Он умел уходить в астрал и там регенерироваться. — Ой, бедненькая! Он тебя избивал? — я не знала. — Да сколько раз! С ним вообще очень тяжело было жить. У него вроде эмдэпэ что-то было, и вот когда начинался накал маниакала — туши свет. А в депрессивном состоянии он мог месяцами молчать, вот просто ни одного слова не вымолвить. Знаешь, иногда бывало, что мы по полгода вообще не трахались. Но он мог запросто в это время пойти на сторону. Вообще без проблем. Ты же знаешь, он был такой несостоявшийся гений и нигде не работал. Он, правда, был очень умный и начитанный, но реализоваться в этой жизни не мог. Или реализовался по-другому. Он вечно проводил какие-то эксперименты над собой. Да и надо мной заодно. Когда он молчал полгода, это означало, что у него обет молчания, хотя он даже не снисходил перед началом объяснить мне, что будет происходить. Когда он не трахался, это означало не то, что у него не стоит, а имело какой-то высший смысл. Он мне, конечно, много дал, но деньги на жизнь зарабатывала только я. У него еще была мама и сестра, моя ровесница. Они, естественно, тоже не работали. И я вкалывала круглый год, чтоб прокормить всю семью, а летом мы всегда выезжали на море куда-нибудь. Я их очень хорошо содержала — поверь, не было

ни одного года, чтоб я их не вывезла на курорт. Ну вот понимаешь, я его любила. И как бы он меня ни мучил, мне казалось, что лучше его не найти. Все остальные были такие пресные рядом с ним. А с нынешним моим мужем я познакомилась в индийском посольстве в Москве. Он тогда тут учился, и мы вместе попали в группу при посольстве по изучению йоги. Я там единственная хорошо знала английский, и учитель прикрепил его ко мне, попросил на досуге разъяснить ему, если он чего-то не понял. Так мы начали общаться. Он меня сразу попросил что-то там ему объяснить, ну а потом я просто из приличия говорю: «Мы тут рядом живем, заходи как-нибудь чаю попить», — и не думала, что он всерьез воспримет. Ну и через два дня сижу я опять у своего, а он как назло очень хороший, прямо на редкость, ну и только залезли мы с ним в постель, раздается звонок. Звонит мой дедушка. Говорит: «Слушай, поскорее возвращайся домой, тут тебя три часа уже сидит, дожидается один молодой человек. По-русски он почти не говорит, мы даже не знаем, как его занять». Делать нечего, пришлось тащиться домой, в душе проклиная его. Ну, думаю, быстренько спроважу его и вернусь обратно. Я даже своему сказала: «Я сейчас вернусь». Прихожу. Пьем чай, а он все сидит и не уходит. Ушел поздно вечером, когда у меня уже сил никаких не было куда-то идти. На следующий день он опять заявился, говорит, книгу какую-то у меня забыл. Я думаю, это был предлог. Ну и потом зачастил. Мне с ним скучно было, ну, думаю, зря только время теряю, никакого от него проку. А потом мой снова меня избил, и я поняла вдруг, что ненавижу его. А этот прямо как почувствовал, что момент подходящий, — сделал мне предложение. Ну, думаю, выйду замуж и уеду из этой страны к чертовой матери, потому что

поняла уже — если тот будет рядом, никуда я от него не денусь, только свистнет, я побегу как собачонка, забыв обо всем на свете. — А что, он тебя так просто отпустил замуж? — Ты что! Я от него скрывала. Если б он узнал, он бы меня просто запер и никуда не выпустил. Да он и так имел власть надо мной, стоило ему просто сказать — оставайся, и я бы осталась. Да он мог еще и что-нибудь такое ядовитое сказать про моего мужа, что я бы на всю жизнь запомнила, и даже если б это не так было, я бы видела его глазами всякие недостатки. — А как у тебя с мужем? — Ой, слушай, он меня так любит, и вообще совсем другая жизнь. У нас там двухэтажный дом с двумя сортирами, бассейном и всеми прочими прибабасами. — А с ним ты больше не встречалась? — А как же, прошлой осенью. Только я приехала, причем никто не знал, что я приезжаю, даже маме в последнюю минуту сообщила, потому что все было неопределенно. И только я зашла домой, даже чаю не успела толком выпить, раздается телефонный звонок. Я беру трубку, ни о чем таком не думая, и оказывается — его сестра. Потом мне мама сказала, что до этого они вообще не звонили. Но они оба с братом обладают такими паранормальными способностями. Так что для меня ничего удивительного в этом не было. — Сестра? А что она от тебя хотела? — Как что? А из кого им еще кровушку сосать? Я думаю, они очень болезненно переносят мое отсутствие. Но она со мной говорила как ни в чем не бывало, как будто только вчера расстались и договорились сегодня встретиться. Ой, она говорит, как хорошо, что ты дома. Мы с братом очень по тебе соскучились, хотим тебя сегодня к себе пригласить, обязательно приходи! Я, конечно, стала отнекиваться, но она тоже обладала надо мной гипнотической властью, я говорю — нет, не могу, а она — ну, значит,

мы тебя будем ждать, сегодня твой день рождения, мы стол приготовили. А у меня действительно был день рождения. И нельзя же так, говорит, мы все-таки не чужие люди, и положила трубку. Ну, думаю, ни за что не пойду, а то все начнется по новой, а у самой руки трясутся, не успела опомниться, как я уже по магазинам покупаюсь, набрала две большие сумки продуктов — у них вечно ничего нет, вплоть до самого необходимого, думаю, приеду, пирогов им напеку. А жили они не в самой Москве, а в Подмосковье. Я маме говорю — ты меня не жди, останусь сегодня там ночевать. Ну и потащилась я с этими тяжеленными сумками, а в этот день, по закону подлости, такой ливень — сплошной стеной. Приезжаю. Звоню в дверь. Открывает их мама. А детей, говорит, нету. Дочка в Москве, на работе, и вроде собиралась там ночевать. А сын в другом нашем доме. Как же так, говорю, они меня так настойчиво звали. Ну ты же знаешь моих детей, говорит бедная мама. Но они очень по тебе скучали, все время вспоминали. Ну посидели мы с мамой, поговорили, поплакали, а уже стемнело, вечер, дождь продолжает лить как из ведра. Ну ладно, говорю, поеду в тот дом, а то скоро совсем ночь будет. А другой дом находился в двух с половиной часах езды от Москвы и примерно в двух часах от этого дома. Местечко совсем глухое и называлось соответственно — Туголесье. Там даже на станции не было телефона, мне пришлось на предыдущей сойти, чтоб позвонить своей маме, сказать, что все в порядке, я доехала, остаюсь с ночевкой. Потом на следующей электричке доезжаю, а время уже — ночь. А там такое место — от станции нужно еще через глухой лес переть, и там на опушке стоит пятиэтажная хрущоба, не знаю для каких целей построенная. У них там была однокомнатная квартира на

пятом этаже. Поднимаюсь, звоню в дверь, стучу — никто не отзывается. Но так иногда бывало, у него была привычка включать телек на полную мощность, и он тогда не слышал ничего. Я спустилась во двор — у них окна выходили — хотела сказать «на задний двор» и самой смешно стало, — ну в общем, смотрю, а в окне такие голубоватые блики, как от телевизора. Снова поднимаюсь, стучу ногами, кричу, а сама от дождя насквозь уже мокрая, думаю — не переться же обратно в таком виде. Поверишь, где-то полчаса уже стучала, наконец, открывается дверь, он стоит — совершенно голый, а на заднем плане какая-то потасканная бабенка мечется. Он говорит: проходи, я сейчас разберусь. Я прохожу на кухню, я сама вся трясусь, слышу, он там ее выпроваживает, а она что-то верещит насчет дождя, он заходит ко мне, смотрю — уже трико натянул, — говорит: извини, что так получилось, я сейчас ее выведу. Я хотела уйти, но он так посмотрел, глаза такие добрые, говорит: оставайся, я тебя так ждал. Вообще кинулся на шею, так тепло обнял, чуть не зарыдал. Ну, сижу, жду. Прошло так с полчаса — возвращается. Весь вымазанный, как будто несколько раз падал на улице. Выражение лица резко изменилось, как будто рукой провели по его лицу, знаешь, как у актеров, глаза стеклянные. Смотрит дико, ну, думаю, началось. У меня — мандраж. Он так сухо, как хлыстом резанул, говорит: раздевайся. Я понимаю, что шансов у меня — нуль, деваться некуда. Начинаю раздеваться. А он продолжает так отрывисто отдавать приказы: иди в ванную! Иду. Он набрал воды, говорит: забирайся! Влезаю в ванну, он мне издевательски-ласково так: ну что, вышла замуж за иностранца? Ты теперь понимаешь, что ты предательница Родины? Молчу. Отвечай — и включает холодную воду. Ты понимаешь, что ты не только Ро-

дину, ты нашу любовь предала. Чувствую, у меня уже зубы начинают кляцать. Тут он мне: Гурджиева читала? Говорю: что ты хочешь? Может, поговорим похорошему? Он снова: скажи мне, Гурджиева читала? Молчу. Он как направит на меня ледяной душ, — я и так вся ооченела после ливня, окатил с ног до головы и держит струю. Я тебя спрашиваю, отвечай! Читала, — говорю, — ты же знаешь. А хорошо ли ты прочитала? Помнишь разницу между личностью и сущностью? Помню, — говорю. Ничего ты, сука, не помнишь, — и как огреет меня шайкой. Так больно! Если бы ты понимала разницу, то знала бы, что наши сущности любят друг друга, а личности ненавидят. Смотрю, он опять замахивается, я закрылась руками, тут он мое кольцо обручальное увидел. А ну-ка сними, — говорит, — продажная тварь, и засунь себе в очко, — и опять замахивается. А пальцы от холода у меня опухли, знаешь. Такой колотун. Я пробую мылом, не получается. Тут я со страха говорю таким спокойным, ласковым тоном: ты прав, с моей стороны было большой глупостью приходить к тебе с этим кольцом на пальце. Ведь я тебя люблю. Давай я выйду, положу его куда-нибудь от глаз подальше, тут что-то не снимается и вернусь к тебе в ванную. Он клюнул на это, я выхожу, натягиваю трусы, майку, все остальные шмотки кидаю в рюкзак и на цыпочках прокрадываюсь к выходной двери и облом — он ее успел запереть на ключ. И тут у меня такое озарение, как бывает в критической ситуации, — еще бы, после битья по голове, как в дао, у меня третий глаз открылся, у меня такая зрительная картинка перед глазами — я вижу ключ лежащим внутри заварочного чайника. В нормальном состоянии я бы ни за что не догадалась. А может, знаешь, когда он туда засовывал, я какими-то рецепторами это зафиксировала.

Прокрадываюсь снова на кухню, причем я так долго рассказываю, а все заняло буквально секунды, открываю чайник, он полон заварки, запускаю туда пальцы и действительно нашариваю ключ. Я снова шмыг мимо ванны, трясущимися руками еле справляюсь с замком и вылетаю на улицу. А там такая темень, только один фонарь у дома горит. Но мне и лучше, в таком виде проходить. На мне сапоги, трусы и майка, рюкзак на спине висит и зонтиком прикрываюсь. Сейчас обхохочешься, как представишь, а тогда я думаю: Господи, лишь бы живой отсюда выбраться. Мне ж еще через лес пробираться до станции. Иду дальше, слышу голоса. А там гаражи у них стояли, и между ними местная наркота сидела, ширялась. А тут им такая добыча прямо в руки идет. Они бы и нормально-то одетую девушку не пропустили, а тут я с моим зонтиком. Ну, думаю, как-то надо проскочить. А пройти незамеченной невозможно. Я прошла такой тенью прямо у них перед носом. А сама им в это время внушаю мысленно: меня нет, меня нет. И опять, видимо, из-за моего состояния, мне удалось проскользнуть незаметно. Добегаю до станции, а там стоит парочка, женщина такая пожилая в платочке и молодой человек, видимо, сын ее. Они смотрят на меня и такое ощущение, будто все понимают. Я спрашиваю, когда будет следующий поезд. Они говорят: вы знаете, нам очень повезло, вообще после двенадцати поезда не ходят уже, но сегодня выходной и сообщили, что через десять минут пройдет дополнительная электричка. Я так обрадовалась, говорю: постерегите меня, я оденусь. Там была такая станционная пристройка, в которой билеты продают, но сейчас там никого не было. Я быстро оделась и не вылезаю до прихода электрички, думаю, сейчас, наверное, он придет следом. Но все так быстро произошло, что он, на-

верное, не сразу сообразил, и потом, наверное, знал, что поезда уже не ходят, думал, что никуда не денусь. Я уж себя не помнила, когда добралась до дома, а утром позвонила его сестра, но мама сказала, что меня нет дома. И эта сестра, представляешь, начала орать на мою маму, типа, что это у вас за дочка, мы к ней с доверием, а она ушла ночью, не сказавшись, и оставила выходную дверь настежь открытой, так потом к нам в квартиру забрели бездомные собаки и все привели в беспорядок, и дальше в таком духе. Но мама не стала с ними связываться, она просто выслушала и положила трубку. Но я теперь боюсь у родителей даже к телефону подходить. — Да, наши мужики — это нечто! Беда прямо с ними. — Да, ты понимаешь, ведь он мне до сих пор снится. Причем всегда в таких очень светлых снах. Я ничего не понимаю. — Ты не хочешь сейчас с ним снова увидеться? — Боже упаси! Ни за что! Вот пока я там живу, я поняла, что действительно все наши мужики с патологией. По минимуму хотя бы комплекс садо—мазо у них есть у каждого, а то и похлеще что-нибудь. Я тут ни одного нормального не видала. — А что ты понимаешь под нормальным? — Да, Господи, то же, что и все. Чтоб не получал удовольствия ни от своих мучений, ни от того, что бабу мучает. Чтобы получал кайф и умел углублять отношения с одной женщиной, а не бегал бы поверхностно за каждой юбкой. Ну чтоб был нормальный мужик, уважал бы женщину. Наши все такие закомплексованные, что на уважение не способны. — Среди наших тоже попадаютя порядочные. Когда там они такие комильфо, то еще неизвестно, насколько это их натура, а не навязанная роль. Просто у них считается, что ты должен соблюсти все реверансы по отношению к женщине, тогда ты о' кей, а у нас ты в порядке, если выказываешь презрение. Но

и то и другое может быть позой. Проверить искренность очень трудно. Вот со мной был однажды такой случай — я тогда жила еще в Питере, и приехала в Москву по делам, и познакомилась тут с одним известным художником, не будем называть имен. Мы с ним как-то гуляли по городу и проголодались, сунулись в один ресторан, который он знал как приличный, — закрыто; попробовали в другой — на ремонте, остальные кругом — сплошные забегаловки. Не знаешь, чем накормят, это было сразу постперестроечное время. Тут он предложил пойти в ресторан ЦДХ, мы были недалеко, и он все там знал. Но уже когда стали подниматься по лестнице, смотрю, он напрягся и так робко меня спрашивает: «Можно, если я встречу знакомых, я скажу им, что ты иностранная журналистка, интервью у меня пришла брать?» Я говорю: «Конечно, вообще можешь сказать, что я по-русски не говорю, интервью беру у тебя по-английски, мне не хочется ни с кем там разговаривать. Да и по-русски с акцентом я не смогу». Прикид у меня был в то время подходящий, я только из Франции вернулась. Он говорит: «А ты справишься?» — Не боись, отвечаю. Заходим, тут же к нему подваливают два мужика, приглашают за свой стол. Один тоже был художник, известный тем, что он большой бабник. Про него ходили слухи, которые он сам же распространял, что ни одна женщина перед ним устоять не может, и еще какой-то молодой человек. Ну этот бабник сразу: сю-сю-сю, что за девушка? Ну а мой художник ему отвечает, как договорились, что девушка норвежка (мало шансов, что кто-то знает у нас норвежский, да и внешне я канаю под Скандинавию) и по-нашему ни бум-бум. «Вы говорите по-английски, вот какая удача, молодой человек со мной — он искусствовед, перевел много книг по искусству с английско-

го. Спроси у нее, что она будет пить». До этого он, естественно, попытался у меня спросить по-русски, но я непонимающе разглядываю потолок. Ну, молодой человек спрашивает, я только раскрыла рот, чтоб сказать vodka, но вовремя вспомнила Францию и что приличные иностранки водку не пьют. Вино, — говорю. Молодой человек переводит: «Вино». Тот: «Как вино? У них в буфете нет вина». Искусствовед предложил: «Может, я сбегая, на улице куплю». Тот: «Козел, куда ты сбегашь. Уже все закрыто. И зачем ты у нее спросил, дали б ей просто водку, никуда б не делась. Может, еще раз спросишь?» Бедный все отнекивался, потом под давлением виновато снова спросил: «Значит, вам вино?» Я говорю: «Yes, — у него лицо вытягивается, и тут я милостливо, — от vodka». Он радостно: она согласилась пить водку. Идем за стол, тащат закуску, то-се, и тут этот художник опять моего спрашивает: «Ну точно журналистка? У тебя с ней ничего?» Мой: «Нет-нет, что ты!» Тот: «А зря, симпатичная» и тут же молодому человеку: «Смотри и учись, как я их беру. Вот увидишь, сегодня же ночью я буду ее трахать». А сам ни слова по-английски, и все, значит, молодому: переведи то, переведи се. Я, значит, очень сдержанно отвечаю, чем больше он распаляется, тем мрачнее я делаюсь. Наконец он взорвался: «Да это не женщина, это рыба, посмотри, какая она холодная!» Ах так, думаю, козел. Сейчас увидишь — и начинаю лучезарно улыбаться молодому. — А почему не своему художнику? — Так мы же его честь берегли. Мой, кстати, не выдержал, мне говорит на ухо: «Все, я больше не могу, я сейчас им раскрою, что ты русская». Я говорю: «И не вздумай, они тебя возненавидят после этого. Я вполне справляюсь». Он мне: «Ты уверена?» Я его заверила, что все в порядке. Тут молодой человек сам продолжает

со мной беседу, спрашивает, что из английской литературы у нас в Норвегии перевели, есть ли, к примеру, книги Воннегута. Я на всякий случай отвечаю, что нет. Он мне: «Ой, обязательно прочитайте», — я послушно записываю имя, тут этот козел рядом с ним не выдерживает: «Слушай, по-моему, она на тебя глаз положила!» И тут наш юноша, совершенно не предполагая, что я хоть что-то понимаю и несмотря на присутствие этого циника рядом, преспокойно отвечает: «Да я был бы счастлив, если бы такая девушка проявила ко мне хоть какой-то интерес!» Ах ты, лапочка, думаю, и еще шире улыбаюсь и задаю какой-то вопрос, якобы улыбка относилась к вопросу. Козел просто из себя чуть не выпрыгивает и, притворяясь, будто вовсе не задет, всем заявляет: «Этот парень — мой ученик», — к тому времени к нашему столику подседа прорва народа, — «это я его научил, как телок клеить», — и обращается к юноше: «Я тебя перестану уважать, если ты ее сегодня не трахнешь!» Я в это время с отсутствующим видом изучаю потолок, благоразумно зажав ладони коленями, чтоб не швырнуть ему в морду бутылку водки, — я же не понимаю, о чем он говорит. Юноша краснеет-бледнеет, тщетно пытается поменять тему, к счастью, моего художника в это время отвлекли разговорами, не то и он мог бутылкой заехать. Горе-донжуан тем временем продолжает: «У меня мама сейчас в санатории, вот тебе ключи от ее квартиры, поведешь ее сегодня туда, и не робей, действуй». Юноша продолжает героически вести со мной беседы на тему искусства, но этот придурок чуть ли не на каждом полуслове требует отчета: «Переведи, что ты ей сказал». Тут подваливает еще один, совсем престарелый бабник, из тех, знаешь, у которых глаза плавают в сперме и которые нагло раздевают взглядом, так, что тебе тут же видится, как ты пулеме-

том ему полбашки сносишь, и потом хочется под душ, смывать всю эту липкую мерзость, оставленную на тебе, как слизь от проползшей гусеницы. Он оказался художником из Парижа. Тут же поинтересовался, кто я, ему поспешили объяснить, что я по-русски не понимаю. «Как же, не понимает! Мат они все понимают. Вот я сейчас выmaterюсь, увидите, как она отреагирует». Я приготовилась не реагировать. Он выдал трехэтажный мат, но я выбрала уже трещинку на потолке, которую изучала с достойным научного исследователя пристрастием, и смогла не вздрогнуть. Там из всей огромной компании, не считая моего художника и юноши, был еще только один человек, который на меня с сочувствием поглядывал и периодически робко замечал: «Девушка, по-моему, скучает», — на что ему дружно отвечали, куда б я шла. Все остальные или потеряли ко мне всякий приличествующий интерес, поскольку я не понимала их языка, или требовали у юноши, чтоб он мне перевел всякую похабщину. Но пришла пора расходиться, чего я уже не чаяла, и тут придурок опять пристал к юноше: «Договорись с ней, что вы вечер вместе проведете». Тут мой художник встречается: «Я сегодня девушку провожаю». Тот опять за свое: «Спроси, чем она завтра занимается». Юноша спрашивает. «К сожалению, я сегодня ночным поездом уезжаю в Ленинград». Он переводит мой ответ. «Козел, возьми ее питерский телефон!» — «Могли бы вы мне дать ваш ленинградский телефон?» — «Да, конечно, только я послезавтра уезжаю поездом в Осло». Он переводит. — «Козел, спроси ее телефон в Осло». Тут старый пердун из Парижа сует мне бумажку и к юноше: «Переведи ей, что это мой парижский телефон, когда будет проездом, пусть заходит. И скажи, чтоб мне дала свой домашний!» Тот переводит. Я записываю какой-то телефон от

фонаря. Он спрашивает, мне не дадите тоже. Пришлось и ему сунуть этот липовый номер. Они все вышли, остались мы с моим художником, у меня нервы на пределе, начинаем мы с ним выяснять отношения. Тут юноша возвращается и робко останавливается в отдалении. Художник спрашивает, в чем дело, он отвечает, что, кажется, забыл портфель тут. Я приподнимаюсь, заглядываю на соседние сиденья. Потом под стул и говорю: «Никакого портфеля тут нет». Юноша смотрит на меня с выражением дикого ужаса на лице, потом пятясь выходит. Я сначала в недоумении, потом до меня доходит, что ответила я ему на чистом русском. Может, он придумал портфель как причину, чтоб о чем-то договориться, может, тот козел ему подсказал, но мне было ужасно жаль, что я его так обломала, он этого не заслуживал. Вам надо было видеть выражение его лица. До сих пор не забуду, мне так стыдно. — Ну, если подумать, ничего такого ужасного для него не произошло. Он-то был на высоте положения. Вот если он передал остальным идиотам, что ты понимала по-русски, вот пусть они и ужасаются. Хотя с таких как с гуся вода. — Не знаю, мне его почему-то жалко. Я думаю, что так могла его обломать, что он потерял бы светлое отношение к женщине, стал бы таким же циником, как они. Да, а потом мы с моим художником пошли в валютный бар, посидели, а при следующей встрече он мне говорит: «Знаешь, я был удивлен и восхищен тобой в последний раз. И знаешь, что меня больше всего в тебе восхитило?» — «Что я оказалась такой хорошей актрисой». — «Нет. Что в баре ты умудрилась в одиночку в течение часа выкурить целую пачку сигарет». — А что ты все время почесываешься, у тебя нейродермит? — Типун тебе на язык! Меня что-то укусило, хотя я совершенно не представляю, что это мо-

жет быть посреди зимы. — Может, блохи? — У нас блох нет. — Не трогай, пройдет. У меня тоже как-то было, вначале один маленький прыщик выскочил на руке, а через пару недель вся спина покрылась такими прыщиками. Я пошла к своей врачихе, она как заверещит: «Это ты из Азии привезла!» Сама же перед поездкой сделала мне все прививки, которые полагаются, и все страшила поездкой. Я спрашиваю, что же это может быть, она говорит: «Это такие подкожные черви, тебе надо немедленно их лазером, иначе они проникнут в кровь и будут там жить, и ничем их не выведешь. Можешь пойти в кожный институт провериться. И если я ошибаюсь в диагнозе, плюнь мне в глаза». Я всю ночь прорыдала, утром съездила в этот институт, а они мне говорят: «У вас какое-то воспаление», дали мазь, я ею помазалась, через недельку все прошло. — Господи, чего только не бывает! — А меня как-то в детстве ежик укусил! У моего брата было два ежика, они просто в доме жили, ежиха была агрессивная, все фыркала, я ее не любила, а еж был такой покладистый, поджимал иголки, чтоб его удобнее было гладить. Но однажды он от чего-то взбесился, и когда я хотела его погладить, подпрыгнул так смешно и вцепился зубами мне в мякоть ладони. Я трясла руку, чтоб он отвалился, но он прочно ухватился и повис. Он оказался таким длинным, когда висел, чуть ли не от моего пояса до пола, и лапки торчат в разные стороны. — И чем все кончилось? — Ну, в результате он разжал свои челюсти, я была ранена в кровь, но не так, чтоб очень страшно. — Это что! А меня как-то бегемот укусил. — Ну ладно, брось трепаться! — Кроме шуток. — Да, правда, я тоже слышала об этой истории, мне твой друг рассказывал, который с тобой был. — Вот видите! У меня даже бумажка есть, на которой черным по белому написан

диагноз: «укус гиппопотама». — Но это же невозможно! Где это произошло? — В Кении. Там у меня подружка в это время работала, я и решил ее поведать. Вернее, она меня позвала в гости, а я заодно друга прихватил с собой. Того самого, который рассказывал. Ну, раз он уже все рассказывал, я не буду повторяться. — Нет уж, все остальные ничего не слышали, и все это так невероятно, что ты должен убедить своим рассказом. — Я свидетель. — Подожди, пусть сам расскажет. — Ха, вот народ! Я вам могу предъявить справку, подписанную, между прочим, не русской врачом, чтоб можно было решить, что она подкуплена, а австралийской. — Короче, дело было так: когда мы приехали к его подружке в Найроби, то оказалось, что она сама живет пока у знакомой, у которой был двухэтажный дом с садом, но которая не любила тусовок, поэтому нас поместили в гостиницу. — Да, а дом был обнесен высоким забором с колючей проволокой. А у входа стояла будка, как у посольства в Москве, и в ней сидел охранник с Калашниковым. У других домов и гостиниц стояли охранники из какого-то дебильного низкорослого племени с деревянными дубинками. Но поскольку нас в этот дом не пустили, мы решили посмотреть страну, чем торчать в гостинице. На выходные мы взяли подружкин джип и поехали к озеру Наиваша в ста километрах к северу от Найроби. Там отличный автобан и везде по дороге стоят турбазы. Мы остановились в последнем кемпинге у озера и пошли осматривать окрестности, и тут же стали наткаться на свободно разгуливающих антилоп, зебр и жирафов. Больше всего мы хотели увидеть бегемотов, но их не было. Мы вернулись в лагерь, порасспросили, там стояла очень приятная семья австрийцев из Кейптауна, они нам объяснили, что днем бегемоты скрыты под

водой и их не видно, но они выходят гулять в десять вечера и возвращаются в озеро в шесть утра. Мы решили поспать, потому что было темно, а утром пораньше встать и посмотреть на них. Нас предупредили, что бегемоты очень опасны и что к ним нельзя близко подходить. Вокруг лагеря был вырыт ров, метр на метр в глубину и в ширину, а у входа в лагерь стояло ограждение. Утром я проснулся часов в пять, вышел к озеру, смотрю — бегемот пасется себе мирно. Побежал будить его, но, пока он встал и мы вернулись на место, бегемота и след простыл. Мы бродили в его поисках, разочарованные вернулись в кемпинг, глядь — а он пасется между палаток. — Видимо, кто-то снял загородку. — Я пошел к бегемоту с видеокамерой. Сначала я предложил ему, что стану рядом с бегемотом, а он нас снимет... — Но я испугался. — Ну и я пошел ему навстречу один с камерой. Приближаюсь себе, снимаю спокойненько, он в мою сторону даже не смотрит, и вдруг, когда я был метрах в десяти от него, он развернулся и вроде бы подпрыгнул, то есть он не подпрыгивал, но расстояние моментально сократилось вдвое, если вы понимаете, что я хочу сказать. И раскрыл пасть. Я выронил камеру и кинулся бежать. В Индии как-то меня учили, что от слона можно спастись, бегая от него вокруг дерева. Я не знаю, как за одну секунду я это вспомнил, а также припомнил, что в отдалении за спиной стоит дерево, но я со всех сил поскакал к этому дереву. Я хоть и был в шлепанцах, но я человек тренированный и в форме, по утрам регулярно бегаю, поэтому бегу и думаю, что, наверное, смешно смотрюсь со стороны, бегемот наверняка давно отстал от меня, куда там этой неповоротливой туше, а я мчусь как придурок, и все надо мной ржут со стороны. Оглянулся на бегу — а бегемот уже почти рядом со мной, при-

чем он не бежит, а сокращает расстояние такими чудовищно огромными прыжками, и то разевает, то прикрывает пасть, прямо такие замедленные съемки, как в мультике «Том и Джерри». Понимаете, говорили: »зверь, зверь», но я уж и забыл, что это слово значит. Я все последние годы живу по европам, а там звери все дрессированные, ходят на поводочке, собаки даже тявкать разучились. В общем, срам один, а не звери. А тут такое. Мне не нужно было поворачиваться, но тут я то ли поскользнулся, то ли от ужаса упал. — Да, со стороны это был кошмар настоящий. Я видел, как он бежал, как будто семенил, весь такой маленький, а огромный черный бегемот в несколько прыжков нагнал его. А потом он упал, и я решил, что это все. — А ты что делал в эту минуту? — Я побежал к турбазе за помощью. И вообще есть такой закон, когда от кого-то убегаешь, нужно бежать в рассыпную, тогда он приходит в замешательство, которым можно воспользоваться. — Я упал на спину, и увидел, как бегемот пролетел надо мной, видимо по инерции, прямо надо мной пролетели, почти касаясь, его яйца, два таких пожухлых кожаных мешка. — Когда твой приятель мне раньше рассказывал эту историю, он сказал, что бегемот был самкой, что ты увидел, как над тобой пронеслись титьки, я это еще хорошо запомнила, потому что меня впечатлило. — Нет, это совершенно определенно были мужские причиндалы, уж я не спутаю титьки с яйцами, даже в стрессовой ситуации. — Так кто же из вас прав? — В конце концов, бегемот пролетал надо мной, а не над ним! — А в остальном их рассказ сходится? — Вроде да. — Осталось еще только спросить бегемота. — Ну и что потом? — Я не знаю, я лежал в прострации. — Бегемот пролетел над ним и пошел дальше, потеряв к нему всякий интерес. Я побежал в лагерь в поисках

медицинской помощи, а когда вернулся, увидел, что он таки доковылял до дерева и лежит под ним без сознания. Он уверяет, что был в полном сознании, но потом к нему подошел негр, смотритель кемпинга, и загипнотизировал его взглядом. — Да, он подошел ко мне, молча посмотрел, неподвижно сверкая белками, и я почувствовал, как он из меня душу вынимает, и потом очнулся, когда подоспела помощь. Не знаю, сколько времени прошло. — Минуты четыре, самое большее. — Нас предупреждали, что это племя маасаи — охотники за душами. — Но у него душа в это время ушла в пятки, так что нелегко было ее достать. Не то он был бы сейчас зомби. — Вам все хиханьки да хаханьки, вас бы на его место. — Ну и когда же он тебя успел тяпнуть? Сзади, что ли? — У него кровоточила нога. К счастью, в лагере наплась врачиха-австралийка, специалист именно по ранам ноги. Она и написала ему диагноз. Потом, когда мы доехали до города и сделали рентген, оказалось, что у него сломано ребро и два пальца ноги. Бегемот не укусил его, а мягко наступил. — А что было дальше с бегемотом? — Он пасся еще пару часов на территории лагеря, пока его не прогнала маленькая собачка. Она принадлежала неграм из администрации кемпинга. — Ну вы дасте! — Это еще что! А меня зато как-то укусила одна лесбиянка. — Как это тебе удалось? Ты вроде даже отдаленно не напоминаешь женщину. Правда, встречаются порой бородатые женщины, но у них хоть что-то другое бывает женским. — А это совершенно сумасшедшая лесбиянка. И очень богатая. Любит экстравагантничать, и денег у нее достаточно, чтобы удовлетворять свои прихоти. Но она еще и умеет их делать. У нее в Нью-Йорке своя галерея, и она устраивает там всякие, как это сказать по-русски? — выставки-шоу. — Ты уже и русский забыл? — Мне мало приходится на

нем разговаривать, душа моя! Так я помню, но отдельные слова выпадают. Так вот, к примеру, она однажды объявила, что у нее в галерее будет роскошный ужин, с трюфелями, фазанами, с лучшим шампанским, и вход будет стоить только сто фунтов стерлингов — почему-то именно эту денежную единицу она выбрала. Созвала весь свет города, и пришло очень много людей — за такой ужин это небольшая плата, особенно в таком обществе. Собралось человек сто, всех рассадили не за столы, а в ряд, на стулья как в кинотеатре, полукругом расположенные. Все сидят, ждут. А на подиуме стоит небольшой столик. Через полчаса полуобнаженные юноши в галстуках-бабочках действительно накрыли стол всякими роскошествами, тут вышла она из-за занавеси с двумя своими подружками, они втроем не торопясь поужинали, демонстрируя прекрасные манеры, затем она встала и объявила, что шоу закончилось. И никто не смог придрасться, в приглашении было сказано, что будет шоу с ужином, а кто будет ужинать, не указывалось. Так что даже дотошные нью-йоркские адвокаты ничего не смогли поделать. — А как же ты удостоился такой чести быть укушенным такой особой? — О, это отдельная история. Я был на вернисаже в ее галерее, это были не мои картины, но все же, когда я прощался, она подошла ко мне и стала расхваливать меня как художника и под завязку попросила дать ей поцеловать мою руку, чтобы она смогла доказать, что ей чужды предрассудки касательно мужского полу, особенно если его представители талантливы, как я. Мне ничего не оставалось, как протянуть руку, по натуре я джентльмен, к тому же слишком хорошо воспитан мамой, чтобы смочь отказать женщине, даже если она закоренелая лесбиянка и ходит в мужских костюмах. Она поднесла мою руку к губам и вдруг вместо поцелуя сильно уку-

сила, прямо до крови, затем демонически расхохоталась и высокомерно удалилась. Я потом ходил ко многим врачам, и, когда я объяснял, какого рода укус, они смеялись, в точности как вы сейчас, и только один доктор серьезно отнесся, он оказался очень компетентным специалистом. Он объяснил мне, что человеческий укус самый опасный, потому что у человека ровные зубы, в отличие от животных, у которых точечный укус: ранения, оставляемые только клыками. Человеческий же укус повреждает практически всю поверхность, и это может привести к серьезным последствиям, особенно если пострадал такой орган, как кисть руки, на которой сходятся столько сухожилий и нервов, важных для деятельности, особенно у нас, художников. — Ну и как у тебя с рукой? Какая была рука, правая? — Естественно, само собой разумеется, — для поцелуев нужно протягивать правую руку, это всем известно. Но к счастью, к счастью — раны оказались поверхностными, несмотря на то что было много крови. Важные связки не были задеты. — Да, победа за тобой. Своим укусом ты всех переплюнул. Или, может, не все еще высказались? Были у кого-нибудь еще случаи укушения? Соблюдайте очередь, заявки прошу подавать в письменном виде. — Слушай, расскажи еще про Африку, если ты запомнил еще что-нибудь, кроме бегемота. Меня этот континент завораживает. Когда я стану совсем большая, я уеду туда жить. У них такие потрясающие сказки. У них такие странные представления о мире, как будто они инопланетяне. — Не ходите, дети, в Африку гулять! — Ты был только в Кении? — Нет, мне довелось еще по делу побывать в Нигерии, и я совершенно серьезно не советую тебе ехать в Африку одной, без сопровождения. Еще лучше, если у тебя, кроме сопровождающих атлетических мужчин, будет гид из местных, которого

вы хорошо знаете и которому доверяете. Есть там, конечно, относительно безобидные страны, вроде Туниса или Марокко, окультуренные европейцами, но это тоже, я считаю, до поры до времени, до ближайшей революции. — А что за дела завели тебя в Нигерию? Расскажи! — Дела обычные, абсолютно не романтические. Тут я в Москве познакомился в студенческие годы с одним нигерийцем, а потом мы встретились в Европе. Он сказал, что его дядя торгует лесом, а у меня был клиент в одной из стран, который был в этом заинтересован. Клиента цены устраивали, но он мне сказал, что я должен лично присутствовать при загрузке контейнеров и наблюдать за этим. Он оплатил мне дорогу, я и полетел. Я пробовал дозвониться из Европы до этого нигерийца, сказать, что прилетаю и сообщить рейс, но со связью было глухо, так и не удалось прозвониться. — А этот нигериец наш ровесник? — Чуть постарше, но сорочковник еще не разменял. А что? — Да так просто. — Ну вот, прилетел я туда. Уже в аэропорту меня начали раскручивать, но я не понимал этого. Я сдал паспорт офицеру на контроле, она меня спрашивает: «Что вы мне еще дадите?» А я не понимаю, спрашиваю: «А что еще надо?» Тут она стала выпрашивать, к кому я еду, адрес его, встречают ли меня. Я ответил, что встречаются. Она опять спросила: «Что вы мне еще дадите?» Я опять не понял, поскольку не ожидал такого. А у них все, как у нас в совке, с этим делом обстояло. Я говорю: «Я дал вам паспорт», она: «Что же еще?» — «А что надо?» Такой тупой разговор у нас состоялся. Тут она сделала знак, ко мне подошел сержант, отвел в свою дежурку, формальности, мол, нужно соблюсти. А там еще три таких же, как он, две испуганные немки и несколько негров из других стран, которые пытались нелегально пересечь границу. В общем, такой типич-

ный ментовский отстойник. Он меня тоже спрашивает: «Что вы мне дадите?» А они еще и говорили на таком ужасном афро-английском, что я думал, что не совсем понимаю, чего они от меня хотят. Тут немок отпустили, им повезло больше, а я никак не мог предоставить встречающего. Тут до меня наконец дошел смысл вопроса. А я обычно в такие страны беру с собой валюту со многим количеством нулей; рубли, злотые, драхмы, итальянские лиры, — на случай взяток. Я начал с рублей. Протягиваю тысячу рублей, спрашиваю, устроят ли его деньги нашей страны. Он отмахивается, говорит, что не знает этих денег. Я достаю злотые, он опять отказывается. Потом я попытался всучить ему лиры, но он опять не принял. Наконец, я достал десять марок, сказал, что больше у меня ничего нет, и он этим удовлетворился. Потом я перешел к таможеннице. Снова: «А что вы мне дадите?» Тогда я показал на сержанта, мол, все, что надо было, я уже там оставил. Но этой девице, кстати, надо было дать, потому что она меня спасла. Она меня категорически предупредила: «Если вас никто не встречает, ни с кем не езжайте». А я привык в странах «третьего мира», если тебя не встречают, берешь такси, говоришь адрес, и тебя довозят куда надо. Этот аэропорт у них был интернациональный, но телефона там не было. Как выяснилось, ближайший телефон в другом аэропорту, до которого можно доехать только на такси. Тут я увидел черных, которые облепили стеклянную загородку аэропорта, как аквариум, сплющенные носы, глаза такие, — в общем, мне стало жутко. Я решил действительно ни с кем не ехать и дожждаться утра. Там у них были деревянные скамейки, я решил на них улечься, положил рюкзак под голову. Тут ко мне подходит снова сержант и говорит: «Раз тебя никто не встречает, оставаться тут очень опасно.

Сейчас через двадцать минут будет последний самолет из Европы, ты на нем полетишь обратно». А время уже десять вечера. Я ему объясняю, что я не могу обратно, что меня обязательно встретят. Он говорит: «Я тебя не выпущу. Тогда ты со мной поедешь в свое консульство, и только через твоего консула я отпущу тебя в город». Я сел размышлять и уснул. И вдруг среди ночи меня будит человек и говорит, что он за мной приехал. С виду он такой приличный, в сорокаградусную жару в костюме, белоснежной рубашке, галстук. Он называет имя моего друга, адрес, говорит, что тот не смог приехать и послал вместо себя его. В принципе, был шанс, что мой друг знал, что я прилетаю этим рейсом, когда я понял, что с его телефонной линией засада, я дозвонился до его брата в Лондон и попросил как-нибудь передать. Может, брату и удалось прорваться. Я спросил, почему мой друг не смог приехать, он стал подробно объяснять, вдаваться в нюансы, которые вроде бы должны были убедить меня, а на само деле почему-то напрягли. Тут он сказал, что нас «мерседес» ждет, а я как раз отправлял туда «мерсы» на продажу через этого друга, так что все было похоже на правду, вроде зацепиться не за что, а я тяну время, чувствую, что-то не так. Видимо, сработала школа советского стрема, я пытался понять причину моего беспокойства. Тут чиновники начали на тех же лавках укладываться спать. Я ухватился как за соломинку и говорю: «Я не могу, к сожалению, с вами поехать, вон тот сержант мне запретил, он сказал, что я выйду из аэропорта только через мое консульство». Он прошел к сержанту через загородку, долго с ним разбирался, я заметил, что по пути он поздоровался с разными служителями как знакомый. Сержант его долго динамил, потом раскололся. Этот заплатил ему что-то и сержант вынужден был под-

писать какую-то бумагу. Чувак вернулся ко мне и говорит: «Все в порядке, поехали». Я опять начал тянуть, мне было ужасно неудобно, потому что по пути он сунул деньги еще каким-то солдатам, но я стремался. Он мне: «Ну что ты ломаешься, как девочка» и попытался надавить на меня, и это меня убедило. Я наотрез отказался ехать. Он разозлился, но ему больше ничего не оставалось, как уйти. Я вернулся на свою лавку, и человек, который рядом со мной сидел, говорит: «Правильно сделал, что не пошел с ним». Почему, — спрашиваю. «А это плохой человек». — «Что ж ты мне раньше не сказал?» — «А что я буду вмешиваться не в свои дела?» — А что ему могло от тебя понадобиться? — Ну я тоже думал, у меня с собой от силы было долларов шестьсот, какая-то недорогая камера и шмотки, совершенно непригодные. Но мне потом объяснили, что они киднеппингом занимаются с бесхозными туристами. По их понятиям, если ты потратил столько денег на билет, значит, ты богатый человек. Им без разницы, откуда ты приехал, из Америки или России, если ты не заплатишь, заплатят твои родственники. Потом они еще охотятся за органами для трансплантации. — Ну, для России этот бизнес уже тоже не экзотика. — Я, значит, оказался в засаде — ни уехать, ни позвонить. Спасало только то, что хоть вся контора эта была коррумпирована, но явно существовало несколько конкурирующих группировок, и они не могли друг перед другом откровенно что-то делать со мной, и я остался сидеть на своей скамейке. И, по большому счету ни на что не надеясь, я попросил своего соседа, который одобрил мое поведение по отношению к «плохому человеку», чтобы, когда он поедет в город, то позвонил бы моему другу, сказал, что я приехал. Я сказал, что тот очень хорошо ему за это заплатит. Сосед ушел, а я остался

сидеть, сна уже, конечно, ни в одном глазу. Сижу, думаю. Утром, в седьмом часу, прибегает мой компаньон, в майке, трусах и шлепанцах на босу ногу, таким, каким его с постели подняли. «Поехали, — говорит. — Хорошо, что ты один в город не вышел». Только мы хотели уйти, сержант перекрывает нам дорогу: «Выпущу только через консульство». Я говорю: «Вы же только что разрешали мне уйти с тем человеком». Тут он устраивает театр. Он был тоже в футболке и шортах. Заводит нас в свою загородку, отлучается на пять минут, потом заходит в костюме с белоснежной рубашкой, с галстуком, принимает очень официальный вид и как бы очень озабоченно начинает утверждать, что так просто он меня не может выпустить, в городе так опасно и так далее, потом обращается ко мне с вопросом, хорошо ли я разбираюсь в неграх, или они все для меня на одно лицо, как для многих европейцев. Уверен ли я, что это именно мой компаньон, а не другой человек. Мы достаем фотографии, на которых мы вместе, — ничего не помогает. Мой друг уезжает, через полчаса появляется тоже в костюме с галстуком, театр продолжается, но сержант не сдается. Мы все втроем садимся в «мерс» моего друга и едем в наше консульство. Звоним в дверь, выходит консул, весь заспанный, сержант ему по-английски все объясняет, а он все равно ничего не понимает. Наконец он меня спрашивает: «Что он от меня хочет?» Я говорю: «Поставь на что-нибудь свою печать». На что мне поставить, — спрашивает. Я говорю: «Возьми мой паспорт, сделай две копии и поставь на них печать». — «Ты думаешь, ему будет достаточно этого?» — «Вполне». Он так и сделал, сержант оказался доволен, как слон, на этом и расстались. По-моему, ему просто скучно было в конторе сидеть, решил прогуляться с утра за наш счет. Мой друг

сунул ему еще какие-то деньги, на что я очень разозлился, но он сказал, что так надо, чтоб я мог и впредь приезжать. — Ну и какво делать бизнес с нигерийцами? — Они от нас недалеко уехали в этом смысле, хотя дороги у них значительно лучше, порядка на два, но это заслуга немцев, они там все строили. А так выяснилось, что еще ничего не готово. Хотя я их когда еще предупреждал, что приеду. У меня обратный билет был через неделю, а одного только разрешения на загрузку контейнера надо было ждать две недели. А им казалось, что я такой дурачок, ничего не понимаю: «Чего ты ждешь, посылай телеграмму, пусть покупатель приедет». — «Вы понимаете, что у него мало времени? Он приедет на несколько дней, а еще ничего не готово. Он развернется и уедет, и это будет его последним общим со мной делом». Я понял, что с ними каши не сварить и решил поразмяться до отъезда. Но там особенно меня одного никуда не выпускали. Только один раз, искупавшись в море, я один направился в джунгли погулять, хотя меня предупреждали, что нельзя, там «плохие люди». Но я все же пошел. «Плохих людей» не встретил, но когда вернулся опять на берег, смотрю — утопленник лежит. Я кинулся искать людей, всем объясняю, в чем дело, но они как-то очень индифферентно к этому отнеслись. В общем, я не очень расстроился, когда мне через неделю пришлось уехать. — А в других африканских странах не бывал? — Нет. Я если ездю сам, без дела, то выбираю страны не просто так. Я выбираю высокодуховные места. — Это какие? — Ну, Непал, например. Я там уже раз десять побывал и еще поеду. — Там, где живут не палки и не пальцы. — Тоже мне высокодуховное место. Он уже давно превратился в филиал Дисней ленда. Оттуда ж Ричард Гир не вылезит. — И БэГэ за уши оттуда не оттащить. —

Ой, не надо, меня сейчас стошнит! Как они все в интервью тащатся от себя: «Я вчера давал аудиенцию Далай-ламе...», «Мой персональный лама как-то сказал мне...» и прочая дребедень. Сделали религию предметом попсы. Сколько ГэБэ скоммуниздил чужих текстов и мелодий, пользуясь всеобщей тотальной безграмотностью. — Ну, раз они это хавали, значит, туда им и дорога. — Да у них и выбора-то не было, у тогдашней интеллигенции: или ГэБэ со своим плагиатом, или Окуджава со своими пошлостями: «А как третья любовь — ключ дрожит в замке, чемодан в руке». — Ага, «Он любит не тебя, опомнись, Бог с тобою, прижмись ко мне плечом, прижмись ко мне плечом». — Слушайте, хватит, мне сейчас плохо будет. — Каждое поколение заслуживает своих кумиров. — Ну что вы так жестоко. У них еще Высоцкий был, и битлов они слушали. — Еще у них были «АББА» и «Бони М». — А также Зыкина и Пугачева. — Ну эти хоть умели бить по нижним чакрам. А если взять нынешнюю официальную эстраду, с той же Пугачевой, то есть уже с другой, — то бьют они только по нервам. И еще неизвестно, что наши дети будут говорить про наших кумиров. — По мне, так лучше вовсе детей не рожать. Они связывают по рукам и ногам, всю жизнь не даютдохнуть, ради их мнимого благополучия жертвуешь редкими своими шансами, а когда они уже выросли и ты совсем без сил, они пинают тебя под зад: «Пошел на улицу, старый дурак, что ты понимаешь в жизни!» — Не свою ли биографию ты рассказываешь? Больно уж прочувствованно. — Тут и не требуется большого воображения, чтоб прочувствовать. Оглянись — кто из великих не был одиночкой? Ну на крайняк они вынуждены были бросать семьи, если сдуру по молодости обзавелись ими, как Гоген, но в основном все были

одиночки. С семьей на шее не пропутешествуешь как душе угодно и не оторвешься так, чтоб стоящую картину написать. Только и остается, чтоб продаваться направо и налево, были бы покупатели. — То есть женщины и дети препятствуют полноценной жизни и творчеству? — Не надо мне сексизм приписывать, своих грехов хватает. То же самое относится и к теткам. У всех великих теток прошлого если и были мужья, то чисто номинальные, поскольку раньше без них было не обойтись, ну еще и как источник материальных средств. Блаватская, Дэвид-Ноэль — все они покинули мужей через несколько месяцев после брака, с тем чтобы никогда больше с ними не увидеться и в дальнейшем только вытягивать из них бабки для своих путешествий. Да еще надо выяснить, насколько эти мужья соответствовали своему званию. Блаватская в письме к одному русскому генералу грозилась предоставить при личной встрече вещественные доказательства своей непорочности, подчеркивая, что именно ему окажет эту честь в знак глубокого к нему уважения. Когда она писала это письмо, ей было уже за сороковник, а замуж она вышла чуть ли не шестнадцати лет. — Чего ж она тогда выходила? — Это она тоже объясняет: у мосье Блаватского была лучшая в окрестностях библиотека, а тогда, сами понимаете, незамужней девушке не приличествовало ходить к холостому мужчине читать книги, да и замужней за другим тоже. — Не знаю, из всех этих дам наиболее заслуживающей доверие мне кажется Дэвид-Ноэль. У нее были действительно серьезные исследования. — Блаватской трудно верить — многие из ее утверждений так просто не проверишь. — А как же все эти наши русские женщины, которые в начале этого века переженились на многих европейцах и из каждого сделали по мировому имени? — Так у них

инного выхода не было! Они же видели, как до них поносили и обливали грязью Блаватскую и компанию. Или полностью вкладываешься в мужа и через него реализуешься, или тебя обзывают шлюхой и всю жизнь ты терпишь лишения. — Женщины вообще стойкий народ. И живучий — в хорошем смысле этого слова. Я сейчас регулярно езжу в Чернобыль — раз в три месяца... — Зачем? — Ну как сказать... Если это риторический вопрос, то проедем. — Я искренне — тебе делать больше нечего? — Хорошо, раз искренне, — отвечу. Мне просто как-то в один прекрасный момент осточертела эта жизнь. Сам знаешь, у меня года три назад были вернисажи в Европе, и вроде я там успешно продавался, пару картин даже один японец приобрел — какие еще знаки признания нужны художнику. А мне, понимаешь, вся эта долбаная жизнь не в радость. Ну, думаю, нарисую еще сто картин, еще три японца купят, поживу еще в десятке пятизвездочных отелей, куплю еще пять костюмов от «Версаче» и сто пар ботинок «Прада», а дальше что? Выпью еще тысячу бутылок лучшего шампанского, обмажусь с ног до головы черной икрой, будет у меня еще сто девок, и все — модели, когда есть деньги, чего не купишь! Но дальше-то что? Вы не чувствуете, что этот мир провонял до основания? Что его давно пора взорвать к чертовой матери? Что все покупается и продается! Никому нет дела до другого. Вот ты говоришь, что у тебя вопрос не риторический, а я-то знаю, что спросил, чтоб только языком почесать. А сейчас не знаешь, куда глаза отвести. Ты же не ожидал, что я стану так обстоятельно отвечать. Какой кошмар! — у него есть эмоции! И он даже не старается их скрывать! Да он просто болен — его надо изолировать от общества. В наш век демонстрировать чувства — признак плебейства или дебилизма, или

душевной болезни. Как же — все такие cool, Аль Па-чино и Шварценеггер в одном лице, только еще и умные, если нам покажется, что мы проявили излишек чувств, то тут же и сами моментально обосрем его, пока другие не успели. — Ой, как я вас понимаю! Я помню, у меня то же самое было в Париже. Я поехала туда с деньгами приличными, заработанными тяжелым трудом, думала наконец-то воспользоваться заслуженным отдыхом. Денег было столько, что я себе ни в чем не отказывала. Поверите, я скупилась все Шанс-Элизе, вот просто гуляла, разглядывала витрины, как что приглянулось — тут же не раздумывая брала. И квартира у нас была такая шикарная в престижном районе. И вот я как-то пережила в точности то же самое, что и вы, если понимаете, что я имею в виду. Я тоже через это проходила. Подождите, как же это было? А! помню как сейчас — у меня был такой шкаф-стенка — во всю стену в коридоре, и что же я такое делала? — помню — как раз пыль с телефона вытирала на кухне и взгляд мой попал на этот шкаф, а там внутри висели мои платья все по цвету — от темно-красного до розового, от синего до голубого — я их так по оттенкам расположила, смотрю и думаю — и зачем мне все это надо? — я не хожу на парти, на которые могла бы их надеть, меня не приглашают, ни подруги у меня нет, перед которой я могла бы покрасоваться, и тут только я поняла — не нужен мне этот Париж, собрала чемоданы и вернулась обратно. — Сестренка, ну о чем ты таком говоришь? Вот и живи после этого среди таких людей! Но я эстет, красивых способов самоубийства практически не существует — ни броситься вниз с высоты, ни отравиться, ни утопиться я не могу себе позволить. — Можно еще забраться в горячую ванну и вскрыть вены. Тогда вполне приличный вид бывает. — А кровиза? Нет, это не

для меня. Я решил съездить в Чернобыль, а затем медленно угасать от лучевой болезни. От нее люди довольно сносно выглядят, только чуть бледнее против обычного. — Это ты так думаешь. У них волосы выпадают, и опухоли всякие на видных местах возникают. — Ну теперь-то мне уже по фиг. Дело сделано, и я знаю, что когда-нибудь умру, в точности как и вы, только разница в том, что вы об этом как бы не знаете. Хотя вот она — погибла раньше меня без всяких там чернобылей. Зуб даю — для нее это было полнейшей неожиданностью. А я могу хоть сейчас помереть — и не удивлюсь этому — я готов. И вы не удивитесь после того, как я вам про Чернобыль рассказал. Хотя ни для кого не секрет, что человек смертен, но мы думаем, что это касается кого угодно, только не нас и не наших близких. — Кто это из великих сказал: «То, что человек смертен, это еще полбеды, плохо, что он иногда внезапно смертен»? — Не знаю, кто сказал, но это полнейшая чушь. Покажите мне человека, который не внезапно смертен. Даже для самоубийц их смерть наступает внезапно. Вот только, может, эти азиатские мистики, о которых вы давеча рассказывали, приходят к смерти сознательно. — Я думаю, что она тоже это сделала полусознательно. Я не хочу сказать, что это было самоубийство, но в принципе, ей давно уже было наплевать, на каком она свете находится. Я хочу сказать, что она уже с год как не различала, на том она свете или на этом.— Я понимаю, о чем ты хочешь сказать, — другими словами, она была сломленным человеком. — Что вы такое городите, девчонки? С чего ей быть сломленной? Посмотрите, как она жила — и машина, и отдельная квартира, и полный комплект родителей, и здоровье, и красота. Чего еще человеку надо? И друган у нее симпатичный. Я, правда, неблиз-

ко его знаю, но сразу видно — наш человек — не алкаш какой-нибудь, и с мозгами вроде полный ажур, и, я слышал, вроде он при деле. Или он, может, извращенец какой? Или он ее поколачивал? — Ну вот какой ты грубый! При чем тут это? Просто некоторые люди устроены тоньше, чем ты. У них нет такого панциря, просто сама жизнь их ранит. — Вот тут ты пургу порешь. Я так скажу — я тоже был такой ранимый, футы ну-ты — не притронься, пока не съездил в Чернобыль. Поначалу мне было просто интересно — думаю, все равно помирать, так посмотрю места, которые для других опасны, — что там делается. Может, и ничего, но все равно интересней, чем когда многие едут в Калифорнию или Швейцарию помирать — вот уж где со скуки подохнуть можно. Приезжаю туда — действительно, красотища. Там загороженная опасная зона, куда нога человека уже лет восемь не ступала. Леса вновь стали почти девственными, прямо джунгли такие. Все растения так разрослись, может быть, от облучения — простой подорожник был мне по пояс. А наши северные деревья разрослись, как лианы. Мне приходилось палкой пробивать себе путь. Кругом — ни души. Я голышом в речке купался, рыбу ловил. Рыба так разленилась и разъелась, что я ее голыми руками брал. В лесу малина, земляника — величиной с картошку. Дикие коровы по лесу бегают. Видал и двухголового теленка. Потом неделю в себя не мог прийти от потрясения. Но это ладно, но лягушки там — полный атас. Ничего омерзительнее чернобыльских лягушек природа еще не выдумывала. Это я вам как художник ручаюсь. — При чем тут природа, это человек. — Человек, конечно, помог посылно, я не спорю, но я что-то еще не видел, чтоб человек самостоятельно сотворил хотя бы самого малого микроба. Природа показала, что бывает, когда мы

вмешиваемся в творчество, и я вам скажу — это было сильно. Зрелище не для слабонервных. Это такие твари размером с откормленного кролика, такого минус-цвета. Полное отсутствие цвета, если вы можете такое представить. Я пытался определить оттенок, но они покрыты густым слоем дурно пахнущей слизи, которая преломляет свет так, что возникает иллюзия пустоты. Мы же привыкли, что все отражает свет, а эти лягушки его поглощают. Их как бы нет, если бы не запах и еще огромные черные опухоли, разбросанные по телу. Они неподвижно сидят на месте и издают могильное кваканье. Я пробовал их писать, но не мог довести до конца, я весь покрывался потом, до дрожи в руках, по-моему, они меня гипнотизировали взглядом. А по памяти ничего не выходило, вот если кто придумает, как передать это отсутствие цвета, то озолотится. Это искусство будущего. Скоро и люди такие появятся — ходячие черные дыры. Но это был не последний сюрприз, меня там ожидающий. Когда я пробрался через лес к брошенным деревушкам, я увидел, что над некоторыми домами клубится струйка дыма, хотя вся эта территория огромным диаметром, включая лес, реку и бывшие уголья, огорожена колючей проволокой, на которой черным по белому написано: «Проход воспрещен. Опасно для жизни». И для наглядности еще пририсован череп со скрещенными костями. Я заинтересовался, думаю: вот, опять я не первый, такие же, как я, уже пробрались сюда и создали коммуны. Постучался — открывает древняя такая бабулька. Я говорю: «Бабушка, что ты здесь делаешь, тут опасно находиться». А она: «Э, сынок, мне уж недолго осталось, куда я пойду от своего дома, своего хозяйства». Оказалось, что многие бабульки втихомолку вернулись, положив на запрет государства. Они говорили, что взамен им предложили какую-

то общагу из вагончиков в городе, а что они там потеряли — всю жизнь привыкли трудиться, а там надо было сидеть сложа руки. И потом, их всех замучила тоска по дому. Они сказали, что все бабульки, которые не решились вернуться, так уже и померли с тоски. А эти там радостно жили. Чего? — нет, дедов что-то было маловато, деды все вымерли: раз, два и обсчитался. А бабульки как вторую жизнь обрели. Земля стала вдесятеро больше прежнего урожая давать, говорили они, только успевай собирать да солить-мариновать. А грибы какие были! — Ты что, совсем рехнулся? Надеюсь, ты эти грибы не ел? — Еще как ел! Я там единственный нормальный мужик на всю округу был. Ты бы видела, как бабульки вокруг меня суетились, открывали все заветные припасы, накладывали побольше и умильно смотрели, как я ем. Они все по внучатам своим скучали, а тут я им дал такую возможность оторваться. Они на меня наглядеться не могли, неужели я стал бы их обижать отказом? — Ты прямо как Будда. Он тоже умер из-за нежелания обидеть в возрасте восьмидесяти четырех лет. Будда пришел в гости к одному бедному крестьянину, у которого не было ничего для угощения, кроме куска несвежей кабанины. Будда не употреблял мяса, как вы знаете, ну и относительно качества продукта у него были сомнения, но он не мог обидеть отказом и съел угощение, зная, что отравится и умрет. — Я, в отличие от Будды, поехал туда именно с этой целью. А тут еще такой приятный способ, такие вкусы и старушек порадовал. Что еще надо? Единственное, чего там не хватало для полного счастья — догадайтесь, — чего? — Телок? — Телки там были какие хочешь, даже двуглавые — вам такие и не снились. А от баб я и здесь устал. Ну так? — Водки? — Мои бабульки гнали самогон, вполне приличный. Ну же,

напрягите мозги! — Больше фантазии не хватает. Тебя послушать — так там был рай небесный на земле. Чего в раю может не хватать? Бога? — Хлеба! — дырявая твоя голова! У старушек не было сил обрабатывать поля и собирать пшеницу. Ее же потом надо толочь, это адский труд, если нет механизации. Бабульки уже столько лет нормального хлеба не пробовали, делали какой-то по старинке из отрубей и картошки. Они ска-зали, что многое бы отдали за краюху хлеба. Я и сам там пробыл с месяц, а почувствовал его нехватку, так что, когда приехал в Москву, первым делом направился в булочную, купил буханку и прямо так, целиком, сжевал на улице. Хлеб ничем не заменить. Я когда через два месяца вернулся обратно, привез с собой два огромных чемодана, набитых буханками. Поверите, еле дотащил, хотя силой Бог не обидел. Я теперь к ним каждые два месяца езжу, завожу хлеб. Вот изготовил сейчас несколько картин на продажу — они должны хорошо пойти на Западе, куплю тогда уазик и буду на нем к ним гонять, так значительно проще будет. — Хорошо устроился, — столько бабушек, и все для тебя одного. Возьми меня в следующий раз с собой, я тебе помогу чемоданы таскать. У меня есть большой походный рюкзак, туда много буханок влезет. — Ну поехали, мне не жалко. Там бабушек на всех хватит. Я уже пятый год езжу. Если только ты не собираешься наложить в штаны от страха облучиться. Я сам уже и думать об этом забыл. У меня другая цель в жизни появилась. А вы говорите: сломлена, сломлена... Конечно, если будешь только о себе думать, сломаешься. Такой тяжести еще никто не выносил. А как начнешь заботиться о других — не успеешь оглянуться, как все твои высосанные из пальца проблемы как рукой снимет. Если только действительно начнешь заботиться о

других, а не делать это ради освобождения от своих проблем, то есть продолжать думать о себе. — Не все такие тимуровцы, как ты. Некоторым не дано. — Дура, что ты понимаешь! Нет тяжелее ноши, чем забота о самом себе. Я угораю, когда вижу, как люди сплошь и рядом добровольно ее на себя взваливают. — Иногда приходится, знаешь. Когда у меня несколько лет подряд не было квартиры своей и не было бабок, чтоб снимать, я помню, какой это был ад. Не то что на других, на собственного ребенка времени не оставалось. Бывало, что я находила дешевую квартиру и снимала ее, а потом хозяева неожиданно припирались и просили освободить — то ли к ним кто-то приезжал, то ли находили жильца, готового больше платить. Иногда так случалось, что я стояла поздно вечером у телефона-автомата и тасовала в голове список знакомых, стараясь, чтоб не выпал номер кого-то из друзей, их и так с каждым разом делалось все меньше, а ребенок в это время теребил полу моего пальто и с широко раскрытыми от ужаса глазами вопрошал: «Мама, мы сегодня на улице будем ночевать?», и как водится, такие случаи выпадали все больше на разгар зимы. Как вспомню, так вздрогну. Если б кто мне заранее описал, как все будет, я бы предпочла повеситься. Не знаю, как только хватило сил все это перенести. По второму кругу я уже не смогу. Я тогда жила как заведенная. Вынуждена была постоянно тусоваться — чем больше знакомств, тем безопаснее терять старых друзей из-за квартирных напругов. В то время я приобрела, наверное, восемьдесят процентов моих нынешних знакомых. — Всяко бывает, иногда жизнь вынуждает через себя продираться, как я продирался в чернобыльском лесу, и тогда одними своими руками не обойдешься, все подручные средства хороши — палки, топоры, знакомые. Но когда наступа-

ет затишье, многие продолжают заикливаться на себе, тут-то погибель и таится. Кстати, а чем дело кончилось? Где ты сейчас живешь? — Я в какой-то момент собрала все силы, побегала по инстанциям и выбила себе однокомнатную квартиру, которая мне по закону причиталась. — Вот видишь, где-то в своем напряге ты сама была виновата. Могла бы тогда все сделать. Или устроиться на работу, чтоб было на что постоянную хату снимать. — Ну сколько мне тогда было лет? Я и не очень-то соображала во всех этих взрослых раскладах: бумажки, конторы, печати. А на работу я не могла по одной простой причине, что у меня маленький ребенок на руках. — Тусоваться тебе ребенок не мешал. Но я ничего не говорю — ты молодец, пробилась, а ведь могла бы сказать: все, сил больше нету и окончить где-нибудь в канаве свои дни. — Мне и хотелось, но ребенок не давал. Без него я бы давно пошла на дно. Мне порой кажется, что это по его причине у нас квартира появилась. Он как бы ее притянул, потому что ему она была необходима, в отличие от меня. Без него я бы до сих пор тусовалась по людям, чем делать такое усилие и добиваться квартиры. И вообще у меня такое ощущение, что он притягивает какие-то вещи, которых без него не было бы у меня — например — телевизор, компьютер. Они ему важны, мне — нет, в результате они у нас появляются. Он вносит упорядоченность в мою жизнь, какую-то бытовую обустроенность. Без него я бы давно сорвалась. Я прямо чувствую, как у нас что-то появляется силой его желания. — Да, так бывает. Каждый ребенок приносит с собой в семью что-то свое. Бывают дети, что прямо от рождения приносят удачу, у родителей с их появлением незаметно для них, но ощутимо для стороннего наблюдателя меняются к лучшему материальные условия жизни и даже соци-

альный статус — там, отца повышают по службе, мать хорошеет. А бывает, что и проклятие с собой приносят. Никогда не знаешь, кого родишь. Одни притягивают удачу, другие — несчастья. — Опять вы за свою мистику взялись. Все очень просто — пока у нее была дурь в башке, она маялась, а как ее жизнь пообтесала, потрепала, она взялась за ум и все у нее стало тип-топ. Жизнь и не таких выковывала. А ребенок тут ни при чем. То есть он дополнительная нагрузка — еще и о нем надо заботиться. Но ничего, смотрите, как она выправилась, любо-дорого смотреть. Раньше у тебя был такой затравленный вид, что, ей-богу, если б ты ко мне сунулась проситься пожить, я бы очень подумал — зачем мне такие расклады на себя навешивать. — Еще б у меня был не затравленный вид в такой ситуации. Но я, кстати, довольно быстро врубилась, что напрягов никто не любит, поэтому на тусовках я была сама непринужденность и беспечность, а иначе как бы мне удавалось столько раз пристраиваться. Я ходила на тусовку как на работу, надев униформу в виде смайл улыбки. — Кстати, никто не знает, что случилось с Катастрофой? Вот кто была чемпионкой среди тусовщиц! — Я ее видела недавно — все такая же. Она вышла замуж за японца и теперь тусуется на Западе. За ней не уследишь, ее носит по миру, как природное бедствие. Она появляется то тут, то там, сметает все как ураган и пропадает на время. В последний раз я ее видела в Амстердаме. Я не знаю, каким образом она вычислила мой телефон — мы с мужем только переехали на новую квартиру и еще никому своих координат не успели сообщить. Но тут возникла Катастрофа и давай мне по телефону стрелку забивать на каком-то парти. Я стала отбиваться как могла, к нам тогда как раз гость приехал — друг юности моего мужа, которого он уже порядком не видел,

но Катастрофа была неумолима, она выпытала у меня адрес и притащилась к нам домой, не успели мы и глазом моргнуть. И давай с порога меня обрабатывать — набросилась на меня: когда ты в последний раз смотрела на себя в зеркало, молодая девчонка, а из дома тебя клещами не вытянуть, за мужем совсем в клушу превратилась, там такое парти, такое парти... А муж мой русского не понимает, бедный, смотрит на нас очумело, чувствует, что на меня наезжают, а в чем соль — не поймет. Тут у него желваки на лице заходили ходунном, чувствую, что пора вмешиваться. Я запорхала пташкой, защebetала: это моя старинная подружка, она только что приехала в город, зовет на какое-то сногшибательное парти. Он мне: если она только приехала, откуда она знает про парти? Она такая, — говорю, всегда все знает, — можно я с ней ненадолго пойду? — А что, муж у тебя такой строгий, что ты у него разрешения спрашиваешь? — Он не строгий, а как бы это сказать? — правильный. Он не выносит лажи — когда люди зря разбазаривают свое время, и, в общем, он прав. Он не любит ходить в кинотеатры, на дискотеки, говорит, что задыхается в закрытых помещениях и не понимает кайфа. — Да у него обыкновенная клаустрофобия. — Нет, он просто очень устает на работе и предпочитает домашний уют. И потом, он не любит танцевать в отличие от меня, не прикалывается к шумному обществу, а мне иногда это нужно. Но тут он мне говорит: «Что ты спрашиваешь? — дело твое, хочешь — иди». Только я хотела выйти, Катастрофа как заголотит: «Ты что, в таком виде собираешься в люди выйти?» А на мне были джинсы приличные и модный свитер. «Ты совсем одичала тут, — говорит, — и стиль потеряла. Покажи мне свой гардероб, я тебе выберу, что надеть». Я смотрю на нее — ну вы знаете Катаст-

рофу, она всегда прикинута с умом, но тут совсем перестаралась — в такой шляпке с наворотами, на которую чуть ли не живая птица пришпилена гвоздями. Заставила меня одеться, накраситься и моему мужу по-английски: «Пошли с нами, что вы будете дома сидеть, там действительно великолепное парти обещали». Муж мой, к моему удивлению, соглашается, и отправились мы такой веселой компанией, приходим на место, и выясняется, что тусовка происходит в голубом баре, но не таком, консервативном, а куда и женщин пускают и все там разряжены на манер Катастрофы, особенно мужчины, с голубыми и зелеными волосами, в облегчающих кофточках в сеточку, в кожаных в обтяжку штанах и с такими типично голубыми манерными жестами, ах, ох. — Вот я тоже не могу выносить голубых, которые так кривляются, у них что-то с головой не в порядке. Ведь бывают же приличные голубые без этих выкрутасов. Точно как и женщин, которые так выделяются. — А мой муж со своим другом, представляешь, — они совершенно из другой породы мужчин, такие прожженные морские волки с суровыми морщинами, такое поколение последних хиппи, которые везде разъезжали автостопом, перепробовали все наркотики, выходили вдвоем на яхте в море на несколько месяцев и переносили всякие лишения. Они сразу просекли что к чему, встали с дринком у стойки бара и мрачно разглядывали публику, а те сразу почувствовали свежатинку, стали вокруг них увиваться как бы ненароком, эти терпели, терпели, я думала, они в драку ввяжутся, но ничего, удалось вернуться домой без мордобоя. — А где сейчас Катастрофа? — А кто ее знает, носит ее где-то. — Муж ее, японец, настоящий или фиктивный? — Кто ее разберет, но она продолжает делать аборты, хотя он сейчас в своей Японии находится. Тогда она в Гол-

ландию именно с этой целью приехала, на Западе ведь во многих странах с абортами проблематично, а в Голландии — пожалуйста. — Ой, я тоже как-то влипла там с этим делом. Я была в Берлине, когда наши уже сворачивались вовсю, решила там притормознуть, посмотреть, что получится, только начала осваиваться — понимаю, что беременна. А у меня ни денег, ни медицинской страховки, да если б и были, с абортами — напряженка, так просто тебе не дадут сделать. Я кинулась туда, кинулась сюда — денег нет даже чтоб в Россию вернуться, тут мне добрые люди показали на одного нашего, русского, который там уже лет двадцать живет, он раньше, говорят, работал гинекологом, может, у него связи остались, поможет тебе. Делать нечего, на какой-то тусовке подваливаю к нему, совершенно незнакомому человеку, и на голубом глазу выпаливаю ему свою проблему. А он так ничего мужик оказался — я, говорит, этим делом уже давно не занимаюсь, но у меня сейчас гешефт с русской армией. Скоро приедет генерал, с которым я в основном торгую, он мне кое-чем обязан, я с ним поговорю, сделаем в госпитале, не переживай больше. Сами понимаете, невнятный такой расклад, русской армии там осталось с гулькин нос, да и вообще все это звучало фантастически, поэтому я продолжаю дальше геморроиться, отраву какую-то глотать из трав, но через неделю этот мужик за мной заезжает на шикарной такой машине с шофером, говорит: поехали на стрелку с генералом. Приезжаем в какую-то из частей, он выходит с шофером, я остаюсь одна машину стеречь, генерала я так в глаза и не видела, вернулся с бумажкой, все в ажуре, говорит, послезавтра мой водитель заедет за тобой с утра, отвезет в Потсдам в военную клинику. Я продолжаю не верить. Но шофер таки заезжает за мной через день, едем. Захожу

в госпиталь, нахожу гинеколога, протягиваю бумажку, он меня осматривает, спрашивает: что будем делать? Ясно, что, — отвечаю. Он мне: идите с этой бумажкой в регистратуру в другом корпусе, чтоб они вам наркоз выписали. В регистратуре девица такая сидит, я сую ей бумажку, а она: вы кто, жена военнослужащего? Я мычу что-то среднее между «да» и «нет». Она: или вы командировочная? Я с облегчением: пишите командировочная. Она: что значит пишите? В какую часть вы прикомандированы? Я молчу, не знаю, что сказать, чтоб никого не заложить. Она кинулась к какому-то мужику за другим столом: «Товарищ такой-то, что мне писать? Она молчит как партизан, а мне анкету надо заполнить». Тот глянул на мою бумажку и как гаркнет на нее: «Ты видишь, кем приказ подписан?» Она: «Вижу, но что мне написать?» — «А что она говорит?» — «Она говорит — командированная». — «Вот так и напиши». — «Но это же неправда». — «Я тебя еще раз спрашиваю — ты видишь, кто подписал приказ? Видишь? Вот поди и у него спроси, что тебе писать!» — «Но...» — «Никаких но! Ты что, забыла, что приказ не обсуждается? Иди пиши». Вот таким образом генерал дал приказ, чтоб мне сделали аборт. И мне еще повезло, госпиталь был совсем пустой, а через месяц наши войска уже окончательно покинули территорию. — Слушайте, у меня из головы не выходит Катастрофа — я когда-то был в нее влюблен, и сейчас я понял только, что не знаю ее настоящего имени. Может, вы мне скажете? — Ой, я тоже не помню. По-моему, Олей ее зовут. — А по-моему, Катей. — Что гадать? Катастрофа — она и есть Катастрофа. — А почему все-таки она такая сумасшедшая? Вроде задатки у нее были отличные, но ей не удалось реализоваться. — Она реализуется в тусовках. Это ее способ жизни — чтоб как мож-

но больше людей ее знало и ценило. Подумайте — ведь как у нас, так и там ни одна приличная тусовка без нее не обходится, хотя, если подумать, ей нечего предложить — она не рисует уже давно, да никогда толком и не рисовала, пробовала менеджментом заняться — ничего не вышло, художников продавать тоже ей не особо удалось, при ее-то связях — это надо постараться, однако ее за что-то ценят и всюду приглашают. — Она просто очень стильная и умеет создавать атмосферу, это тоже ценные качества. — А с вывихом она оттого, что у нее была какая-то темная история в детстве — ее отец то ли изнасиловал, то ли пытался изнасиловать. — Бр-рр, какой-то типично американский расклад, там сейчас очень популярно обмусоливать такие истории. — Да, вот точно. Ко мне недавно приезжала подружка из Штатов — да вы ее видели, она мне тоже такое понарассказала — дальше ехать некуда. — Она уже в годах такая? — Ну да, я ее целый месяц тут тусовала, вы все уже видели, наверное. Первый раз она вышла замуж за разведенного мужика, это была самая горячая любовь всей ее жизни. У него был сын маленький, который остался с ними жить, и она родила ему второго, а через два года после брака он умер от лейкемии. Она до сих пор по нему горюет. Но мужик был богатый очень, оставил ей до хрена всего, и она жила с двумя детьми, потом попробовала еще раз выйти замуж, но второй муж не шел ни в какое сравнение с первым, и она вскорости развелась. Лет в тридцать шесть она поняла, что хочет еще одного ребенка, и или сейчас, или будет поздно, и забеременела от донора, с помощью искусственного осеменения и родила девочку, она даже не знает, кто отец. Мальчики у нее симпатичные, а девочка получилась с такой ковбойской челюстью, видать, папаша был тот еще. — Ну а кто

нормальный станет сперму сдавать? — Но она довольна. Только недавно, когда девочке исполнилось одиннадцать лет, у матери начался психоз. Она маялась, не могла понять, в чем дело, потом пошла к психоаналитику, и выяснилось, что ее саму родной отец изнасиловал в этом возрасте, а она начисто забыла, загнала глубоко в подсознанию, и вот только когда дочка ее стала этих же лет, у нее попер страх, ей непонятный. Она клялась, что совсем ничего не помнила. — А как вспомнила — под гипнозом? — Нет, по-моему, с помощью ассоциаций. И вроде как если понять причину страха, то от него избавляешься. Она утверждала, что страх прошел, но ее все равно перекосило как-то. Она пока тут гостила, каждый день вопила: «Мужика хочу». Я сначала думала, что это шутка такая, но уже через неделю шутка стала приедаться, а она все не успокаивалась. Я ее пробовала с разными знакомить, но не могла же я им прямо сказать: трахните ее, а ей самой не удавалось строить отношения. Наконец я не выдержала, как-то выходя из дому, говорю ей: «Нас всех больше трех часов здесь не будет, сделай что-нибудь, спасение утопающих — дело рук самих утопающих, но чтоб к нашему возвращению перестала поминать мужиков». — Ну и как? — Видимо, ей как-то удалось снять напряжение, хотя у нас тут не Запад и никаких приспособлений под рукой не было, но она как-то справилась. — Да, американцы все долбанутые на полную катушку. Я в прошлом году ездила в Америку аккомпанировать одной молодой девушке — ей лет четырнадцать было — такой вундеркинд. Пригласили нас по еврейской линии и селили по семьям — два дня тут, три дня там. Все семьи были хасидскими, такие ортодоксальные хасиды, все мужики ходили с бородой, пейсами, в кипе, детей штук десять — пятнадцать в каж-

дой семье, как отец возвращается домой, дети выстраиваются в рост лесенкой, берут Талмуд и все садятся читать, даже самые маленькие малыши. Помню, одна девчонка была очаровательная, лет двух, уже страшно любила косметику, все перед зеркалом крутилась с помадой, как-то я ей дала шоколадку, она тут же побежала к маме: «Мама, а это кошельное?» Все ели только кошерное, соблюдали шаббад, уже в четверг вечером свет не выключали, потому что в пятницу и субботу нельзя было включать свет, звонить или стучать в двери. Как-то я по ошибке выключила свет в четверг, так они всей семьей два дня сидели в темноте и мне запретили включать. Вообще обстановка была прямо нацистская, внутри дома нам разрешали ходить только в юбке, а у нас единственные юбки были концертными, так нам приходилось дома их таскать, а когда выходили на улицу, где-нибудь в уголочке, оглядываясь, как преступники, натягивали джинсы и снимали юбку. А у меня же фамилия русская, так они все время подозрительно спрашивали: «А твоя мама еврейка?», и перед каждым концертом мне приходилось показывать свидетельство о рождении, иначе, представляете, мне не разрешили бы даже аккомпанировать, если б я не была по маме еврейкой. — Представляю, как вы на улице переодевались — американцы же такие пуритане! — Да, и при этом ужасно простодушные. Один мой приятель мне писал, что он, пока сидел безработный, вычитывал объявления, где кто требуется, и наткнулся на какую-то странную профессию, я теперь не помню, как называется, но его заинтересовало именно название, потому что он ни разу не слышал. Ради интереса он пошел в библиотеку и узнал, что это очень редкая профессия, специалистов единицы и по ней существует только один учебник. Он опять же ради интереса просмотрел учеб-

ник и увлекся, стал изучать, за три дня все выучил и написал туда, предлагая свою кандидатуру. Через две недели его вызвали, спросили, давно ли он занимается этим делом, он ответил, что лет пять и в России считался одним из лучших специалистов. Они даже не спросили диплома, или он ответил, что в спешке уезжал и оставил дома, но им даже в голову не пришло, что человек так вот может поступить, задали ему несколько вопросов, он ответил правильно, и его зачислили на должность и в связи с уникальностью назначили очень высокую зарплату. — Единственное, что мне нравится в Америке, — это современная архитектура. Может, вы посчитаете это признаком дурного вкуса, но я поездила по Европе и вдоволь нагладелась на эти барокко и готику, модерн и ампи́р — ну что, интересно, но не вдохновляет. Я фанатка зданий из стекла и железа. Все эти здания, которые сейчас строятся под разными углами, с необычными перспективами, — по-моему, они расширяют пространство и создают новые планы. — А мне нравятся древние храмы, в них есть какая-то умопомрачительная строгость, а все эти современные здания — однодневки, завтра от них один пшик останется. — Ну это мы еще посмотреть будем. — Кстати, я недавно ездила в Грузию, меня там один храм просто потряс. Он такой на отшибе, не входит в обязательный список ликбеза, но до чего ж он был хорош в своей простоте и непритязательности. Он так вписывался в окружение как часть пейзажа, чего не скажешь о современных постройках. И с ним у меня связано необычное воспоминание, которое я так до сих пор не могу объяснить. Я туда ездила с одним человеком, с которым у нас вроде любовь была. Он меня возил на машине, показывал разные места. И вот когда мы проезжали мимо этого селения, я сама вспомнила — заранее

оговариваю, чтоб вы потом не сказали, что все было подстроено, что там есть какой-то старый храм, и попросилась заехать посмотреть. Он даже не знал дороги, и мы по пути спрашивали у местных жителей. Мы хотели добраться затемно. Не то чтобы было очень поздно, но там экономический кризис, перебои с электричеством, и в шесть вечера уже такая южная темнота была, хоть глаз выколи. А до храма не доехать было на машине, с полчаса надо было еще пешком спускаться по ущелью. Мы припарковались, пока шли, храм очень хорошо просматривался, очень он был какой-то уместный, мы все любовались, пока не дошли. Навстречу за все это время нам никто не попался. А дорога к храму была одна, кругом камни, а в другую сторону просто безлюдные горы. Заходим в храм, а там две свечи горят. Я говорю: «Как жаль, что я не додумалась взять с собой свечи!» Тут он пошарил вокруг и нашел две точно такие же целехонькие свечи, и по ним было видно, что две предыдущие только-только зажгли, они еще не успели даже уменьшиться. Мы вышли, посмотрели кругом — никого. Я не знаю, что было удивительнее — неизвестно кем зажженные свечи или оставленные две целые — это в то время, когда у них свечи на вес золота, потому что практически по вечерам света тогда не было. Я решила, что это знак судьбы, — ведь просто такое не случается. Но оказалось, что это было эпизодично, мы расстались и больше не виделись, хотя планировали всякое будущее. И все было очень банально — я уехала, он остался, и постепенно все сошло на нет. Я все думаю — что же тогда этот знак означал? *Если это была судьба, почему мы так легко расстались? — Значит, судьба такая была, чтоб встретить единственную любовь и навсегда потерять. Вот мой муж, вы же помните, как долго он меня добивался, а я все тянула,*

хотела убедиться, что действительно судьба. А как поверила в это, говорю ему: «Хорошо, я согласна, но чтоб только мы венчались в церкви». Он ради меня даже крестился перед этим. И вот сейчас он мне говорит: «Не могу больше жить с тобой» и ушел. А мне что делать? Не могу же я обратно развенчаться? Так и жить теперь одной всю жизнь? — Да, с судьбой трудно разбраться. Вы же помните, как мне не везло с мужьями: не наркоман, так придурок. И вот наконец встретила приличного человека, уже несколько лет живем вместе, а я все не могу поверить, что у меня такой хороший муж. И тут я познакомилась с тем человеком, ну знаете, как бывает, мы с первого взгляда поняли, что созданы друг для друга. Мне с ним очень хорошо, и в постели и вообще. Я уже хотела к нему уйти, но муж, как узнал, сделался еще лучше. Я поняла, что не могу его, такого, бросить. А мы все трое очень продвинутые люди, не можем с бухты барахты поступить. Я уже и с учителем советовалась, не знаю, что делать. Я понимаю, когда человек вчера только из кошки вылутился, он может поступать, как ему заблагорассудится. А мы уже которую жизнь живем, надо отвечать за свои поступки. — Девчонки, девчонки! Вас послушаешь — прямо какие-то «сумерки души». — Слушайте, нам пора уже всем по домам, пока нам всем не начали делать знаки. — Ты сейчас сказала это слово — «сумерки», у меня с ним связаны странные ассоциации. Меня родители вывезли в Израиль еще ребенком, лет в шесть, и, когда мне было восемнадцать, началась третья волна эмиграции, и мне какой-то знакомый говорит: вот работа для тебя подходящая — встречать в аэропорту новоприбывающих, ты же из России, будешь им все объяснять на первых порах, сейчас требуются такие гиды, хочешь, устрою? Я в ужасе говорю: что ты, я уже все

забыла. Подучишь, — говорит, — новая партия прибудет через две недели, и не ломайся, сейчас такая безработица, а там прилично платят. — Сейчас ты хорошо говоришь по-русски, только небольшой акцент чувствуется. — Чувствуется, да? Надо над этим поработать. Но это сейчас, а тогда я все действительно забыла — у нас дома еще и в Риге никто по-русски не говорил. Я стала повторять все, выучила элементарное: «Здравствуйте. Меня зовут... вас ждет автобус... добро пожаловать» и так далее, но, когда в первый раз стояла в аэропорту и вдруг они все начали выходить из контрольного пункта с баулами, саквояжами, собачками, детьми, попугаями в клетке, фикусами в горшках, дедушками и бабушками, и все с такими потерянными, растерянными лицами, я судорожно пыталась что-то сказать, чтобы их ободрить, но в ужасе поняла, что все вылетело из головы, все русские слова. А все ждут, служащие смотрят на меня удивленно, я еще раз напряглась, и тут из памяти всплыло слово «сумерки» — не знаю почему, я тогда не помнила, что оно означает. — Это еще что! А вот когда я была в Америке, один американец, узнав, что я русская, радостно говорит: «О, я знаю одно русское слово», потом долго и мучительно пытался его воспроизвести, но у него получалось нечто нечленораздельное. — Обычные русские слова, которые они знают, это: «бабушка, на здоровье и привет». — Да, непонятно, почему они так устойчиво делают эту ошибку и говорят: «на здоровье»? Кто их так учит? Главное, поправляешь их, но никакого толку, они так же продолжают. — А еще у них совершенно официальными стали два слова: *perestrojka* и *rogrom*. Я несколько раз в Германии по телевизору слышал, как они говорили, что вот когда в таком-то году был *rogrom*, то сожгли такую-то синагогу. — Нет, а этот американец знал нечто

несусветное, все не мог произнести. Я ему говорю: «Скажи это по-английски, я переведу», но выяснилось, что он даже не знал значения слова. При ближайшем рассмотрении это звучало как «забодаю», но, когда я произносила вслед за ним, он говорил, что не совсем так звучит. Наконец после долгого и упорного труда нам удалось выяснить, что слово, которое он знает, — «запятая», единственное известное ему слово из русского языка. Но он был так горд!

Слова, слова, слова... Они текут непрерывным потоком, возникая из неизвестного источника и вспыхивая на мгновение почти уловимым смыслом, когда кажется, что их звучание и значение составляют одно, только на это мгновение они дразняще зависают на серебристой атласной ткани понимания алмазными каплями, переплетаясь своими искрометными излучениями в неповторимый рисунок, взаимопроникая и отражаясь в манящей игре, чтобы в следующее мгновение рассыпаться грошовыми блестками, уносимыми легким сквозняком, не оставив по себе даже призрачного следа, и дать место новым словообразованиям, таким же искристым и летучим. И таким же невозстановимым, неостановимым в своем стремлении объять необъятное и превратить его в ничто, в пустой звук, хотя звуки, ими образуемые, иногда более уместны, чем они сами. Звуки ложатся широкими мазками, слой за слоем заштриховывая пустоту, из которой раньше состояло мое тело, безошибочно находя свое положение. Оказывается, слова могут быть так милостливы, они не отказывают в прибежище никому и ничему, даже самому злому или лишенному смысла они готовы послужить укрытием, и последнее тело, которое остается человеку, — это тоже слово. В словах могут найти пристанище и утешение самые обездоленные и отчаявшиеся, по-

терявшие надежду и преступившие; слова их поднимут, отряхнут, укутуют пушистым одеялом и, ласково погладив по голове, споют тихую песню или окрылят, вознесут и в ураганном вихре умчат за пределы пределов, восхитят надежно и безвозвратно туда, где и без слов рождаются, блистают ослепительными озарениями и умирают истины. Но словами нельзя злоупотреблять, от неуместного применения они теряют свой аромат, увядают и засыхают, превращаясь в хрупкую оболочку, сиротливо носимую, как перекасти-поле, от малейшего сотрясения воздуха по пустыне бессмысленности. Иногда — но это такая редкость — они умирают не окончательно, и, если им повезет дальше, их кто-нибудь обнаруживает на дне забытого сундука, любовно стряхивает с них пыль и, полируя фланелевой тряпочкой до бывшего блеска, вдыхает в них свою мощь и отпускает на волю, может быть — надолго, возможно — на миг. Иногда слова слишком наполняются смыслом, расширяясь под его давлением дальше своих пределов. Порой же они жадно охватывают несколько значений, что позволяет им затевать азартные игры с другими словами, когда на кон ставится само их существование, но в случае выигрыша они получают новое измерение. Мертвые слова опустошают людей, но и с живыми словами требуется осторожное обращение — они могут вдохновить, но с той же силой они могут нанести удар. Слова сильнее человека, уж если они могут вознести человека с легкостью перышка, они могут нанести даже физические поражения. Люди ощущают это как удар в живот, от некоторых слов, произносимых здесь, многие корчились. Слова — не пустой звук, они имеют тяжесть и могут грузом лечь на плечи, и даже обещания, данные в детстве, преследуют людей всю жизнь. И при этом слова так неоднозначны. Одно

и то же слово, произносимое на разных языках, может освещать противоположные стороны одного и того же предмета. Но даже на одном языке банальнейшее слово «стул» может включить поочередно загорающиеся образы, начиная от детского стульчака, переходя в табуретку, покрываясь ковровой обивкой, резными ножками, заменяющимися железно-кожаной конструкцией, и завершаясь электрическим. Порой слова притягиваются друг к другу как магнитом, порой же взаимно отторгаются, но все слова, оказавшись поблизости, избирательно разворачиваются разными сторонами. Поток слов не прекращается, они образуют все новые и новые перекрещения, и был даже миг, когда их течение оформилось в привычный мне из иной жизни рисунок — слова приобрели очертания, выстроившись в ряд маленькими черными солдатыками, строй за строем с муравьиной деловитостью марширующими на неизвестно какой штурм. На мгновение мне показалось, что слова, плетущие вокруг меня кокон, состоят из букв и, превратившись в текст на прозрачной бумаге, прочитываются разными людьми в разные времена, иногда отстоящие друг от друга на несколько человеческих поколений, но в тот миг объединившиеся в конусе в одну точку. Мне привиделось много лиц, сменяющих друг друга, вглядывающихся через бегущие строчки в меня, точно так же, как я в них. Какие это были разные лица, как много разных возрастов, полов, наций, профессий, социальных и семейных состояний они собой являли, с какими разными чувствами всматривались они в меня по ту сторону строк. Это было чудное видение, не могущее быть, потому что мною уже позабылось, что такое я, ведь остались только слова, возможно, большей частью своей неверные, но, пусть шатко и валко, поддерживающие меня в невесомости. И все же тот

миг был, очень короткий миг, когда мы обменялись взглядами, и поэтому не важно, где это произошло, в какой из реальностей и по какой причине, главное — что нам удалось посмотреть друг другу в глаза и мы обменялись веселым словом «привет» — и что иное могут сказать друг другу существа, затерянные в этих непостижимых просторах, бредущие каждый в поисках своего пути, неся груз своих неповторимых вопросов и забот, но которым удалось на мгновение остановиться и, робко высунувшись из панциря своего “я”, увидеть другого — такого же и не такого; и прежде чем навсегда расстаться, с удивлением обнаружить, что они не одиноки в своем одиночестве. Что еще они могут сказать друг другу? Что еще подходящее к этому случаю можно подобрать из неисчислимого арсенала доступных и недоступных, забытых и открытых, запрещенных и поощряемых, древних и новых слов? — разве что, пока мгновение еще длится, добавить: «Доброго пути!» Но это мгновение тоже закончилось, запечатлевшись в убегающих далеко назад анналах событий, бесстрастно фиксирующих все происходящее, независимо от того, какую ценность придают ему сами участники; и я вновь нахожусь в водовороте слов, крепко меня опутавших и неожиданно подаривших мне новое существование. Они обволокли меня непроницаемым коконом, плотным, как сама материя, придав мне вес и натяжение, превратив в упругую каплю, вот-вот готовую сорваться и полететь в бездну. Пока что слова продолжают литься из уст моих друзей, ограждая меня и создавая видимость осязаемости. Но скоро они все разойду-

А. Нуне
После запятой

Редактор *М. Холмогоров*
Корректоры *Т. Калинина, О. Павлова*
Верстка *Л. Ланцова*

Налоговая льгота —
общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

ООО «НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

Адрес издательства:
129626, Москва, а/я 55
тел. (095) 976-47-88
факс (095) 977-08-28
e-mail: nlo.ltd@g23.relcom.ru
<http://www.magazine.ru>

ЛР № 061083 от 6.05.1997

Формат 84×108¹/₃₂. Бумага офсетная № 1.
Усл. печ. л. 18. Тир. 3000. Заказ № 0104640.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных оригиналов
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В 2000 г. вышли:

Ю. Буйда. ЖЕЛТЫЙ ДОМ. Щина

Известный прозаик Юрий Буйда (р. 1954) – автор многочисленных публикаций в периодике, романов «Дон Домино», «Ермо», сборника рассказов «Прусская невеста», лауреат премии им. Аполлона Григорьева. Жанр своего нового произведения автор определяет как «щина». Этот суффикс не имеет аналогов в других языках, он, по наблюдению Ю. Буйды, – такое же наше достояние, как широта натуры, плохие дороги и много водки без закуски. Тема национального своеобразия не просто традиционно важна для русской словесности, но стала одним из ее навязчивых состояний. Она и является, по терминологии автора, «щиной» русской культуры, представая в книге как форма сумасшествия.

Л. Рубинштейн. ДОМАШНЕЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ

Лев Рубинштейн (р. 1947) – известный московский поэт, эссеист. С середины 70-х годов разрабатывает собственный жанр, возникший на границе вербальных, изобразительных и перформативных искусств – жанр «картотеки». В разные годы – участник многих поэтических и музыкальных фестивалей, художественных выставок и акций. Эта книга – наиболее полное на сегодняшний день собрание поэтических текстов, написанных с середины 70-х годов до настоящего времени, и эссе последних лет.

Е. Шкловский. ТА СТРАНА. Рассказы и пр.

Евгений Шкловский (р. 1954) – известный прозаик и критик, автор сборников рассказов «Испытания» (1990) и «Заложники» (1996), а также многочисленных публикаций в периодике. Драматичный мир современного человека, неразрешимые «вечные» вопросы, острые коллизии повседневности: от трагедии до фарса – все это своеобразно и ярко преломляется в новой книге писателя, искусно использующего богатые возможности малого жанра. В его прозе сочетаются утонченный психологизм и ирония, лиризм и гротеск, пародия и притча, парадоксальность и недосказанность, открывающие простор для читательского воображения.

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В 2001 г. вышли:

**П. Эстерхази. ЗАПИСКИ СИНЕГО ЧУЛКА И ДРУГИЕ
ТЕКСТЫ**

В книге собрана эссеистика известного венгерского писателя Петера Эстерхази, опубликованная с конца 1980-х годов в его сборниках «Чучело лебеда», «Из башни слоновой кости», «Записки синего чулка» и др. Эстерхази с присущей ему иронией и интеллектуальной свободой комментирует перемены, происходившие в последнее десятилетие в Венгрии и Европе, размышляет о духовном самочувствии современного писателя, о тенденциях в литературе и культуре.

**Гриша Брускин. ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ
НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДА**

Гриша Брускин (р. 1945) - известный художник и скульптор. До 1986 года работы художника практически не были известны широкой публике. Его персональные выставки неоднократно запрещались властями. В 1988 году принял участие в московском аукционе Сотби, где его картины были проданы за рекордные для современного русского искусства цены. Произведения Брускина находятся в коллекциях крупнейших музеев мира. В 1999 году в качестве представителя России по приглашению немецкого правительства осуществил монументальный художественный проект для обновлённого Рейхстага в Берлине. В настоящее время живет и работает в Нью-Йорке. Полная лиризма и юмора автобиографическая проза Брускина впервые выходит отдельным изданием. Книга иллюстрирована работами самого автора.

ВРЕМЯ «Ч»: СТИХИ О ЧЕЧНЕ И НЕ ТОЛЬКО
Составитель Н. Винник

В поэтическую антологию, посвященную войне в Чечне, вошли стихи более ста авторов, принадлежащих к самым разным поколениям и литературным школам. В книге представлены как стихи ярко выраженного гражданского содержания, так и «чистая» лирика, менее очевидным образом связанная с заявленной темой. В целом сборник не только дает характерный срез общественных настроений, но и демонстрирует богатство возможностей современной отечественной поэзии при обращении к гражданской тематике.

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В 1999-2001 гг. вышли:

Серия «**HISTORIA ROSSICA**»

А. Каменский. **РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XVIII ВЕКЕ**
Традиции и модернизация

Книга известного отечественного историка Александра Каменского посвящена русскому XVIII веку — веку Просвещения. Именно для этого времени был характерен процесс модернизации, процесс преобразований, постепенно превращавших старую, традиционную Русь в «Россию молодую», новую.

Андрей Зорин. **КОРМЯ ДВУГЛАВОГО ОРЛА...**
Литература и государственная идеология в России
в последней трети XVIII - первой трети XIX века.

Автор рассматривает цикл идеологических моделей, выдвигавшихся в качестве государственной идеологии Российской империи в екатерининское, александровское и николаевское царствования: «греческий проект» Екатерины - Потемкина, концепцию «святой Руси», замысел Священного союза монархов, доктрину «православие - самодержавие - народность». Эти попытки национально-государственной самоидентификации осуществлялись в значительной степени в опоре на опыт поэтической рефлексии о России, накопленный в те годы авторами од, поэм, трагедий, исторических романов.

Серия «**Интеллектуальная история**»

Рене Жирар. **НАСИЛИЕ И СВЯЩЕННОЕ**

Исследование Рене Жирара (р. 1923) — одно из ключевых произведений современной антропологии, повлиявшее не только на историков религии, но и на философов, литераторов, богословов. Объясняя происхождение религии, Жирар обращается к самым разным источникам — от африканских мифов до греческих трагедий и Ветхого завета — и находит единый для всех человеческих обществ ответ. Ясность мысли, широта эрудиции, смелость обобщений принесли автору и его книге всемирную славу.

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В 1999—2001 гг. вышли:

Серия «Россия в мемуарах»

**Я.В. Глинка. ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ. 1906—1917**
Дневник и воспоминания

Дневник и воспоминания Я.В. Глинка (1870—1950) публикуются впервые. Их автор сыграл важную роль в деятельности Государственной думы начала XX в., фактически возглавляя ее рабочий аппарат — думскую канцелярию. В книге читатель найдет яркие портреты ведущих политических деятелей эпохи, выразительные описания повседневной жизни Таврического дворца, подробности происходившего в кулуарах Думы, в которые Я.В. Глинка, ближайший сотрудник ее председателей, был посвящен как никто из его современников.

**В.И. Гурко. ЧЕРТЫ И СИЛУЭТЫ ПРОШЛОГО:
ПРАВИТЕЛЬСТВО И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ II В ИЗОБРАЖЕНИИ
СОВРЕМЕННОГО**

В своей впервые публикуемой на русском языке книге видный правительственный чиновник начала XX в. Владимир Иосифович Гурко (1862—1927), человек правых взглядов, воссоздает по собственным наблюдениям закулисную историю царствования Николая II, рисует выразительные портреты министров того времени (С.Ю. Витте, И.Г. Горемыкин, А.С. Ермолов, В.К. Плеве, П.А. Столыпин и др.) и анализирует причины краха самодержавного строя.

АРАКЧЕЕВ: СВИДЕТЕЛЬСТВА СОВРЕМЕННИКОВ

В книгу вошли собранные с исчерпывающей полнотой и подробно прокомментированные воспоминания о жизни и деятельности всемогущего временщика Александра I. В качестве приложения включена также подборка панегирических стихотворений и эпиграмм, посвященных Аракчеву.

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В 1999-2001 гг. вышли:

Серия «Научная библиотека»

Борис Дубин. СЛОВО — ПИСЬМО — ЛИТЕРАТУРА
Очерки по социологии современной культуры

Сборник статей известного социолога посвящен проблемам организации и динамики культуры, теоретическим задачам ее исследования. В ней рассматриваются формы устной, письменной и массовой коммуникации (слух, анекдот, песня, газета, журнал, книга, реклама), отдельные словесные жанры и формулы (биография и автобиография, фантастика, боевик и детектив, историко-патриотический роман), роль цензуры в обществе, символика успеха и поражения в культуре, работа репродуктивных систем общества (издательств, библиотек, музеев).

Михаил Вайскопф. ПИСАТЕЛЬ СТАЛИН

В новом исследовании ученого рассматриваются литературный язык Сталина и религиозно-мифологические стереотипы, владевшие его сознанием. При крайней скудости лексики и убогой стилистике его писания представляют собой парадоксальный образец чрезвычайно изощренной семантической системы, которая отличается многозначностью и текучестью самых, казалось бы, ясных и определенных понятий. Выявлен обширный фольклорный слой (преимущественно северокавказский эпос) сталинского мировоззрения и его связь с общереволюционной мифологией.

Михаил Берг. ЛИТЕРАТУРОКРАТИЯ

Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе

В этой книге литература исследуется как поле конкурентной борьбы, а писательские стратегии как модели игры, предлагаемой читателю с тем, чтобы он мог выиграть, повысив свой социальный статус и уровень психологической устойчивости. Выделяя период между кризисом реализма (60-е годы) и кризисом постмодернизма (90-е), в течение которого специфическим образом менялось положение литературы и ее взаимоотношений с властью, автор ставит вопрос о присвоении и перераспределении ценностей в литературе.

А. НУНЕ

Самое завораживающее в этой книге – задача, которую поставил перед собой автор: разгадать тайну смерти. Узнать, что ожидает каждого из нас за тем пределом, что обозначен прекращением дыхания и сердцебиения. Нужно обладать отвагой дебютанта, чтобы отважиться на постижение этой самой мучительной тайны. Талантливый автор романа “После запятой” – дебютант. И его смелость неопита – читатель сам убедится – оправдывает себя. Пусть на многие вопросы ответы так и не найдены – зато читатель приобщается к тайне быющей вокруг нас живой жизни.



9 795867 931390